И. П. БЕЛОКОНСКИЙ

ДАНЬ ВРЕМЕНИ

ВОСПОМИНАНИЯ

ИЗД-ВО ПОЛИТКАТОРЖАН

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО
ОБЩЕСТВА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН
-И-
ССЫЛЬНО
ПОСЕЛЕНЦЕВ

ОТПЕЧАТАНО В РЖЕВСКОЙ
ТИПОГРАФИИ УИК'а В КО-
ЛИЧЕСТВЕ 3.000 ЭКЗЕМПЛ.
ГЛАВЛИТ № А—13999.

И. П. Белоконский

ДАНЬ ВРЕМЕНИ

ВОСПОМИНАНИЯ

II-е изданіе,
значительно дополненное и
иллюстрированное
рисунками и портретами

МОСКВА
1928

ОГЛАВЛЕНИЕ

*„Кто жил для своего времени,
тот жил для всех времен“.*

Гете.

Иван Петрович
БЕЛОКОНСКИЙ
1879 г.

ОТ АВТОРА.

К 1-му изданию.

Настоящие воспоминания печатались в свое время в различных органах, а именно: в *„Отечественных Записках“*, *„Сибири“*, *„Русских Ведомостях“*, *„Былом“* и *„Голосе минувшего“*. Появлялись они в виде отрывков и с громадными промежутками, в зависимости от цензурных условий. Так, например, первые воспоминания, озаглавленные—„Очерки тюремной жизни“,—были посланы в „Отечественные Записки“ в 1881 г., при чем вторая их часть была в том же году (в № 10-м названного журнала) и помещена, а первая —признана опасною в цензурном отношении и возвращена обратно. Ее пришлось хранить ровно 33 года, когда, наконец, явилась возможность напечатать в „Голосе минувшего“. Вообще, лишь с 1905 г. наступило время, когда в значительной мере улучшились условия для более или менее свободного печатания о пережитом бывшими „государственными преступниками“. Издавая свои воспоминания отдельною книгою, я сливаю их в одно целое, сглаживаю отрывочный характер и пополняю новыми данными. Просмотрев мемуары в таком цельном виде, я пришел к мысли, что самым подходящим оглавлением для них будет—*„Дань времени“*. И вот почему. Бросившись с юных дней в полые воды общественного движения, я захватывался разными течениями и плыл, не отдавая себе долгое время отчета, куда я плыву и зачем. У меня не было никакой программы, которую бы я выполнял, я не принадлежал ни к какой партии, достижению целей которой содействовал.

Но является в таком случае вопрос,—кто же или что же бросило меня в поток общественного движения? И я отвечу на это: литература и великие реформы 60-х годов, главным

образом, освобождение крестьян. Хотя последнее свершилось, когда мне было всего пять лет, но его влияние во всей силе чувствовалось и в конце 70-х годов, когда, лет 15-ти от роду, я впервые захвачен был „рекою времени“.

Тогдашним паролем и лозунгом был—„народ“, под которым разумелось крестьянство, „мужик“. О последнем, как житель города, я не имел ни малейшего представления, если не считать встреч с ним на базаре. Но литература сделала то, что, не зная народа, и даже, собственно говоря, поэтому, я пылал к нему, можно сказать, страстною любовью. В сермяге и лаптях народ казался мне великим и загадочным. Ему не доставало лишь сознания своих сил и ясного представления о государственном строе, чтобы он перевернул все вверх дном и осуществил рай на земле. Следовательно, необходимо было войти в народную среду, слиться с нею и сказать то, что надо. Другими словами—нужна усиленная пропаганда. Одновременно с народолюбством я был охвачен и, так называемым, „нигилизмом“. Явление это до сих пор совершенно не выяснено, и в русской литературе, насколько нам известно, установлено лишь, что слово „нигилизм“ впервые изобретено писателем Надеждиным и что оно является,—как говорится в словаре „Брокгауза и Ефрона“—„полемическим термином для обозначения крайностей движения 60-х годов“. Между тем, на мой взгляд, нигилизм был тесными и неразрывными узами связан с народолюбством. Дело в том, что для хождения в народ, в целях пропаганды, необходимо было, в видах успеха работы, полное уподобление крестьянству, начиная прежде всего с внешнего вида. Деревня, только что сбросившая цепи рабства, не выносившая помещиков, конечно, с полным недоверием отнеслась бы ко всякому в барском одеянии, если бы явившийся был полон даже самых благих намерений.

Но, помимо одеяния, пропагандист должен был во всем подражать крестьянству. Деревня, например, не имела ни ножей, ни вилок и ела всю твердую пищу руками; не у всех, особенно мужчин, были гребни, и прическа голов у крестьян далеко не являлась непременною необходимостью, а вошь пользовалась в деревне большою популярностью,—по праздникам бабы и девицы располагались на выгоне и, без стеснения

вычесывая друг у друга вшей, тут же ногтями уничтожали их; мыло у крестьян тогда не было в ходу, редко меняли они нижнее белье; спал деревенский обыватель на полу в том, в чем ходил днем, при чем зимою в избе находились телята и поросята. Словом, благодаря непроглядной тьме, нищете и невежеству, русская деревня не имела и признаков европейской культуры. Само собою разумеется, что пропагандист, прожив среди крестьянства даже короткое время, превращался по внешнему виду почти в дикаря, и когда он появлялся в помещичьей усадьбе, то, понятно, возбуждал почти панический ужас, как среди родителей, так и знакомых. Но кто были те и другие? Крепостники. Можно ли обращать внимание на их протесты? Конечно, нет. Тут отцы и дети вступили в жестокую полемику, при чем у детей возникла уже целая теория нигилизма, отрицавшая, между прочим, всю культуру отцов, которую нигилисты считали не европейской, а помещичьей, рабовладельческою. Лица, воспринимавшие эту теорию, не зная деревни, не отдавая себе ясного отчета в нигилизме, подражая последнему, проявляли нигилизм лишь внешним видом. К числу таких лиц принадлежал и я. В первый период нигилизма я считал, например, принципиально необходимым ходить с длиннейшими волосами, в красной рубахе, высоких сапогах с засунутыми в них штанами и в..... синих очках. Последние являлись признаком еще одного, „писаревского,“ я бы сказал, течения, существовавшего одновременно с народолюбством и нигилизмом. Оно характеризовалось стремлением к занятиям естественными науками, а ученые люди, по установившемуся тогда у юношей понятию, должны носить очки. Ну, вот, и я напялил окуляры и стал было ловить лягушек и кошек, чтобы „анатомировать“, но, к счастью для этих животных, я боялся их и, при малейшем сопротивлении, выпускал из рук. Вот какими знаками времени я отмечен был в ранней юности. Впоследствии все это привело меня в волнующуюся среду больших центров, оттуда в деревню, сделав пропагандистом, учителем, радикалом и своеобразным, наконец, конституционалистом. Как бы для полноты картины дани времени, я был арестован, сослан в Сибирь и затем бесконечное число лет, почти до 1905 года включительно, находился под гласным

надзором полиции. В общем, дань времени обошлась мне лет в двадцать пять.

Почему же не написать о пережитом воспоминаний?—задался я вопросом. Все же они бросят какой ни на есть свет на описываемую эпоху, а вместе с рядом других воспоминаний дадут, быть может, материал пригодный и для истории. Ведь и в капле отражается солнце,—закончу я стереотипной фразой.

К 2-му изданию.

Когда, подготовляя к 2-му изданию, я стал перечитывать 1-е издание „Дани времени“, то каждая страница, выражаясь фигурально, все шире и шире отворяла дверь моей памяти и вызывала или совершенно новые воспоминания, или существенные дополнения к старым. Этому помогла, несомненно, систематичность изложения, всегда способствующая заполнению пропусков. С другой стороны, некоторые указания я получил из отзывов как печати, так и читателей. Наконец, ко времени выхода настоящего издания явилось немало литературных источников, давших возможность проверить свою память и внести те данные, которые не были включены из опасения их неточности. Все это вместе взятое делает настоящее издание значительно полнее 1-го.

И. П. Белоконский.

Новозыбков

ОБЫСК И АРЕСТ.

Это произошло в ночь с 17 на 18 августа 1879 года.

Чья-то нежная рука прикоснулась ко мне, и я услышал тихий голос:

— Ваня, вставай.

Открываю глаза и при тусклом свете свечи вижу тревожное лицо отца.

— Что такое?

— Приехали...

— Кто?

Но ответ стоял передо мною в виде жандармского офицера.

— Вы Иван Петрович Белоконский?—спрашивает он.

— Я.

— Потрудитесь встать,—нам нужно произвести у вас обыск.

— Сейчас.

Быстро одеваюсь и всматриваюсь в то же время во все происходящее.

За жандармским офицером стоит исправник, кажется, Фальковский, а ближе к дверям спальни—жандармы, городовые и еще какие-то люди.

Меня одолевает сильное беспокойство за мать.

„Знает ли она?“ „Что с нею?“ „Где она?“

Я употребляю все усилия, чтобы не обнаружить волнения, и утешаю отца.

— Вы не беспокойтесь... Это, вероятно, какое-то недоразумение...

— Да я не беспокоюсь...

Но ясно видно, что он испуган непривычным явлением.

А офицер зорко смотрит за каждым моим движением.

Наконец я оделся.

Офицер повторяет:

— Мне предписано произвести у вас обыск.

— Вижу и чувствую.

— Где ваша комната?

— Везде и нигде.

— Каким образом?—(Всматривается в меня внимательно).

— Я на время заехал к родным погостить, возвратившись недавно из-за границы.

— Но... но где, то-есть в какой комнате вы проводили время, занимались и так далее?

— В этой, в кабинете отца.

— Мы приступим...

— Сделайте ваше одолжение.

Началось...

— Это мои бумаги,—заметил отец, видя как привычные руки переворачивают вверх дном его „дела“.

— Ничего-с, не беспокойтесь,—заметил элегантно офицер,—все будет цело...

Офицер, видимо, заглядывал в другие комнаты, следя в то же время за обыском.

— Позвольте вас попросить...

— Проводить вас в другие комнаты?—предупредил я.

— Мда-а-с, то-есть...

— Вы желаете произвести обыск и там?

Офицер утвердительно кивнул головой и, оставив унтер-офицеров обыскивать кабинет отца, сам, в сопровождении меня и исправника, направился в другие комнаты.

Подходим к дверям спальни сестры.

— Позвольте, я предупрежу сестру: она спит, ей...

— Сделайте одолжение.

Я вошел в комнату сестры; она была уже полуодета и при входе моем испуганно спросила:

— Что там такое?

— Обыск... жандармы... не пугайся...

— Ванечка!—и она бросилась мне на шею.

— Не бойся!

— А мама?

Я вспомнил, что еще не видел матери; этот вопрос заставил меня задуматься; сердце забило тревогу: где мать? что с нею? не истерика ли? Но я не желал выражать беспокойства.

— Ничего.

— Что с тобою будет?

— Конечно, ничего... Одевайся,—войдут сейчас...

Сестра быстро окончила туалет и пропустила стоявшего под самыми дверьми офицера, который отвесил ей поклон и, давая дорогу, произнес: pardon!

Исправник и офицер начали перерывать библиотеку, тщательно осматривая каждую книжку. К их несчастью, а

к моему, конечно, счастью—ничего не нашли, ибо ничего и не было; зал не обыскивали, так как там нечего было осматривать, но в спальню матери, якобы по дороге, завернули.

— Здесь?..

— Спальня моей матери.

— Ах, почему вы меня не предупредили?.

— Можете продолжать вашу обязанность: здесь, как видите, никого нет.

В спальне, действительно, никого не было, и мысль о матери еще более начала беспокоить меня. Офицер не знал, на чем подозрительном остановить свой взгляд. Я указал ему на сундук с бельем. Офицер спросил:

— Здесь что?

Белье...

Он, видимо, остался недоволен прозаическим содержанием и велел городовому, в знак снисходительности к держанию такого рода вещей, „просмотреть сундук слегка“.

У меня разболелись глаза, я пошел промыть их и на пути встретил мать; она со слезами на глазах бросилась мне на шею:

— Ваня, милый! Что это?

— Не беспокойтесь, мама, — ничего...

— Но, ведь, они заберут тебя!.. Мать заплакала, потом, для поддержания, нужно полагать, меня, как бы успокоилась, взяла меня под руку, и я пошел промыть глаза. Невыносимо больно было мне при виде страдающей матери, но я, как и она, бодрился и улыбался.

— Ничего не нашли?—спросила она.

— Да что же у меня есть?

— А что ты писал?

— Да, ведь, то любой журнал поместит.

— Это не донос ли за корреспонденции?

— Мама, что вы?!

— А, ведь, на тебя были недовольны...

Нужно сказать, что незадолго до обыска я написал две-три корреспонденции в „Неделю“ и столько же, разве немного больше, в „Новости“. Граждане города не совсем были довольны, и мать предполагала, что вся буря вышла из-за этого.

Когда я возвратился в кабинет, офицер, окруженный знакомою уже свитою, сидел в том же кресле, над отобранным, собираясь составлять протокол обыска; возле него было наложено достаточное количество бумаг.

— А в этом ящике? — спросил офицер, заметив, что в столе есть ящик.

— Там мои вещи,—сказал отец,—отворить?

— Нет... но... знаете...—офицер отодвинул кресло, спросив: ключи где?

Отец отпер ящик:

— Это мои деньги, это...

— Да... да... это ваш? Ну... да что вы...,—тянул офицер, с жадностью всматриваясь в каждый лоскуток бумаги.

— Извините,—прибавил он, обращаясь к отцу,—нужно было *прямо* заявить, что это ваш ящик.

Ложь была налицо, так как отец „заявил".

— Дайте мне копию с „постановления",—обратился я к офицеру.

— „Копию"?.. Я не обязан давать вам копию...

Офицер начал пересматривать бумаги, приготовленные унтер-офицерами, которые заглянули во все щели во время нашей прогулки по семейному гнезду.

— „Очерки, рассказы и картинки"—вы писали?—спросил офицер, разбирая оглавление моих рукописных произведений.

— Я.

— „Грядущая сила", комедия...

— Моя.

— Хорошо... Записные книжечки?..

— Мои.

— А это?

Он показал на австрийский бумажный гульден.

— Австрийский гульден.

— Это?..

— Крейцеры австрийские.

— Это не надо,—сказал офицер, отодвигая их в сторону и разворачивая альбом.

— Позвольте спросить, вы знаете эти карточки?

— Нет.

— Почему?

— Эти карточки моего брата.

— Какого?

— Бывшего товарища прокурора в Вятке и Казани, а теперь умершего.

— Мг... а это?

— Да не знаю же я...

Офицер все-таки выбрал почему-то две карточки и внес их в протокол.

— Рассказ—„Оля"...

— Мой: напечатан в Киеве *с дозволения цензуры*,—подчеркнул я последние слова.

Офицер отложил в сторону.

— А вот это? „Ванька Острожник"... Ах да,—спохватился он,—на обертке напечатана ваша фамилия.

И этот рассказ отложен в сторону.

— Почему вы выбрали эти именно две карточки, а не забрали всех?—спросил я офицера.

— Мг... я знаю, что я делаю...—И он начал писать протокол обыска; по прочтении я подписался и, судя по протоколу, думал—шабаш!

Не тут-то было.

— Не угодно ли вам собираться?—обратился ко мне офицер.

— Куда?—спросил я, удивляясь неожиданности такого предложения.

В ответ на это офицер прочел мне постановление, в котором очень ясно было выражено, что, по произведении у меня обыска, арестовать и засадить в тюрьму. Распоряжение было от самаго III-го отделения, на что, для большей назидательности, офицер при чтении особенно напирал.

— Надолго?—спросил я.

— Мг... не знаю...

— А куда вы повезете?

— Вы поторопитесь собраться...

— Но он болен,—заметил отец.

— Я этого не замечаю,—самоуверенно отрезал голубой эскулап.

Поднялась суматоха; отец и сестра стали собирать меня в дорогу; мать в полубесчувственном состоянии сидела в кресле, устремив на меня страдальческий взор; братишка, проснувшийся к моему отправлению, удивленно смотрел на незнакомую картину, боясь спросить о причине ее; семидесятилетняя старуха—няня, стоя у дверей, бросала умоляющие взгляды на жандармов, как бы прося пощады; я всех утешал, улыбался, хотя на душе было скверно.

— Лошади пришли?—спросил офицер.

— Никак нет-с,—ответил один из нижних чинов.

— Исправник! пусть лошадей приведут в вашу квартиру: мы поедем от вас.

— Хорошо,—подобострастно ответил начальник уезда и отдал приказание городовым.

Все готово; начинаю поспешно и весело прощаться, стараясь поскорее избавиться от гнетущих впечатлений; отец не выдержал: слезы закапали из старческих глаз его; он обнял, поцеловал меня и незаметно всунул 50 рублей. „Быть-может, в последний раз“,—сказала тихо мать, обнимая, целуя без слез; она не могла уже плакать; сестра же от слез не могла ничего выговорить; братишка испуганно распрощался, вытаращив глаза и ничего не понимая; няня бросилась в ноги, потом начала целовать руки при выходе, а покуда я отби-

вался от такой преданности, желая поцеловать ее в губы, торжественная процессия была задержана, и офицер выражал нетерпение. Отец велел заложить лошадь, чтобы ехать к исправнику. Я под строгим конвоем, во главе с исправником, его помощником и офицером, вышел на двор под руку с сестрою, которая пожелала проводить меня до ворот.

Восток чуть-чуть алел; в воздухе было свежо и необыкновенно приятно; темно-синий свод, усеянный мириадами звезд, широко раскинулся над вселенной.

Я оглянулся на дом, на сад; последний как бы спал глубоким предутренним сном,—от него так и веяло негою, свежестью и ароматом; птички какие-то, проснувшись, уже щебетали в кустах; быстро пронеслись над самыми головами две-три ласточки. Хорошо! привольно!..

„Быть может, последний раз“,—вспомнил я, посмотрел на дом и опустил голову: словно из него только что покойника унесли.. Тускло смотрели слабо освещенные окна, незаметно движения...

— О чем ты, Ваня?—спросила сестра.

— Ничего,—спохватился я, стараясь улыбнуться.

Ворота. Еще раз осматриваю все знакомое, дорогое...

— Прощай! —говорит сестра.

— *До свидания!*—подчеркиваю я.

— Дай-то бог! .

Мы обнялись и поцеловались; сестра долго еще смотрела мне вслед; начальство начало перешептываться.

— Смотреть за арестованным!—довольно выразительно приказал офицер.

— Слушаю-с, ваше благородие!—проговорило несколько голосов.

„Арестованный“!.. Как-то сделалось неприятно... А на улице ни души! Все спять, ничего не знают... Пожалуй лучше: кроме испуга, граждане, включая и знакомых, ничего бы не проявили,—ведь я был *первый* „государственный преступник“ в городе Новозыбкове!

Квартира исправника... Начальник города суетится насчет самовара...

— Вы были в Петербурге?—спрашивает офицер.

— Конечно, был.

— Мг... Вы там известны...

— Очень приятно...

Приехал отец.

— Ваш приезд,—обращается он к офицеру,—вообще так пугает, тревожит, что, право, не опомнишься,—даже не закусили на дорогу...

— Мг... да-а... конечно.

Офицер с трудом переварил, хотя и привычный, комплимент.

Напились чаю. Пришли лошади.

— Берегите моего сына!—со слезами на глазах обращается отец к офицеру.

— Будьте покойны,—бормочет тот, одеваясь.

Мне сделалось обидно: с какой стати просить? на каком основании, по какому праву я взят?

Прощаюсь, выхожу и сажусь в почтовый экипаж среди двух очень больших и очень добродушных жандармов; офицер едет сзади,—„чтобы не пылить в глаза"—расчувствовался он.

Брызнули лучи солнца; ликует природа; мчатся тройки; жара и пыль... Мысли перепутались; после возбужденного состояния наступила реакция, и на меня нашла апатия. „Климов", „Чуровичи", „Хреновка",—станции, станции и... станции... Когда-то, свободный, мчался я, а теперь..

Офицер орет на жандармов, станционных смотрителей, ямщиков; не дает дохнуть—мчит, мчит и мчит!.. Я еду лежа,—не говоря о глазах, у меня болит все тело: больной, прямо с кровати да на перекладных! Можете судить! „Городня!.." Свисток, поезд... Когда-то я очень любил катить по рельсам... „Седнев"—станция, можно сказать, родная. Здесь с раннего детства я бывал у бабушки, проживавшей в своем имении. Потом, еще так недавно, жил я в „Коммуне" Лизогуба, усадьба которого высилась на горе почти над усадьбою бабушки. На станции меня узнали; собрался народ; жандармы спешат и берегут меня пуще глаза; запрягают четверку, забыли взнуздать: четверка несет, опрокидывает, и я... давлю жандармов!! Случайное преобладание... Опять все на местах: лошади взнузданы и жандармы теснят меня, я среди них...

Чернигов, незабвенный Чернигов! Я не был в нем с самого выхода из гимназии... Проезжаю мимо квартиры младшей сестры, которая, выехав раньше после каникул учиться в гимназию, не присутствовала при обыске.

Как бы хотелось мне посмотреть на нее!

— Тпрру!.. Жандармское правление... Вхожу. Встречает полковник. Такой холодной, бесчувственной, отталкивающей физиономии я, кажись, нигде не видел. Он сказал только: „хорошо", посмотрел на меня исподлобья—так и обдал холодом. Опять в повозке... „Но!.." Улица, еще улица и вот белеют стены старого замка с башнями по бокам.

ТЮРЕМНЫЙ ЗАМОК.

— Смотритель в замке?—спросил жандармский офицер у сидевшего сначала, но потом вставшего армейского офицера, когда мы под'ехали к большим траурным воротам острога.

— Нет,—довольно почтительно ответил армейский, видимо, чувствуя перевес голубого (кто в то время не чувствовал!)— он, должно-быть, в квартире; можно...

Но не успел армейский окончить фразу, как вдруг, словно из-под земли, появилась толстенькая, белобрысая, хмурящаяся, для изображения строгости, и, вместе с тем, добродушная фигура с голубыми глазами, краснощекая и с отсутствием одного зуба в переднем ряду верхних зубов, почему фигура говорила как бы с присвистом...

— А-а-а!—произнес, улыбаясь, офицер.

Фигура приложила сначала два пальца к кэпи, а потом подала руку офицеру, который успел шепнуть уже что-то.

— Пожалуйте!—предупредительно пригласила фигура, указывая на отворенные ворота замка.

Входим все вместе: офицер и смотритель (фигура—это оказался смотритель) впереди, я за ними, а за мною—жандармы; входим в темную арку, поворачиваем влево, всходим по ступенькам...

— Не нужно ли вам денег?—вдруг обратился ко мне любезно офицер.

— Нет, не нужно, благодарю,—проговорил я, пораженный милосердием. Офицер очень был растроган, когда я очутился в клетке. Он доставил меня благополучно: порок будет наказан, добродетель восторжествует, отчего же не оказать милости, в виду получения награды, ежели я окажусь „важным“?.. Мне думалось, что у офицера совершался именно такой процесс мысли.

— До свидания!—раскланялся со мною офицер.—Вы ему,—обратился он к смотрителю,—сейчас же доктора, чаю... До свидания!.. И офицер скрылся. Все это произошло очень быстро на третьей ступеньке. Я пошел дальше и очутился в

мрачной, вонючей, большой комнате с решетками в окнах. Скоро сальный огарок осветил черные, запыленные обои, дела, залитые чернилами, два стола и два-три сломанных стула; за одним из столов сели: армейский, смотритель и я.

— Ну-с, у вас нужно все отобрать,—сказал смотритель.

— Только, пожалуйста, скорее,—сказал я.

— Ваша фамилия?

— Такой-то.

— Не знаете за что?

— Вам это известно, полагаю.

— Клянусь, мы ничего не знаем. Все?—спросил он, когда я, избегая разговоров, выложил пред представителями армии и полиции все свое имущество.

— Решительно все... Дайте мне скорей покой...

— Сию минуту—пожалуйте!

Опять спускаемся; входим под арку; идем чрез вторые ворота, двором—направо; подходим к высокому зданию, поднимаемся вверх и вверх; смрадный, душный коридор; темно; щелк, щелк,—громыхнула задвижка...

— Ваше новое жилище,—любезно об'явил смотритель, предлагая окунуться в какой-то мрак.

— Воняет,—сказал я.

— Это так, с первого разу... Вы еще нигде не сидели?...

— Нет.

— А вот кто сидел в тюрьмах, в III-м отделении, тем ничего...

— Счастливцы... А чаю вы мне дадите?

— Можно достать кипятку?—обратился смотритель к служителю.

— Где же теперь, ваше благородие, чаю?..

— Нельзя-с, завтра уже,—ответил мне смотритель.

— А поесть?

— Это можно... Купи чего-нибудь,—отдал приказ смотритель служителю,—колбасы или там вообще *студенческого*. Смотритель сделал ударение на „студенческого“ и улыбнулся.

— А скоро это будет?—спросил я.

— Сию минуту,—огонь и пищу сейчас... Покуда — до свидания! Опять—стук, хлоп, звяк,—и я в клетке. Темно, ужасно темно, только из окна чуть-чуть светится. Я пробираюсь к окну и влезаю на него; многих стекол не достает, но решетка крепкая; сквозь решетку виднеется чудное августовское вечернее небо и больше ничего; слышны шаги часовых на дворе; мертво, тихо и даже показалось поэтично на первый раз. Мне начали припоминаться всевозможные картины „узников“, а также песни и стихи об „узниках“ и „темницах“. Но поэзии моей скоро наступил конец:

явился смотритель в сопровождении служителя, который нес грязную лампочку, колбасу и кусок хлеба.

— Скоро?—спросил улыбаясь смотритель.

— Благодарю—скоро, а насчет постели?..

— Это уж завтра... сегодня невозможно...

— Мг... как же это?... Вот на этом голом и спать? Как это называется?

— Нары... Потерпите эту ночь...

— Хорошо.

— Ну-с, всего лучшего! До свидания!

Опять я один; осматриваю номер: устроен аркою, пыли-пыли—дотронуться нельзя; пол ужасный; измеряю: 8 шагов в длину, три—в ширину и, по глазомеру, аршин 6 в вышину; мебель—нары и... больше ничего; двери черные, стены белые —траур, сообразно обстоятельствам; в дверях квадратное окошечко со стеклом, и в него смотрит заспанная физиономия только что приставленного часового, который следит за всяким моим движением. Ем колбасу—цвелая и соленая; хочу пить.

— Часовой, как бы напиться?

— Разговаривать не дозволено.

— Да, ведь, я пить хочу.

Молчание.

— Неужели у вас и пить не полагается?—спрашиваю, приставив свою физиономию к самому стеклу.

Часовой смотрит прямо мне в глаза, не шевелится и молчит, как труп.

Скверно, думаю. А что если пожар?—приходит мне в голову. Часовой кажется мне ужасно глупым человеком. Ну, а ежели на двор захочу?—спрашиваю я себя мысленно, осматриваюсь и—о ужас!—не вижу никаких приспособлений. Что же делать? Ложусь спать, чтобы хотя как-нибудь заглушить требование организма.

Странный сон... Снится мать, рыдающая и больная; снится дом; кто-то умирает или мучат кого-то; палачи, стоны, вопли... Просыпаюсь... Льет страшный ливень, кажись, разверзлись небеса,—такого ливня я никогда не видел; молния рассекает воздух, гремит ужасный гром, стучит дождь о железную крышку—светопреставление! На нарах, подо мною целая лужа; дождь врывается в окно, дует сквозняк,—словом, буря и в самой камере. На свободе я страшно боялся грозы, но теперь взобрался на окно и хотел полюбоваться свободною силою природы... Чувствую—я болен: жар, слабость... Нервное возбуждение кончилось, продолжается болезненный кризис; я приложил горячую голову к решетке, но долго сидеть на окне не мог; кое-как, спустившись на мокрые нары, я лег и уснул тяжелым, тревожным сном...

Почти два месяца не вставал я с кровати, очнувшись, и то с большими усилиями и искусственным спокойствием, когда полковник привел на свидание рыдающего старика, моего отца. Я всеми силами старался успокоить его, но не тут-то было... Плач ребенка почти не производит впечатления, плач женщины раздражает или возбуждает чувство сожаления, но плач мужчины, старика, человека сильного, который никогда не плакал—это ужасно, невыносимо... Я сам чуть было не разрыдался, уже чувствовал, как слезы подступали к горлу, чувствовал влажность глаз, но—удержался, благодаря полковнику, перед которым не желал распустить нюни, и еще тому обстоятельству, что жандарм, следивший, как цербер за мною и за отцом, которого насилу допустил поцеловаться с больным сыном, дал только пятиминутное свидание, такое свидание, которого не пожелаю и врагу своему, разве только самому полковнику...

Как только я выздоровел, немедленно пожелал написать письмо родным, думая, что такое законное желание будет исполнено моментально.

— Мне нужно письмо родным написать,—заявил я как-то зашедшему смотрителю.

— Нельзя-с, нужно спросить разрешение у полковника...

— Родным-то?..

— Шагу нельзя без полковника...

— Так заявите ему скорее..

— Разрешит ли?—усумнился смотритель.

— Да какое он имеет право не разрешать?

— Я доложу.

Целую неделю ждал я разрешения, беснуясь и энергично требуя от смотрителя—дать мне возможность повидаться с каким-нибудь „начальством“.

Наконец появился сам полковник, фон-Мерклинг.

Сутуловатый, мрачный, с злыми сжатыми губами, он, не кивнув даже головой, вошел в камеру в фуражке с красным околышком, в калошах и николаевской шинели. Пронизав меня исподлобья холодным стеклянным взглядом, он, потупив глаза, сурово спросил:

— Что нужно?

— Мне нужно письмо родным написать.

— Зачем?

— Как это „зачем“?

— Ведь, у вас был недавно отец?

— Да, ведь, у меня есть мать, сестры...

— *Вам нужно было о них раньше заботиться...*

Меня это взбесило ужасно и только после сильной борьбы я удержался от дерзости, желая до конца проследить, стоя

на совершенно легальной почве, все издевательства, всю насмешку над личностью человека со стороны *охранителей семейного очага и народной нравственности.*

— В таком случае пригласите прокурора...

— Я подумаю,—пробурчал полковник и удалился.

Чтобы не возвращаться более к этому детищу остзейского дворянства, из которых больше всего выходило жандармов и всякого рода „охранителей" России, здесь же сообщу позже полученные мною сведения о фон-Мерклинге. Говорили, что карьеру свою он начал у Муравьева-вешателя, подбиравшего для усмирения несчастной Польши звероподобных сотрудников. Они, при допросах, прямо мучили свои жертвы. По всему облику фон-Мерклинг был совершенно пригоден для роли палача, застенных дел мастера. Впоследствии он был назначен начальником архангельского жандармского управления. Об этом периоде его деятельности сведения сообщили мне уже очевидцы. Между прочим, свой надзор фон-Мерклинг довел до того, что предписал жандармам следить за... самим губернатором, по стопам которого всегда следовал жандармский унтер-офицер! А губернатор, в свою очередь, сделал распоряжение, чтобы за фон-Мерклингом ходил городовой! Нужно ли говорить, что подобная комедия могла иметь место лишь в бесправном полицейском государстве, управляющемся по принципу divide et impera. Все присматривают друг за другом, все доносят один на другого, а законы—звук пустой! В бытность фон-Мерклинга начальником Вологодского жандармского управления он, между прочим, преследовал сосланного туда П. Л. Лаврова и был причиною высылки последнего из Вологды в Кадников.

Через три дня после приведенного разговора мне разрешено было, под строгим присмотром жандарма, написать в канцелярии письмо родным.

В течение первых трех месяцев моего сиденья в одиночной клетке меня никто не спросил ни о чем, не сказал причины заключения! Я поднял тревогу: позовите полковника! позовите прокурора! И только раз как-то зашел делавший у меня обыск офицер и спросил:

— Неужели вы не знаете, за что сидите?

— Положительно.

— Да что вы говорите! Вы были в Одессе, т.-е. жили?

— Жил.

— Но с кем, с кем жили?

— С Симиренко—студентом...

— Да, знаем, какой это „студент"!—И офицер ушел.

„Не понимаю,—думал я,—то, казалось, с Питера ветер подул, а оказывается из Одессы. Значит, Леву спрятали? Как

бы это узнать?“ Я привожу этот разговор с офицером, как замечательную жандармскую хитрость, которая выяснилась только впоследствии.

Прождал я еще недельку и, видя, что от жандармов толку не добьешься, написал прокурору следующего содержания прошение: „Честь имею покорнейше просить Вас произвести дознание по неизвестному для меня моему делу; если же это зависит не от Вас (я был арестован по предписанию III Отделения), то прошу отправить это прошение в III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии“.

Прокурор вскоре известил письменно, что прошение послано, а я, покуда суд да дело, начал сочинять стихи и изучать тюремную жизнь.

ТЮРЕМНЫЙ ДЕНЬ.

Чуть светает. Крыши и верхняя часть зданий тюремного замка освещены уже белесоватым светом, а на дворе, в стенах, еще полумрак; две-три догорающие звездочки заметно меркнут; в замке мертвая тишина, только слышны мерные шаги часовых, да изредка стукнет задвижка тюремных ворот, в которые входит разводящий проверить посты.

Все спит, все страдания, все мысли, думы—все это утонуло в глубоком утреннем сне.

Но, вот, и мрачная тюрьма, без травинки, без деревца, вся каменная, мертвая, начинает оживать перед грядущим рассветом. Среди невозмутимой тишины, раздается шумный треск барабана, на котором сонный солдат, там, где-то за воротами, отбивает „утреннюю зорю“. Тррр-трах-та-та, трах-та-та, тррр...—сыплет дробью солдат, извещая о начале дня и давая чувствовать всем, находящимся в месте печали, что они не на свободе, что все виденное ими только что было лишь сном...

Вот застучали задвижки, звякнули где-то ключи, заговорили сторожа, голоса которых резко раздаются в свежем утреннем воздухе.

Арестанты уже готовы: они схватились тотчас, как раздались первые звуки „зори“.

— Дяденька, пора отворять!—кричит кто-то из нижнего этажа.

— Чего там! Не сдохнешь! видишь иду! — отвечает сторож.

— Чего так раскричались?—надменно замечает часовой, чувствуя всю важность своего положения.

— Крупа старая! Инвалид хромоногий! у-у чорт!—сыплется часовому в ответ.

Умный часовой только улыбается на эти угощения раздраженных людей; глупый—мрачно посматривает в сторону говорящих, ругается под нос со всевозможными пожеланиями, при чем успокаивает себя надеждою, что „когда-нибудь я вас отчищу прикладом,—не я буду!“

— Батьку своего бей!—шлют ему в ответ арестанты. Потом идут трех и четырех-этажные слова, варьируемые с замечательною изобретательностью.

А вот уже еврейская камера подняла нервный шум утренней молитвы, отдельных криков и просьб.

— Сторож! Сторож! Ой-ой! отчините!

Евреи изобретательны в требованиях и берут испугом.

— Чего ты, парх, разорался?

— Ой-ой! умираю!

— Одним меньше, сдыхай—довольно добродушно отвечает сторож и идет отворять.

— Дяденька! а дяденька! отчините и нам: воды надо! слышатся пискливые голоса „баб“.

— Успеете, не умрете!

Начинается тюремная жизнь. Парашники из арестантов, которым арестанты платят по копейке с души, выносят сор и „парашу“ из камер; большинство с кадками с продетыми в ушки палками стоят у ворот, ожидая очереди выхода по воду, а также и разрешения на это; остальные глазеют подле ворот с пустыми руками; иные, особенно евреи, подбегают к окошечку в воротах „посмотреть“, изобретая различные необходимости для умилостивления часового, расхаживающего подле ворот; молодые парни и местные ловеласы, воспользовавшись случаем выхода „баб“ по воду, заигрывают с ними, благодаря чему раздаются возгласы: да-ну!... не трогай!... чего лезешь?... Большинство часовых обыкновенно не обращают внимания на сбор арестантов возле ворот, засматривание в окошечко и ухаживанья; некоторые просят только „не наваливать“, потому—„ежели, примерно, начальство, наш брат в ответе“; но были и такие, которые, не церемонясь, разгоняли и любопытствующих, и пришедших за делом. „Конвой для воды!“—уже не раз кричит часовой в окошечко, за ворота. Наконец, ворота отворяются, и идущих по воду выпускают в сопровождении конвоя, а оставшиеся поднимаются на пальцах, выглядывая за ворота.

Ворота—это всегдашний сборный пункт, особенно утром; всякий инстинктивно подходит к этому единственному выходу из тюрьмы, точно ожидая чего-то, хотя большинство знает, что никто не придет, не принесет ничего, и не скоро выйдут они из тюрьмы. Но их влечет к этому месту какая-то непонятная сила; всякий, как только проснется, накинув халат, стремится к воротам и чего-то ожидает, что-то высматривает. Нигде не развита так надежда на чудесное, вера в случай, как в тюрьме; нам пришлось пробыть девять месяцев, и во все время арестанты ожидали „манифестов“, „освобождений“, и вообще каких-то „чудес“. Так мы их и оставили с ожиданиями.

Девяти десятым арестантов до 12 часов решительно нечего делать; только самая небольшая часть носит дрова на кухню, некоторые подметают двор и часть работает в мастерской; поэтому большинство распределяется на группы и ведет различные разговоры, или просто лежит, сидит сложа руки, ругается с „бабами“, которых никогда не выпускают гулять в одно время с мужчинами, а потому им приходится почти весь день сидеть в камерах.

Утром арестанты обыкновенно греются (летом) на солнышке, выказывая национальные темпераменты. Неподвижно, как мумии, подставив живот под палящие лучи солнца и закрыв шапками лица, лежат флегматичные украинцы, еле ворочая языком в случае надобности; подвижные, сангвиничные великороссы спорят, ругаются; кричат и шумят юркие и нервные евреи; глупо смотрят на окружающих неподвижные лица небольшой группы „восточных человеков“.

Так проходит время до „поверки“. Часов в 9 или 10 является новый караул.

Часовые с нетерпением ожидают смены, пробыв, без всякого промежутка в замке 24 часа, чередуясь друг с другом через 2—3 часа, при чем им не дозволяется спать в *караулке*, пока другая половина товарищей занимает *посты*; внутри, в коридорах, часовые то и дело с нетерпением спрашивают: „а что, пришел караул?“ И если арестант, посмотрев в окно из камеры, скажет: „пришел“, часовой радостно говорит: „славу богу!“.

Является „старший“ и второй раз звонит в колокол, крича: „на поверку, на поверку! живей!!!“

„Старшим“ выбирается обыкновенно бойкий и знающий малый, в большинстве случаев из солдат в отставке. В Черниговском замке старшего звали Наум. Красивый, видный мужчина, с большою, окладистой бородой и длинными черными волосами, он был когда-то в военной службе и знал ее хорошо. Наум сделался „старшим“ уже в наше время, выжив с места наговорами и разными пакостями некоего поляка, тоже хитрого, но доброго человека. Такую пронырливость, сообразительность, ловкость, хитрость и несомненный ум, какими обладал Наум, нам редко приходилось видеть; он льстил всем, начиная от арестанта и кончая полицеймейстером, высшим чином, с которым ему приходилось сталкиваться; действовал так хитро, что из всех дел выходил чистым. Добродушный, недалекий поляк, Завадский, бывший смотрителем, совершенно находился в руках Наума, который обманывал его, наговаривая ему на арестантов, осуждая в то же время пред арестантами смотрителя. Арестантов Наум знал, как свои пять пальцев, имел среди них шпионов, ведал их тайны,

обкрадывал и поддерживал своим влиянием ненавистного всем старосту, из-за которого вышел впоследствии бунт. Арестанты редко вступали в ссору с Наумом и почти беспрекословно повиновались его приказаниям; поэтому только при появлении „старшего“ они быстро отправлялись в камеры, чего не делали, когда их сзывали другие служителя. Что касается официальных отношений Наума к арестантам, то они на первый взгляд казались чрезвычайно простыми: старший разговаривал с арестантами, даже иногда шутил; но все это делалось так ловко, что моментально мог переменить тон шутки на серьезный. Очень мало было арестантов, которые бы осмелились грубить Науму, но и те, в большинстве, попадали в карцеры по жалобе „старшего“, за которого всегда был смотритель.

Наум в будни ходил просто, даже бедно одетый, но зато в праздники наряжался и имел замечательно молодцеватый вид. Он надевал вытяжные сапоги, сшитые бесплатно арестантами же, синий длиннополый кафтан, красный пояс, новый картуз; мазал до блеску волосы и лихо потряхивал ими, снявши картуз.

Если арестанты неохотно шли в камеры,—что случалось в отсутствии начальства (офицера или смотрителя), — Наум обыкновенно требовал солдат—„загонять“ арестантов, при чем конвой обходил вокруг большого корпуса и вытаскивал вольнодумцев; но стоило только появиться смотрителю — с красною, круглою бритой физиономией, с выпуклым животом и тоненьким, с присвистом голоском,—как арестанты моментально бежали в камеры, стараясь улизнуть от проницательно-грозного взгляда голубых, выпуклых глаз начальника.

То же самое бывало при появлении самого офицера. Наум тут же, всегда без шапки, со смиренным видом идет по стопам офицера, предупреждая его желание, угадывая мысли.

Наконец, все заперты; наступает тишина. Унтер-офицеры с дощечками в руках, в сопровождении Наума, офицера, а иногда и смотрителя, начинают поверку.

— Сколько у тебя здесь?—спрашивает новый караул у часового, войдя в коридор.

— Столько-то—отвечает часовой.

— Раз, два, три и т. д.,—считают солдаты, заглядывая в окошечки камер.

Наум говорит сколько, а караул проверяет; количество арестантов в каждой камере заносят на дощечку, складывают и, когда окажется верно, новый офицер, приняв прежнее количество арестантов, заменяет со своим караулом место старого.

Начинается смена „постов“. Стройно входят солдаты в количестве занимаемых мест в карауле.

— Стройся!—командует унтер-офицер,—на плее-ччо! ша-а-гом марш!

Солдаты идут за разводящим и сейчас же останавливаются для смены часового у ворот. Из взвода солдат выделяется тот, во-первых, который сменит часового у ворот, потом, как свидетели, два „разводящих“: прежнего и нового караулов; солдат становится против солдата, а по бокам „разводящие“; новый разводящий говорит: „смена, стой! на часы марш“! Тогда солдат из нового караула делает шаг вперед и становится плечом к плечу к прежнему часовому и затылком к его лицу. Старый спрашивает:—чего пришел?—Вас (редко: тебя) с часов сменять.—Что есть по сдаче?—Вот тебе честь и место—ни спать, ни дремать, фицерам честь давать; вот тебе две стены, ворота и будка; смотреть за порядком“.

Тогда прежний разводящий говорит: „с часов марш“! Старого караула солдат в припрыжку удаляется в караулку, чтобы уйти в казармы, а новый начинает ходить; остальные с разводящими отправляются сменять другие *посты*. Обыкновенно бывает двое *„разводящих“*: для *внутренних* (в коридорах) *постов* и для *внешних* (на дворе). В коридорах происходит та же самая процедура со следующими изменениями:

— Чего пришел?

— Вас с часов сменять.

— Что есть по сдаче?

— Вот тебе честь и место—ни спать, ни дремать, фицерам честь отдавать; вот тебе пять ристованных, шесть замков, восемь дверей, лампа, окно; смотреть за порядком, чтобы ристанты не шумели, в карты не играли, водки не пили, не кричали, не переговаривались; докладывать обо всем караульному начальнику; без разводящего никого не допущать.

Трудно приходится молодому солдату, и много достается ему, покуда он, как попугай, отбарабанит без передышки все вышеприведенное. Весь формализм *сдачи* зависит от „разводящего“: при одном и вышесказанного не говорится, а иной прибавляет и еще вопросы.

— А ежели ристант шуметь будить?

— Доложить начальнику.

— А ежели подкоп, взлом?

— Доложить начальнику.

— А ежели бежать ристант будить?

— Долож...

— Ах ты,—я те доложу!

Часовой в недоумении.

— Ежели *совсем* бежать будить?—переспрашивает „разводящий“.

Солдат молчит.

— Ах ты сволочь! вот я тибе! Ежели бежать, то ись, совсем?

— Стрилять?..

— Ну, то-то же! Ты только забудь!

— Никак нет-с.

— То-то же! А ще чиво нельзя?

— Чтобы не шумели, чтобы...

— Ты говорил уж это, дурак!

Молчание.

— Курить, то ись, есть тибе можно?

— Никак нет-с.

— Ну, чорт с тобой! Не забудь же, когда фицер!.. Стой!

И караул удаляется, а солдат плюет ему в догонку; молодые солдаты обыкновенно бывают напуганы, беспрестанно смотрят в окошечко камер, делая глупейшие замечания.

— Чего ходишь по камере-то?

— А тебе что?

— Посадили, так сиди, а то нам ведь тоже...

Или:

— Слезь с окна?

— Это дозволено.

— Кто тебе дозволил?

— Убирайся к чорту!

— Разводящий!—орет неопытный часовой;—позвать разводящего!

Приходит „разводящий“.

— Чего тебе?—спрашивает он у часового.

— Вон тот на окне сидит.

— А тебе что?

— Нешто можно?

— Дурак!

И разводящий уходит.

— Чорт его знает, что можно, а что нельзя—тьфу!—бормочет солдат и начинает, как маятник, шататься по коридору, задевая штыком двери.

Придет ли сторож затопить печку или зажечь в коридоре лампу, молодой солдат не допускает и прямо направляет штык; всегда требуется разводящий, который и ругает часового за *тревогу*, не соображая, что сам же ему приказывал „никого не допущать“.

Старые, опытные солдаты, проделав формальность, ничего не выполняют, зная, что такое „слово и дело“, и соображая, когда что нужно; иные критикуют формализм, который доходит до абсурда. Спрашивает, например, арестант:

— Который час?

— Нам не дозволено.

Однажды я угорел и, упав на пол, крикнул часовому:

— Доложите разводящему!

— Нам не дозволено разговаривать,—отвечал часовой, мирно шагая по коридору, хотя о всяком происшествии часовые должны докладывать караульному начальнику. В полубесчувственном состоянии я пролежал на полу до другой смены; я уже не слышал ничего, но обо мне, как передавали, было заявлено следующим образом.

— Что, все спокойно?—спросил сменивший часовой.

— Все, только вон эфтот на полу качается.

— Эй ты! как тебя!—начал звать меня новый часовой.

Я, конечно, ничего не отвечал; тогда позвали разводящего, а этот последний позвал уже офицера и смотрителя.

Тотчас после поверки к столбам с колоколами (один церковный, а другой для разных надобностей,—всего два) подходит „кашевар", молодой, высокий, худой парень, который ужасно почему-то любит изображать из себя индюка и корчить, потешая публику, ужасные рожи. Он обыкновенно заходит из-за спины и, придвинув свою физиономию к чьему-нибудь лицу, скорчит гримасу; тот оборачивается, и оба хохочут.

После третьего звонка „на обед" отворяются камеры, и арестанты с деревянными кадочками бегут в кухню. Едят *всего один раз в сутки*, строго соблюдая посты; им отпускается 2¹/₂ ф. хлеба в день; мяса, кроме Р. Х. и Пасхи, никогда не полагается; варят день борщ, день суп с салом и другими не вполне доброкачественными продуктами, благодаря воровству подрядчиков, „старшего" и собственного, арестантами избранного старосты, о котором речь впереди.

Голодные арестанты, критикуя „бурду" или „помои", как они называют свою пищу, тащат лохани в камеры, в которых, кроме нар, нет ничего: ни столов, ни скамеек.

После обеда арестантов опять запирают; тогда отпускают на прогулку „баб".

Для большей ясности рассказываемого дальше нужно описать расположение Черниговского замка.

Он занимает квадратное пространство, окруженное со всех сторон высокою каменною белою стеною; единственный вход —ворота с севера; против ворот длинное полутораэтажное белое здание (напоминает формою букву Е без палочки в середине), в котором: в верхнем этаже церковь, больница и несколько камер в коридорах больничном и церковном; в нижнем полуэтаже, вправо—еврейская камера; под церковью, влево—русская; общая—под больницею, а в середине—„секретные" камеры для „следственных", которые содержатся отдельно

от „осужденных“ на пребывание в тюрьме по уголовным делам и „мировых“ (по приговорам мировых судей). Вправо, в углу (с.-з.),—двухэтажное белое здание с башней: здесь, внизу помещается мастерская для „мировых“; в с.-в. углу, влево от входа—тоже двухэтажное здание для „мировых“—специально женское отделение—за всевозможные проступки.

„Мировых“ и „осужденных“ держат сравнительно свободно; „следственных“—строже, но и то, смотря по делу; так, один еврей, Шеин, сидел по подозрению принятия участия в убийстве в одиночной камере с нарочно приставленным к нему часовым; а тот, кого подозревали в совершении убийства, сидел, во время следствия, в секретной; их выпускали гулять не более, как на час, один раз в сутки.

„Бабы“, конечно, еще более любопытны и, тотчас по выходе во двор, отправляются к воротам, где и засматривают в окошечко, если „хороший“ часовой и „дозволяет“. Русские бабы подходят к окнам большой (русской) камеры, а еврейки—к окнам еврейской и ведут беседы с арестантами-мужчинами, которые угощают „баб“ чем бог послал; они тоже дают, что могут; чаще всего угощаются табаком. Грозные часовые, соблюдая формальность, женщин к окнам мужского отделения не допускают; но стоит только застучать задвижкой у ворот, как арестантки и сами моментально убегают от окон, стремятся к крыльцу своего обиталища или прячутся в солдатскую будку—их любимое место. Если начальство заметит, что женщины перешагнули за назначенную для них черту, услышит разговоры под окнами, то сейчас же всех запирают в камеры, не разбирая все или не все виновны. Женщины этого боятся и всегда настороже.

Прогулке особенно радовались те из мужчин, которые имели любовниц среди арестанток. Первая пара состояла из солдата и некоей Домки. Солдат был замечательно грубый, вороватый и лживый человек; тащил все и ото всех, что попадалось под руки, сплетничал и доносил на всех, благодаря чему пользовался льготою,—ему поручено было наливать керосин во все лампы. Он был до крайности дерзок даже с самим старшим, но последний ничего не мог поделать, так как солдат угождал смотрителю, который и благоволил к нему.

При отталкивающей физиономии, черный, как цыган, с резкими, некрасивыми чертами лица, солдат ходил сгорбившись, ругался постоянно и за грош готов был, что называется, душу продать. Был он в русско-турецкой войне, откуда возвратился с пятнадцатью полуимпериалами и несколькими золотыми часами, все это спустил, украл какие-то „кожухи“, за что и был присужден к арестантским ротам; по болезни ему заменили это наказание двухлетним тюремным заключением.

Несмотря на все свои дурные качества, он сумел горячо привязаться к своей Домке,—курносому, злому, рябому, некрасивому созданию, которое одно властвовало над воином.

Наум („старший“) однажды устроил такую штуку ненавистному солдату. Пришло предписание перевести часть женщин из Черниговского губернского замка в одну из уездных тюрем; благодаря хлопотам „старшего“, в число отправленных вошла и Домка.

Солдат плакал, прощаясь; был все время скучен, употребил все усилия, чтобы достать денег, и выхлопотал обратный перевод Домки. Домка возвратилась, и воин просиял.

Вторая пара состояла из хорошего сапожника, но страшного пьяницы, Гордея, и сухопарой, бледноглазой мещанки, Анны, которая, желая подражать барыням, очень неуклюже кокетничала и безобразно одевалась; что было хорошего в костюме Анны, так это идеально сшитые ботинки на высочайших каблуках; долго трудился над этими ботинками Гордей, но зато они были предметом зависти всех баб, не имевших любовников. Их было около двадцати. Все они усердно подыскивали ухаживателей, но таковых не оказывалось, не потому, чтобы остальные женщины были менее красивы (Домка и Анна были чуть ли не хуже всех), а потому что экономическое положение мужчин было очень плохое: „свяжись с бабою, денег надо“,—говорили арестанты,—„того купи, другого купи“. И, действительно, Гордей и солдат все тратили на любовниц, хотя любовь, благодаря строгому надзору, была лишь платоническая, и влюбленные бывали вместе только раз в день, а в остальное время виделись и разговаривали лишь через окна.

Солдат, как мы уже сказали, пользовался льготою и его не запирали до вечерней „зори“, а потому ему удавалось часто видеться с Домкой—во время прогулки женщин; сапожника не запирали, как работавшего в мастерской, и он тоже, следовательно, мог встречаться с Анной. Свидания были, по истине, оригинальные.

Солдат и сапожник тихими шагами, смотря на часового и прислушиваясь к стуку у ворот, пробираются на встречу „бабам“, идущим также осторожно; если часовой молчит, то они беспрепятственно сходятся, крепко жмут друг другу руки, горячо целуются и стоят, держась за руки, до первого стука; малейший шорох—и они быстро разбегаются в стороны; если тревога ложная, опять собираются, устраивая на виду у всех любовные картины.

Интересно то, что арестанты никогда не выражали громко насмешек, видя любящие пары, хотя втихомолку иронизировали относительно влюбленных.

Самый факт глубокой привязанности и нежных отноше-

ний производил крайне приятное впечатление, выказывая человеческую, хорошую сторону людей, ту искру божию, которая не тухнет при самых скверных нравственных и физических условиях. Само собою между любящими по временам происходили и чрезвычайно грязные сцены взаимных укоров, ругательств, недоверия.

Особенно это часто бывало между сапожником и Анною, когда первый, напившись до пьяна (Гордей иногда ходил со сторожем на базар за товаром), рассказывал нарочно громко, как он угощал баб в трактире. Анна выходила из себя, и происходили страшные ссоры.

— Рупь на баб, братцы мои, издержал, рассказывает Гордей.

— О-о?!—восклицают арестанты.

— Провались на этом месте!

— А бабы каковы?

— Первый сорт!—один жир!—не то что моя сухопарая жидовка!

Анна злилась и выбрасывала, обыкновенно, из окна верхнего этажа все подарки сапожника, ругая его, на чем свет стоит; арестанты, поддерживая сапожника, гоготали во все горло.

Насколько сапожник был более виновен по отношению к Анне, настолько Домка была виновна по отношению к солдату. За самую малость Домка сердилась, кричала, швыряла и портила подарки возлюбленного, но последний молчал и ни единым словом не осмеливался укорять ее и только на стороне, когда Домка не слышала, изливал злобу.

Остальные женщины были „вольные“ и, как мы сказали, очень сожалели о невозможности иметь любовников.

Между высылкой и возращением Домки солдат сошелся, было, с одною очень красивою арестанткою, скучая все-таки о Домке, но едва последняя пришла, он бросил красавицу. Домка долго не могла забыть этой кратковременной измены и при случае упрекала его, приводя солдата в немалое смущение.

„Вольные“ обращались со всеми одинаково, разговаривая и заигрывая с первым встречным при всяком случае. Предметом шуток, острот и самым увеселяющим элементом служила некая Евлашка. Обрюзглая, довольно полная, с веснушками на лице, Евлаша постоянно тараторила звонким, тоненьким голосом и вечно заливалась по поводу отпускаемых ей острот. Сама она не стеснялась отвечать тем же, но была в словах несравненно сдержаннее и деликатнее своих товарок, которые в ругательствах, если не превосходили, то и не уступали мужчинам. Хотя в цинизме по отношению к женщинам недостатка не было, но всего циничнее обращались с

добродушною Евлашкою. Бойкие и сильные арестантки защищались довольно храбро не только кулаками, но и камнями, а Евлашка только старалась скорчить сердитую физиономию, да стучала о землю ногами. Впрочем нужно заметить, что очень часто женщины сами подавали повод к циничному обращению.

Если было невозможно стоять у ворот или разговаривать у окон, арестантки садились возле своего здания и занимались шитьем, вязаньем и т. д., при чем большинство усердно курило.

После двухчасовой прогулки женщин запирали, и от 4-х до 7-ми часов вечера гуляли мужчины. Это было самое хорошее время для арестантов; они затевали игры, песни, пляски, если, конечно, не появлялось начальство.

Вон собралась группа возле седого старика—крестьянина с длинною, черною с проседью бородой и с бельмом на глазу. Старик вечно что-нибудь да работает, вспоминая, нужно думать, крестьянскую, вечно трудовую жизнь. Обыкновенно молчаливый, он, по просьбе молодежи, играет языком, взяв, лишь для иллюзии, две палочки, которые заменяют ему скрипку и смычек; играет старик до того хорошо, что обманываешься и слышишь звуки сельской скрипки. Воображение переносит тебя на какую-нибудь сельскую свадьбу, где, под неприхотливую музыку сельского скрипача, пляшут молодые пары, а иногда и старик войдет в круг. И как грустно, тяжело делается, когда действительность, после минутной иллюзии, заставит осмотреться вокруг и увидать высокие стены тюремного двора...

Обыкновенно, когда „дид“ играет, старые и малые идут смотреть и слушать; пляшущих мало, но некоторые танцуют отлично.

Старик играет редко, а потому молодежь устраивает больше чехарду, играет „в бабки“ или выдумывает другие игры, в которых нередко принимает участие и солидный люд.

В Черниговском замке был немалый % совершенно молодых ребят и даже детей; последние, в большинстве случаев, сидели за кражу сала, яблок и т. п.; эти маленькие, глупые воры содержались по приговорам мировых судей и помещались в замке вместе со взрослыми: в губернском городе не было отдельного здания для малолетних преступников. Здесь дети выучивались уже более грандиозным мошенничествам и, отсидев срок за ничтожную кражу, вскоре появлялись вновь, по обвинению в более серьезных преступлениях. Нередко ребята эти жалели, что приходится мало сидеть в замке, так им хорошо здесь казалось сравнительно с неприглядной жизнью дома, на воле.

— Спи хоть целый день, суп и борщ ешь, ничего не делай,—говорили они, вспоминая, быть может, дни совершенного голода, дни трудов от зари до зари, ночлеги где-нибудь на дворе или в курной избе.

Ребятишки с любопытством и понятливостью слушают тюремных учителей, обучающих за небольшую плату—выдавить без шума стекло, не разбудив хозяев; ломать замки ломом, без стука, и тому подобным познаниям, необходимым для успешного ведения воровского дела. В наше время был в тюрьме крестьянин, к которому приходили окрестные жители с просьбой поворожить,—где найти украденных лошадей, коров и т. д. Крестьянин брал деньги, ворожил добросовестно, указывал места, где находится похищенное, а среди *своих* рассказывал, что все находимое по его указаниям было украдено при его же помощи. Вон какой-то бродяга рассказывает свои похождения, вызывающие удивление и уважение, благодаря чему курит табак слушателей.

— Что это за замок и что тут за секретные! Да тут в секретной сто лет просиди, ничего с тобой не сделается—вот посидел-бы в Херсоне!..

— А что?

— Прямо—ящики!

— Ящики?

— Как есть—ящики.

— И туда, значит?

— Прямо вот тебя бросят и сиди!

— Сиживал?

— Я-то? Да там у меня приятелев видимо-невидимо, денег у всякого куры не клюют; там, братцы вы мои, одного посадили, а все за тебя,—ну и живешь барином, а здесь у вас народ сволочь.

И пошли рассказы про тюрьмы,—где кто сидел, о начальстве, смотрителях.

— Да жрут-то у вас по собачьи—раз в день!—где это видано...

— Кандальщиков у нас нет...

— Э-э,—кабы кандальщики! Вон в Харькове: там не дай жрать—сейчас пузо распорет! Кандальщику все одно!

— Что и говорить!

Бывший *архиерейский лакей* из духовного звания, обижающийся, если его не называют дворянином, одетый, за неимением полной черной пары, в черный сюртук и белые подштанники, собрал вокруг себя не мало слушателей. Говорит он тоненьким голоском, держит себя важно, хотя и прозывается „длинногривый жеребец“ за рыжие, длинные волосы (он прислуживал в качестве дьячка в тюремной церкви) и за рыжую громадных размеров бороду, напоминающую помело.

— Я, бывало, не меньше трех блюд...

— Каких *блюд?*

— Эх ты!—так называются кушанья: блюда...

— Да ты что? Ты думаешь, мы не знаем? Сами тоже, может, блюда едали!—обижаются слушатели на „дворянина“.

— Бывало, беспременно, борщ, потом без жаркова жить не мог, ну и еще в роде там каши молочной, или другого пирожного...

Группа слушателей увеличивается, хотя бывший лакей повествует ежедневно все одно и то же с небольшими лишь вариациями.

— А потом ежели по епархии — боже мой! — рассказчик кивает головой и закрывает глаза от удовольствия—поп не знает, что делать, чем угостить: „Аким, говорит, Акимыч, водочки, селедочки, наливочки, пирожка“!..

— А архирей где?

— Архирей? Ну, он там, в залах...

— А ты?

— Я то?.. Дураки вы, — боязливо заключает „дворянин“, вставая и собираясь уходить.

Ему нахлобучивают на голову шапку и дают коленом в зад; „дворянин“ отпрыгивает и ругается сквозь зубы. Он в большой дружбе с Наумом и старостою, с арестантами говорит только в силу необходимости, „развлечения ради“, хотя история эта повторяется ежедневно.

Главное занятие всех арестантов, особенно молодых, — это „дразнить жидов“.

Козлом отпущения чаще всего был один несчастный, бедный, забитый еврей—Розен. Его худая, заморенная, вытянутая физиономия производила крайне тяжелое впечатление. Он сидел уже четвертый раз за мелкую кражу и каждый раз отсиживал по шести месяцев. Ему ни разу не удалось воспользоваться украденной вещью: обыкновенно его ловили, били, отнимали украденное и отправляли в тюрьму. Розен был очень беден и имел единственное любящее его существо— мать, которая, несмотря на преклонные лета и болезнь, приносила ему ежедневно пищу. Розен, повидимому, и крал для нее же, не имея возможности отогнать грозившую ей голодную смерть. В наше время бедняк этот сидел за украденную варшавского серебра ложечку, которую у него отняли.

Евреи не любили Розена и за легкое отношение его к Талмуду и особенно еще за то, что он когда-то украл книгу с молитвами и заложил в православном кабаке.

Натура болезненно-нервная, Розен доходил до философии в своих размышлениях о жизни.

— Кто меня бьет, тот дурак; я не хочу быть глупее его

и не стану его бить,—успокаивал он себя. Только в крайних случаях он кричал или даже кусался; в большинстве же случаев убегал, говоря:

— И за что, скажите, вы бьете меня?

Его все били и на него же и жаловались, так что несчастный очень часто попадал в карцер.

Самым жестоким мучителем Розена был некий Неточай. Он органически ненавидел „жидов“ и часто, например, брызгал керосином в глаза Розену и другим евреям; к общей потехе публики, подставлял им ноги, швырял в них камнями.

Неточай—чистый украинец, круглый сирота чуть не с пеленок, уже шести лет „случайно“ украл тройку лошадей и продал ее за три рубля цыганам. Он прекрасно знал организацию конокрадов. Недюжинные способности дали ему возможность за время тюремного заключения, урывками от арестантов и солдат, выучиться читать и писать. Его судили по восьми делам; чистосердечный и картинный рассказ Неточая о жизни, доведшей его до воровства, произвел такое впечатление на суд, что, несмотря на многие кражи со взломом, ему смягчили наказание и приговорили лишь к 8 месяцам заключения в тюрьме. Неточай был очень честен, и ему безбоязненно можно было вручить какую угодно сумму денег. Благодаря прислуживанию (топил печи, разливал керосин и т. д.), Неточай зарабатывал в месяц по несколько рублей, которыми, как и всем имуществом, делился со всеми, включая и Розена.

— Не хотелось бы красть по выходе из тюрьмы,—говорил он, — да ведь что будешь делать? И место-то трудно найти!

В наше время Неточаю оканчивался уже срок сидения (он пробыл более года под следствием), но жители его родной деревни не соглашались принять арестанта в свою среду, а не принятых отправляют в Сибирь.

Характер и самостоятельность Неточая были удивительны, вследствие чего, несмотря на свою молодость, он был всеми уважаем. Все обращались к нему за советом и даже начальство относилось к нему хорошо. Никогда ни одного доноса, ни одной подлости не вышло от него, и сказанное можно было считать за несомненную тайну, которую он никому не выдаст, а это было редкостью в Черниговском замке, где доносы друг на друга были в большом ходу. Женщин Неточай стеснялся и всегда краснел, когда какая-нибудь из них отпускала остроту насчет его половой зрелости. Наружный вид Неточая на первый раз производил даже отталкивающее впечатление, но чем дальше, тем делался он симпатичнее, и его можно было полюбить от всей души. Не по летам толстый живот, круглое, жирное, красное лицо с большими на выкате, сине-

ватого цвета глазами, довольно низкий рост и никогда нечесаные волосы—все это делало его непрезентабельным.

Ходит, бывало, он с палкой по двору и о чем-то думает; все, решительно все его интересовало, и как радовался он, когда находил человека, могущего удовлетворить его любознательность. Неточай знал все тюремные новости, изучил всю арестантскую премудрость, критикуя, расхваливая или иронизируя над известными явлениями тюремной жизни. Натура увлекающаяся, он раза два за все время сиденья напился пьян и потом сам же ругал себя; сберечь денег никогда не мог, хотя и говорил, что ему необходимо иметь что-нибудь „к выходу".

Кстати о деньгах. Лично ни один арестант ничего не может себе купить, даже имея деньги; но и здесь, как и везде, тюремные торговцы снабжали желающих очень многим: табаком, селедками, булками и даже водкою, конечно, по несообразно высоким ценам. Кроме того, арестанты и арестантки на свои гроши, припрятанные ими „на всяк случай", поручали сторожам покупать то то, то другое; надзиратели редко отказывались от комиссий, так как всегда очень значительный % попадал в их карман „за проходку" и благодаря тому, что товар покупали плохой, а цены выставляли высокие.

Наум в делах „купли" и „продажи" сделался чистейшим монополистом, выручая,—особенно с продажи,—довольно значительные суммы.

Продавались старые и новые вещи, казенные и частные арестантские. В этих случаях приходилось слышать о довольно занимательных явлениях из арестантской жизни.

Является, например, в острог „новичок"; его окружает группа арестантов, среди которых присутствуют и члены тайного сообщества явных грабителей. Новичку предлагают довольно интересные вопросы; ему излагают тезисы тюремной жизни. Новичок, ничего не подозревая, слушает со вниманием и отвечает охотно. Вдруг какая-то невидимая рука схватывает с него шапку, шарф или что-нибудь из мелкой движимой собственности и бросает в толпу. Новичек туда-сюда, но вещь уже пропала и, пройдя через несколько рук, попадает в конце концов к Науму, который и продает украденное на базаре за приличную цену, отдав незначительную лишь часть % тюремным агентам. Пропадали у новичков, да и не у новичков, не только мелочи, но даже, напр., полушубки, уж не говоря о том, что арестант, отсидев срок, никогда не получал своих вещей, если же и получал, то вместо новых старые.

— Да ведь у меня сапоги-то новенькие были!—говорит арестант.

— А ты сколько сидел?

— Ну, шесть месяцев.

-- Этого не считаешь?

— Разве я их носил? Я ведь в арестантских ходил.

— В арестантских!... А что же твои-то железные, что все новые будут?

— Да я их не носил!

— Бери, коли дают, а то и этих не получишь.

— А рубаха?

— Какая рубаха?

— Ведомо, моя, значит.

— Батьку своего спроси! Ты много сюда принес?

— Много-ль, мало ль, а рубаху, значит, отдавай!

— Есть-ли крест-то на тебе? Какая рубаха?—отвечает „старший“, который „выгодою“ от арестантских денег и вещей делился со смотрителем.

— Тьфу, мироеды проклятые!—скажет, отплевываясь, несчастный и, почесав затылок, полуголый уходит из тюрьмы.

Относительно денег происходили еще лучшие сцены:

— Ваше благородие! Прошу вашу милость, дайте мне немножко из моих-то деньжат,—просит арестант смотрителя, сняв шапку и униженно кланяясь.

— Некогда!—грозно отвечает смотритель.

— Ваше благородие!

— Времени нет, говорят тебе!... Завтра!

— Да я уж, ваше благородие, месяц, вот, прошу.

— Эй, сторож! В карцер его мерзавца!

— За что же ваше благородие?

— Аа! ты грубить? В карцер!..

И раба божьего тащут в карцер.

— В карты вам играть, мошенники!... Я вам дам деньги! —продолжает смотритель, отнимая последнюю надежду у желающих получить часть своих денег на необходимые расходы, в роде, например, дать жене, пришедшей на свидание, ребенку и т. д.

Карты, несмотря на все строгости и обыски, были, действительно, в большом ходу, и арестанты, проигравшись иногда до последней нитки, играли даже на пайки, на обед и голодали по несколько дней. Играли, однако, далеко не все, а лишь самый незначительный %, а денег не получал *никто*, даже при выходе из тюрьмы. Не полностью выдавались и деньги, заработанные на воле.

„На волю“ отпускались, собственно говоря, только „мировые“, в сопровождении сторожей, и работали в городе по найму целый день, часов от шести утра до семи вечера. Из зарабо-

танных денег 20 копеек они отдавали в „комитет“, а остальные следовало бы им получать; но и здесь начальство умудрялось сгребать арестантские гроши, отпуская работать только тех, которые соглашались давать известный % „старшему“ или смотрителю. Последний, кажется, сам за них и договаривался. Мастерская арестантская поставляла не только смотрителю, но и его знакомым *даром* все, что в ней изготовляли.

Да и кто из арестантов не согласился бы дать какой угодно %, лишь бы выйти из тюрьмы, потрудиться „на воле“, особенно крестьяне, привыкшие жить трудом, без которого они, как говорится, сами не свои.

Раз вместе с „мировыми“ было выпущено еще два:—следственный и приговоренный к 10-ти летней каторге; оба бежали; первого поймали и, избив в полиции, привели в тюрьму, где он, несмотря на полумертвое состояние, получил трепку от обрадованного его поимкой смотрителя; второго не поймали, и Завадский впоследствии был, кажется, за это смещен с должности.

Этот смотритель всегда сам лично расправлялся с арестантами собственными кулаками.

Вопрос—лучше или хуже он поступал?

Дело в том, что, в случае бунтов, криков или ссор между арестантами, призывали конвой. который, не разбирая ни правого ни виноватого, лупил всех прикладами. Завадский никогда не звал конвоя и даже отсылал его, если заставал на месте происшествия, и разбирал дело сам. Дрался он сильно, до того, что у него опухали ладони; особенно не долюбливал он евреев, которые вечно ссорились и кричали невыносимо. Благодаря тесноте (более 20 душ в одной небольшой камере) столкновения у них происходили весьма часто, почему то и дело раздавались голоса.

— Конвой! Конвой! Зарежут!!

— Конвой! Смотрителя! Офицера!

— Умираю! оё-ёй!!

И, действительно, не раз было недалеко до смертельных случаев. Являлся Завадский и колотил всех без разбора. Очень часто в тихие ночи раздавался громкий ляск от пощечин. После такого побоища, смотритель остывал быстро, делался веселым, добрым.

— Эх, отдул же его! — говаривал он улыбаясь — руки опухли! Нельзя иначе-с! Поверите ли, как хвачу, как хвачу— э-эх! Улыбка озаряла его красное, пухлое лицо и он сиял от удовольствия.

Раз случилось взволновавшее всю тюрьму происшествие.

Привели какого-то несчастного еврея из уезда, подозревая его в краже лошади. Судебный следователь, впредь до

снятия допроса, приказал засадить его в одиночную камеру. Еврей страшно испугался. Он очень отощал и прозяб, пройдя около ста верст по грязной, осенней дороге. Арестант бился, как птица в клетке, плакал, кричал, стучал—ничего не помогло! Он просил есть—не дали, так как паек мог ему выйти лишь с утра следующего дня. Тогда еврей прибег к последнему средству, практикуемому почти всеми арестантами, желающими запутать дело или добиться разговора с начальством, он начал звать смотрителя, желая „открыть секрет“.

— Позовите смотрителя!—кричал несчастный в окно.

— На что тебе?—спокойно спрашивает сторож.

— Я умру с голоду, я ничего не ел!

— Не наше дело,—начальство знает, что делает.

— Да ведь я есть хочу!

— Завтра получишь,—не умрешь, пархв!

— Я *секрет* хочу открыть.

— Знаем мы ваши секреты!—отвечает сторож и спокойно уходит. Евреи, услышав крик своего собрата, заволновались, но скоро успокоились. Настала ночь, осенняя, холодная, с завывающим ветром. Еврей перестал кричать, только изредка раздавались его всхлипывания в холодной камере, на голых нарах; наконец, он совершенно притих.

Вдруг, среди ночи послышался голос часового:

— Эй ты! зажги свечу!

Ответа нет.

— Эй! как тебя?!? Солдат стучит в окно.

Ответа нет.

— Послушай, земляк!!

Благодаря абсолютной, невозмутимой тишине, солдат услышал лишь глухое *хрипение*.

Часовой испугался и поднял тревогу:

— Позвать разводящего! Несчастие!

Прибежал „разводящий“,—звали, звали, стучали, кричали —хрипит еврей, да и только. Разводящий побежал обратно и возвратился уже с испуганным смотрителем и офицером; отворили дверь и прямо наткнулись на повесившегося еврея. Моментально была обрезана веревка, привязанная к решетке в верхней части двери, и еврей с шумом упал на пол.

Смотритель начал..... бить еврея, бить по чем попало и, наконец, велел вылить на него целое ведро воды.

— А—а, с... с...!—шипел смотритель в припадке гнева —так ты умирать?! умирать?!! Вставай!! я тебе покажу!

Произошло чудо: еврей ожил и сейчас же начал умолять смотрителя не бить его и не лить на него воду!

— А-а, мерзавец!!—продолжал смотритель; утомил же ты меня, подлец!

Служитель и солдат раздели еврея догола и перевели в *общую* камеру, где он и остался, трясясь, как в лихорадке. А часовой так испугался, что все шептал:—„Пресвятая Богородица, помилуй нас грешных! Вот если бы сдох в петле—в арестантские бы пошел"!

Возвращаясь к обыденной жизни арестантов, скажем, что в послеобеденной прогулке мужчин не мало развлечения представляли те же самые „бабы", теперь запертые и переговаривающиеся из окон с гуляющими. Разговоры в большинстве случаев были скабрезные, подкрепленные площадными ругательствами; только влюбленные вели мирные беседы, когда между ними не пробегала черная кошка.

Во время этой же прогулки производились и практические сделки при посредстве длинной веревки. Бабы от себя по веревке спускали все необходимое для арестантов, а последние привязывали багаж внизу, и таким образом происходил обмен гостинцев и всего нужного. Веревка или нитка практиковались во всех зданиях, и общение происходило постоянно. На это беззаконие часовые смотрели сквозь пальцы.

ВЕЧЕР И НОЧЬ В ТЮРЬМЕ.

Часов в 6 или 7 опять звонили в колокол на последнюю, *третью* поверку, которая совершалась, как и утренняя, с той лишь разницей, что теперь поверял только один старый караул. Часовых при этой поверке обыкновенно ни о чем уж не спрашивали.

Всего неприятнее было итти арестантам на эту поверку, так как после нее их запирали уже до следующего дня. Особенно неохотно шли они летом, в прекрасные тихие вечера, когда бы только и дышать свежим воздухом, а тут сиди в душной камере.

Оставались не запертыми несколько времени после этой поверки только работавшие в мастерской, исполнявшие какие-нибудь тюремные работы и работавшие „на воле". Последние приходили позже из города и приносили всевозможные известия, а также письма от родных и знакомых. Все это делалось, конечно, конспиративно, но зато какую радость доставляли всегда эти благодетели тюрьмы!

Часам к 8-ми запирали и мастеровых, самых веселых людей в тюрьме; а вместе с ними и Неточая, всегда умевшего пребывание во дворе дотянуть до самой крайней возможности; для этого он выдумывал самые несообразные надобности, то суетясь, при входе начальства, то еле-еле передвигая ноги, когда начальства не было. Заметим при этом, что вообще работы в тюремном замке исполнялись арестантами нерадиво, благодаря отчасти отсутствию платы за труд, а отчасти и от простого нежелания работать по заказу. *Мастеровые* долго не унимались; как только их запирали в нижнюю камеру, имевшую по соседству женское отделение, они отворяли окна и начинали сначала переговариваться, а затем спорить и ругаться с бабами. Потом начинались solo, дуэты, trio, а в конце хор. Из солистов был знаменит один сапожник, который каждый вечер пел на один и тот же мотив две песни, оглашая всю тюрьму крикливым голосом.

Раз приехал ю сталыцю,
Ю прикрасный городок,
Там увидел я девыцю,
Продающую квасок.
Попросил іе напыцця,
Яна, сволочь, не дала.

Последние два стиха мы не можем привести, благодаря их нецензурности; вторая песня не цензурна от начала до конца. По окончании этих песен, несмотря на их ежедневное повторение, раздавался громкий смех обоего пола арестантов и сдержанный—часовых.

После solo сапожника-артиста пел хор. Одна из хоровых песен произвела на нас особенно сильное впечатление. Она сложилась, очевидно, в Черниговской же губернии, и именно в одном из северных уездов. Вот запомненный нами кусочек ее:

Я по волюшке гулял,
В острог каменный попал.
Ты не дай же, моя мати,
Круты горушки копати. .
. . . .
. . . .
Прощай, город Новозыбков,
Прощай каменный острог!
Уведут меня далеко,
В чужу дальнюю сторону;
Ручки, ножки закуют,
Трех солдатиков дадут.
Три солдата приубраны,
У них ружья со штыком.
Вы послушайте, ребята,
Что вам буду говорить:
Вы раскуйте ручки, ножки,
Я свободно буду йтить......

Далее автор этой песни мечтает, как бы он ушел в „лес зеленый“ и „вольной пташкой“ улетел бы „на волю,“ в милые места, где его семья, дети. Обыкновенно после этой песни все стихало и наступала мертвая тишина, среди которой, в 9 ч. вечера, громко раздавалась „вечерняя зоря“.

Тотчас после „зори“ разводящий проверял посты и раздавал „пароли“, опять спрашивая „обязанности“ и внушая исполнять их, дополнив кое-что *новое*. „Пароль“, как известно, тайна и передается секретно, шопотом. Когда пароль „легкий“,

солдат после трех-четырехкратных повторений запоминает его; когда же „трудный“, разводящему приходится повторить пароль не один десяток раз и довольно громко.

Однажды был отдан пароль что-то вроде „Абобьернборг“.

Солдат был неграмотный и не мог записать, как это делали часто грамотные, записывающие пароль на клочке бумаги или на стене, что впрочем строго воспрещалось. При этом нужно заметить, что на ночь солдатам отдавались строгие наказы по отношению к арестантам, сидевшим в одиночных камерах.

Приказы отдавались так:

— Должон ты допущать кого-нибудь?—спрашивает разводящий часового.

— Никак нет-с!

— А ежели фицер?

— Никак нет-с!

— А ежели я?

— Никак нет-с!

— А кого?

— Государя императора, коли ежели знаю в лицо.

— А еще кого?

— Никак нет-с!

— А ежели с „паролем“?

— Тогда пущу.

— А как должон допущать, ежели, примерно, идет?

— Кричать должон.

— Как должон?

— Кто идет?!?

— Нну?

— Что пароль?

— Брешешь!

Молчание.

— Что он тебе отвечать должон?

— Не могу знать-с.

— Дурак! Он скажет: „свой“, а ты что?

— Стой свой!—что пароль?!—Коли скажет—иди!

— Ну, ладно; а ружье можно давать?

— Никак нет-с.

— Никому?

— Только вам, да государю императору, коли ежели знаю в лицо.

— Ладно—стой!

И вот среди безмолвной глубокой ночи раздается пронзительный крик во всю глотку.

— Стой! Кто идет?!?

— Свой!

— Стой свой!—что пароль?!?

Если пароль объявлен, часовой пропускает. Нужно спать сном мертвеца, чтобы не вскочить, как сумасшедшему, от этих возгласов; кроме того, г.г. разводящие и офицеры, являясь ночью, изо всей мочи дергали замки, желая удостовериться в их крепости; офицеры, в свою очередь, спрашивали „обязанности“ у часовых и часто, особенно когда бывали пьяны, ругались среди ночи громко и крепко за малейшую неточность или просто *привязывались*, желая показать власть.

Возвращаемся к паролю. Солдат не мог выговорить „Абобьернборг“. Сначала слово это как будто и далось ему, но чем дальше, тем выходило все чудовищнее, а в конце концов солдат, ходя по коридору, уже нашептывал: „Баербар, бирбор, бирбробро“... и т. д. Кто-то идет; часовой кричит: стой! Кто идет?!? Ему в ответ: свой!—Стой свой! Что пароль? Пароль сказан, и солдат, по созвучию, предполагая, что пароль *тот*, пропускает офицера, который, заглянув в окошечки в дверях, обратился к часовому за „обязанностями“ и, наконец, спросил: „что пароль“?

— Ббо—Бробох...

— Как?!?

— Бобог...

— Разводящий! скажи ему пароль и сменить его!

— „Абрибонбирг...“ подсказывает разводящий, сам забыв пароль, но строго глядя на часового.

— Как?!?—переспрашивает офицер у разводящего.

— „Абрибобунгрбрг...“—лепетал растерявшийся разводящий. На другой день оба, и часовой и разводящий, сидели на гауптвахте.

Иной раз часовые засыпали на часах, и только слезная мольба перед разводящим спасала их от суда. Впрочем, попадались только молодые солдаты—старые спали так чутко, что легкие шаги пробуждали их, и они никогда не попадались. Ночные тревоги бывали очень часто и требовательность, особенно неопытных, молодых часовых, доходила до безобразия.

— Эй,—послушай!—будит часовой среди ночи—пусти-ка свету!

— Да разве тебе не видно?

— Говорят, пусти!

Через несколько времени опять будит:

— Послушай! Эй! как тебя?!

— Что?

— Треснет стекло,—опусти огонь!

Или:

— Чего не спишь?

— Не хочу.

— Ты не рассказывай! Приказано, чтобы спали.

После Завадского в Черниговском замке смотрителем был бурбон в полном смысле этого слова, глупый, грубый и атлетического сложения. Эта приказная строка, заводя новые порядки, между прочим, вместо керосина, ввел сальные свечи без подсвечников. Свечи, догорая, расплывались, жгли столы, подоконники, и часовой то и дело будил арестанта—тушить пожар или зажигать потухшую свечу.

Долго раздаются какие-то звуки, какой-то гул, доносящийся из города и из камер арестантов; слышны отдельные возгласы, разговоры сторожей, расходящихся по домам; порой врывается раздирающий душу крик или шум, на который прибегал Завадский, чтобы „почесать кулаки", как он выражался. Но часов в 10 наступала безмолвная, мертвая, тяжелая тишина, прерываемая лишь возгласами часовых; а то прогремят парашники с полуразваленными деревянными бочками для очистки ретирадов, что делалось ночью. Вонь в это время распространялась по всему замку невыносимая, так как нечистоты вываливались из этих *герметически закупоренных* бочек и половина экскрементов оставалась тут же во дворе.

ТЮРЕМНЫЕ ВЛАСТИ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ ЛИЦА.

Дни идут за днями незаметно; рассудок притупляется, засыпает; впечатлений нет никаких, даже времена года как-то исчезают, сливаются. Двор подчищенный, точно бритая физиономия чиновника, всегда сух, чист и неизменен; разве выпадет снег—знаешь, что зима, вот и все—лето и весна незаметны. Зимою и летом, осенью и весною—те же звонки, те же разговоры, прогулки; только зимою арестанты, дрожа от холода, в дырявых, холодных халатах, полубосые, гуляют недолго и предпочитают сидеть в камерах.

Единственное небольшое разнообразие тюремной жизни представляла баня, которую во все времена года топили через каждые две недели, по субботам.

Баньщик—довольно почетное лицо в тюрьме. Он обыкновенно назначался смотрителем по рекомендации Наума. Сначала баньщиком был солдат, о котором мы выше говорили, но потом он был подвергнут остракизму за разные незаконные деяния: 1) за грубое обращение со „старшими", 2) за то, что норовил мыться совместно с бабами, что ему нередко и удавалось, и 3)—довольно часто угощал угаром смотрителя и начальство. Вообще солдат небрежно относился к своим обязанностям, оставляя много воды для Домки, в ущерб семейству „старшего", который приводил в баню всех своих птенцов. После воина был назначен недалекий, но хитрый молодой старовер, Ярошенко; он, как и солдат, нанимал за незначительную плату арестантов, которые таскали в баню воду, дрова; сам же Ярошенко только приготовлял баню, т. е. в известное время стушивал огонь, разводил пары и, нужно сказать, был мастер своего дела. За баню с арестантов Ярошенко брал по 1 коп. с души. Смотритель, политические и сторонние посетители платили по 20—30 к., а иногда и больше.

Хотя главный заработок был от арестантов, его товарищей, но Ярошенко относился к ним крайне небрежно, давал мало воды (не более $^1/_2$ ведра на человека) и гнал из бани, ожидая прихода начальства, когда арестанты еще не успе-

вали обмыться. Мы уже не говорим о евреях, которых Ярошенко ненавидел принципиально, как „нехристей“, и только несомненный доход и начальство заставляли его пускать „жидов“.

Народу в баню набивалось, как сельдей в боченке (сначала русские, потом евреи); эта толпа забравшись во все углы небольшой бани, стоя, лежа, сидя, прела, потела и парилась двумя-тремя вениками, с жадностью выхватывала их друг у друга; потом, *вспрыснувши* себя водою,—иного выражения подобрать невозможно,—голые арестанты, красные, как раки, путешествовали по двору прямо в камеры: предбанника не было, а одеваться в бане было невозможно.

Летом прогулка эта совершалась медленно, „с прохлаждением“, и даже некоторыми, громогласно выражаемыми замечаниями относительно из'янов и качеств телесных; зимою голые тела скакали в припрыжку, высоко подымая пятки, благодаря неприятному соприкосновению распаренной кожи с холодным снегом.

После мужчин в баню шли женщины, доставлявшие немало наслаждений баньщику. Баня, кажется, и была причиной беременности нескольких баб, хотя начальство строго преследовало это, так как смотритель, за недосмотр, мог лишиться и должности.

Многие арестантки сидели вместе с детьми, но это были дети, появившиеся на свет божий еще до тюремного заключения. Несчастные создания эти подвергались всем неудобствам заключения, перенося тяжесть спертого воздуха, непитательность отвратительной арестантской пищи, угар, холод, простуду и т. д.

К чести обитателей тюрьмы и даже часовых нужно сказать, что все, без исключения, относились к детям с замечательною заботливостью, гуманностью и человечностью; часовые улыбались, глядя на маленькие существа, ползавшие и бегавшие по двору, а арестанты постоянно угощали детвору тюремными лакомствами и носили на руках; не было настолько грубого, черствого человека, у которого не появилась бы озаряющая лицо улыбка, какая-то задушевная, таящаяся в глубине души нежность при виде невинного создания, с доверием простирающего к нему рученки

И как же оживляли дети тюрьму!

Словно откуда-то из неведомых мест врывалась с ними жизнь. Сколько затаенных вздохов, сколько радостных картин проносилось у всякого, кто давно не видел своих детей, своих маленьких сестер, братьев...

После бани или до бани, как придется, арестантам самим смотрителем выдавалось чистое белье, состоящее из ру-

башки, штанов и онуч из грубого холста. Белье, обыкновенно, бывало всегда старое и рваное, несмотря на постоянную поставку нового одним монополистом, который вместе с тем, конечно, поставлял значительный % выгоды и тюремному начальству. Впоследствии в Черниговском замке решили, чтобы арестанты сами шили белье и обувь, так как в мастерах различного сорта недостатка не было. Вещь хорошая, но, к несчастью, большинство заработанной платы не доходило до рук арестантов, уже не говоря о гнилых материалах, которые выдавались мастерам. Сапоги, например, получались такие, что, при самой аккуратной носке, не было физической возможности носить их более месяца, а между тем в год полагалось на арестанта всего две пары; заключенные поэтому дохаживали сроки босиком, несмотря на времена года и погоду. Скажем, наконец, что арестанты спали на голых нарах без всяких постилок, и только в наше время губернатор предписал выдать заключенным мешки для сенников, что и было исполнено тюремным начальством, но не особенно охотно.

Суббота была наиболее интересным днем недели. Смотритель обыкновенно в этот день отправлялся с „рапортом" к губернатору. И, впредь до его возвращения, все откладывалось до очень позднего часа.

Сначала Завадский, а потом заместитель его, игравший роль какого-то Зевеса, появлялись ранним утром в субботу во дворе разодетыми в пух и прах: новый мундир, сабля на мишурной серебряной ленте, блестящее кепи с белой каемкой, белые перчатки составляли костюм смотрителей; они в эти дни особенно громко постукивали шпорами, закладывали руки за спину и гордо осматривали свое владение с точки зрения чистоты и внешней опрятности, на которую преимущественно налегали все чины административной и хозяйственной иерархии, посещавшие тюрьму. Субботний день очень часто был днем посещения сильных мира сего, наводивших панику на всю обитель.

В такие моменты Наум, также разодетый, смиренно шествовал позади парадного смотрителя с опущенною, непокрытою головою, проницательным взором окидывая все места, откуда возможны были неприятные выходки со стороны заключенных, сидевших в это время на запоре.

Нередко в эти торжественные минуты раздавались вдруг возгласы:

— Ваше благородие!

— Что тебе?

— Позвольте, ваше...

Но арестант обыкновенно не успевал оканчивать фразу.

— Вот я тебе позволю!—отвечал грозно смотритель, грозя пальцем, обтянутым замшей.

Но были и такие арестанты, преимущественно доносчики и работавшие даром на начальство, а также личные друзья Наума, с которыми смотрителя, а особенно Завадский, были ласковы и, не платя за труд, удостаивали ответами и даже советами.

Здесь, кстати, скажем несколько подробнее о смотрителях. Первый, Завадский, был жаден до-нельзя к деньгам. За всю свою службу он ни одному арестанту не отдал ни копейки из заработанных денег, уже не говоря о том, что и собственные деньги арестантов, отобранные у них в конторе при поступлении в тюрьму, не возвращались им ни в тюрьме, ни при выходе из нее. Жил он скупо,—плохо ел, не пил, не курил и не играл в карты. Страшный хвастун, Завадский постоянно лгал о своих каких-то чинах и заслугах, хотя был сначала писцом, потом смотрителем в одном тюремном замке, где, усмиряя бунт, в момент вспышки, велел, как рассказывал, стрелять в арестантов, результатом чего было: смерть одного, несколько поранений и, по его словам, повышение. Он постоянно хвастал этим поступком, доказывая неограниченную власть смотрителя над арестантами. Потом излюбленною его темою были скабрезные похождения с женским полом, сальные анекдоты и проч. Арестанты не долюбливали Завадского; но им пришлость вспоминать о нем, когда его сменил другой.

Последний начал систематическое извлечение всевозможных выгод из подведомственного ему замка: он перестал выдавать керосин, урезал продукты, уменьшил количество бань до одного раза в месяц, не отдавал денег и вошел в полнейшее соглашение с Наумом, который при новом смотрителе начал на чем свет стоит ругать старого. Новый смотритель перестал совершенно разговаривать с арестантами и за каждый проступок, за всякое слово орал громовым басом:

— В карцер его, каналью!

Арестанты боялись взгляда нового смотрителя и разбегались при одном его появлении.

Однажды полицеймейстер, почти ежедневно посещавший тюрьму, явился внезапно в неназначенный час. Арестанты не были заперты и со всех сторон окружили начальника города, излагая свои просьбы. Смотритель скрежетал зубами, сжимал кулаки, махал головою, но ничего не мог поделать. Тактика запирать арестантов при посещении начальства, в видах охранения собственной персоны, была случайно нарушена, и хотя арестанты даже не жаловались на своего мучителя, а только спрашивали „по своим делам“, но все говорившие с

полицеймейстером были засажены в карцер, а надзиратели выруганы самыми последними словами.

При этом же смотрителе произошел и *бунт*. Нужно заметить, что насколько Завадский часто посещал тюрьму, настолько его заместитель только иногда „заглядывал“, как говорится, в нее. Но зато сам Юпитер не был так грозен, как этот тюремный божок; он метал из глаз молнии, абсолютно не обращал внимания ни на чьи слова и направо и налево решительно за все сыпал: „в карцер его!“

Вообще этот смотритель очень многим отличался от первого, даже в обыденной жизни. Насколько первый был Плюшкин, настолько последний отличался *широкою натурою* и на тюремные доходы играл в карты, кутил и тратился на женщин. Наум приобрел при нем страшные полномочия и возвысил своих друзей, так как сам Юпитер считал слишком низким вникать в тюремные дела.

Арестантский староста, которого избирали сами же арестанты и могли по закону сменить во всякое время, начал положительно обирать своих товарищей, не обращая внимания на протесты. Поэтому, когда смотритель запретил избирать нового старосту, поднялся бунт, зачинщиками которого явились Петров да Иванов.

Оба они сидели за очень ловкую кражу часов и драгоценных вещей на несколько тысяч у известного богатого часового мастера; оба были не только грамотные, но и начитанные.

Агитацию они повели чрезвычайно умно, наглядно, посредством фактов доказывая всю подлость старосты и его мошеннические проделки. С каждым днем они приобретали все большую и большую партию, которая разбивалась на кружки и ораторствовала то громко, то конспиративно.

Небольшая партия старосты и Наума искоса поглядовала на эти тайные сообщества, сделав несколько доносов, но начальство молчало, ожидая поступков.

Однажды утром, в одну из суббот, когда смотритель во всех регалиях появился перед отправлением к губернатору во двор тюрьмы, к нему подошла небольшая группа арестантов, из которой выделился Петров и начал умно и дельно излагать смотрителю причину неудовольствия арестантов. Смотритель хотел было, по обыкновению, уйти, но Петров заставил выслушать себя, и начальник тюрьмы, не глядя на говорящего и заложив руки за спину, начал слушать устный доклад, по временам неопределенно кивая головой.

Петров произнес прекрасную речь, где изложил по пунктам требования арестантов, логично доказал необходимость выполнения законных просьб их, указывая на закон о сменяемости старост.

— Докажите мне это!—ни к селу ни к городу рявкнул вдруг смотритель и удалился, увидев, что количество арестантов увеличилось.

Поднялся глухой ропот. Как раз в это время староста проходил мимо арестантов с кадкой, в которой была мука. Петров выхватил кадку и в присутствии всех показал протухлую муку пополам с песком и известкой. Позвали смотрителя и указали ему на это.

— Хорошо, я разберу,—сказал он и удалился.

Поднялся страшный шум, ругня. Староста и его партия молча удалились; забегали сторожа; часа через два вызван был в контору Петров и возвратился оттуда уже в кандалах; потом тоже проделали и с Ивановым; их обоих засадили в секретные камеры, так же, как и их сторонников, которых, впрочем, не заковали в кандалы.

Такой энергический образ действия пугал арестантов, и все моментально притихло; партия старосты подняла нос.

Тут-то выявилась вся оборотная сторона нравственности арестантов. Все, сочувствовавшие Петрову и Иванову, попрятались по камерам и даже, кроме незначительного числа лиц, боялись подходить к окнам камер, где были заперты протестанты. Петров и Иванов упрекали их в трусости и продолжали все-таки из окон пропаганду.

Мы так и оставили их в „секретных". Им несколько раз предлагали просить извинение у начальства, но они не соглашались и продолжали громогласно ругать смотрителя, несмотря на все тяжести секретного заключения, несмотря на то, что несколько дней они вовсе были лишены прогулки, а затем им разрешили выходить только на $^1/_2$ часа и то с конвоем. Лишь несколько человек отнеслись к ним хорошо и еще более привязались к протестантам; трусость же большинства дошла до паники.

Нужно отдать честь женщинам: хотя они и не принимали участия в бунте, но делали все для Петрова и Иванова, несмотря на могущую их постигнуть кару.

Петров и Иванов постоянно требовали к себе то полицеймейстера, то губернатора, но никто не являлся, так как смотритель, конечно, не передавал их требований. Не было возможности арестантам добиться повидать следователя или прокурора.

Через несколько дней после „бунта" явился полицеймейстер, но, подготовленный наговорами смотрителя, тоже не обратил внимание на сидевших в карцере.

Староста остался тот же, но, впрочем, пища стала немного лучше.

БОЛЬШИЕ ПРАЗДНИКИ В ТЮРЬМЕ.

Чудная весенняя ночь; темное-темное небо усеяно яркими звездами; полночь; кругом торжественная тишина, точно готовится что-то особенное. Миллионы душ не спят, миллионы семей готовятся встретить великий праздник,—светло-христово воскресенье...

Чу!—дрогнул воздух, загудел один колокол, другой, вот еще и еще, и все слилось в одно море гармоний. На душе как-то легко, не чувствуешь никакой злобы, точно всех любишь. Мысленно переносишься туда, где все дорогое, близкое, на минуту забываешь, где ты. Вот раздался и тюремный колокол; и он сегодня звучит как-то особенно приятно среди ночной темноты...

— Дальше ефтого места ристантов не пущать!—разбивает иллюзию разводящий, и солдаты, бряцая ружьями, выстроились у стен тюрьмы.

— Сторожа! выпускай арестованных!—раздается веселый голос старшего, очень строго соблюдавшего пост и радующегося предстоящему розговенью.

Загремели засовы, застучали замки, и во дворе замелькали огни, задвигались тени; но лиц не видно. На площадке и по дорожкам зажжены плошки, освещающие светлыми пятнами тюремные стены; церковь вся залита огнями, а вверху таинственная тьма, переполненная звуками.

Невольно припоминается: „Христос воскресе! смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав“; двигающиеся люди напоминают „сущих во гробех“. Сегодня их праздник, праздник страждующих, несчастных, которых великий учитель не отталкивал, находя и для них слова любви и прощения.

Умолкли звуки колоколов; слышен говор, шум, поцелуи, веселые поздравления: „Христос воскресе“!

Нигде эта заутреня не казалась нам так фантастична, привлекательна, как в тюрьме.

Да, это—тюремный праздник!

Утром и арестанты, и сторожа в праздничном виде. „Дворянин“ достал где-то черные брюки и теперь—в полной черной паре. Под его руководством пел хор, которым он вообще управлял, но в обыкновенные воскресенья арестантов трудно было заставить петь.

Постоянно в церковь ходили только женщины, наряжаясь, к соблазну кавалеров, в самые лучшие одежды, арестанты же посещали храм лишь в большие праздники: рождество, светлое воскресенье.

Праздникам все радовались, главным образом, потому, что в эти дни обыкновенно приносили подаяния, а следовательно замечалось и улучшение пищи, несмотря на львиную долю, которую оставлял себе староста, так как *он один* имел право принимать подаяние.

Подаяние, по словам арестантов, в последнее время очень уменьшилось, за что все, особенно *старожилы*, сидевшие целые годы в тюрьмах, ругали общество.

— А что—как подаяние?

— Что подаяние? По три фунта не выходит.

— Без *казенного* сдохнешь.

— Забыли, черти проклятые!... Небось сами жрут на воле!

— У нас, в Херсоне на месяц, бывало, хватает,—врет бродяга.

— На месяц!

— Провалиться на этом месте! три дня возили—возили.

— А я, бывало, у архирея пасхи есть не стану, а давай кулич!—хвастает „дворянин“, — простого мяса—не показывай. Возьмешь, обнакновенно, поросенка, да и то начинку выешь, а дальше и смотреть не хочешь, а потом—индюка: крыло погрызешь, а больше опять начинку.

— Да что и говорить! Прежде, бывало, и сюда-то таскали много, а теперь не то.

Первые три дня пасхи арестантов совсем не затворяли, и все поверки производились во дворе. Только во время прогулки разодетых „баб“, мужчины некоторое время сидели в камерах; вообще льготы в эти дни давались большие, хотя, собственно говоря, делалось это потому лишь, что все, начиная с начальства и кончая служителями, все в лоск были пьяны.

Появлялось начальство; арестанты строились в ряды и на восклицание:

— Христос воскресе!

Все разом галдели:

— Воистину, ваше высокоблагородие, воскресе! — Эти восклицания повторялись троекратно; в первый день выпив-

шее начальство даже лобызалось. Но, конечно, через три дня началось прежнее: крики, карцеры и отвратительная пища.

На рождественские праздники арестанты устраивали маскарады, выворачивая шубы, вырезывая маски; играли в снежки и т. п.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ В ЧЕРНИГОВСКОЙ ТЮРЬМЕ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЖИЗНИ.

Из государственных преступников в Черниговском замке в мое время сидели лишь трое: Тринидатский, Булич и Кобылянский. Первых двух я не знал и никогда о них не слыхал, а с Кобылянским встречался. Все они замешаны были по делу об убийстве в феврале 1879 г. харьковского губернатора кн. Кропоткина и, как я узнал впоследствии из журнала „Былое“, выданы „другом“ знаменитого революционера Дмитрия Андреевича Лизогуба, Владимиром Дрыгою. В „Своде показаний, данных некоторыми из арестованных по делам о государственных преступлениях“, об этом говорится следующее: „По показанию Дрыги, убийцею (кн. Кропоткина) был варшавский учитель, по ремеслу слесарь, присланный из Варшавы для совершения преступления; участие же Зубковского (студент Киевского университета) заключалось в руководстве этим лицом и приискании для него безопасного помещения после убийства. Засим, по указанию Дрыги, убийца, по совершении преступления, прибыл в Чернигов, где ночевал, по записке Зубковского, в квартире отставного чиновника Тринидатского, служащего в Черниговской губернской земской управе. А так как неизвестный человек рассказал ему про убийство, то Тринидатский поспешил отправить его в село Плехово, Черниговского уезда, к земскому врачу, Александру Буличу, который отвез его затем к помещику Комаровскому“. Вот этот-то „неизвестный человек“ впоследствии оказался дворянином Людвигом Кобылянским, принимавшим участие в убийстве кн. Кропоткина, совершенном Григорием Гольденбергом. Повторяю, я ничего не знал о „преступлении“ Кобылянского, которого, как говорили мои надзиратели, привезли в Черниговскую тюрьму закованного в кандалы, но то обстоятельство, что я с ним встречался и заключен в одной с ним тюрьме, заставило мысль мою искать причину ареста в связи с Кобылянским.

Следует заметить, что в первый же день, как только громыхнул тяжелый засов, и я один остался в камере, тотчас

же, независимо от меня, мысль моя была направлена на розыск событий и лиц, благодаря которым я попал в тюрьму. Предо мною прошла вся моя жизнь, промелькнули все знакомые, и я все ломал голову,—какой же момент в этой жизни стал известным жандармам и каким образом? Несомненно, кто-то выдал или проболтался, или, быть может, при обыске у кого-либо найдены были мои письма. Привоз Кобылянского и повернул мои мысли в его сторону, хотя, кроме случайного знакомства, у меня ничего с ним не было. Мне ужасно хотелось завести с ним связи, чтобы, в случае допроса, или, как я думал, очной ставки,—сговориться, что отвечать. Но и арестанты, и надзиратели говорили, что Кобылянского держат где-то в карцере, чуть ли не в подземелье, и снестись с ним невозможно. Тогда я решил, что буду категорически отрицать знакомство с Кобылянским, если бы даже последний, при очной ставке, признал меня. Однако скоро выяснилось, что он, как и следовало ожидать, никакого отношения ко мне не имеет. Об этом сообщил мне несчастный Булич, нервное состояние которого не выдержало одиночного заключения и иезуитских приемов фон-Мерклинга. Булич сидел в одном со мною коридоре, но на другом конце. Когда на часах стояли „хорошие“ часовые, дозволявшие ночью переговариваться, я несколько раз пытался завести беседу с Буличем, но ни разу ответа не получил. Однажды в дырочку двери я увидел, что по коридору прошел священник. На другой день надзиратель сообщил мне, что Булич „во всем сознался и просил допустить к нему священника, чтобы исповедаться и причаститься“. Не оставалось никакого сомнения, что бедный товарищ по заключению, как говорится, рехнулся. Следующие дни подтвердили сообщение надзирателя. Булича часто стали пускать на прогулку и давать свидание со старушкой-матерью. Еще через некоторое время, в глухую полночь, он, окликнув меня, чистосердечно сообщил, что „сознался“. Далее выяснилось, что фон-Мерклинг, выражая сожаление о матери, уговорил Булича сознаться, пообещав немедленное освобождение из тюрьмы. Но как только доктор, поверив жандарму, исполнил совет последнего, фон-Мерклинг, не освободив, конечно, Булича, тотчас же привел статью, под которую подводится преступление доктора. Это была смертная казнь. Теперь фон-Мерклинг ставил вопрос иначе: нужно полное, исчерпывающее раскаяние, чтобы избавиться не от тюрьмы, а уже от смертной казни. Правда, все преступление Булича состояло в том, что он дал приют Кобылянскому, быть может, не зная даже о его деяниях, но в 1879 году попасть на виселицу было не так уже трудно.

В скором времени после признания Булича, последнего одновременно с Кобылянским и Тринидатским перевели в Харьков, по месту совершенного Кобылянским преступления. Здесь кстати добавлю, что Булича и Кобылянского судили лишь в октябре 1880 года в Петербурге, приобщив к делу „шестнадцати“, обвинявшихся во всевозможных преступлениях, а в том числе, в лице Кобылянского и Булича, приговоренных к каторге, и за соучастие в убийстве кн. Кропоткина. Квятковский и Пресняков, фигурировавшие в этом же процессе, были приговорены к смертной казни.

Когда отпало ни на чем неоснованное предположение, что в моей судьбе играл роль Кобылянский, фантазия стала строить разного рода другие нелепости. Меня смущало то обстоятельство, что заключен я в Черниговскую тюрьму и меня никуда не увозят. Если бы дело происходило в Киеве, Одессе, даже Петербурге, тогда бы у меня было более данных для догадок. Но в Чернигове, где я не был со времени оставления гимназии,—что могло скомпрометировать меня? И вот, в бессонные тяжкие ночи стал рыться в своей памяти, начиная с детства. Между прочим, я задался теперь ранее не приходившим мне в голову вопросом,—почему, каким образом я сделался „неблагонадежным“ и с какой поры? Он, этот вопрос, привел меня к удивительным открытиям. Уже с раннего детства, несмотря на захолустье, в котором оно прошло, меня окружала атмосфера, созданная великими реформами 60-х годов. Мне было только пять лет, когда последовало освобождение крестьян, но у меня отчетливо запечатлелась всеми исполняемая тогда песня:

Ах, ты воля, моя воля,
Золотая ты моя,
Воля сокол поднебесный,
Воля светлая заря!...

То обстоятельство, что рабство разрушено было при содействии верховной власти, дозволяло распевать и хвалить „волю“ даже в сферах официальных и, так сказать, пропагандировать ее. И тут же передавались ужасы из крепостного периода, рисовались картины мук народа, все вынесшего на своих плечах и, несмотря на это, сохранившего образ человека.

Впоследствии мне пришлось весьма часто слышать и песню на эту тему. Ее распевали уже в нелегальных сферах. Начиналась она так:

Долго нас помещики губили,
Становые били,
Мы привыкли каждому злодею
Подставляти шею...

А конец, кажется, таков:

Всякий бударь с свойственным нахальством
Мнит себя начальством.
Неужель их, господи ты, боже,
Миром мазал тоже?..

Народа я не знал, видел его только на базаре, и, следовательно, сочувствие к нему зародилось, благодаря названной популярной песне, разговорам о крестьянских страданиях, а позже, главным образом, благодаря литературе.

Не говоря уже о позднейших писателях, как Григорович, Тургенев, Некрасов, Глеб Успенский и др., многие более ранние были народными печальниками. Возможно, что наше народолюбие, как, пожалуй, и анархизм, имеют корни еще в славянофильстве. Выдающиеся славянофилы гордились, можно сказать, русским народом за его общинный быт, видя в последнем резкое отличие России от Запада и веруя, что наше отечество самобытно разрешит все проклятые политические и социальные вопросы. Самарин, Хомяков и, особенно, Аксаков совершенно ясно говорили об этом. Аксаков, например, недвусмысленно осуждал государственный строй, отдавая полное предпочтение общинному.

„Путем государства,—писал он,—пошла Западная Европа и разработала великолепно государственное устройство с чрезвычайными оттенками, доведшими его в Америке до высокой степени либерализма. Но это либеральное государство есть все-таки неволя и, чем шире ложится она на народ, тем более захватывает она народ в себя и каменит его духом закона, учреждения, внешнего порядка. Если либерализм государственный дойдет до крайних пределов, до того, что каждый человек будет чиновником, квартальным самого себя, тогда окончательно убьет государство живое начало в человеке. Передовые умы запада начинают сознавать, что ложь лежит не в той или иной форме государства, а в самом государстве, как идее, как принципе, что надобно говорить не о том, какая форма лучше или хуже, какая форма истинна, какая ложна, а о том, что государство, как государство,—есть ложь. Славянские народы представляют нам иное начало,—начало общинное. Славянские народы, русский народ по преимуществу, есть народ безгосударственный“.

Таким образом, вера в народ, старая, хроническая, можно сказать, болезнь русской литературы. Позднейшая шла по ее стопам. Можно было бы привести целые томы доказательств. Но это не входит в нашу задачу. Ограничимся концом „Железной дороги“ Н. А. Некрасова:

Да не робей за отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную—
Вынесет все, что господь ни пошлет!
Вынесет все—и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только—жить в эту пору прекрасную
Уж не придется ни мне, ни тебе....

Любовь к народу покрыла собою политические страсти и соображения. Характерный пример тому—падение крепостного права. Фактически освобождение народа сделано было самодержавным царем Александром II-м. Из политических соображений все враги самодержавия, противники абсолютизма должны были бы, по меньшей мере, замолчать это событие. Но что же мы видим? Даже Герцен и Чернышевский, несовместимые, казалось бы, с неограниченною царскою властью, не поколебались восхвалить императора, раз он сделал великое дело для народа.

Первый из них писал: „Имя Александра принадлежит истории; если бы его царствование завтра же окончилось,— все равно, начало освобождения сделано им, грядущие поколения этого не забудут... Гнилое, своекорыстное, алчное противодействие закоснелых помещиков, их волчий вой—не опасен. Что они могут противопоставить, когда против них власть и свобода, образованное меньшинство и весь народ, царская воля и общественное мнение. Мы имеем дело не с случайным преемником Николая, а с мощным деятелем, открывшим новую эру для России; он столько же наследник 14 декабря, как Николая. Он работает с нами для будущего“... „Из дали нашей ссылки мы приветствуем Александра II именем, редко встречающимся с самодержавием,—мы приветствуем его именем Освободителя“... И это имя, данное эмигрантом, привилось и сохранилось до конца жизни Александра II-го. А Чернышевский писал: „Высочайшим рескриптом 25 ноября и 24 декабря 1857 г. благополучно царствующий государь император начал дело, с которым, по своему величию и благотворности, может быть сравнена только реформа, совершенная Петром Великим... Благословение, обещанное миротворцам и кротким, увенчает Александра II-го счастьем, каким не был увенчан еще никто из государей Европы—счастьем одному начать и совершить освобождение своих подданных“.

Знаменательно, что менее чем через $1^1/_2$ года после освобождения крестьян, вызвавшего приведенные строки, Николай Гаврилович был посажен в Петропавловскую крепость. В ней он пробыл до 1864 года, когда сенат приговорил Чернышевского к 14-тилетней каторге, сокращенной затем на половину.

Одновременно с освобождением крестьян вспомнили, вероятно, и о декабристах, о которых русское общество молчало в течение всего мрачного николаевского царствования.

В связи с этим по рукам ходили запрещенные рукописные стихи их, а также А. С. Пушкина. С жадностью читал я и, переписав, тщательно хранил следующие стихотворения нашего великого поэта:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.
Товарищ, верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишет наши имена.

Еще более хорошим казалось мне „Послание в Сибирь“ того же А. С. Пушкина:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье;
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра—
Возбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут, и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Страшно нравился и „Ответ на послание Пушкина“ декабристов.

Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли;
К мечам рванулись наши руки,
Но лишь оковы обрели.
Но будь покоен, бард: цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями:
Наш скорбный труд не пропадет—

Из искры возродится пламя,
И православный наш народ
Сберется под святое знамя.
Мечи скуем мы из цепей
И вновь зажжем огонь свободы.
И с нею грянем на царей,—
И радостно вздохнут народы.

Весьма популярны были имена многих декабристов, особенно повешенных: Пестеля, Муравьева-Апостола, Каховского, Бестужева - Рюмина, Рылеева. Некоторые стихи последнего были довольно известны Особенно следующее:

Я-ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян.
Нет, не способен я в об'ятиях сладострастья
В постыдной праздности влачить свой век младой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья.

Наконец, зачитывались „Русскими женщинами“ Некрасова, в которых, в лице княгинь Трубецкой и Волконской, обрисованы жены декабристов.

Моя мать часто напевала такого содержания песню, имевшую вероятно отношение к декабристам, глубоко запавшую в мою душу и часто вспоминаемую в тюрьме:

Не слышно шуму городского,
На Невской башне тишина,
И на штыке у часового
Горит полночная луна.
Вот бедный юноша, ровесник
Младым цветущим деревам,
В глухой тюрьме заводит песню
И отдает тоску волнам.....

Припомнилось мне, что часто у матери при этой песне показывались слезы на глазах и она, глубоко-религиозная, всегда как-то переходила после этого к рассказам о страданиях Христа „за людей и правду“.

Эти воспоминания доставляли в тюрьме наибольшие терзания. Мне так вот и представлялось, что сидит моя бедная мать, думает о сыне, плачет и поет эту песенку, рисуя в моем образе „бедного юношу, ровесника младым цветущим деревам“.

В тесной связи с воспоминаниями о декабристах велись беседы и читались рукописные произведения о польских вос-

станиях, хотя власти распространяли о поляках такие сведения, что матери ими пугали детей. В интеллигентных слоях общества известна была близость декабристов с польскими революционерами 30-х годов. Из среды последних популярны были имена Лелевеля, Залевского, Мирославского, Добровского и особенно—Симона Конарского, этого офицера, полагавшего возможным совершить всемирный переворот и устроить жизнь человечества на новых началах. Прожив около 6 лет эмигрантом в Италии, он затем возвратился в Польшу, продолжая революционную деятельность. Но в 1839 году был арестован в Вильне и расстрелян. Многочисленные поклонники изрезали тот столб, у которого казнен был Конарский, и разобрали на память куски дерева. Необыкновенно популярны были и мне очень нравившиеся „полонезы“ Конарского (особенно № 9), но принадлежали ли они именно этому Конарскому—не знаю. Хотя исполнявшие их говорили, что „полонезы“ написаны революционером Конарским. Из деятелей 60-х годов упоминались имена Мирославского и еще чаще—Огрызко, служившего в министерстве финансов, издававшего в Петербурге „Слово“ на польском языке, а затем арестованного в 1863 г., увезенного в Вильну и приговоренного к смертной казни, замененной 20-ти летней каторгой. Все это исполнено было по настоянию „Муравьева-вешателя“, как прозван был граф Михаил Николаевич Муравьев, назначенный в 1863 г. генерал-губернатором в Северо-Западном крае и прославившийся жесточайшими расправами с поляками. Он, собственно говоря, был главным виновником популярности польского восстания 1863-1864 г. г. И в этом случае сыграли роль не только его жестокость, а, быть может, еще более его биография. Родной брат казненного декабриста Александра Николаевича, воспитанник московского университета, основатель первого в России тайного политического общества в 1816 г., энергичный деятель „Союза Благоденствия“—и вдруг—„вешатель“! Интеллигентное русское общество не менее польского с отвращением относилось к подобной эволюции, а поляки, наоборот, пользовались симпатиями, как борцы за свободу. В польском восстании принимали участие и некоторые российские граждане, особенно учащаяся молодежь.

Первым учебным заведением, куда я поступил, было Новозыбковское уездное училище. В последнем классе учителем истории и географии состоял бывший студент, Эрм Васильевич Чарторийский, больной, раздражительный, кажется, чахоточный человек, но весьма развитой и начитанный. Я очень близко сошелся с ним, часто у него бывал и, под его влиянием, превратился, со свойственным мне увлечением, в крайнего нигилиста.

Моим идеалом сделался Базаров Тургенева, произведениями которого я зачитывался с раннего детства, а любимым критиком—Писарев. Но нигилизм выражался у меня в удивительных, если не сказать, смешных формах. Я был глубоко убежден, что каждый нигилист должен, во-первых, совершенно пренебрежительно относиться к своей внешности, а во-вторых, быть ученым, признаки которого: длинные волосы, синие очки, занятие естественными науками вообще и анатомией в особенности. Я тайно приобрел себе громадные синие окуляры, которые носил, когда меня никто не видел; тайно же ловил лягушек, которых, к слову сказать, боялся, и, ничего не понимая в анатомии, стремился „вскрывать“ их... перочинным ножом... Перед товарищами,—когда они спрашивали, что я вчера делал,—я хвастался: „занимался анатомией“. Однажды у меня явилось намерение „вскрыть“ кота, но последний был настолько благоразумен, что, исцарапав мне всю физиономию и руки, благополучно бежал, а я должен был придумывать разные небылицы, чтобы об'яснить свое тяжкое поранение. С этого времени, к счастью четвероногих и пресмыкающихся, я прекратил свои анатомические опыты.

Нигилистом в душе был я увезен в гор. Городню, Черниговской губ., где, поселенный у родственника матери, Савельева, был подготовлен студентом Бурцевым для поступления в третий класс Черниговской гимназии.

В то время только что надвигались мрачные реакционные тучи в лице гр. Толстого, но они еще не покрыли всего горизонта, и в Черниговской гимназии царил вольный дух. Особенной популярностью среди гимназистов пользовался учитель гимназии, Николай Андреевич Вербицкий. Он был в товарищеских отношениях со многими гимназистами, которые не только часто бывали у него на Лесковице, но и ночевали там, радушно принимаемые матерью Николая Андреевича и его братьями. Главнейшею заслугою Вербицкого было то, что он внушал гимназистам необыкновенную любовь к литературе. Часто задавая сочинения, он заставлял нас читать лучшие произведения русских и иностранных авторов. Не было, кажется, классика, которого я лично не прочел в период пребывания в гимназии, точно так же, как от доски до доски прочтены были критики: Добролюбов, Белинский, Писарев. Но, кроме этого, Вербицкий вел беседы с гимназистами на разные темы вне гимназии. Мне припоминались мои с ним похождения на охоту и на рыбную ловлю на р. Десну и ее плавни. Сколько нового, неведомого узнавал я тогда от Николая Андреевича!

Нельзя не сказать при этом, что он был недюжинный писатель. Еще, кажется, в студенческий период Н. А. выступил

со стихами в украинском журнале „Основа“, издававшемся в 1861—1862 г.г. в Петербурге П. А. Кулишем, при участии таких корифеев Украины, как Костомаров, Шевченко, Ефименко, Антонович, Чубинский. Гимназисты же особенно зачитывались теми его статьями и охотничьими рассказами в „Неделе“ и в „Природе и Охоте“, где он жестоко казнил гимназическое начальство вообще и особенно грубого и жестокого директора Кустова, назначенного гр. Толстым для уничтожения „вольного духа“ в Черниговской гимназии.

При посредстве Вербицкого завелись у меня связи и с другим миром, близким к широкому общественному движению, охватившему тогда русское общество.

Одним из первых моих таких знакомых был И. Л. Шраг. Среди гимназистов носилась легенда, что он „за бунт“ был удален из Петербургского университета и с жандармами на почтовой телеге привезен под надзор полиции в Чернигов. Этого было достаточно, чтобы в молодых головах создать в лице Шрага мученика за идею. И мы, „сознательные гимназисты“, всею силою души стремились познакомиться с „государственным преступником“. Когда я, наконец, достиг этого, то был, как говорится, на седьмом небе.

Мне сообщили тогда более подробную политическую биографию Ильи Людвиговича в связи с революционным движением в среде молодежи. В бытность свою студентом медицинской академии, он принадлежал к „радикалам“ и был выдающимся оратором от того кружка студентов, который в 1868 г. был виновником волнений и организации сходок в противовес реакции, возникшей в правительственных сферах после покушения студента юридического факультета, московского униврститета, Д. В. Каракозова, на жизнь императора Александра II-го, 4 апреля 1866 г. По этому делу привлечено было 36 человек, принадлежавших, по обвинительному акту, к тайному в Москве обществу „Ад“, организованному исключительно для цареубийства. Кроме Каракозова, главным виновником признан был его двоюродный брат, Н. А. Ишутин. Оба они были приговорены к смертной казни, но второй, подавший прошение о помиловании, сослан был пожизненно на каторгу. Толкнувший руку Каракозова случайно бывший в толпе картузник, Осип Комиссаров, получил потомственное дворянство. С этого момента, повторяем, началась реакция, на которую и реагировали студенты. Весьма возможно, что, если бы не полицейское вмешательство, волнение ограничилось бы только медико-хирургической Академией, где оно возникло на почве, собственно говоря, вражды к инспекции. Но полиция придала делу характер государственного преступления, многих студентов арестовала, а Академию закрыла. Этим-то,

вот, и воспользовались революционеры, раздув местный конфликт во всероссийскую смуту. Первым выступил будущий эмигрант, якобинец, редактор „Набата“, сотрудничавший в ту пору в „Русском Слове“, потом в „Деле“, кандидат прав, П. Н. Ткачев. Он составил от имени студентов прокламацию, в которой пред‘являлись совершенно невинные „требования“ в роде „студенческих касс“, „права совещаний“, „уничтожения инспекторского надзора“ и т. п. Лишь конец носил более энергичный характер: „Мы,—гласил он,—скорее готовы задохнуться в ссылках и казематах, нежели задыхаться и нравственно уродовать себя в наших академиях и университетах“. Совершенно иначе воспользовался студенческими волнениями М. А. Бакунин, находившийся в то время под влиянием Нечаева. Сочиненная им прокламация имела решающее значение для молодежи. „Молодые друзья!—обращался Бакунин к студентам,—бросайте скорее этот мир, обреченный на гибель, эти университеты, академии и школы, из которых вас гонят теперь и в которых всегда стремились раз‘единить вас с народом. Ступайте в народ!“. А в самом конце говорилось: —„Не хлопочите о науке, во имя которой хотели бы вас связать и обессилить. Эта наука должна погибнуть вместе с миром, которого она есть выразитель. Наука же новая и живая, несомненно, народится потом, после народной победы, из освобожденной жизни народа“. И эти слова стали лозунгом для учащейся молодежи: многие из ее среды стали бросать учебные заведения, чтобы „идти в народ“. Но более всех утилизировал студенческие волнения не брезгавший никакими средствами Нечаев. В своей прокламации, начав с обмана, будто бы он был арестован и ввергнут в Петропавловскую крепость, откуда, якобы, бежал, Нечаев далее слал проклятие „раз‘яренным правительственным тиграм“ и убеждал „весь ум, энергию, волю и страсть в каждом студенте направить на создание силы“. Одновременно со студенческими волнениями возникло кровавое „нечаевское дело“, возмутившее русское общество и давшее Достоевскому тему для его „Бесов“. В 1869 году, в самый разгар возбужденности в студенческой среде, Нечаев уехал за границу, сблизился там с Бакуниным и Огаревым, сделался членом Интернационала и, получив, при посредстве Огарева, одну тысячу фунтов стерлингов от Герцена, в том же году возвратился в Россию, организовал „Общество народной расправы“.

В ноябре 1869 г. в Москве, в гроте Петровско-Разумовской академии был убит студент Иванов за то, что возымел смелость не подчиниться Нечаеву. После убийства Нечаев скрылся за границу, а суду преданы были подпавшие под его влияние сподвижники: Успенский, Кузнецов, Николаев

и литератор Прыжов—автор довольно солидного труда: „История кабаков в России“. За границею Нечаев занялся издательством воззваний и прокламаций и в одной из последних, озаглавленной: „К мужичкам и всем простым людям—работникам“, между прочим, писал: „Становые, исправники, мировые посредники, мировые судьи—все одна сволочь, друг за друга заступаются, а нас теснят да жмут. Надо их в конец истребить, чтоб и духу их не осталось, чтоб завестись они не могли никак. А для этого надо нам будет, братцы, города их жечь да выжигать до тла, да места выжженные вспахивать“. Выданный впоследствии Швейцарией, Нечаев в 1873 г. судился в московском окружном суде с участием присяжных заседателей и был приговорен к 20-летней каторге. Таковы события, предшествовавшие и сопутствовавшие делу, за которое Шраг был выслан в Чернигов. Он обладал благородною, располагающею внешностью, что, в связи с искренностью, простотою и прогрессивными взглядами, обворожило меня. В квартире И. Л. часто устраивались литературные вечера, на которых читались преимущественно, если не исключительно, периодические издания. Из журналов, главным образом,—„Отечественные Записки“, „Дело“ и „Вестник Европы“, а из газет—„С-Петербургские Ведомости“. Наибольшим влиянием пользовались „Отечественные Записки“. Его редактировали и в нем сотрудничали, можно сказать, кумиры молодежи, как—Некрасов, Салтыков, Гл. Успенский, Михайловский, Златовратский и другие. Этот журнал считался народническим, социалистическим, непосредственным проводником идей „Современника“. Не малую роль играло и „Дело“, которое слыло органом радикальным, даже якобинским, благодаря участию в нем П. Н. Ткачева, и считалось продолжением „Русского Слова“. „Вестник Европы“ считался за журнал „либеральный“, а потому пользовался меньшим авторитетом у молодежи. Наконец, „С-Петербургские Ведомости“, издававшиеся Коршем, пользовались громадною популярностью, главным образом, из-за талантливых, бичующих фельетонов Суворина, писавшего под псевдонимом Незнакомца. Увы, впоследствии Суворин отдал свой талант на службу своему карману. Сделавшись собственником „Нового Времени“, он и здесь некоторое время либеральничал, пригласив в сотрудники Некрасова и Салтыкова, но во время русско-турецкой войны, почуяв выгоду в ином направлении, русско-славянском, не прогадал. С тех пор он снял прогрессивную тогу и надел шкуру хамелеона.

Литературные вечера, сопровождавшиеся беседами, оказывали громадное влияние. Помимо развития любви к чтению, гимназистам не хотелось, как говорится, ударить лицом в грязь, чтобы не показаться дураками при разговорах, и я,

например, работал много еще в квартире, спеша розыскать и прочесть к следующему вечеру все произведения, о которых упоминалось в беседах взрослых. Помимо ранее упомянутых русских и иностранных писателей, настоятельно требовалась осведомленность в произведениях: Лаврова, Герцена, Чернышевского, Пыпина, Гете, Берне, Лассаля, Шпильгагена, Эркмана-Шатриана, Виктора Гюго, Диккенса, Теккерея, Ренана, Спенсера, Милля, Ж. Ж. Руссо, Маколея, Прескота, Шлоссера, Фейербаха, Тейлора и др. Силились гимназисты читать даже Дарвина,—особенно „Происхождение видов“ и „Происхождение человека“,—философов, как Гартмана и Шопенгауэра—и, наконец, захлебываясь, читали истории французской революции: Гизо, Мишле, Минье, Тьера, Токвиля, Ламартина, Луи Блана и др. Нужно ли говорить, что такая масса научно-литературного материала плохо переварилась в гимназических головах,—в мозгах, конечно, получался большой хаос,—но несомненно в то же время, что, в связи с беседами со взрослыми, он, этот материал, расширял горизонт, толкал к искательству, к лучшей жизни, отстраняя от старых, крепостнических пережитков, от пошлости и мрачной реакции, пробивавшейся уже изо всех щелей на развалинах рабства, представители которого сохранились еще в громадном количестве и отравляли освеженную, было, в начале шестидесятых годов атмосферу. На этой почве выросла тяжелая рознь между старым и новым поколениями, так гениально изображенная Тургеневым в его „Отцах и Детях“. Не миновала и меня сия чаша. Только первый год скучал я по семейному гнезду, тосковал по родным, особенно по матери, и ждал не дождался, когда вырвусь из гимазии на каникулы. Со второго года я ездил в Новозыбков уже неохотно, скучал там, прямо не знал, что с собою делать. Все усилия как-нибудь примириться с жизнью глухой провинции, возвратить утраченные иллюзии детства ни к чему не приводили. Особенно мучительно было мне огорчать безумно любившую меня и любимую мною мать. От ее чуткого сердца не могло укрыться мое томительное настроение, я видел, как страдала она, но ничего не мог поделать с собою. Единственным паллиативом являлось исчезновение. Сплошь да рядом я с раннего утра уходил в поле, и, забравшись в густую рожь, по часам лежал там, придумывая,—что мне делать, как быть? Во всем городе не было ни одной души, с которой я мог бы поделиться своими мыслями, высказать свои желания и стремления. Да, по правде сказать, я и не мог бы их формулировать словами. У меня было лишь страстное, почти болезненное влечение к какой-то иной жизни, не имеющей ничего общего с тою, которою жили меня окружавшие. Она, эта новая жизнь, между прочим, рисовалась

мне и в виде французской революции, а последняя в моем воображении представляла из себя баррикады, на которых стояли молодые люди в красных рубахах, синих очках, длинных волосах и ботфортах и стреляли. Но от этой стрельбы никто не погибал, а между тем в результате получалась светлая, веселая жизнь, полная каких-то духовных интересов.

С большим трудом дотягивал я летние каникулы, по окончании которых с лихорадочным трепетом мчался в Чернигов, чтобы скорее приобщиться к тамошней, полной для меня интереса жизни.

Мало по малу до гимназистов стали доходить слухи о „пропагандистах", ходивших в народ, чтобы „пропагандировать" его и указать ему на путь к достижению свободы. Первыми, о которых я услыхал, были Левенталь и Аксельрод. Мне никогда не пришлось их видеть, но я представлял их себе так же, как и деятелей революции: в красных рубахах, ботфортах и синих очках [1]). Скоро после этого по рукам стали ходить „нелегальные брошюры" и журнал „Вперед", издававшийся заграницею П. Л. Лавровым. Молодежь читала все это запоем. Через некоторое время быстро распространилась идея, что всем, кто любит народ, кто стоит за него, кто желает ему свободы,—должно все бросить, включая и науки,— и „идти в народ" „для пропаганды".

Вера в пропаганду доходила до абсурда. Арифметически вычисляли, что через самое короткое время совершенно легко распропагандировать *всю Россию*. Пусть каждый пропагандист распропагандирует в месяц только троих лиц, что вовсе, казалось, не трудно. В год получится головокружительная цифра. Лично у меня составлена была такая табличка:

Январь я сам+3 распропагандированных мною	4
Февраль каждый из 4-х пропагандистов по 3	12
Март (12×3)	36
Апрель (36×3)	108
Май (108×3)	324
Июнь (324×3)	972

[1]) Впоследствии мне пришлось читать такие строки П. Б. Аксельрода: „Первая и самая основная наша ошибка заключалась в том, что мы отправились на дело, требующее всюду, а тем более в России, громадных усилий целых поколений, с надеждой на получение быстрых и блестящих результатов. Мы так легко и поверхностно отнеслись к делу организации народных масс для социальной революции, что полагали (по крайней мере большинство из нас) достаточным нескольких лет деятельной пропаганды для осуществления наших идеалов. Благодаря этому поверхностному, чтобы не сказать детскому, пониманию нами сущности социального переворота и условий его осуществления, мы впали в другую столь же гибельную по своим последствиям ошибку. Все наличные силы должны были заниматься одним и тем же делом—непосредственной пропагандой или агитацией. Мало того, господствующее мнение признавало действительным революционером только того, кто облекался в крестьянскую сермягу"...

Июль (972×3) 2.916
Август (2916×3) 8.748
Сентябрь (8748×3) 26.244
Октябрь (26.244×3) 78.732
Ноябрь (78.732×3) 236.196
Декабрь (236.196×3) 708.588

Таким образом, работа одного пропагандиста даст в год 708.588 последователей. В России во всяком случае найдется 100 пропагандистов,—получится в год 70.858.800 распропагандированных! И дело кончено!

Эта идея была решающею в моей жизни. Для ее осуществления я прежде всего поступил в „коммуну“ Лизогуба.

Лизогубы были очень богатые и знатные помещики Черниговской губернии. С раннего детства я слыхал о них, так как усадьба Лизогубов находилась в местечке Седневе, в 25-ти верстах от Чернигова, где в небольшом имении, в усадьбе над рекою Снов, до самой смерти проживала бабушка, которую я с отцом всегда посещал проездом из Новозыбкова в Чернигов и обратно.

Старуха нередко сообщала легенды о своих именитых соседях. По ее словам, Лизогубы в далекие времена были простыми украинскими казаками, а затем сделались казацкими старшинами, получили землю не только в Черниговской, но еще Подольской и Полтавской губерниях. Затем она передавала, что, будто бы, старых Лизогубов, которые умерли, посетил в Седневской усадьбе сам Николай Павлович. После смерти старых Лизогубов остались три сына: Илья, Дмитрий и Федор Андреевичи, причем черниговское имение досталось, кажется, целиком среднему сыну, Дмитрию.

Вот этим-то Дмитрием Андреевичем в его усадьбе и была устроена „коммуна“, в существе своем носившая самый мирный, в большей степени воспитательный, чем политический характер. Последнее обстоятельство заставляет меня остановиться на „коммуне“, в связи с трагичною судьбою Дмитрия Андреевича, казненного 7 августа 1879 года в Одессе в качестве террориста.

С этою целью в свои воспоминания я должен вставить другие данные, уже почерпнутые мною из материалов более позднего времени.

Во главе нашей „коммуны“ стоял друг Лизогуба, бывший студент медико-хирургической академии, Василий Константинович Штильке. Он был воспитателем младшего брата Дмитрия Андреевича, Феди, и другого мальчика, Поля Гофштеттера, родные которого, в лице матери, старшего брата и двух младших дочерей, также жили в „коммуне“. Кроме перечисленных был еще я. Вот, кажись, и весь состав „коммуны“ того краткого периода, в который мне пришлось быть в ней.

Василий Константинович был совсем молодой юноша, лет 21—22-х. Вероятно, столько же было и старшему Гофштеттеру, Василию, или Василисе, как его прозывали, вероятно, за необыкновенно длинные волосы. Мне было лет шестнадцать, и в том же, приблизительно, возрасте были и девицы Гофштеттер. Достаточно ознакомиться с возрастами состава „коммуны“, чтобы убедиться в полной безопасности ее для государственных основ.

Худой, высокий, бледный Штильке был не только демократ в широком смысле этого слова, но и аскет, стремившийся выработать из себя деятеля, в роде Рахметова из романа Чернышевского „Что делать?“, который должен вынести все лишения, как политического режима, так и свойственные жизни народа. Этого требовал он и от всех „коммунаров“, включая Поля и Федю. В лице последнего Штильке видел богатейшего наследника, который, если вытравить из него помещичью наследственность, много может сделать для народа, и Василий Константинович не жалел времени и сил, чтобы „выработать“ из мальчиков будущих народных деятелей. Несомненно, он действовал так с согласия Дмитрия Андреевича. Идеалом же народного деятеля был для Штильке пропагандист, ушедший в среду народную, сливавшийся с ней и всю жизнь свою положивший на благо народа, который должен сам устроить свою судьбу. Просветление народной мысли, борьба с деревенскою тьмою и невежеством, указание на истинные причины народного бедствия,—вот та работа, которая должна вестись совершенно опрощенным и погрузившимся в народную среду пропагандистом. Таким Штильке остался и до конца своей жизни. По крайней мере, спустя более 35 лет после моего с ним знакомства, уже в 1908 г. в „Сибирском листке“ (№ 48, 1908 г.) я прочел следующее: „На-днях в Томске умер депутат от Томской губернии, член 3-й Государственной Думы, Василий Константинович Штильке“.

В лице покойного Сибирь потеряла одного из деятельнейших культурных работников. Покойный был уроженцем г. Барнаула, и делу просвещения родного города он посвятил свои годы. Заимствуем из „Сибирских вопросов“ (№ 3—4) краткие биографические данные о покойном.

Образование свое В. К. начал в барнаульском горном училище, затем в начале шестидесятых годов перешел в томскую гимназию, в которой и окончил полный курс наук в 71 году.

Затем, пробывши год преподавателем в Томском духовном училище, во главе которого стоял тогда П. И. Макушин, при котором началось преобразование этой томской школы—бурсы,—В. К. отправился в Петербург, где поступил в медико-

хирургическую академию. Эти годы отличались особым политическим настроением, на которое реагировала лучшая часть студенчества; широкие идеи народничества не могли не захватить В. К., и любовь к народу с тех пор оставалась его руководящим лозунгом. В 1874 году мы видим его в Барнауле, в месте его рождения; он прибыл сюда человеком уже с расшатанным здоровьем, выпадающим на долю почти всякого борющегося с нуждою студента.

В Барнауле в это время народное образование представляло следующую картину: для детей горных чиновников было горное училище, для духовенства—духовное училище, а для всего остального населения города—в 13—15 тыс. чел.—была одна лишь приходская школа с 80 учащимися, в которой учили бог знает чему. Вернувшийся из столицы на родину В. К. Штильке не „пристроился“ к горному „золотому“ делу, а занялся частным учительством, в котором он проявил необычайную энергию и особую любовь. Но частная учительская деятельность не вполне удовлетворяла В. К. Он стал искать более широкой общественной работы. В 1884 году, по инициативе В. К. Штильке, возникает в Барнауле известное на всю Сибирь „Общество попечения о народном образовании“, которое пытается распространить свою деятельность не на один город, а и на другие города и значительные села Алтайского округа, где народное образование стояло еще ниже. С этого периода и начинается та широкая общественная работа, которая выражалась благородным девизом: „Да поставит себе каждый из нас в числе первых забот—заботу о школе“. С этим девизом общество открыло свои действия.

Душою и ярким выразителем и энергичным и постоянным работником этого общества был В. К. Штильке. В течение 23 лет жизни общества деятельность его выразилась: в постройке двух прекрасных школьных зданий и содержании нормальных 3 классов и 2 воскресных школ, рукодельного класса, классов пения, в открытии народных, двух школьных и городской общественной библиотек, книжного склада (теперь закрытого), в устройстве народных чтений, лекций, доходных и общедоступных спектаклей, литературно-музыкальных утр и вечеров, детских и народных развлечений и, наконец, в перестройке и приспособлении „народного дома“—каменного 3-х этажного здания, пожертвованного кабинетом его величества, зрительный зал которого может вместить до 3-х тысяч человек. В нормальных школах общества ежегодно обучается до 300 чел. и оканчивает курс до 50 чел., а так как общество закрепляет прочность народного образования услугами библиотек и широкой и разносторонней деятельностью „народного дома“, привлекающей сотни народа, то

будет понятно, почему г. Барнаул поражает теперь своею высокою грамотностью. Для полноты картины следует добавить, что Общество это, во главе которого в роли активного работника всегда был Штильке, открылось, об‘единило все лучшие местные силы и работало в то время, когда всякий коллективный труд находился под особым давлением, и когда для такого рода культурной деятельности существовал особый масштаб и разнообразные меры внешних воздействий. Если добавить, что разносторонняя деятельность барнаульского общества как в деле школьного, так и внешкольного образования, явилась примером и для других городов Сибири, а за время существования Общества оно собрало и израсходовало до 200 тысяч рублей, из которых 85% пошло исключительно на народное образование, то будет понятна та высококультурная роль, которую сыграл инициатор и лучший работник Общества—В. К. Штильке.

В течение всей своей жизни в Барнауле он являлся или инициатором, или энергичнейшим союзником всяких общественных начинаний, какие было возможно предпринять при данных условиях. Со времени введения городской реформы Штильке был передовым работником и тогда, когда его избирали гласным, и тогда, когда он по той или иной причине в гласных не был. В. К. Штильке в городском самоуправлении был тем типичным деятелем, без которого не обходилось ни одно общественное начинание. В одних случаях он являлся инициатором, в других обязательным консультантом и в третьих—ярым защитником тех положений, которые он считал справедливыми и глубоко общественными. Можно сказать смело, что у Штильке не было личной жизни, у него все уходило на общественную работу. Когда открытое Штильке Общество не имело своих школьных зданий, он отдал под школу временно даром свой дом. Не будучи материально обеспеченным, Штильке 20 лет занимался только частными уроками и уроками в горном училище, много бедствовал с громадною семьею и только за последние 7 лет он был производителем землеотводных работ на Алтае. Нельзя еще не упомянуть о том, что В. К. Штильке принимал участие в „Обществе любителей расследования Алтая“, организовал в 1900 году „Общество взаимопомощи личного труда в Барнауле“ и за весь период своей общественной деятельности принимал самое горячее участие и в российской и, главным образом, в сибирской прессе, между прочим он одно время сотрудничал в „Сибирском Листке“.

Другим пунктом, где В. К. проявил свою культурную деятельность, является маленькая деревня Власиха. Здесь им основана школа, помещавшаяся первые годы в его небольшом

домике; потом, при содействии его, для школы выстроено епархиальное здание, послужившее образцом для 10 таких же зданий, построенных Алтайским управлением в память 150-летнего юбилея округа. За 15 лет школа из 800 душ наличного населения дала деревне до 500 грамотных. Затем, по инициативе и поддержке В. К., власихинское общество открыло бесплатную народную библиотеку, наконец, построена церковь, отпуском на которую 2000 из средств кабинета и бесплатного места д. Власиха всецело обязана ходатайству того же В. К. Штильке.

С грустью приходится отметить, что в октябрьские дни этот выдающийся сибирский общественный деятель много пострадал: дом его был разгромлен кучкою октябрьских погромщиков, все имущество было разграблено, пристройки подожжены, одна из дочерей ранена пулей, и Василий Константинович должен был оставить Барнаул и временно поселиться в г. Томске, а затем, административно высланный,— он поселился в Петербурге с прикомандированием к кабинету.

В октябре месяце В. К. получил отставку, а 5 декабря был избран заочно депутатом 3-й Государственной Думы.

Этот заочный выбор на высшую ступень общественного доверия был как бы своего рода компенсацией дикого проявления жестокого ослепления части его сограждан, к которому он в свое время отнесся (в письме, помещенном в „Сиб. Жизни“) с замечательной мягкостью и незлобивостью, несмотря на всю тяжесть пережитого.

Такова характеристика друга Д. А. Лизогуба, которому он в свое время поручил воспитание брата и членов „коммуны“. Правда, с возрастом у Штильке могли стереться черты пропагандиста семидесятых годов, или, быть может, политические условия заставили замаскировать их, но уже то обстоятельство, что теплый отзыв о нем после смерти, когда подводятся все итоги жизни, дан такими органами, как „Сибирские вопросы“ и „Сибирский Листок“, служит доказательством, что Штильке в значительной мере остался верен своему знамени, хотя, быть может, и поблекшему от времени. И если таков был близкий Лизогубу человек, то и сам он, несомненно, разделял те же взгляды.

В бытность мою в Лизогубской „коммуне“ Дмитрий Андреевич ни разу не посетил своей усадьбы, так что я не только не беседовал с ним, но и не видел. Слыхал же я о Лизогубе очень много, причем в то время все данные говорили за то, что он был чистой воды народник-пропагандист и только. Говорили, что через город в Галиции, Броды, расположенный у самой границы Волынской губернии, Дмитрий Андреевич мог свободно получать издававшиеся за границею

нелегальные брошюры, которые, действительно, в большом количестве имелись в „коммуне“. Затем передавали, что сам Лизогуб, одетый крестьянином, ездил по деревням на телеге, вел пропаганду и раздавал книжки. Наконец, говорили, что свои потребности Дмитрий Андреевич довел до минимума, ничего не тратил на себя, а все свои громадные средства предоставил на дело пропаганды среди народа. Словом, судя по характеристикам, Лизогуб, в период „коммуны“, по взглядам своим и образу жизни, весьма напоминал Штильке. Между тем, в хронике „Социального движения в России за десятилетие (1878—1888 г.г.)“ о нем говорится, что „это был один из наиболее характерных типов южных террористов“. На чем же основана такая характеристика? А вот: „его (т. е. Лизогуба) фанатизм в революционном деле был так силен, что он продал свои имения в Малороссии, реализовал капитал в 100.000 с лишним рублей и хотел даже для этой цели ликвидировать остальные имения“. И только! Не приводится ни одного террористического акта, который был лично совершен Лизогубом. Чем же, однако, об‘яснить, что Д. А. Лизогуб был повешен, как террорист и анархист?

В 1893 году в Женеве вышли „Материалы для истории русского социально-революционного движения“, в третьем номере которого говорится, что Лизогуба, как и многих других, оговорил бывший студент Харьковского ветеринарного Института Курицын, содержавшийся в Одессе в одной камере с Лизогубом. Последний, конечно, вел беседы с другим своим товарищем по заключению, давая пищу названному оговорщику. Вот этот-то оговор и является главным материалом для официальной характеристики Д. А. Лизогуба, которого казнили из боязни, как бы средства богатого помещика не оказали большой услуги революции. Эта боязнь, помимо оговора Курицына, определявшего средства Лизогуба в 100.000 рублей, в сильной степени вызвана была еще показаниями народного, кажется, учителя, дворянина Владимира Дрыги. Последнего Лизогуб сделал своим доверенным лицом и, как я слышал, он был распорядителем всего имущества и капиталов Дмитрия Андреевича, который не без основания опасался, что при обыске и аресте его средства будут конфискованы. Когда его арестовали, Дрыга, желая воспользоваться богатствами Лизогуба, припрятал деньги, а сам сделал заявление жандармам, что в Черниговской губернии существует организованная Лизогубом на его средства революционная организация. Впоследствии этот Дрыга был, вероятно, для проформы выслан административным порядком куда-то в Западную Сибирь, где, по слухам, жил на широкую ногу, прикарманив львиную долю лизогубовских капиталов, и дружил с исправником.

Во II-м дополнительном томе Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (стр. 80) о Лизогубе, между прочим, говорится: „осенью 1879 года казнен. Приговор к смертной казни был совершенною неожиданностью, так как для него не было достаточных оснований“.

Как сказано в начале моих воспоминаний, я арестован был в Новозыбкове, Черниговской губернии, в ночь с 17 на 18 августа 1879 г., т. е. через девять дней после казни Лизогуба в Одессе. Ужасное событие это мне было неизвестно, а допустить я его не мог и потому, что составил себе представление о Лизогубе, как народнике-пропагандисте, и потому, что он был арестован в бытность мою в Одессе, где до самого моего от‘езда из этого города за границу были вообще довольно утешительные слухи о деле „28-ми“, а о Лизогубе прямо говорили, что „против него нет никаких данных для обвинения“.

Вот почему, когда я припоминал в тюрьме о „коммуне“ Лизогуба, то мне и в голову не приходило, что за пребывание в ней можно было предъявить какое-либо обвинение.

Это была, можно сказать, подготовительная школа для пропагандистов. У меня лично большая часть времени проходила в чтении и жестоких спорах на литературные темы, главным образом, с Василием Гофштеттером. Я был ярый последователь Писарева, а потому „костил“ на чем свет стоит и Пушкина, как „аристократического писателя“, и гр. Л. Н. Толстого, который печатал свои произведения в Катковском „Русском Вестнике“, а Достоевского еще и как „ренегата“, написавшего „Бесов“. Особым почетом пользовался роман Чернышевского—„Что делать?“ Герой его Рахметов, между прочим, упражнялся спать на гвоздях. И это считалось достойным подражания, так как, по упорным слухам, каждый пропагандист мог подвергнуться даже пыткам в ужасном III отделении собственной его величества канцелярии. Следовательно, политическим деятелем мог быть только такой самоотверженный тип, как Рахметов. Что касается фактической пропаганды, то ее мы применяли в окрестных селах, преимущественно на полях и лугах во время крестьянской работы. Лично я, видом мальчишка, производил на народ, нужно думать, полукомичное впечатление. Если же принять во внимание сплошную безграмотность населения, то, несомненно, моя пропаганда ни на иоту не пошатнула государственного строя, а дала лишь „материал“ „для цыгарок“. Это я понял уже позже.

Но лично на меня „коммуна“ имела громадное и безусловно благотворное влияние. За чаем, обедом, по вечерам у нас шли беседы о будущем строе, о лучшей жизни, крити-

ковался существующий государственный и общественный порядок, обсуждались выдающиеся произведения русской и иностранной литературы, читался „Вперед". Пелись революционные песни. Особенно излюбленной была:

Братья, вперед! Не теряйте
Бодрость в неравном бою!
Родину нашу спасайте, честь и свободу свою.
Может погибнуть придется,
В тюрьмах и шахтах сырых,
Дело ж само останется,
Для поколений других...

Была и поэзия в лице сестер Гофштеттер, особенно красивой, нежной, словно фарфоровой, Люси, к которой, признаюсь, я был неравнодушен.

Я бы не все сказал о коммуне, если бы не упомянул о дворне Лизогуба. Бывшие крепостные люди смотрели на нас с превеликим удивлением и полным непониманием.

— Чи вы-ж паны, чи так соби?—спросила меня однажды, кажется, коровница.

И в этом вопросе необыкновенно рельефно выразился взгляд на нас окружающих. Мы были с ними необыкновенно любезны, обращались не иначе, как на „вы", при случае возбуждали их против самих себя, указывая на привилегированное положение „панов", но в то же время, с их точки зрения, мы ничего не делали и приводили, оказывается, лишь в недоумение: „паны" мы, „чи так соби", т. е. нечто совершенно неопределенное.

„Коммуна" кончилась для меня довольно просто и, пожалуй, комично. Однажды приехал за мной отец, вызвал меня и предложил ехать домой. По всем вероятиям я не согласился бы на это, если бы отец не сообщил, что мать моя убивается по мне, „выплакала все глаза". Тяжело мне было расставаться с „коммуною", но любовь к матери преодолела, и я отправился в место жительства родных. Но, увы, с первых же дней меня охватила смертельная тоска. Я скоро убедился, что совершенно не в силах жить интересами глухой провинции. Я буквально не находил себе места. Жизнь в „коммуне" совершила полный переворот в моей психике, и вне этой жизни я не находил уже ничего, что бы захватило меня. Конечно, от родных не могло ускользнуть мое подавленное настроение, и они решили отправить меня к старшему брату, бывшему в то время товарищем прокурора в Казани, полагая, что, под его влиянием, я поступлю в казанский университет. Я охотно на это согласился. Но не брат меня интересовал, к которому я относился отрицательно, как к товарищу-прокурора, и не

университет, а—Волга, привлекавшая всю тогдашнюю молодежь, в глазах которой и Пугачев, и Стенька Разин были героями, стремившимися достигнуть свободы для всего народа. Но еще больше было влияние Волги через Некрасова, воспевавшего великую русскую реку. Смело можно сказать, что не было того собрания, сходки, прогулки, чтобы молодежь в то время не пела:

Выдь на Волгу—чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песнью зовется,—
То бурлаки идут бичевой.

И я мечтал „выйти на Волгу" и воочию увидеть бурлацкое горе, а быть может и самому сделаться бурлаком. Нужно ли говорить, что мои стремления шли в полный разрез со взглядами товарища прокурора, и я скоро, по предложению брата, которого мог скомпрометировать, покинул Казань.

Этим и заканчивается моя черниговская история. Из Казани я домой уже не поехал, а осел в Киеве, который, как и Киевская губерния, на долгое время сделался для меня источником духовной жизни.

Жизнь в Киеве била тогда могучим ключом. Помимо украинофилов, по прежнему представлявших из себя самый солидный, культурный и просвещенный элемент, являвшийся постоянным бродилом, возбудителем общественного движения,— Киев заполнен был представителями разнообразных, тогда довольно туманных, революционных течений.

Насколько я мог ориентироваться в этом круговороте, мне казалось, что среди молодежи были сознательные или бессознательные последователи и Бакунина, и Ткачева, и Нечаева, и Драгоманова, и Прудона, и Лаврова. Но в общем можно было разделить ее на две группы: чистых пропагандистов, веривших в значение книги и слова, и бунтарей, считавших необходимым возбуждать народ к действию силою. Чистые пропагандисты по взглядам своим ближе всего стояли к Лаврову и Драгоманову. Находя нужным „идти в народ", они в то же время не только не отрицали науку, но, наоборот, полагали, что, прежде чем сделаться проповедником и учителем других, нужно самому быть всесторонне образованным. Драгоманову приписывали ироническое замечание, что студенты, стремясь к разным „свободам, требовали и свободу от наук". И это замечание было совершенне основательно по отношению к бакунистам, а тем более—к нечаевцам. И Бакунин, и Нечаев, как выше говорили, требовали „бросать все" и идти

в народ. Наука, задерживая молодежь, безусловно вредит революции. Она, наука, не только не нужна народу, покуда последний не будет освобожден, но наука все более и более увеличивает пропасть, отделяющую просвещенных от непросвещенных, т. е. народ от интеллигенции. Значительное время точка зрения Бакунина привлекала бо̀льший % молодежи, чем взгляды Лаврова.

Познакомившись впоследствии с литературой о Бакунине, я был немало изумлен, каким образом Михаил Александрович мог быть зачислен в народолюбцы, при чем П. Л. Лавров некоторое время утверждал, что он и Бакунин одно и то же. Дело в том, что Бакунин был самого низкого мнения о русском народе. Герцен сообщает такой, например, факт. В 1849 г., став во главе дрезденского восстания, Бакунин предлагал, для защиты Дрездена, поставить на городские стены уники знаменитой дрезденской галлереи, включая и Мадонну Рафаеля. Он был убежден, что культура немцев так высока, что армия не решится громить величайшие произведения искусства. А когда его спросили—согласился бы он на такую меру против русских войск, М. А. ответил: „Не-е-т! Немец—человек цивилизованный, а русский человек—дикарь,—он и не в Рафаэля станет стрелять, а в самую, как есть, божию матерь, если начальство прикажет. Против русского войска с казаками грешно пользоваться такими средствами: и народа не защитишь, и Рафаэля погубишь“. А вот, что ответил Бакунин Герцену, когда последний сочувственно отозвался о русской общине: „Если фаланстеры исчезают в тумане, зато ваша хваленая русская община более тысячи лет недвижно коснеет в навозе. Дикое невежество и суеверие, патриархальный разврат, тупоумное царство китайской обрядности, отсутствие всякого личного, презрение к достоинству человека, или, лучше сказать,—незнание, совершеннейшее неподозревание его, бесцеремонность наивного насилия, холодно-зверская жестокость и полнейшее рабство обычая, мысли, чувства и воли—вот душа этого тысячелетнего, бессмысленного, гниющего трупа“.

Казалось бы, что такой взгляд на народ должен был бы совершенно оттолкнуть от него Бакунина. Но нет,—оказывается „труп“ важен именно за свое невежество, вследствие которого можно утилизировать такие народные взгляды, как принадлежность всей земли народу, как право пользования последнею принадлежит не лицу, а целой общине, миру, и, наконец, что самое важное, враждебное отношение общины к государственности. Другими словами,—„труп“ носит все зачатки анархии. И здесь зарыта собака. На невежестве можно обосновать анархические планы. Полагаем, что при таких усло-

виях не может быть речи о народолюбстве Михаила Александровича и о какой бы то ни было близости его к П. Лаврову.

Была и еще одна, если не партия, то группа, самая незначительная по числу,—это сторонники „Набата", издававшегося якобинцем П. Н. Ткачевым, о котором я уже говорил. Он, по взглядам на народ, весьма походил на Бакунина. В самом деле,—вот что Ткачев писал в своем органе: „Мы должны раз навсегда вычеркнуть из своего словаря пошлые и бессмысленные фразы о каком-то народном гении, фразы, взятые нами на прокат у реакционеров-славянофилов. Мы не должны, мы не имеем права возлагать на народ чересчур больших надежд и упований. Нечего говорить глупостей, будто народ, „предоставленный самому себе", может осуществить социальную революцию, может сам наилучшим образом устроить свою судьбу... Только трусам свойственно льстить и вилять перед ими же самими созданными кумирами... Тот не любит народ, когда сваливает исключительно на его плечи великое дело социальной революции. Освобождение народа при посредстве народа—это та же теория народной самопомощи, под громкими фразами которой буржуазные экономисты стараются скрыть свое бессердечие, свое эгоистическое отношение к народным страданиям, к народному горю... Ни в настоящем, ни в будущем, народ сам себе предоставленный, не в силах осуществить социальной революции. Только мы, революционное меньшинство, можем это сделать и мы должны это сделать как можно скорее".

„Ткачевцев" считали враждебными и бакунистам, и лавристам.

Были, наконец, сторонники знаменитых французских экономистов Пьера Жозефа, Прудона и писателя—Жан-Жака Руссо. Но, если не ошибаюсь, у них дело ограничивалось чтением имевшихся в русском переводе сочинений этих авторов, при чем лишь отдельные фразы из них фигурировали в виде лозунгов. Из Прудона популярна была фраза: „собственность—кража". В связи с нею часто можно было слышать и другую: „не работающий не должен есть". Из сочинений Руссо цитировались такие места: „Первый, кто огородил участок земли —обманщик". „Вы погибли, если забудете, что плоды принадлежат всем, а земля—никому". „О, всемогущий господь! Избавь нас от просвещения отцов наших и приведи нас назад к простоте, невинности и бедности, единственным благам, обусловливающим наше счастье и тебе угодным". Но главными авторитетами, повторяю, были Бакунин и Лавров. Однако, взгляды последнего получили преобладание лишь к середине 70-х годов, когда из-за границы, преимущественно из Цюриха, возвратились в Россию учившиеся в цюрихском университете,

главным образом девушки. Массовый приезд этот об‘яснялся совершенно нелепым решением правительства закрыть для молодежи вообще, для девушек в особенности, двери в европейские и, особенно, швейцарские высшие учебные заведения. Это решение было обнародовано в 1873 г. в „Правительственном Вестнике“. Отметив, что в цюрихском университете и политехникуме обучаются более 100 русских женщин, и что революционеры завладели их умами, правительство предупреждало, что те из учащихся в цюрихском университете и политехникуме, которые будут слушать там лекции после 1 января 1874 г., не будут, по возвращении в Россию, допускаемы ни к каким занятиям. По этому поводу И. С. Тургенев из Баден-Бадена писал от 9 июня 1873 г. в Цюрих П. Л. Лаврову: „В „Прав. Вестн.“ появилась большая и беспощадная статья от имени правительства на счет наших цюрихских студентов; их обвиняют во всевозможных ужасах, упоминают (не называя впрочем вас) о ваших лекциях—и кончают об‘яснением, что те из наших соотечественниц, которые останутся в Цюрихе после 1 января 1874 года, будут лишены всех прав и не допущены ни на какие казенные места и ни в какие учебные заведения. Вследствие этих драконовских мер наша русская молодежь в Цюрихе, вероятно, разлетится прахом, а с нею и библиотека, куда мне теперь незачем посылать экземпляры моих сочинений“.

Как и следовало ожидать, результат от этого „предупреждения“ получился совершенно обратный тому, какого думало достигнуть правительство: молодежь решила оставить цюрихские учебные заведения, но, возвратившись из разных мест Европы в Россию, примкнуть там к революционному движению, из которого образовался, между прочим, „большой процесс“. К этому же времени относится и начало увлечения Марксом, знаменитый труд которого—„Капитал. Критика политической экономии. Том первый. Книга I: Процесс производства капитала“,—скоро сделался, можно сказать, обязательною книгою. Насколько, однако, она была удобо-усвояема, тому примером может служить шутливое замечание профессора В. Б. Антоновича: „Даю 3 руб. каждому из юношей, который своими словами изложит любую главу из „Капитала“ Маркса“. Лично я,—должен признаться,—не осилил в то время первой же главы: „Товар и деньги“. Конечно, это была моя сокровенная тайна. Одновременно с стремлением осилить „Капитал“ проникло веяние в сторону интернационала, сущность которого еще не была выяснена. Интернационал понимался как свободная революционная внеклассовая организация. Я сразу был охвачен водоворотом всех течений, но примкнул только к одной, совершенно юной группе. Во главе ее стояла красивая,

совершенно молодая женщина, Люда Волкенштейн, жена известного уже тогда врача, хотя еще и молодого, Волкенштейна Александра Александровича [1]). Эта группа, имевшая местом своего пребывания квартиру Ф. К. Волкова, прозвана была последним „желтым интернационалом". Ироническая кличка эта служила ясным доказательством, что Волков считал нашу группу желторотою молодежью и не придавал ей никакого политического значения. Однако, скоро жандармы дали совершенно иное освещение нашей детской, можно сказать, затее, обвинив Ф. К. в составлении устава... „желтого интернационала!". Как всегда, материалом для такой нелепости послужил оговор своих же. Оговорщиками были: Веледницкий— чиновник контрольной палаты, где служили и Волков, и семинарист Богословский, оговоривший впоследствии и меня. При допросе названных суб'ектов, они, из страха или по глупости, наговорили бог весть что. Волков представлен был, как вождь украинофилов еще с 1873 года. Он состоял секретарем „Громады" и вел переписку с другими революционными организациями и эмигрантами. Кроме того, Волков устраивал типографии в Женеве для эмигрировавшего профессора Драгоманова. Наконец, он в 1874 по1876 г... „содержал коммунистическую квартиру, которую называл... „foyer radical". Несомненно, что, если Волков действительно когда-нибудь так называл свою квартиру,—это было равносильно „желтому интернационалу", т. е—шутка. Но лично я никогда не слыхал от него такого названия. Оговорщики же, или, вероятнее всего, жандармы, перевели „foyer radical", как опасный „питомник нигилизма", в котором во время собрания молодежи Волков читал „составленный им самим курс... нигилистической естественной истории (?) по Фохту, Молешотту, Бюхнеру, Фейербаху и др. сочинениям". В этой „нигилистической" естественной истории проводилась мысль, что „нет бога и отрицалась святость веры и семьи". „Foyer radical" посещал также профессор Зибер, читавший „социалистический курс политической экономии по Карлу Марксу". В любом из европейских государств этот оговор брошен был бы в корзину или в печку, как не представляющий никаких данных для обвинения. Но русские жандармы ухватились за него обеими руками, и не миновать бы Волкову „отдаленых", а быть может и „весьма отдаленных мест", если бы он вслед за профессорами Драгомановым и Зибером не удрал в 1879 г. за границу. За отсутствием столь важного государственного преступника была сослана в Вятскую губернию добродушнейшая и совершенно ни в чем неповинная его... жена, которую мы назы-

[1]) Волкенштейн скончался в Полтаве в 1925 г. 74-х лет от роду.

вали прямо Христею. Ф. К. Волкову пришлось прожить в качестве эмигранта 26 лет до 1905 г., когда он возвратился в Россию уже почти в 60-тилетнем возрасте. Во Франции Волков изучил антропологию и читал лекции по этому предмету в Петербурге, где и умер. Ему принадлежит ряд серьезных трудов по этнографии и антропологии, при чем главнейшие из них печатались во Франции и на французском языке. Вовращаюсь к „желтому интернационалу“.

Действительно, по своим летам, мы ближе всего подходили к желторотым, не оперившимся птенцам, что, однако, не мешало нам энергично стремиться к осуществлению заветной мечты,—отправиться в народ, и лично я очень скоро променял блестящий Киев на деревню, а Людмила Александровна Волкенштейн нежданно-негаданно сделалась терристкой. Оговоренная впоследствии Гольденбергом, как участница в убийстве харьковского губернатора кн. Кропоткина, совершенном оговорившим ее в 1879 г., она эмигрировала за границу, где прожила 4 года. Возвратившись в 1884 г. в Россию, она была тотчас же арестована и предана военному суду. Последний приговорил Людмилу Александровну к смертной казни, которая была заменена каторгою сроком на 15 лет. Сначала она была посажена в Шлиссельбургскую крепость, а затем сослана на о-в Сахалин, куда за нею поехали муж—врач, о котором выше говорилось, и сын—студент Петербургского университета, Сергей Александрович с женою, Верой Михайловной. Все это вынесла Людмила Александровна, но 10 января 1906 года уже во Владивостоке была сражена пулями во время народной демонстрации. Сделав эту вставку на основании уже позднейших данных, возвращаюсь назад.

Первым моим дебютом был глухой хутор Черниговской губ., где один из выдающихся украинских деятелей и один из первых земских статистиков, А. А. Русов, занимался земледельческим трудом, а Софья Федоровна, его жена, исполняла роль кухарки и работницы. Меня направили к этим милым людям, потому что я высказывал желание во всех отношениях приравняться к крестьянину. Но, увы, более чем быстро была обнаружена полная и безнадежная неспособность моя к обработке земли. Идя за плугом, я на каждом шагу падал, доставляя веселое развлечение для неподалеку пахавших крестьян, тем более, что, не слушая моих тревожных восклицаний—тпрр!... тпрр!!—лошадь продолжала тащить меня вместе с плугом, покуда я не бросал последнего. Поднявшись на ноги и очистившись немного от земли, я гнался за лошадью, хватался за волочившийся плуг, но, желая поставить его так, чтоб он пахал землю, опять падал и т. д. Видя это, Русов самым деликатным образом дал мне понять,

что обработка земли дело для меня не совсем подходящее, и предложил перейти на ручную мельницу. Я не заставил себя упрашивать и превратился в мельника. Тем же занимался и студент первого курса Киевского университета, Ильяшенко. Работа эта была очень тяжелая, развивала необычайный аппетит и давала крепкий сон. Как помелем, бывало, с раннего утра до полудня, то, право, зверями набросившись на скромный обед, уничтожали громадное количество пищи, а затем валились где попало и часа на два засыпали богатырским сном. То же самое повторялось и за ужином, причем с раннего вечера и до утренней зари мы спали не поворачиваясь, как мертвецы. О каком-либо умственном труде нечего было и думать. Жестокая усталость, сопровождавшая работу, лишала возможности прочесть даже самую легкую книженку. Есть и спать,—только в этом и ощущалась потребность. Я пришел тогда к выводу, что земледельческий труд ведет к полному отупению и поспешил оставить хутор. Скажу к слову, что к Русову как-то приезжал И. И. Петрункевич, но земцы считались тогда в глазах молодежи людьми, не заслуживающими внимания, и я совершенно равнодушно отнесся к выдающемуся деятелю, тогда уже энергично стремившемуся к осуществлению в России конституции.

Чтобы в этой части не возвращаться уже к Русову, скажу здесь, что то же лицо, которое оговорило Ф. К. Волкова, сделало нелепое сообщение жандармам и об Александре Александровиче Русове. Именно семинарист Богословский на допросе писал, что Русов „участвовал в редакции революционного журнала „Громада“ и был инициатором типографии в Женеве“. Характеризуя далее А. А., Богословский показал, что Русов „отличался приверженностью к делу пропаганды и поддержанием в других энергии в преследовании преступных целей“. Впоследствии, когда стал известным оговор Богословского, Русов и Волков сделали весьма любопытные „примечания к нему“. Мы ограничимся лишь небольшими выдержками из них. „Так называемая „Старая Громада“ —поясняли названные лица,—это был кружок, являвшийся продолжением украинских традиций сороковых и начала шестидесятых годов, в половине которых он и сложился из обломков бывшей редакции „Основы“ и студенческой громады Киевского университета, известной в свое время учреждением первых в России воскресных школ. Состоя из людей, главным образом, университетской и вообще учено-литературной среды, кружок этот был далек от какой бы то ни было революционной деятельности, но отдавался вполне деятельности конституционно-освободительной, на почве украинских интересов. Высочайшее повеление 1876 г., совершенно упразднившее все

украинское движение, вывело, наконец, и этот кружок из пределов легальной деятельности и вызвало издание „Громады“ в Женеве. Одновременно с этим началось движение в Земстве“ [1]). Сделав эту оговорку, возвращаюсь к воспоминаниям. Из русовского хутора я попал в Ольшаницу, Васильковского уезда, Киевской губ., где получил место народного учителя. Моя педагогическая деятельность началась несовсем обычно. Желая скрыть свою привилегированность и прибыть в деревню без всяких признаков ее, я явился к инспектору народных училищ, Солнцеву, назвал себя крестьянином и просил инспектора зачислить меня в учителя.

— Ты должен прежде всего экзамен выдержать,—ответил мне на это инспектор.

— Я могу.

— Но допустить к экзамену я могу тебя лишь тогда, когда ты получишь разрешение от своего общества.

— Какого общества?

— К которому ты причислен. Ты из какой деревни?

Я растерялся и вынужден был во всем сознаться. К счастью, старый, седой инспектор народных училищ оказался прекрасным человеком.

— Ах, молодой человек, молодой человек!—сказал он, улыбаясь,—и зачем вы все это выдумали? Подавайте мне прошение, назвав без утайки свое имя, отчество, фамилию и звание, приложите документы и, выдержав экзамен при гимназии, тотчас получите место. Но, помните, земства у нас нет, школы плохие, жалованье нищенское.

— Это для меня безразлично.

На другой же день я сделал все нужное, а еще дня через два-три выдержал экзамен при второй Киевской гимназии и, распрощавшись с „желтым интернационалом“ и со всеми своими киевскими знакомыми, отправился в вышесказанную деревню. Она представляла из себя нечто до нельзя бедное, почти голодное. Школа была невозможная. Но, горя миссионерским пылом, я ни на что не обращал внимания. Совершенно неожиданно для себя я оказался недюжинным педагогом. На это прежде всего обратил внимание заезжий педагог, М. О. Шпаченко, сыгравший большую роль в моей жизни. Он был старшим учителем большой пятиклассной школы на сахарном заводе богатой фирмы Яхненко-Симиренко.

Просидев в классе во время занятий, он поблагодарил меня и уехал так же таинственно, как и приехал. Лишь недели через две я уяснил себе причину этого визита. В это

---

[1]) Этому вопросу автором посвящен особый труд, носящий название— „Земское Движение“ и изданный „Задругою“ в 1914 г.

же приблизительно время школу впервые посетил инспектор народных училищ.

— Да что вы, молодой человек,—сказал он после первого урока,—вы не грамоте учите детишек, а лекции им читаете!

Я не знал, что ему ответить. Между тем инспектор стал контролировать мои занятия. Он, предложив мне прервать урок, стал лично заставлять моих учеников читать, писать и считать. Спросив 5-6 ребятишек, инспектор обратился ко мне:

— Ну, извините, Иван Петрович, успехи у вас блестящие. Не ради комплимента скажу вам, что ни в одной школе я не встречал таких прекрасных результатов полугодовых занятий. Теперь я понимаю, почему мне на вас указали в заводской школе. Дело в том, что в последней имеется вакансия...

— А где эта школа?

— На сахарном заводе Яхненко-Симиренко.

Я вспомнил о Шпаченко и у меня не оставалось сомнения, что это он, разыскивая подходящих учителей, указал на меня.

Солнцев предложил мне подать прошение о переводе в заводскую школу, что я и сделал.

Не без грусти все-таки я расстался со своими ольшанскими ребятишками, совершенно, к слову сказать, избалованными мною, и с крестьянами, среди которых я вел более чем неудачную пропаганду. Ольшанцы любили меня, как учителя, но в роли пропагандиста я, 18-тилетний юноша, казался им, вероятно, смешным. Во всяком случае я не замечал никаких последствий моей пропаганды, и в это время у меня зародилось сомнение в значении такой деятельности в народе.

Ехал я в Ольшаницу исполненный веры в быстрое превращение крестьян в ненавистников существующего строя, но почти шесть месяцев работы не дали ничего. По вечерам собирались ко мне и „дядьки“ и „парубки“, пили усердно водку и внимательно, казалось, слушали чтение брошюр и мои пояснения в беседе с ними, сочувственно кивали головами, сопровождая эти движения сочувственными же возгласами: „эге-ж“,.. „та воно правда“,—но тем дело и кончалось. Сплошная неграмотность делала бессмысленною раздачу брошюр, и слова в одно ухо влетали, а в другое вылетали без всяких последствий.

В начале 1875—1876 учебного года я был уже в городищенском училище. Это событие имело решающее значение в моей жизни.

Городищенский сахарный завод Яхненко и Симиренко был старинный и выдающийся центр украинской культуры. Говорили, что здесь в свое время не раз гостил Т. Г. Шев-

ченко. Во всяком случае знаменитый поэт Украины пользовался здесь великим, вполне заслуженным почетом, и Платон Федорович Симиренко был первым издателем стихотворений Шевченка.

Ходила легенда, что великий украинский поэт вел здесь даже наглядную пропаганду. В одну руку он, будто бы, брал несколько камешков, которые должны были изображать „панів“ и придержащие власти, а в другую жменю пшеницы или жита—символизировавшие народ, „громаду“. Положив камешки на стол, он сыпал на них зерна, которые, конечно, покрывали камешки. Вывод ясен: масса народная, „громада“, может стереть с лица земли и „панів“ и властителей. Передавали также, что Шевченко на заводе продиктовал некоторым известное свое четверостишие:

О людэ—людэ небораки,
На що сдалыся вам цари,
На що сдалыся вам псари—
Вы-ж таки людэ—не собаки.

Я уже не застал П. Ф. Симиренко в живых. Не было в это время на заводе и ранее служившего здесь знаменитого этнографа П. Л. Чубинского, которого жандармы считали революционером, участвовавшим в устройстве в Женеве типографии для Драгоманова.

Но украинофильский отпечаток толстым слоем лежал еще на всем жизненном укладе. Сильными покровителями украинской культуры являлись как глава управления завода, брат покойного П. Ф., Василий Федорович Симиренко, так и видный член его, А. Ф. Храпаль. Этого было достаточно, чтобы на заводе полным правом гражданства пользовались украинский язык, украинская песня, украинская музыка. Что касается школы, то, в виду ревнивого правительственного надзора, в стенах ее господствовал язык государственный. Лично меня это обстоятельство не особенно огорчало. Всю жизнь обучавшийся на русском языке, глубоко почитавший русскую литературу, увлеченный всероссийским народническим движением, я, по правде сказать, совершенно индиферентно относился к украинофильству. Также, кажется, относился и Шпаченко, хотя он был слишком дипломатичен, чтобы уяснить его взгляды, но зато третьему нашему товарищу, милейшему человеку, Павлову, школьный режим доставлял много горя. Почти украинский фанатик, Павлов производил свою чисто русскую фамилию от слова „полова“ и лишь по необходимости пользовался русским языком. Крайне осторожный, он только по вечерам, запершись в своей комнате и занавесив окно, давал волю своим украинским чувствам. Чаще всего его собе-

седником был хитрый украинец Мусий, школьный сторож. Большой любитель спиртных напитков, он охотно принимал предложение Павлова, всегда усердно угощавшего чаем и водкою как себя, так еще более гостей. Павлов запирался с Мусием в своей комнате и „пропагандировал“ последнего, говоря о великом прошлом Украины, о ее героях и мучениках, о будущем своей родины, причем почти всегда дело доходило до слез: плакали и Павлов, и Мусий. Если я или Шпаченко были дома, то Павлов приглашал и нас, но мы всегда лили ушаты холодной воды на его пылавшее воображение и при нас слез обыкновенно не было.

Я очень быстро подружился со своими товарищами и мы мирно жили под одною кровлею, ведя свое хозяйство. Рядом с нашею квартирою, в одном здании с нею, помещалась женская школа, где учительницами были Е. А. Храпаль и Гоголь-Яновская, родственница знаменитого писателя. В самом заводе были также весьма симпатичные люди, особенно заводские химики Более других я был близок с Пятаковым и Виноградовым.

На рождественские праздники приехал сын покойного П. Ф. Симиренко, студент Киевского университета, мой ровесник, Лев Платонович Симиренко. Уже на другой день по прибытии он запросто пришел в нашу учительскую квартиру и произвел на меня чарующее впечатление как внешним своим видом, так и духовным содержанием. Из обмена мыслями выяснилось, что Лев Платонович совершенно солидарен со мною во взглядах и желает стать в самые близкие ко мне отношения. Не откладывая в долгий ящик своего намерения, он стал настаивать, чтобы я отправился с ним в его дом и познакомился со всем семейством. Я упорствовал. Одною из причин этого было нежелание сближаться с владельцами завода, а другою—полное отсутствие у меня одежды. В Ольшанице я получал самое жалкое вознаграждение и не имел возможности сшить себе что-либо напоминающее „костюм“. Да, не знаю, вряд ли я сделал бы его, если

Лев Платонович
СИМИРЕНКО

бы и были деньги. Принципиально я не желал ничем выделяться от народа и ходил в деревне, как все крестьяне. Из верхней одежды, например, у меня был только простой тулуп. Нижняя одежда состояла из ситцевой рубахи, подпоясанной поясом, и дешевых брюк, засунутых в голенища вонючих больших сапог. Подражая народу, я редко стригся и даже чесался и не часто умывался. Вообще облик мой не подходил к мало-мальски приличной обстановке.

Но, стойкий в достижении своих целей, Лев Платонович, что называется, потащил меня к себе, заявив, что в семействе его никто не обратит внимания на мою внешность.

С редким смущением вступил я в дом Симиренко, неловко шагая по блестящим полам вслед за Львом Платоновичем, и совсем уже растерялся, когда в одной из комнат увидел всю его семью: мать, Татьяну Ивановну, дочь, Машу, и трех братьев: Колю, Тоню (Платона) и Алексея, но не прошло и часа, как я почувствовал себя в этой семье своим человеком. Лев Платонович был прав—никто не обратил внимания на мою внешность. Татьяна Ивановна отнеслась ко мне с обворожительной искренностью и теплотою и сразу уничтожила мое смущение. Чисто по-товарищески,—словно они меня давно знали,—пожали мне руку и братья Льва Платоновича, и только один из них, средний, оглянул меня каким-то, казалось, холодным взглядом и,—здесь же скажу,—в течение всего моего знакомства с домом Симиренко он всегда вел себя по отношению ко мне крайне сухо. После этого визита я стал запросто бывать в доме Симиренко, причем с Львом Платоновичем за рождественские праздники мы сделались уже друзьями, говорили друг другу „ты“, называя он меня—Ваня или Ванька, а я его—Лева или Левка. Татьяна Ивановна, страшно любившая Леву, и ко мне относилась так же, как и ее сын. Между прочим она не смущалась прогуливаться со мною, одетым в тулуп, и сапоги, под руку по заводу.

Дом Симиренко был, можно сказать, центром местной культуры. Не говоря о библиотеке, в нем выписывались все лучшие журналы и часто устраивались литературные чтения, сопровождавшиеся дебатами.

Как и раньше, в это время предметом разговоров был гр. Л. Н. Толстой. И то обстоятельство, что он печатал свои произведения в Катковском „Русском Вестнике“, и то, что великий писатель „описывал лишь аристократию“ („Анна Каренина“)—вызывало со стороны молодежи крайне отрицательное к нему отношение. Почти одновременно пошатнулся и авторитет И. С. Тургенева, выступившего в „Вестнике Европы“ с „Новью“. Самым любимым органом был по прежнему „Отечественные Записки“, причем статьи Михайловского,

Щедрина, Некрасова, Златовратского читались, что называется, запоем.

В большом ходу был роман Кущевского: „Николай Негорев или благополучный россиянин". Читались также с большим интересом произведения Мордовцева, Омулевского, Гончарова. Нельзя умолчать еще об ультра-народнической газете Гайдебурова: „Неделя", имевшей значительное число читателей. Особенно оживлялся дом Симиренко летом, когда на каникулы приезжал Лева, привозивший всегда массу нелегальной литературы. Хранительницей ее была экономка, Анастасия Михайловна, прятавшая запрещенную прессу в бочку с украинским салом. Летом же приезжала гостить молодежь и часто собиралась местная интеллигенция.

Из приезжавших припоминаются студенты: братья Драгневичи, братья Львовы, Шубин, часто гостил И. К. Дебагорий-Мокриевич, угощавший нас прекрасною игрою на рояле. Непременным членом нашей компании был также технолог Эпельбаум, репетитор Машеньки Симиренко.

Веселье чередовалось большими спорами о существующем порядке вещей и о способах избавления народа от полицейского произвола и далеко еще не уничтоженного крепостничества. Одни видели единственное средство в пропаганде, но другие находили уже, что этого мало, что пропаганда средство медленное, если оно вообще достигает каких-либо целей, а что необходимы более быстрые активные меры. И, спустя немного, в Городищенском заводе появились сторонники последнего рода деяний—„бунтари". Я познакомился с ними, потому что нашу учительскую квартиру они нашли удобным пунктом при осуществлении своих целей. Наша политическая благонадежность была засвидетельствована Киевом, и нелегальные люди, конечно, могли быть спокойны за нас, если только сами не обратят на себя внимание полиции. Что касается лично меня, то я, без преувеличения, с благоговением встретил этих таинственных деятелей, неожиданно появлявшихся и неожиданно скрывавшихся и рекомендовавшихся только именами: Владимир, Федор, Лев, Яков и т. д. В дни их пребывания мы соблюдали самую тщательную конспирацию, и за все время моего пребывания в Городище ни разу не было случая, чтобы обнаружилось у нас проживание нелегальных. Только впоследствии мы узнали, что останавливались у нас такие видные революционеры, как В. Дебагорий-Мокриевич, Стефанович, Дейч, Бохановский и др., подготовлявшие почву для, так называемого, осуществившегося лишь в 1879 г., „чигиринского бунта". Городище лежало как раз на пути между Киевом—Чигирином, и наша школа, действительно, представляла удобный пункт во всех отношениях.

При своих посещениях таинственные гости наши сообщали различные политические новости и снабжали новейшею нелегальною литературою, преимущественно, великорусскими брошюрами и часто украинскими „метеликами“. Я энергично распространял эту литературу среди местного населения, включая и прислугу в доме Симиренко, хотя уже сознавал всю бессмысленность этого рода занятия, потому что, повторяю, население было сплошь безграмотно. Это сознание явилось следствием опыта. Так, я посетил ряд дворов в м. Млиеве, расположенном близ завода, и систематически снабжал их „метеликами“, а когда через известное время разговорился с ними, то оказалось, что, за отсутствием грамотных, ни один „метелик“ не был прочитан [1]).

В конце концов нелегальная литература прочитывалась лишь там, где были дети, учившиеся в нашей школе, но они так читали, что не понимали ни сами, ни слушавшие их. В виду сказанного, подавляющее количество нелегальных брошюр шло на „цыгарки“. Любопытно, что не было случая, чтобы такую брошюру сельское начальство отобрало от крестьян, и это надо об‘яснить также безграмотностью самого начальства.

Как только выдавалось у меня свободное время,—а это было почти каждый вечер,—я отправлялся в дом Симиренко, который в конце концов сделался для меня как бы родным домом. Я здесь получал полное духовное удовлетворение и сблизился с интересными лицами. К числу таковых принадлежали девушки Е. А. и А. А. Храпаль. Последняя в мое время оканчивала один из швейцарских университетов и переводила Оскара Иегера. Большой интерес представлял также талантливый человек, недюжинный публицист, В. Х. Кравцев.

Но, помимо культурных интересов, в доме Симиренко я приобрел сердечную привязанность. Последняя, между прочим, постепенно превратила меня из нигилиста в приличного молодого человека, или, вернее, ускорила это превращение. Дело в том, что я и сам разочаровался в нигилизме, найдя его совершенно несовместимым с культурой. Но мое молодое самолюбие не позволяло сразу проявить отрицательное отношение к тому, что я открыто исповедывал. А тут представился предлог: совершенно невозможно посещать дом Симиренко в таком виде. И я стал мало-помалу подтягиваться.

В заводе началась и моя литературная деятельность. До гробовой доски не забуду того захватывающего впечатления,

---

[1]) В 1920 г. млиевчане ограбили и убили Л. П. Симиренко. Убийцами оказались, значит, дети тех отцов, которых 45-46 лет тому назад я, с согласия Левы, при его помощи, пропагандировал.

которое испытал я, когда увидел напечатанною мою первую пробу пера. Статейка называлась „Борьба за существование в сфере народного образования“ и была помещена 1 июня 1875 г. в 65 номере радикального *„Киевского Телеграфа“*, скоро закрытого за перепечатку в одном из фельетонов статьи из Лавровского „Вперед“. Я не верил своим глазам и раз десять прочел ее в газете, чтобы укрепить себя в действительности события, а затем положил № на столе в нашей общей комнате и с трепетом ждал, что скажут товарищи, прочитав мое произведение. Но, увы, они пробежали „Киевский Телеграф“ и ни единым словом не обмолвились о статье! Тогда я понес газету в дом Симиренко, мнением которых дорожил больше всего. Однако, и здесь ничего не услышал, покуда, как бы случайно, не указал на статью Леве. Последний тотчас прочел ее и сказал: „Ну, что же, для первого раза ничего себе“. „Ничего себе“!.. Я был крайне опечален таким отзывом. За то полное удовлетворение получил я за написанный на заводе же и изданный за счет Яхненко в 1875 г. в Киеве рассказ для детей: „Оля“. Помимо лестных отзывов в печати, он понравился решительно всем Симиренко. Особенно льстило моему самолюбию, что рассказом зачитывался мой пятнадцатилетний „предмет“. После „Оли“ на меня стали смотреть как на „молодого писателя“. Нужно-ли говорить, что звание это возносило меня до седьмого неба.

После всего сказанного нет ничего удивительного, что, когда на заводе разразился крах, школу закрыли и пришлось расставаться с Городищем,—это обстоятельство заставило меня пережить тяжкие моменты.

Но делать нечего.

Я переехал в Киев и стал слушать лекции в университете, принимая в то же время самое живое участие в политической жизни, весьма интенсивно проявлявшейся как в стенах, так и вне стен университета. В это время университет еще не окончательно лишен был своих вольностей, полученных с воцарением императора Александра II-го. Не был еще ограничен прием студентов, не уничтожен доступ для лиц с домашним образованием, не введена была форма, и студенты ходили в каком угодно одеянии, являясь вне стен университета полноправными гражданами. Многие украинцы посещали, например, лекции в национальных костюмах: в вышитых сорочках, засунутых в шаровары, широкие, „как черное море“, в цветных поясах. Типичным верхним одеянием для большинства студентов были шляпы с необыкновенно широкими полями (у украинцев громадные барашковые шапки) и плед, заменявший и шубу, и пальто, и одеяло. Говорили, что когда однажды киевский университет посетил министр народного просвещения гр.

Толстой, то не поверил, что видит студентов, и предложил проверить по матрикулам [1]). Отсутствие формы способствовало тому обстоятельству, что университет могли посещать все желающие, что в действительности и было. Университетский устав 19 июня 1863 г. подвергнут был усиленной атаке со стороны реакции лишь в середине 70-х годов.

К этому времени правительство, руководствуясь указаниями представителей усиливавшейся реакции, в достаточной мере возбудило против себя даже самые умеренные элементы. Между прочим в Киеве, внимая донесениям таких лиц, как Юзефович, предавший в свое время известного историка Костомарова, как профессор Шульгин, редактировавший реакционный орган „Киевлянин", перешедший затем к профессору Пихно, ничем не уступавшему Шульгину, или как профессор Гогоцкий—правительство по пятам стало преследовать украинскую „Старую Громаду", членами которой состояли, почти исключительно представители науки и литературы, преследовавшие чисто культурные интересы своей родины и стремившиеся к водворению только конституции. Любопытно, что проф. Шульгин, более всех содействовавший удалению Драгоманова в 1875 г., в 1862 г., оставив кафедру всеобщей истории, предлагал совету университета командировать Драгоманова за границу, с целью дать этому студенту возможность получить звание профессора и кафедру истории! При посредстве репрессий правительство выбило украинофилов из этой колеи и направило их на нелегальный путь, при чем некоторые, особенно молодые, примкнули к радикальным группам. В 1875 г. из Киевского университета, по знаменитому 3-му пункту, был удален популярный профессор—историк М. П. Драгоманов, который тотчас же уехал за границу, откуда уже не возвращался. Протестуя против этого произвола, подал в отставку другой профессор киевского университета, известный экономист Н. И. Зибер, и вслед за Драгомановым переехал в Швейцарию. В то же время, как по мановению жезла, заработали жандармы и прокуроры, стараясь установить связь между самыми крайними партиями и украинофилами. Из Киева выселены были: Житецкий, Чубинский и Беренштам. Украинская литература подверглась жестокому преследованию. М. П. Драгоманов в Женеве стал издавать

---

[1]) К слову сказать, студенты,—как и мужской пол юной революционной молодежи—носили в большинстве длиннейшие волосы, а девушки, наоборот, стригли косы, дабы не отнимать времени для ухода за головой, что особенно трудно было при хождении в народ. Казалось бы, что этим соображением должны были руководствоваться и юноши. Но многие предпочитали просто не причесываться. Длинные волосы, кажется, должны были служить символом серьезности.

„Громаду“. Среди украинцев возникла организация для доставки в Россию названного журнала и его распространения. Я был далек от украинского движения, хотя с многими представителями этого движения находился в наилучших отношениях. Профессор В. Б. Антонович, Н. В. Ковалевский, Ф. К. Волков, эмигрировавший за границу, и бывший соредактором Драгоманова по „Громаде“, В. Л. Беренштам, Ф. Виниченко, о котором упоминал ранее, А. А. и С. Ф. Русовы, были близкими и уважаемыми для меня людьми и деятелями. Кроме того, я был хорошо знаком с Житецким, доктором Михалевичем, учителем Антиповичем, присяжным поверенным Троцким, драматургом Старицким, помещиками: Подолинским, Щетинским и Домонтовичем, доктором Тессеном, девицами: Столицею, Тризна и Маркевич, крестьянкою Гапка Ищенко и др.

Но я и Лева ближе соприкасались с другим движением, при посредстве семейства Дебагорий-Мокриевич, у которого на Тарасовской улице нанимали комнату. Это было выдающееся семейство из среды помещиков Каменец-Подольской губернии. Оно состояло из вдовы, Розы Петровны, и троих ее сыновей. Одного из них, служившего, кажется, в Каменец-Подольске, в банке, я не знал, с двумя же другими,—Владимиром и Иваном Карповичами,—был очень близок. По внешнему виду, как и по темпераментам и взглядам, они были антиподы, что не препятствовало трогательно-нежной, братской между ними любви. Голубоглазый шатен с мягкими чертами лица, с большою шевелюрою волос на голове, с окладистою бородою, Иван Карпович был поэт, пианист, страстный поклонник Европы и пессимист по отношению к России, совершенно не веривший в русскую революцию. Владимир Карпович, брюнет с ярко выраженными мужественными украинскими чертами лица, был, наоборот, революционер в широком смысле этого слова. Ради революции он оставил Киевский университет и уехал за границу. Там сблизился с Бакуниным и возвратился на родину энергичным „бунтарем“. Однако, он не только никогда не был ортодоксом, но, развитой и начитанный, отличался большою терпимостью к чужим взглядам и иногда проявлял, как и брат, большой скептицизм относительно революции. В те редкие дни, когда Владимир Карпович, или, конспиративно, просто „Володька“, чаще „Мишка“ появлялся в нашей квартире,—тотчас возникали между ним, его братом, мною и Левою горячие принципиальные споры. Но никогда они не сопровождались резкостями и не оканчивались охлаждением в отношениях. Много более горячности, страстности проявляла, если приходила, верная подруга Владимира—Мария Павловна Ковалевская, конспиративно—„Маруся“. На ней нельзя не остановиться. Брюнетка, ниже среднего роста, Маруся отличалась необыкновенной под-

вижностью, редкою энергиею и преданностью делу революции. Она происходила из помещичьей среды, именно из рода Воронцовых, землевладельцев Екатеринославской губернии, и приходилась родной сестрой известного народника-экономиста, писавшего под псевдонимом: „В. В.“. Окончив одесский институт, М. П. восемнадцатилетнею девушкою вышла замуж за Н. В. Ковалевского, о котором я выше упоминал. Ни замужество, ни семья (у нее было трое детей) не остановили М. П. от стремления к достижению тех целей, которые она считала нужными для блага народа. Забегая вперед, скажу, что, разделяя те же взгляды, что и Вл. К. Дебагорий-Мокриевич, она связала с последним свою судьбу, в 1879 г. вместе с ним судилась в Киеве за вооруженное сопротивление и была приговорена к одинаковому наказанию,—14 лет каторги. Но Владимир Карпович бежал с дороги на каторгу и эмигрировал в Болгарию, где жил в Софии, а бедная Мария Павловна нашла себе смерть на каторге в 1889 г.: она вместе с другими женщинами отравилась, вследствие того, что товарищ их по каторге, Надежда Константиновна Сигида, по предписанию генерал-губернатора, барона Корфа, была подвергнута телесному наказанию.

Владимир Дебагорий-Мокриевич, как нелегальный, открыто жить с семейством не мог, но все же время от времени он, как я говорил, появлялся к нам, при соблюдении величайшей осторожности. Его в этих случаях охраняли все мы, но, главным образом мать, Роза Петровна, замечательная старуха, добрая, сердечная, самоотверженно любившая своих сыновей и всех тех, кто был с ними солидарен. Чулки Розы Петровны были переполнены секретными документами и разными „шпаргалками“, которые передавал ей Владимир и все вообще нелегальные. Важные адреса, шифры, прокламации, письма,— все это хранилось в глубине чулок и доставалось по мере надобности. Производились ли обыски, происходили ли аресты, Роза Петровна безбоязненно шла предупреждать близких лиц об этих обысках или отправлялась просить свидания, во время которого нередко передавала нужные записки, незаметно извлекая их из своего хранилища.

Другой брат, Иван Карпович Дебагорий-Мокриевич, не принимал никакого участия в делах своего брата, хотя был в наилучших отношениях с его единомышленниками.

Со многими из последних познакомился и я и среди них, между прочим, с красавцем, умным и энергичным студентом института путей сообщения, Валерианом Осинским, Свириденко, Волошенко, которого, за мрачный вид, прозвали „волком“, Стефановичем, Дейчем, Ходько, Донецкой, Малинкою, Студзинским и др.

У Дебагория-Мокриевича жили мы, покуда в Киев не переехала временно Татьяна Ивановна. Тогда я почти переселился на жительство к Симиренко.

В этот период произошли события, показавшие переход от пропаганды к террору. Лично для меня не оставалось никакого сомнения, что виною этому было правительство. На собственном опыте я убедился, что „чистая пропаганда" было занятие совершенно мирное и абсолютно безвредное, так как невежественное и безграмотное население не могло читать ни брошюр, ни прокламаций, а длительная жизнь в деревне, которая давала бы возможность воздействия словом и беседами, была немыслима. Достаточно сказать, что пропагандистов для „большого процесса" начали успешно „ловить" уже с 1874 года, т. е. с первых же шагов их деятельности. За год—два к ответственности привлечено было до 2000 человек,—это громаднейший % по отношению к общему числу интеллигенции того времени, но не к народу. Третье отделение, в лице жандармов, настолько переусердствовало, что уже поверхностное ознакомление с „делами" дало возможность сразу отбросить 1100 человек и базировать на 900 государственных преступников. Между тем, выяснилось, что народ относился к пропагандистам или индифферентно, или даже враждебно. Мало-мальски состоятельные крестьяне не пускали их даже в избу. Проповедь об уничтожении земельной собственности не встречала ровно никакого сочувствия, а скорее вызывала враждебное отношение к пропагандистам. Если и была вера в „нарезку" или „передел земли", то это соединялось с верою в царя, волею которого и будет сделано справедливое решение земельного вопроса. О пропаганде при посредстве литературы, конечно, и говорить нечего: абсолютная безграмотность населения совершенно гарантировала безопасность каких бы то ни было книг. Возможно, что, помедли немного власти, пропагандисты сами оставили бы деревни и не было бы „большого процесса". Но правительство раздуло искру пропаганды в грандиозный пожар. Это ясно было видно из ходившей по рукам переписанной с женевского издания секретной записки министра юстиции графа Палена, озаглавленной: „Успехи революционной пропаганды в России". В ней, между прочим, говорилось, что „к концу 1874 года пропагандисты успевают покрыть как бы сетью революционных кружков и отдельных агентов большую половину России. Дознанием раскрыта пропаганда в 37 губерниях". А много ли действующих лиц? Оказывается, что „всех привлеченных ныне в качестве обвиняемых к дознанию, произведенному в этих губерниях.... 770"! То-есть, выходит, менее 20 человек на губернию. Пожалуй, цифра эта не так уж велика, чтобы из-за нее бить тревогу. Записка

Палена во многих местах производила прямо комичное впечатление. Министр юстиции более всего подчеркивал, например, участие в среде пропагандистов высокопоставленных лиц, как будто бы в этом гнездилась особая опасность для государства. Нельзя было без улыбки читать такие места: „дочери действительных статских советников: Наталия Армфельд, Варвара Батюшкова и Софья Перовская, дочь генерала-майора Софья Лешерн-фон-Герцфельд и многие другие шли в народ, занимались полевыми поденными работами, спали вместе с мужчинами—товарищами по работе и за все эти поступки не только не встречали порицания со стороны некоторых своих родственников, а напротив сочувствие и одобрение. И таких примеров много". Подумаешь, какие „проступки"! Полевая поденная работа и ночлег в доме с мужчинами! И за это многие понесли тягчайшие наказания.

Здесь кстати остановиться на одном явлении, непосредственно связанном с стремлением русских девушек к науке, к равноправию с мужчинами и к хождению в народ. Мы говорим о фиктивных браках, весьма распространенных в 70-х годах. В подавляющем большинстве случаев в то время положение девушки, желавшей нарушить господствовавший режим, было довольно тяжелое, нередко—безвыходное. Сплошь да рядом понимание „счастья" у родителей и детей было совершенно разное. По отношению к дочерям первые, обыкновенно, стремились сохранить в строгой неприкосновенности их целомудрие и, благополучно доведя до совершеннолетия, выдать замуж, снабдив приданным, „за хорошего человека". При этом образование вообще считалось не особенно нужным, высшее же даже вредным, тем более, что у себя получить его было невозможно, а ехать куда-то за границу—это, значит, лишиться дочери, которая, быть может, найдет на чужбине себе гибель. И, вот, чтобы разорвать семейные путы,—хотя они диктовались, несомненно, любовью,—пустили в ход фиктивный брак. Девушка или первая лично обращалась к знакомому мужчине, разделяющему ее взгляды, или, наоборот, знакомый предлагал свои услуги заключить фиктивный брак. Раз оба согласились, то, немедля, совершали брачный обряд, т. е. венчались, а затем, выйдя из церкви, расставались: один, как говорится, направо, другой—налево. Вот и конец. Девушка с этого момента, как замужняя уже женщина, переменяла девичью фамилию, уходила из-под опеки родных и могла делать, что ей угодно: ехать за границу, идти в народ и т. д. Еще более пользы приносил фиктивный брак, когда девушка, заподозренная в революционной деятельности, разыскивалась полицией. В этих случаях, обвенчавшись с кем-либо, она, приобретя другую фамилию, совершенно освобождала себя от

полицейского преследования. Из видных деятелей фиктивным браком были женаты Клеменц и Рогачев. Но бывали на этой почве и трагедии. Мне лично был известен случай, когда один из брачившихся вдруг серьезно влюбился в свою фиктивную половину. Время, к счастью, было идеалистическое, и трагедия заканчивалась лишь обоюдными страданиями. Неслышно было, чтобы фиктивный супруг пред'являл бы, например, права мужа, или чтобы один из брачившихся не дал другому в нужное время развода, или, например, чтобы пред'являли бы наследственные права к родственникам фиктивных супругов в случае смерти одного из них.

Еще до „большого процесса", начавшегося рассмотрением в Сенате с 18 октября 1877 года, в июне названного года петербургский градоначальник Трепов подверг телесному наказанию находившегося в доме предварительного заключения государственного преступника Емельянова (нелегальная фамилия Боголюбов). Это было первое проявление террора со стороны правительства. В ответ на это в 1878 г. последовало покушение на жизнь Трепова со стороны Веры Засулич, оправданной судом и убежавшей за границу. И это было начало революционного террора. Следующее проявление его было в начале 1878 г. в Киеве: сначала покушение на товарища прокурора Котляревского, а затем убийство жандармского капитана барона Гейкинга. Это событие особенно врезалось в моей памяти, потому что произошло накануне моих именин, именно в ночь с 24 на 25 мая. Об этом капитане носились слухи, что он, отличаясь общительным характером и долго проживая в Киеве, имел громадные связи и знакомства, вследствие чего все узнавал чрезвычайно легко. Многие беседовали с ним совершенно свободно, а Гейкинг, будто бы, все мотал на ус и пользовался для своих жандармских целей. Говорили, что значительное число студентов он знал еще гимназистами, и такие студенты, с детства привыкшие к Гейкингу, откровенничали, якобы, с ним, ничего не подозревая. Насколько это верно, судить не берусь. Между прочим, в связи с убийством Гейкинга, говорили об удачном побеге из киевской тюрьмы известных уже нам „чигиринцев": Бохановского, Стефановича и Дейча. Этот побег совершился через два дня после убийства революционером Попко названного барона Гейкинга,— в ночь с 27 на 28 мая 1878 г.,—но, как скоро стало известным, дело было так хорошо обставлено, что вряд ли названный жандармский капитан мог предупредить его. Беглецов освободил опытный революционер Фроленко, известный под псевдонимом Фомин,—сумевший сделаться надзирателем в Киевской тюрьме. Он-то, дав возможность переодеться солдатами, достав даже ружья, отворил двери Бохановскому, Стефановичу и

Дейчу. Смелый побег этот был предметом внимания широких кругов киевского общества.

Кажется, во второй половине 1878 года Лева перевелся в Новороссийский университет; я, можно сказать, осиротел и с тем большим увлечением отдался жизни общественной.

В это время назрела мысль о необходимости об'единения либеральных и радикальных элементов. А я уже говорил, что занятие пропагандой и учительство заставили меня убедиться, что без политической свободы, когда возможно будет свободно культивировать деревню, никаких результатов получить там нельзя, потому что не возможно же считать какой-нибудь бунт, разгром нескольких помещичьих усадеб за революцию, за переворот, ведущий к радикальному, в лучшем смысле слова, изменению жизни народа. Нужно полагать, что так думали многие. По крайней мере, молодежь и солидные люди различных направлений решили нанять общую большую квартиру, где бы путем бесед и дебатов можно было об'единиться для достижения политических целей. У студентов в это время образовался конституционный кружок, где большую, если не главную, роль играл талантливый кандидат математических наук, И. П. Ювеналиев, оставленный при университете для подготовки к профессуре по кафедре физики, а затем высланный по излагаемому ниже студенческому делу. Я горячо поддерживал проект об'единения и из'явил согласие поселиться в названной квартире. Ко мне присоединился еще медик Михалевич „черный", называвшийся так в отличие от Михалевича „белого", бывшего врачом в Елизаветграде.

Ради конспирации, в огромном зале пустынной квартиры поставлен был рояль, причем Иван Карпович Дебагорий-Мокриевич пообещал являться на все собрания и играть, когда появится полиция, которой надо отвечать, что происходит музыкальный вечер.

С этого времени начались чуть не ежедневные многочисленные и бурные собрания, на которых собирались представители всех направлений. Народу бывало так много, что иногда гасли лампы и приходилось прекращать горячие споры и отворять форточки для притока воздуха. На одном из таких собраний громадным большинством одобрена была идея единения либералов и радикалов, причем меня избрали депутатом для поездки в Петербург и переговоров с тамошними конституционалистами. Я охотно на это согласился и отправился в столицу. По пути я остановился в Москве, именно в тогдашнем очаге революционной молодежи—Петровско-Разумовской академии. Побывал, кроме того, в Техническом училище, где учились мои товарищи по гимназии—Гортынский и Савич, брат Левы, Николай Симиренко, о котором выше упоминал.

Прибыв в Петербург, я, при посредстве В. В. Лесевича, с которым тогда впервые познакомился, имел возможность вступить в переговоры с нужными, указанными мне людьми и получить от них согласие на единение. Удовлетворенный своей миссией, я, возвратившись в Киев, немедленно созвал собрание. Оно было невероятно многолюдно. Я с трудом пробрался сквозь толпу к столу, служившему кафедрой, влез на него и стал докладывать о результатах моей поездки. Только что я кончил, как попросил слово Валериан Осинский. Он в пух и прах разнес конституционалистов, указав, что „они охраняют лишь свои шкуры“, что „нигде и никогда конституция ничего не давала народу“. Затем, придерживаясь, вероятно, теории „цель оправдывает средства“, оратор вдруг заявил, что, по полученным им сведениям, мои сообщения не совсем точны, что либералы далеко не согласились итти на все указанные им компромиссы, а что я, как сторонник единения, невольно излагаю все так, как мне желательно. После этого неожиданного выпада против меня наступила зловещая тишина. Я растерянно стоял на столе, не зная, как выйти из более чем щекотливого, если даже не опасного положения. Валериан Осинский, выдающийся во всех отношениях человек, пользовался громадным авторитетом, и я мог ждать больших для себя неприятностей. Немного оправившись, я обратился к Осинскому с вопросом,—„каким же образом вы могли получить сведения о моих совещаниях, когда, во-первых, они велись конспиративно, а во-вторых,—я только вчера ночью приехал?“

Не успел Осинский ответить мне на этот вопрос, как нежданно-негаданно нашелся мне защитник, приехавший, как потом выяснилось, одновременно со мною и знавший о результатах петербургского совещания. Это был технолог А. И. Венцковский. Он заявил, что сообщенные мною сведения совершенно верны, и он, Венцковский, не понимает, чем руководствовался Осинский, выступая против меня. Но выступление Венцковского, защитив меня, все же не уничтожило впечатления от речи Осинского. В конце концов вопрос о единении остался открытым. Любопытно, что чуть-ли не в том же году Осинский и Ковалевская участвовали в переговорах с земцами о конституции. Правда, соглашение не состоялось, но не по вопросу о са́мой конституции, а потому, что названные депутаты не соглашались прекратить террористические акты.

Не знаю, чем об‘яснить, но, не взирая на частые и громадные собрания, квартира наша не была замечена полицией. Ее пришлось оставить после студенческих волнений весною 1878 г., очень трагично окончившихся для молодежи.

На этом событии я не могу не остановиться.

Часов в 11 или 12 одной весенней ночи, когда в названной квартире было громаднейшее собрание, вдруг вбежал окровавленный студент и, крикнув: „наших бьют“!—побежал обратно. Мы, взволнованные этим возгласом, заряженные им, как электрической искрой, помчались вслед за товарищем, не понимая, где и почему „наших бьют“. Некоторые не успели надеть даже шапок, многие оставили свои галоши, а были и такие, что не набросили даже пальто. Бежали мы, покуда не достигли театральной площади. Здесь было вавилонское столпотворение.

Часов около двух или трех ночи нас погнали в Старо-Киевскую часть, где стали переписывать. Но усталая, почти сонная полиция делала эту перепись нерадиво, и часть захваченных, а в том числе и я, опасавшийся за свою квартиру, не дожидаясь переписи, ушли не замеченными.

Чем же вызвана была вся эта история?

Вот как впоследствии передали мне ее некоторые из товарищей.

В то время в Киеве был необычайной глупости полицеймейстер, Гюббенет. Эта глупость соединялась у него еще с каким-то злорадством, свойственным, впрочем, кажется, если не всем, то многим полицеймейстерам. Стремясь уничтожить в Киеве крамолу, Гюббенет прибегал к самым нелепым, соответствующим его ограниченности мерам, вызывавшим общее негодование. Так, например, борясь с украинским движением, он как-то заставил всех проституток одеваться в национальный украинский костюм, который, таким образом, превращен был в признак разврата и дозволял всем нахалам свободное обращение с каждою девушкой в украинском костюме, до приглашения ее к себе на квартиру включительно. Несомненно, что одновременно с такого рода мероприятиями агентам полиции дано было предписание „приставать“ ко всем женщинам в украинском костюме, среди которых преобладали интеллигентные девушки—курсистки, гимназистки и проч. Нужно ли говорить, какие „недоразумения“ стали происходить на улицах после такого рода распоряжения. Молодежь, ненавидевшая Гюббенета, не упускала случая отплатить ему тою же монетою. Между прочим, однажды в „Одесском Вестнике“ была напечатана большая корреспонденция о смерти Гюббенета. При этом приведена была надгробная речь, произнесенная, яко бы, киевским вице-губернатором, который, к слову сказать, ненавидел Гюббенета. Корреспонденция произвела громадный переполох. Полицеймейстер,—говорили студенты,—написал, будто бы, опровержение такого рода (я сам не читал его): „В дополнение к сообщению, напечатанному в таком-то нумере „Одесского Вестника“, имею честь сообщить,

что я не умирал, а, следовательно, речь его превосходительства, киевского вице-губернатора, не могла иметь места“. Затем началось негласное расследование. Вытребовав оригинал рукописи из редакции „Одесского Вестника“, крайне, к слову сказать, недовольного за лживое сообщение, стали вызывать в полицейское управление всех, кого подозревали в сотрудничестве в газетах, и требовали что-либо написать для сличения с почерком рукописи. Конечно, виновника не розыскали.

Мы остановились на Гюббенете потому, что он, по рассказам, был виновником и театральной трагедии, превратившейся, как увидим, в университетский „бунт“. Полицеймейстер в свое время предписал—„не вызывать более трех раз артистов“. А в тот день, о котором идет речь, в киевской опере был бенефис или Павловской или Кадминой, знаменитых певиц, сводивших с ума киевлян. Как это всегда бывает, бенефис вызвал под‘ем настроения, и галлерея, переполненная учащейся молодежью, не могла ограничить себя троекратными вызовами артистки.

Гюббенет возмутился и предписал полиции из‘ять из галлереи „крикунов“. Но как это сделать в тысячной толпе? Полиция, ничтоже сумняшеся, стала тащить первых попавшихся студентов. Остальные вступились за своих товарищей. На галлерее началась свалка, перенесенная затем на улицу. Таким образом, трагедия произошла из-за сущих пустяков. На другой день она приняла совсем тяжкий характер.

Дело в том, что в ночь на этот день в Киеве расклеены были прокламации и одновременно, по совпадению, стреляли в прокурора Котляревского. Впоследствии стало известным, что это сделали Осинский и Иван Ивичевич, но администрация посмотрела на это явление, как на продолжение вызванной ею же демонстрации у театра, и придала немедленно революционный характер студенческой истории. Между тем, в университете собралась громадная сходка, избравшая депутацию к генерал-губернатору Черткову, с целью указать на незаконные действия полиции. Вся эта депутация была арестована. Тогда на другой день собралась другая сходка, чтобы протестовать против ареста депутации первой. Она была переписана и разогнана. Начались обыски и аресты. Арестовали, между прочим, и Михалевича, с которым я жил. Вообще с каждым днем мои близкие знакомые испарялись и испарялись. О собраниях нечего, конечно, было и думать, а потому терялся и смысл особой для этого квартиры, тем более, что прекратились и взносы на нее. В непродолжительном времени начались высылки. Один из остроумнейших студентов, медик М. И. Светухин, отправленный с пьяным городовым на родину,

послал, кажется, в „Новое Время“ телеграмму следующего содержания: „Сегодня проехал Светухин с войсками“. Телеграмма эта была перепечатана многими столичным и провинциальными газетами. Все, вероятно, об‘яснили, что речь идет о каком-нибудь генерале, герое только что окончившейся тогда русско-турецкой войны из-за Болгарии. Но высылкой на родину дело не ограничилось,—многих стали отправлять в ссылку на север России и в Сибирь.

Как только молодежь узнала об этом, стала толпами ходить на главный вокзал, чтобы попрощаться с товарищами, подвергшимися столь жестокой расправе, совершенно не соответствовавшей их вине. Но, к нашему удивлению, на вокзале не было видно высылаемых. Стали тогда разузнавать,—каким же образом их отправляют? Не получив никаких определенных сведений, мы, разделившись на две группы, устроили наблюдение и на пассажирской, и на товарной станции. Оказалось, что на последней и происходила посадка товарищей. Тогда мы ежедневно стали посещать ее и, не взирая на протесты полиции и начальника конвоя,—прощаться и провожать высылаемых. Прорывая цепь, мы целовались с ними, обнимались, пожимали руки, а когда поезд трогался пели очень хорошую, грустную, подходящую к моменту украинскую песню:

Бувайте здоровы, кіевскіе людэ.
Спомынайте мэнэ, як мэнэ не будэ.
А вжеж не ходыты, куды, я ходыла,
А вжеж не любыты, кого я любила.

Общественное мнение было страшно возмущено административным произволом по отношению к молодежи. Негодование усугубилось, когда дошли вести о дикой расправе со студентами в Москве. Вот как это событие описал в своих воспоминаниях, найденных почти через 40 лет в „Русских Ведомостях“, Белоруссов (А. С. Белевский).

„Когда московское студенчество узнало о ссылке киевских товарищей, на сходках было постановлено встретить их на вокзале и торжественными проводами выразить им свои симпатии. В числе ссылаемых был и мой брат, впоследствии—предводитель дворянства и человек очень консервативного образа мыслей. Во встрече поэтому участвовал и я. На Курском вокзале собралось человек пятьдесят петровцев, универсантов и техников, и когда этап ссылаемых тронулся пешком с вокзала к Колымажному двору, мы последовали за ним; образовалась маленькая процессия, которая постепенно разрасталась в пути, и к Охотному ряду достигла человек трехсот, отчасти студентов, отчасти посторонних и случайных

лиц. Если эта демонстрация противоречила видам начальства, то ничего не стоило не допустить ее; но начальство предпочло „проучить“ и инсценировать „взрыв народного негодования“. Москвой тогда правил князь В. А. Долгорукий, последний из стаи славных градоправителей патриархального типа Закревских. Оберполицеймейстером у него был ген. Арапов, а полицеймейстером—ген. Озеров. Среди них-то и созрела гениальная мысль ликвидировать демонстрацию с помощью охотнорядских патриотов. Поэтому полиция распространила среди них сведение, что ведут бунтовщиков—поляков, а полякующее студенчество устраивает демонстрацию. Следует проучить полячишек и полякующих. Когда поэтому демонстрация втянулась в Охотный ряд, из всех лабазов на нее бросились „молодцы“, и началось побоище. Студенты, после попытки организованной самозащиты, быстро рассеялись, а молодцы начали лупить проходящую публику и всех, кого попало. Получился скандал,—конечно, затушенный. Негодованию нашему не было пределов. Негодовало и общество. Когда потом десяток арестованных предстал пред московским судом, мировой судья, кажется Маттерн, всех оправдал,—так возмущена была общественная совесть махинациями полиции. Затем в университете начались общестуденческие сходки, долгие, многолюдные и бурные, на которых была составлена резолюция, требовавшая от правительства гарантий личных прав и неприкосновенности и конституционного строя. Резолюция была отправлена наследнику-цесаревичу, впоследствии императору Александру III. На одну из сходок пришел чрезвычайно популярный и радикальный проф. Бабухин и пытался уговорить нас—воздержаться от противоправительственных выступлений.

— Профессор,—ответил ему П. П. Викторов,—вы—физиолог. Вы лучше нас знаете, что реакция людей разных возрастов на впечатления различна и что это различие закономерно. Вы—человек пожилой и не можете реагировать сильно. Ваша реакция мысленна, но не действенна. Мы—молодежь, мы должны реагировать действенно,—это свойственно нашим молодым тканям, а потому и обязательно для нас. Не прививайте нам вашу старческую философию. Это бесполезно.

Бабухин постоял, опустив голову, подумал, а потом, махнув рукой, сказал:

— Вы правы, мои молодые друзья...

Повернулся и вышел из аудитории.

Эта победа над высшим научным авторитетом того времени, это согласие его со взглядами нашего лидера привели нас в восторг. Мы ее пережили, как подтверждение нашей привилегии и нашего долга,—долга действенно протестовать

против зла. Мы обязаны протестовать, мы, молодые друзья справедливости, свободы и народа, против погромщиков, гасителей, тупоумных и своекорыстных врагов справедливости и народа. Пропасть, отделявшая нас от них, таким образом углублялась и углублялась. По одну ее сторону стояли мы, хорошие: по другую—они, для которых в нашем лексиконе было одно слово—„сволочь“.

Киевский университет для меня совсем опустел. Все живое было исторгнуто. Меня одолела тоска и я решил вслед за Левой перебраться в Одессу. Но как раз в это время богатая землевладелица, г-жа Львова, искала учителя для своей школы в Чернятине, Подольской губ. Школа эта именовалась церковно-приходской, потому что Львова была знакома с архиереем, вследствие чего школа была гарантирована от полицейского надзора, но в действительности училище было светское и великолепно обставленное. Я еще раз решил окунуться в деревенскую жизнь, еще раз попытался, что называется, расшевелить ее, на что Львова, прекрасно относившаяся к крестьянам, давала полную свободу. Однако, ничего из этого не вышло, и я, прожив короткое время в Чернятине, перебрался в Одессу. В этом селении меня посетил Лева. А выдающимся событием здесь было укрывательство Топорковой. Она, спасаясь от преследования жандармов, бежала ко мне в Чернятин беременною, здесь благополучно разрешилась от бремени и спокойно уехала. Лидия Павловна Топоркова была родная сестра Марии Павловны (Маруси) Ковалевской, урожденной Воронцовой, о которой говорилось выше.

В Одессе я, конечно, поселился с Левою. Мы заняли одну большую комнату в доме Попандопуло, где помещалась и редакция „Одесского Вестника“. Для меня это было чрезвычайно важно, так как я имел в виду немедленно сделаться сотрудником этой чуть ли не старейшей в России провинциальной газеты, издававшейся еще, кажется, во времена Пушкина. Уже на другой день по приезде я посетил редактора „Одесского Вестника“, видного земского деятеля, П. А. Зеленого. Принял он меня чрезвычайно любезно и из‘явил полную готовность включить меня в состав сотрудников, „но, прибавил он—вряд ли вы сумеете ужиться с нашею убийственною цензурою“. И это было пророческое предсказание. Видную роль в то время в „Одесском Вестнике“ играл С. Н. Южаков, работала в нем также его сестра, с которою я познакомился еще раньше. Следует сказать, что первое мое посещение Одессы было вызвано ревматизмом, заставившим меня лечиться на Хаджибейском лимане. Это произошло, кажется, летом 1876 года. Не знаю, через кого и как познакомился я с Южаковой. Она приняла во мне самое горячее участие, часто

посещала на лимане и познакомила с Иваном Ковальским. Он произвел на меня прекрасное впечатление своим добродушием, искренностью, начитанностью, склонностью к литературе и детской наивностью. Так, например, в период моего пребывания на Хаджибейском лимане, он был уже нелегальный и усиленно разыскивался полицией. Казалось бы, что необходимо было принять какие-либо более или менее рациональные меры для избежания ареста. Между тем вид его был настолько непрезентабельный, что сам по себе вызывал подозрение. Плотный, среднего роста, он ходил в невозможном костюме, в брюках, в которых одна штанина была на много короче другой, в рыжих сапогах и громаднейших синих окулярах. Я уже не говорю о том, что приходил он ко мне днем и без всяких предосторожностей.

По выходе из лечебницы лимана, я поселился со студентами Новороссийского у-та Третьяковым и Дзюбинским и познакомился еще с некоторыми лицами, при посредстве Таси Яхненко, которую знал еще по заводу, когда она приезжала к Симиренко, своим родственникам. Тася,—как звали близкие знакомые Наталию Семеновну Яхненко,—жила в одной из башен знаменитого дома Новикова, у Строгановского моста. Говорю „знаменитого", потому что две башни в этом доме были одним из излюбленных мест для революционеров всех оттенков и сочувствующих им. Проживавшие в этих башнях именовались „башенцами" и были известны чуть не всей нелегальной России, ибо являлись или действующими лицами, или передаточною инстанциею, где можно было получить сведения о нужных лицах, адресах, и т. п. Между прочим в башне долгое время проживал убивший киевского начальника жандармов Гейкинга революционер Попко. Лично я бывал у Таси, у которой познакомился с „черною галкою", как именовали Анну Алексеевну Алексееву. Обе они недурно пели, что доставляло мне громадное удовольствие.

Благодаря старым знакомствам, при вторичном приезде в Одессу, я почувствовал себя как в своем, до некоторой степени, городе. При посредстве старых знакомых, я приобрел много новых. Между прочим, заинтересованный Ковальским, изучавшим тогда раскол, я бывал у него и познакомился со многими нелегальными лицами, обслуживавшими в революционном отношении Черноморское побережье, как то: Златопольским, Франжоли, Янковским, Костюриным, Лепешинским (псевдоним: „Василек") и его женою, обладавшею симпатичным голосом—Кошман и тоже хорошо певшею, Желтоновским, Лангансом, Дическуло, Анною Макаревич и др. Последняя, впрочем, известна была мне под названием „Аня" еще по заводу, куда не раз приезжала. Скажу здесь к слову, что

впоследствии красавица Макаревич вышла замуж за итальянца—последователя Бакунина, анархиста—депутата Коста.

Ковальский в это время закончил свою большую статью: „Рационализм на юге России“, которая впоследствии была напечатана в „Отечественных Записках“. Меня интересовали тогда штундисты и я, посещая Ковальского, с большим интересом читал его произведение в рукописи.

Ковальский жил тогда на Молдаванке, в отвратительной конспиративной квартире. Неприхотливый до последней степени, занятый исключительно духовными и политическими интересами, Иван Мартынович никакого внимания на жилище свое не обращал и никогда оно не было не только убрано, но даже подметено. И сам хозяин, и посетители спали большею частью на полу, постели на котором на день лишь отодвигались, чтобы не мешали ходить. Если бы в эту квартиру явился европеец, то принял бы жильцов за нищих или, вернее, за мелких жуликов, воровство которых не настолько прибыльно, чтобы жить сносно. Еще менее требователен был Ковальский в пище. Он совершенно свободно ел, например, тухлые яйца, гнилые яблоки, вонючую рыбу, обедал в самых дешевых, базарных ресторанах и т. п. Но и убийственная квартира, и отвратительная пища об‘яснялась не скупостью Ивана Мартыновича, и не тем, что у него не было высших потребностей, а много более благородными мотивами. Дело в том, что, занимаясь исключительно делами конспиративными, будучи, кроме того, нелегальным, он не имел никакой возможности зарабатывать средства к существованию и жил на общественные деньги. Так, вот, чтобы не тратить много последних, Ковальский низвел свои потребности до такого minimum'а, дальше которого не шли, вероятно, и нищие. Должен сознаться, что я в это время с большим уже трудом переносил условия жизни Ивана Мартыновича и долго у него не засиживался.

Из других знакомых моих в Одессе остановлюсь на Андрее Ивановиче Желябове.

После оправдательного приговора по „Большому процессу“ (193-х), длившемуся с 18 октября 1877 г. по 23 января 1878 г., Андрей Иванович Желябов, с целью пропаганды, лето 1878 г. провел в Подольской губернии, в качестве бахчевода, а осенью того же года переехал в Одессу, где я с ним и познакомился.

А. И. был сын крепостного крестьянина Таврической губернии, Феодосийского уезда, деревни Николаевки. Окончив Керченскую гимназию, в которую отдан был помещиком, А. И. поступил в Новороссийский университет, откуда в 1872 г., в возрасте 21-го года, был удален „за беспорядки“ по известному в свое время делу профессора-слависта Богишича.

А. И. связан был с Одессою и браком: он был женат на дочери бывшего одесского головы, О. С. Яхненко. Вот это последнее обстоятельство и послужило первою причиною знакомства моего с А. И. Представители семейства Яхненко, как родственники Симиренко, приезжали из Одессы в Городище, Киевской губернии,—в 6-ти верстах от которого расположен был сахарный завод,—и в том числе бывала жена А. И.

С первого же раза А. И. произвел на меня сильное впечатление и глубоко врезался в моей памяти. Как сейчас вижу его внешний облик: ясные голубые глаза, открытый лоб, небольшая окладистая борода, коренастая, выше среднего роста, фигура, гордая осанка, порывистая, нервная походка.

Широко образованный и начитанный, он в то же время был прекрасный оратор и всегда говорил с большим увлечением и непоколебимою убежденностью в справедливости тех взглядов, которые он защищал. В этот период А. И. был еще ярый народник-пропагандист, и, слушая его горячую защиту чисто пропагаторской деятельности среди народа, никто бы не поверил, что всего через год он будет уже одним из самых видных членов партии „Народной Воли“, а через три года—будет приговорен к смертной казни за деятельное участие в деле 1-го марта. Дальше мы скажем о причине такой эволюции в миросозерцании Желябова, а сейчас постараемся, насколько позволит нам память, сообщить еще некоторые данные из описываемого периода жизни А. И. в Одессе. Он был членом кружка пропагандистов-чайковцев и пользовался большою популярностью и уважением в этом городе, энергично вел пропаганду своих идей и приводил их в осуществление с упорством и настойчивостью, соответствовавшими его необыкновенно твердому характеру. Следствием этой деятельности и было привлечение Желябова в 1877 г. к процессу „193“.

Он и от жены своей требовал „сближения с народом“.

Добрая Ольга Семеновна не могла не подчиниться властному призыву своего мужа, но это „сближение“ было для нее мучительным делом. Она сама мне как-то говорила, что, работая на огороде (должно быть, в родной Желябову Николаевке), она, лежа на меже, „плакала, вспоминая о рояле“. Сообщала ли об этом Ольга Семеновна Андрею Ивановичу, не знаю, но думаю, такой мотив показался бы ему смешным, потому что благо народа, как его понимал Желябов, было самою существенною и, пожалуй, единственною целью его жизни.

У нас (т. е. у меня и Л. П. Симиренко) с ним велись горячие споры на тему о благе народа, разно нами понимаемом. Я переехал на жительство в Одессу после „коммуны“ и трех лет учительства, во время которого имел возможность

довольно близко познакомиться с деревнею и результатами пропаганды. Такая деятельность лично меня, как я уже говорил, не удовлетворяла и казалась бесполезною.

Повторяю, что ужасающая безграмотность, тьма, невежество и бесправие крестьянского населения совершенно парализовали пропагаторскую работу тем более, что правительственные репрессии лишали возможности свободной работы в деревне. Как выше говорилось, для меня уже тогда начинало выясняться, что без политической свободы трудно, если не возможно, что-нибудь сделать для народа. Конспиративная, тайная деятельность, не говоря уже о громадном проценте жертв, захватывала такие ничтожные круги населения, что, в сущности говоря, овчинка не стоила выделки. Между тем при политической свободе эта работа принимала совершенно другой характер, причем само население выступало на сцену в качестве полноправных граждан. Желябов же продолжал еще верить в пропаганду, как в таковую, и на этой почве у нас происходили споры. Но споры эти в общем носили совершенно мирный характер, и за все время пребывания в Одессе Желябов чуть не ежедневно посещал нашу студенческую квартиру. Бывали и мы у него. Он жил тогда с женою, и у него был маленький сын, тоже Андрей, очень, как помню, похожий на отца. Впрочем, знакомство наше было непродолжительное. Весною 1879 года, как будет сказано ниже, я уехал за границу, скоро по возвращении был арестован и затем, как известно уже, одновременно с Л. П. Симиренко выслан в Восточную Сибирь, где прожил до осени 1886 года. Следовательно, в момент резкой эволюции Желябова я и Симиренко не были в России. Но родственники последнего писали нам в Сибирь, что А. И. „совершенно изменился“. В чем заключалось это „изменение“, они не сообщали, да, несомненно, и не знали, а догадывались по чисто внешним признакам: он бросил пропагаторскую деятельность и весною 1879 г., когда были получены точные сведения об ожидавших его аресте и административной высылке, перешел на нелегальное положение.

Из показаний А. И. на суде, по делу 1-го марта, вполне выясняется причина изменений взглядов Желябова. „Я долго был в народе,—говорил А. И.,—работал мирным путем, но вынужден был оставить эту деятельность по той причине, на которую указал Кибальчич. Оставляя деревню, я понимал, что главный враг партии народолюбцев-социалистов—власти“.

А Кибальчич, на которого ссылался Желябов, выяснил это очень хорошо.

Вот в чем, значит, заключались причины резкой эволюции Желябова, и раз он пришел к убеждению, „что главный враг

партии народолюбцев-социалистов—власти“, то можно было наперед предсказать, что Желябов ни перед чем не остановится, чтобы очистить препятствие, мешавшее ему достигнуть цели его жизни—блага народа, как он его понимал. С момента вступления его в ряды „социально-революционной партии“ он проявляет просто неестественную энергию, что отметил и обвинитель, Н. В. Муравьев, бывший тогда лишь товарищем прокурора С.-Петербургской Судебной палаты и затем определивший свою карьеру процессом 1-го марта. Не смотря на то, что Желябов был арестован до цареубийства, 27-го февраля, г. Муравьев, „говоря языком закона“, нужно думать, совершенно верно охарактеризовал его, как „главного виновника-зачинщика“. Вообще обвинитель, при всем своем понятном желании умалить личность Желябова, все же не мог не охарактеризовать его, как выдающегося человека.

„Конечно,—между прочим говорил Муравьев,—мы не последуем за умерщим Гольденбергом, который в своем увлечении называл Желябова личностью высоко развитою и гениальною. Мы, согласно желанию Желябова, не будем преувеличивать его значения, дадим ему надлежащее место, но, вместе с тем, отдадим ему и справедливость, сказав, что он был создан для роли вожака—злодея в этом деле“. В другом месте г. Муравьев характеризует поразительную энергию Желябова: „уже липецкий с‘езд, летом 1879 года, в числе наиболее влиятельных членов своих видит и Желябова. Прямо со с‘езда он отправляется в Харьков и здесь, в сентябре 1879 г., руководит сходками, происходящими между молодежью, на них читает лекции, произносит речи известного содержания и участвует в составлении планов будущих действий; смысл же, революционное значение этих действий определяются присланным в Харьков из Петербурга динамитом. В ноябре 1879 г. устраивается взрыв полотна близ г. Александровска, и день неудавшегося взрыва—18 ноября 1879 года—застает Желябова не только в рядах первых бойцов цареубийства, но и непосредственным организатором предпринимаемых с этой целью злодейских приготовлений... В 1880 году мы находим Желябова в Петербурге, в качестве агента исполнительного комитета... Желябов называет себя агентом третьей степени, агентом ближайшим к комитету, агентом с большим доверием. Но я полагаю, что со стороны Желябова это не лишняя скромность, и что если существует соединение, присваивающее себе название исполнительного комитета, то в рядах этого соединения почетное место принадлежит подсудимому Желябову, и не напрасно думал Рысаков, что совершение злодеяние 1 марта примет на себя один из членов исполнительного комитета. Понятно, впрочем,

что сознаться в принадлежности к исполнительному комитету, значит сказать: „вы имеете пред собою деятеля первого ранга и вашим приговором вы исключаете из революционных рядов крупную силу, одного из самых видных сподвижников партии“. Так говорил товарищ прокурора, г. Муравьев.

3-го апреля 1881 г., в 9 ч. 50 м. утра, в С.-Петербурге, на Семеновском плацу Андрей Иванович Желябов, 30 лет от роду, был повешен.

Погибла в этот день громадная сила, погибла в расцвете лет, погибла, благодаря ужасающему полицейско-бюрократическому режиму, который насильно толкал людей на преступления. Слезы выступают из глаз, когда читаешь следующее показание Желябова на суде: „Если вы, г.г. судьи, заглянете в отчеты по политическим процессам, то увидите, что русские народолюбцы не всегда действовали метательными снарядами, что в нашей деятельности была юность, розовая, мечтательная, и если она прошла, то не мы тому виною“. В период моего знакомства с ним, в 1878 году и в начале 1879 г., А. И. находился именно в периоде „юности розовой и мечтательной“, и лишь в этом последнем ужасном году, когда пошли невероятные аресты, ссылки и казни, особенно на юге России, он вступил на тот путь, который привел его к виселице.

Закончим наше воспоминание небольшим, но очень характерным сведением. У жены Желябова потребовали, чтобы она изменила свою и сына фамилию, и она, как и сын, после казни А. И., стали носить фамилию Яхненко.

Кстати здесь же остановлюсь и на судьбе других, так или иначе известных мне лиц. Самою неожиданною была для меня судьба Ковальского. Все я мог о нем предположить, но только не действие с оружием в руках. А именно это и случилось с добродушнейшим Иваном Мартыновичем. Застигнутый при одном из обысков в Одессе, в январе 1878 г. он, когда жандармский офицер вознамерился обыскать самого Ковальского, вынул из кармана револьвор, осечка которого не дала выстрела. Ковальского вместе с другими семью лицами предали военному суду, приговорившему Ивана Мартыновича к смертной казни. Она была приведена в исполнение 2 августа 1878 г. и это была первая казнь государственного преступника в 70-х годах, положившая начало множеству смертных приговоров. Можно без преувеличения сказать, что расстрел Ковальского возмутил всю мыслящую Россию, а в Одессе, день приговора, 24 июля, вызвал крупную демонстрацию перед зданием суда, повлекшую за собою тщательное расследование со стороны жандармов. В результате были арестованы и заключены в тюрьму множество лиц и, между

прочим, Д. А. Лизогуб и близкий мой знакомый В. Х. Кравцов, о котором я уже упоминал. Тогда в Одессе организовался кружок для оказания помощи заключенным, энергично сносившийся с заключенными и помогавший им чем было можно. Говорили, что расследование об одесской демонстрации отозвалось и в Киеве, где в начале января 1879 г. был арестован Владимир Дебагорио-Мокриевич, а в конце этого месяца—Валериан Осинский.

Из других, легальных знакомств не могу не упомянуть, что в Одессе я близко сошелся с оригинальным, талантливым провинциальным писателем С. Т. Герцо-Виноградским, у которого нередко бывали нелегальные элементы. О нем будет говориться ниже. Затем хорошо знаком был с П. П. Семенютою, семейством Вейнберг, С. Г. Рубинштейн, сестрою А. и Г. Рубинштейнов. Благодаря этому знакомству, я иногда имел возможность слушать игру знаменитых братьев Софии Григорьевны, когда они приезжали к матери, большой любительнице музыки, и исполняли на рояле различные пьесы, главным образом, Бетховена и Шопена, музыку которых я безумно полюбил.

Время от времени я посещал новороссийский университет. Он славился в 70-х годах. Незадолго до моего поселения в Одессе, в петербургский из новороссийского университета перевелся знаменитый физиолог И. М. Сеченов, труд которого —„Рефлексы головного мозга"—пользовался громадною популярностью среди молодежи. В мое время в новороссийском университете были два знаменитых профессора,—зоолог и патолог И. И. Мечников и экономист А. С. Посников. Лекции последнего были особенно популярны и читались всегда при битком набитой аудитории. Докторская диссертация А. С. Посникова, —второй том „Общинного землевладения",—имела выдающийся успех, не только благодаря высокой научности ее, но и потому, что она касалась животрепещущего вопроса. Профессор всегда захватывал слушателей и интересом предмета и необыкновенно живым, увлекательным, талантливым изложением. Я многим обязан этим лекциям.

Возвращаясь к сотрудничеству в „Одесском Вестнике", скажу, что, как и говорил Зеленый, я не мог печатать ничего, так как цензура свирепо уничтожала все мои произведения.

Последнее обстоятельство, в связи с общими тяжкими политическими условиями, крепко смущало меня. Я просто не знал, что мне делать. Меня потянуло на запад, чтобы хотя немного подышать там свежим воздухом. Я заявил об этом Зеленому и скоро, при его содействии, при чрезвычайно счастливых условиях уехал за границу.

Алешинский предводитель дворянства, г. Нестроев, искал лицо, которое могло бы привезти его детей из-за границы. Зеленый, хороший знакомый Нестроева, порекомендовал меня. Мне предоставлено было право сколько угодно жить за границей, лишь бы, в конце концов, привезти детей, или, в крайнем случае, усадить их в поезд прямого беспересадочного сообщения из Мюнхена или Вены до русской границы.

Получив паспорт, с разрешения жандармского полковника Кноппа, с чувством живейшей радости отправился я впервые в Европу.

Трудно словами передать испытываемое мною удовольствие. Я переезжал из одного крупного культурного центра в другой, посещая театры, музеи, народные вечера, митинги, не зная покоя с утра и до ночи. Вдоволь насладившись всем, чем было можно, я отправился за детьми Нестроевых. Они оказались чрезвычайно бойкими, развитыми и великолепно знавшими Европу. Прежде чем ехать домой, они из'явили желание пожить, как они говорили, „в свое удовольствие“ в Вене. Я не протестовал и опять с ними стал посещать все, достойное внимания. Особенно часто бывали мы в Hofburg theater на Ринге, где в то время была великолепная опера. Но, вот, в один прекрасный день, когда я меньше всего думал о России, вдруг получаю письмо с извещением, что меня „розыскивает полиция“. Дня через два прислано было еще более тревожное сообщение, причем мне советовали „не возвращаться в Россию“. В первый момент по прочтении я соглашался с названным советом и решил довезти детей до границы и возвратиться обратно. Но на другой день, когда подумал, что должен *на веки расстаться с отечеством,* меня обуял страх. Я так явственно стал ощущать, что европейская жизнь идет мимо меня, что я не нужен Европе, что совершенно, как лишний человек, я измучаюсь здесь. Две ночи не спал я после этого, а в третью решил ехать в Россию—„что будет, то будет“! —и, взяв детей, поехал, чтобы быть арестованным.

Вот какие отрывки из воспоминаний извлекла моя память. Здесь они проверены литературными данными.

Неужели все это известно жандармам?—задавался я вопросом, и если да, то каким образом они это узнали? Единственное об'яснение было то, что в среде, в которой я вращался, были шпионы. Тогда оправдывалась моя теория, из-за которой я ломал копья: доказывая необходимость добиваться конституции я, между прочим, указывал, что при нелегальной деятельности, при вечном укрывательстве, нет никакой возможности избавиться от шпионов и провокаторов, а это не только парализует всякую деятельность, но еще направляет ее исключительно на пользу жандармов, строющих карьеру на уловлении

крамолы. Лишь при полной свободе печати, слова, совести, союзов и партийных организаций возможна продуктивная работа на благо страны.

Но кто же оговорил меня?

Это, вероятно, выяснится на допросе. И я стал с нетерпением ждать его.

ДОПРОС.

Масса предложенных вопросов и давность дела не дозволили бы мне воспроизвести верно самый *допрос,* если бы не помогло само начальство, приславшее обратно все те бумаги, которые были чуть ли не главным обвинением против меня. К счастью, ответы на вопросы писал я не жандармскому полковнику, а его ад'ютанту на вид мягкому, но, несомненно, хитрому человеку. Первый допрос заключался в отобрании от меня справок,—кто я: мои имя, отчество и фамилия? где получил образование? ***какое имею движимое и недвижимое имущество*** (это меня удивило)?

Одним словом, я должен был изложить год за годом всю мою биографию, что я и исполнил. В показаниях моих не осталось ни одного часа, о котором бы я не мог сказать, где я был, что делал. Тем первый допрос и кончился.

Дня через три капитан принес целую кипу бумаг, тетрадей, записных книжечек, фотографических карточек, записочек, мелких бумажек. Я удивился,—у меня было отобрано меньше. Скоро недоразумение выяснилось: при обыске у Симиренко найдены были еще мои рукописи и пришиты к делу. Работа предстояла трудная: я должен был дать ответ во всякой написанной строчке, а их было много, потому что здесь находились черновые, уже помещенные в разных газетах статьи, корреспонденции, фельетоны; еще не появившиеся в свет рассказы, наброски, просто темы; кроме того, конспекты читанного, из-за чего вышла масса смешных недоразумений, о которых я сейчас скажу. Капитан раскрывает первую записную книжку и спрашивает с выражением—„улики, братец, налицо!"—что это?

Читаю в книжке: „Сначала нужно составить ясное понятие о народе, а потом уже сочинять государственную организацию". Тэн.

— Это,—отвечаю я,—из сочинения Тэна: „Les origines de la France contemporaine".

— Кто это Тэн?—Отвечаю.—А в русских журналах помещались его статьи?—Отвечаю. Капитан, видимо, не доверяет.

Я ему указываю на „Вестник Европы“, говорю год, месяц. Пишите,—говорит он недоверчиво. Я пишу в показаниях то, что устно говорил капитану.

— А это?—спрашивает капитан, перелистывая книжечку и останавливаясь на отмеченном заранее карандашом месте. Лицо капитана ясно выражает: „теперь попался“!

Читаю: „Движение умов 1815 г.“ (Пыпина).

Материалы: Н. И. Тургенев, Н. М. Муравьев, М. С. Лунин и т. д. Неизданные: Н. В. Басаргина, В. Кюхельбекера, „Донесение 30 мая 1826 г.“, маркиз Кюстин, влияние тогда на русские умы Бенжамена Констана. Русская военная молодежь познакомилась первый раз с *тайными* (*!!*) обществами в Германии.

Общества: 1. Артель совместных обедов (закрыта правительством).
2. Масонские ложи.
3. Ученые и литературные общества.

Тайные общества (!!) (глаза капитана раскрылись шире):
1. Союз Спасения.
2. Несостоявшееся—русских рыцарей.
3. Союз Благоденствия.

Такого почти свойства по внешности, хотя несравненно более деятельные радикальные общества были:

В Италии—Карбонариев.
В Греции—Гетерия.
В Германии—Тугендбунд.

Первая мысль *о тайных обществах* (!!) появилась в 1816 г. Устав „Союза Благоденствия“ был написан: Алекс. и Мих. Муравьевыми, кн. Серг. Трубецким и Петром Колошиным, при чем, как говорят, этот устав заимствован с немецкого „Тугендбунда“ и привезен кн. Ил. Долгоруковым“.

— Ну-с, что это?—переспросил капитан, когда я прочел эти „ужасные“ выписки. Отвечаю без запинки, приводя капитана в совершеннейшее разочарование и смущение:—Это из сочинения Пыпина, что и сказано в заголовке: „Умственное движение в царствование Александра I“.—Кто это Пыпин?—Писатель.—Где он писал?—Писал и пишет теперь в „Вестнике Европы“.—А это его сочинение где помещено?—Есть отдельное издание, помещалось также в „Вестнике Европы“. „Лгу я или нет“?—выражало лицо капитана. Если лгу—он попался впросак, а не лгу—еще того хуже: он не знает Пыпина, о котором я рапортую, что это *известный* русский писатель. Капитан приходит к последнему заключению и, конфузясь, говорит: „Да, да... я помню Пыпин... Пишите“. „Ну что, если бы я солгал“?—думалось мне.

Но вот капитан торжествует:

„Оправдание подсудимого — личная обида прокурора. Герцен".

„Диплом чрезвычайно препятствует развитию; диплом свидетельствует, что дело кончено, consomatum est; носитель совершил науку, знает ее. Герцен".

— А это?—вкрадчиво спрашивает капитан.

— Из сочинения Герцена, помещенного в „Отечественных Записках" в 40-х годах.

— Как, разве сочинения Герцена есть незапрещенные?

— Герцена сочинения вы найдете в магазинах: роман „Кто виноват?", „Записки д-ра Крупова", „С того берега", „Еще раз", в „Отеч. Запис." в 40-х годах и другие.

Капитан убит и уже с улыбкою, „в силу необходимости",— как выразился он,—спрашивает о выписках из Фогта, Милля, Гельмгольца, Добролюбова, Писарева, Белинского, Бокля, Шерра, Дрепера, Чернышевского, Кэри, Кетле, Гартмана, Канта и др., осторожно говоря: „ну, вы уже обозначьте, для „*формальности*", где они писали и кто они"?.

Маленькое столкновение произошло только по поводу фразы: „Ohne Politik zu lesen ist man doch todt". Я хотел было уже писать и по этому поводу, но капитан сказал: „нет, этого не нужно"...

Я уже довольно устал, об'ясняя выписки из прочитанных авторов, но это были еще цветки: капитан чуть не уморил меня, требуя об'яснения на фразы в моих рукописях. Все об'яснять было бы очень трудно, а потому я выпишу только фразы, вырванные отдельно из неоконченной рукописи, весьма занимавшей жандармов. Вот они:

1. „Нужно развить массу, нужно доказать ей причины ее горя, страданий, чтобы она сознательно поняла свое положение, нужно сдвинуть ее из инертного состояния, облагородить чувства, возбудить отвращение к рабству, насилию, выставить идеалы".

2. „Любовь к добру, правде, отвращение к рабству, чувство самосознания человеческого достоинства"...

3. ...сосновая доска с изображением брадатого святителя или гретхен-богоматерь чудо совершит...

4. „А я думаю, что это прекрасная мысль,—заговорил Носов:—мы будем сами раздавать им и при этом можно будет всякому говорить о теперешнем их положении и о необходимости избавиться от гнета; дать книг... Это восхитительная мысль!"

5. ...„думаю о революции"...

Как мог я объяснить эти выхваченные фразы без связи со всем произведением? что я мог сказать? Сами по себе они,

как будто, и подозрительны, но в связи—нисколько, во-первых, а во-вторых, это были отрывки из беллетристических произведений, где говорил не я, а выведенные лица. Чтобы отвязаться от вопросов, я написал целую защитительную речь себе, ссылаясь на современные и старые издания, указывая на произведения, где фразы и мысли были такие же, как в произведениях, написанных мною. Боже мой, чего я ни написал! Я ссылался на все известные мне романы, повести, журналы, газеты, статьи... Полковник пришел на другой день сердитый и сказал, что если я буду давать „такие показания", он два года проморит меня в тюрьме, в одиночке. Нервы у меня были еще расстроены, и я опять после этого заболел...

Через неделю капитан появился без бумаг, и допрос начался другого сорта:

„Занимался ли я и Симиренко пропагандою? Знаю ли я такого-то, такого-то и такого-то (при чем спрошено было более 50 фамилий)? Не распространял ли я вредных учений среди общества? Что я знаю о таких-то и таких-то моих знакомых, при чем много вопросов предложено было относительно одного близкого мне семейства. Здесь были фамилии: студентов, крестьян, предводителей дворянства, докторов, людей всех сословий и занятий. Между прочим в моей записной книжке было расписание лекций историко-филологического факультета и список профессоров названного факультета, киевского университета. В этом списке синим карандашем были отмечены жандармами: В. Б. Антонович—самый близкий мне человек из профессоров; М. П. Драгоманов, который незадолго до моего прибытия в Киев эмигрировал в Швейцарию; И. П. Хрущов, относительно которого в книжке было сказано, что профессор этот в Штутгардте читал курс истории русской словесности королеве Вюртембергской и герцогу Лейхтенбергскому; А. А. Котляревский,—о котором говорилось, что в 1862 г. он в Москве сидел в тюрьме, как государственный преступник, и что это отразилось на его научной карьере: до 1875 г. ему разрешено было профессорствовать только в юрьевском университете, а в названном году понадобилось особое высочайшее разрешение, чтобы занять кафедру в киевском университете. Наконец, подчеркнута была фамилия И. В. Лучицкого, вероятно, за то, что в книжке сообщалось, что научные труды его известны за границей и особенно во Франции. Благодаря тому, что я сотрудничал в некоторых газетах, спрашивали: не знаю ли я чего о сотрудниках, о самих редакторах? Не имели ли они чего общего с подпольною литературой? Где я останавливался, будучи в Петербурге? в Москве? Киеве? Одессе? Скажу вкратце—нет, кажется, вопроса, которого бы мне не предлагали и на который бы я не отвечал утвердительно или от-

рицательно. Исписал я массу бумаги, но все-таки не удовлетворил полковника, особенно относительно моего друга Симиренко, про которого мне намекнули, что он повешен, а следовательно, мне выгоднее всю вину валить на него, Симиренко, при чем какую именно вину—не об'яснили, говоря, что я знаю сам... После допроса я просидел еще месяца три, написав 3 прошения в III отделение о производстве дознания по моему делу. А тут наступила весна, одиночество страшно надоело, тоска охватила невыносимая. Но в мае 1880 г. совершенно неожиданно дело приняло другой оборот.

ИЗ ТЮРЬМЫ В ТЮРЬМУ.

Май; была чудная погода. Я проснулся очень рано и с наслаждением чрез решетку впивал свежий весенний воздух, глядя на широкий небосклон. Кусочек зеленого поля виднелся вдали и чуть-чуть обозначались сверкавшие воды разлившейся Десны. С какою радостью, с каким восторгом прошелся бы я туда, на это поле, к этой старой знакомой Десне. Было воскресенье, и я ожидал на свиданье сестру, которая была у меня раза два-три и доставила мне невыразимое удовольствие. Но мне уже не пришлось повидать ее.

Часов в 9 утра я, к величайшему моему удивлению, увидел во дворе жандармского полковника, который никогда не приходил в такую раннюю пору. Кроме меня, тогда не было уже ни одного политического: большую половину перевезли в Харьков, двоих выпустили; несомненно, полковник шел ко мне. Да: громыхнула задвижка, дверь отворилась; вошел полковник, жандарм, смотритель и сторож Наум.

— Вам нужно собраться,—буркнул мрачно фон-Мерклинг.

— Куда?—спросил я.

Вместо ответа на мой вопрос полковник обратился к жандармам и глухим голосом отдал приказ:

— Смотрите, чтобы преступник в дороге ни с кем не разговаривал и сами не смейте с ним разговаривать.

„Ну, чорт с тобою"!—мысленно сказал я,—и с радостью стал собираться. Не все ли равно? Хоть к чорту на кулички вези, лишь бы из этого ада".

Собрался, оделся; полковник осмотрел некоторые вещи, заглянул в сак-вояж и вышел из камеры, а за ним направились я, жандармы и смотритель. Вышли, прошли двор. Что дальше? Подошли к воротам, которые в первый раз за 9 месяцев отворились передо мной.

У ворот тюрьмы стояла уже тройка почтовых лошадей. В присутствии фон-Мерклинга я уселся в телегу, а по бокам разместились жандармы.

— Куда же меня везут? У меня нет денег, родных надо предупредить.

— Сто рублей для вас есть у жандармов; родителей извещу; вы едете в Орел,—проговорил быстро полковник.

— Это мое конечное путешествие,—Орел?

— Да, поезжайте,—ответил полковник.

Тройка помчалась. Что за воздух, что за погода! Как вольно дышит грудь! Я не думал, куда и за что меня везут; забыл все; я знал только, что вместо каменных стен меня окружают воздушные стены, греет яркое солнышко. Проезжаем недалеко от собора, видна гимназия, из которой я вышел пять лет тому назад; проезжаем полосатый шлагбаум; вот сверкнула во всем блеске Десна, окружавшая шоссе с обеих сторон; широкая, залитая солнечным светом река, зеленые острова, несмолкаемые трели соловьев! Вон „Святое“, а вон „Плавли“, куда когда-то часто путешествовал я с товарищами пешком и в лодке; промелькнули в моей памяти некоторые знакомые лица, а в том числе лицо незабвенного учителя, Н. А. Вербицкого, который нередко бывал в нашей юной компании... А тройка мчит дальше и дальше... Пусть себе мчит, лишь бы не в тюрьму! Станции; перемена лошадей—все это и так знакомо, и так в то же время ново, что я уже не обращал внимания на четыре следящие за мною глаза двух довольно дюжих жандармом.

Но скоро мысли мои невольно направились на разгадку неизвестного будущего: „Что сделают со мною?“ „Куда меня везут?“ Время было ужасное—не только в каторгу, но и на виселицу возможно было попасть ни за понюшку табаку. Я тем более мог думать об этом, что фон-Мерклинг как-то сделал мне такого рода намек:

— Что вы мне чепуху в показаниях пишете!? Если вы во всем не сознаетесь, то, знайте, разговоры у нас коротки: мы имеем достаточно данных, чтобы...

При этом полковник повертел в воздухе пальцем, показывая, как надевают веревку на шею, а затем тем же пальцем показал на потолок моей камеры.

Следовательно, я на все мог расчитывать.

Между тем день сменился чудным вечером; всплыла тихая серебристая луна... В полночь нас настигла туча и разразилась освежающим дождем. Как хорошо! Не знал я, что вижу „последнюю“ украинскую ночь, не знал, что надолго-надолго мне придется расстаться с мелькавшими передо мною картинами из украинской природы! Нежин! Я задрожал от радости, когда донесся до меня звук первого свистка локомотива.

Вместо лошадей мчит поезд. Я высунул голову из окна

и целую ночь не спал, любуясь чудною ночью, вдыхая свежий воздух...

Не помню, сколько времени я ехал (от г. Нежина до Чернигова 94 версты) и когда прибыл на станцию „Нежин“, как забыл и о том, при каких условиях путешествовал по железной дороге (в отдельном или общем с пассажирами вагоне), а помню только, что черниговские жандармы, не проронив со мною ни единого слова, привезли меня в курскую тюрьму. В последней, в строгом одиночном заключении, я пробыл трое суток.

Черниговские жандармы везли меня только до Курска, а от Курска до Орла уже везли курские жандармы. С первыми жандармами я простился очень любезно.

Я был так наивен, что спрашивал жандармов о жизни в Орле, о цене на продукты, думая здесь поселиться окончательно; жандармы мне все поясняли, когда мы проезжали со станции городом по направлению к губернатору, к которому я прибыл часов в одиннадцать вечера.

Мы поднялись по нескольким ступенькам и очутились в довольно приличной передней губернатора. Сонный швейцар быстро вскочил и, взяв у жандармов пакет, удалился в соседнюю комнату; что-то задвигалось, раздались голоса; мимо меня прошли две хорошенькие молодые женщины и ласково взглянули. „Какой молоденький!“—довольно громко сказала одна из них. „Желал бы я вас видеть на моем месте,—подумал я:—я вам с удовольствием отпустил бы комплимент: какие хорошенькие, молоденькие“... Но они быстро удалились и больше не показывались.

Вышел швейцар.

— Ну, что?—спросили жандармы.

— Иду к самому.

— А он не спит?

— Нет: жена еще в саду,—ждет.

Швейцар ушел.

Так вот откуда неслись звуки полковой музыки, когда я ехал! Из сада... Эх, кабы в этот сад! Скоро ли кончатся мои мытарства? Я с нетерпением ожидал возвращения швейцара от губернатора, полагая, что последний одним почерком пера избавит меня от жандармов, сделает свободным. Швейцар вскоре возвратился, передал, в свою очередь, пакет жандармам, которые обратились ко мне тотчас же с предложением:

— Пожалуйте-с....

— Куда же еще?—спрашиваю я удивленно, думая: „неужели жандармы и квартиру наймут?“

— В тюрьму-с....

— То-есть, как это?

— А там вам раз‘яснят.

— Значит, переночевать там, что ли?

— Должно-быть, мы не знаем.

— Опять тюрьма! Ведь это безобразие!—произнес я довольно громко и, надев шапку, пошел за жандармами; швейцар тоже сопровождал нас.

Выходим на улицу; тихая, чудная, весенняя ночь; из сада доносятся звуки музыки, а тут идешь опять в эту несносную тюрьму, не зная за что, на сколько времени, чем все кончится. Чувство бессилия подавляло меня; я был страшно озлоблен, раздражен и молчал всю дорогу до тюрьмы, несмотря на любезность жандармов и швейцара, которые утешали меня следующим образом:

— До тюрьмы здесь недалеко: придете, отдохнете, а там, Бог даст, и лучше что-нибудь будет,—говорил старик-швейцар.

— Барин хороший, их должно освободят скоро,—в один голос вторили жандармы.

— Что же, надо потерпеть,—не один вы: здесь, что ни день, все возят.

Но вот и стены тюрьмы. Позвонили в колокольчик. Железные двери тяжело отворились; мы очутились в абсолютной темноте; входим по какой-то лестнице в грязную, уставленную шкафами комнату; разбудили каких-то сонных личностей, которые об‘явили, что „смотритель спят“. Жандармы и швейцар подняли бунт, чтобы „немедленно смотритель был разбужен“. Начался скрип дверей, шушуканье, хождение. В таком неопределенном положении я и мои охранители провели довольно продолжительное время, когда, наконец, появилась заспанная, тощая фигурка смотрителя; он был одет в полицейскую форму.

Жандармы, взяв расписку „в получении меня“, удалились, а я остался tête à tête с начальником тюрьмы.

Знакомая процедура: вещи отобраны, записаны, и мне предложено расписаться. Расписываясь, я мельком пробежал одну бумажку, которая все мне об‘яснила и заставила призадуматься,—в бумажке было написано:

„Препровождая при сем *государственного преступника*, Б-го, предназначенного к высылке в Восточную Сибирь, честь имею предложить Вашему Благородию держать его в тюрьме впредь до распоряжения“...

Бумага была от губернатора к смотрителю. Вот оно что! Ну, теперь, хотя и больно и тяжело, но ясно: Восточная Сибирь! Сердце сжалось.... Холод, вьюга, морозы, бесконечный путь, вечная разлука со всеми милыми, дорогими быстро промелькнуло у меня в голове. А к тому же денег мало, теплой

одежды нет, родные и знакомые не знают. Какое бесправие, какое холодное, бесчеловечное отношение к живому существу!

— Отведи их в „дворянскую“,—обратился смотритель к какому-то служителю.

— Письмо можно родным написать?—спросил я смотрителя.

— Завтра,—теперь уже час ночи.

Я пошел за служителем и вскоре очутился на громадном дворе орловского замка, посреди которого возвышалось мрачное высокое здание, а вправо, возле ворот—двухэтажный флигель, к которому мы и направились. Больше я рассмотреть ничего не мог.

Во флигеле мы поднялись на второй этаж, вошли в коридор с расположенными в нем одиночными камерами, из которых первая от лестницы, на правой стороне, предназначалась для меня.

Она была несравненно меньше черниговской. Деревянная ломанная кровать, микроскопический стол и громадная без крышки „параша“ составляли всю мебель и все украшение моего нового жилища, освещенного маленькою, тусклою лампочкою.

— До свидания,—сказал вежливо служитель, запирая дверь.

— Спокойной ночи,—ответил я и немедленно лег на грязную кровать.

„Бывают тягостные ночи:
Без сна, горят и плачут очи,
На сердце—жадная тоска,
Дрожа, холодная рука
Подушку жаркую об‘емлет;
Невольный страх власы под‘емлет;
Болезненный, безумный крик
Из груди рвется,—и язык
Лепечет громко, без сознанья,
Давно забытые названья;
Давно забытые черты
В сияньи прежней красоты
Рисует память своевольно“...

В таком, приблизительно, состоянии находился я и так, быть-может, провел бы и всю ночь, если бы не звуки музыки, раздавшиеся, к моему удивлению, под самым ухом.

Что это? Откуда? Не галлюцинация ли? Встаю, подхожу к окну, отворяю его и вижу, что сад, где находилась губернаторша, куда пошли, быть-может, и те барышни, из которых одна сказала: „какой молоденький!“, что сад, повторяю, нахо-

дился сейчас же за стеною тюрьмы. Явственно доносились звуки марша—„Переход через Дунай“,—слышны были трели соловьев, доносился даже шум говора толпы, совершенно отчетливо видны были деревья и фонарики.

К моему несчастию, марш заканчивал „гулянье с музыкой“ в саду. Вскоре за тем погасили фонари; сделалось тихо, и только соловьи щелкали без умолку вплоть до самого рассвета. Я слушал их и не мог сомкнуть глаз: я знал, что все это слышу в последний раз: страшная „Восточная Сибирь“ не давала мне покою.

На другой день я проснулся очень рано и увидел арестанта, подметавшего пол. Меня удивило это и обрадовало: в черниговской тюрьме в камеру мою, кроме смотрителя и жандармов, не входила ни одна душа.

— Чаю не угодно-ли?—спросил арестант.

— А можно?

— Если есть свой чай и сахар.

— Есть. Я пойду „по надобности“.

— Сколько угодно. Может, по двору желаете прогуляться?

— Разве это дозволяется?

— Конечно, только нужно позвать „подчаска“.

— Сначала я напьюсь чаю, а потом уже. Здесь, кроме меня, есть еще „политические?“.

— Двое сидят.

— Заперты?

— Можно отпереть.

Вскоре я уже обнимался с неизвестными товарищами по заключению, которые, как я потом узнал, были через некоторое время выпущены на свободу; они привлекались по местным делам и оба понравились мне, хотя не походили друг на друга совершенно: X-довольно плотный брюнет, красивый мужчина, лет 27—28, с открытым лицом—тип интеллигентного великоросса; он привлекался, как человек, находивший социализм в основе христианства и пропагандировавший в этом направлении; Z—худой, тощий с украинскими чертами лица, вечно добродушной улыбкой; говорил он басом и на первый раз казался даже „страшным“, но стоило только заговорить с ним, чтобы увидеть в этом человеке безграничную доброту, честность, крайний альтруизм. Он привлекался за пропаганду. X и Z приняли меня как нельзя более радушно, рассказали, кто проезжал через эту тюрьму и что я отправлюсь скоро в Мценск, откуда в Восточную Сибирь. Я приободрился,—воспоминание о Сибири как рукой сняло: за 9 месяцев я в первый раз говорил с людьми, которых нечего было бояться, с которыми можно было поделиться горем и радостями. Понять это

может только тот, кто просидел продолжительное время исключительно в сообществе шпионов, начальства и жандармов, которые ловят каждое слово, каждый звук, каждый взгляд, чтобы „проникнуть“ и „упечь“. О, какое это тяжелое, невыносимое, пошлое состояние!

— Вчера из вашей камеры увезли троих: их надписи есть на печке.

Пошли в мою камеру, и я действительно прочел: Янковский, Калюжный, Якубович.

— Двое,—пояснили товарищи,—Янковский и Калюжный,—были обриты и в кандалах... Ужасное впечатление!

— Боже мой! Неужели? Какое их состояние духа?

— Ничего, так себе.... Янковский ничего еще, но Калюжный чувствует себя нехорошо.

Слово за слово, мы разговорились, так что я уже и прогуливаться не хотел; напились вместе „солдатского“ чайку, потом поели „арестантских“ щей с протухлой кашею и опять чайку выпили. Только под вечер X и Z посоветовали мне „подышать свежим воздухом“. В камере и в коридоре, а особенно в отхожем месте, воздух был невозможный, миазматический, и я, когда явился „подчасок“, то-есть солдат без ружья, в отличие от „часового“ с ружьем, пошел прогуляться.

На громадном, обнесенном каменною стеною дворе орловского замка прогуливалась масса арестантов, бряцая кандалами и тщательно закрывая шапками обритую часть головы. Кандалы и бритые головы производили такое гнетущее впечатление, что я хотел уйти уже в свою камеру, но потом, победив себя, начал гулять *по дозволенному подчаском пространству* и наблюдать, по возможности, жизнь этих „униженных и оскорбленных“. В черниговском замке не было ничего подобного,— там кандалы—событие, исключительный случай, здесь—редкий без кандалов и бритой головы. Орловский замок служил пунктом для многих сотен душ каторжников, отправляющихся отсюда прямо в Сибирь.

Кратковременное пребывание (около 2-х суток) в орловском замке не дозволило мне собрать точных сведений об арестантах и администрации этой тюрьмы. Знаю только, что в то время арестантов было от 600 до 700 душ, при чем подавляющее большинство—„пересыльных“. Узнал также, что едят арестанты здесь *два раза* в день, а не *один*, как в черниговском; что есть, так называемое, дворянское отделение, где кормят лучше; есть больница, в которой не был; имеется церковь, которую посетил на другой день и присутствовал при истинно-трогательной картине.

Отправляясь в путь, партия попросила священника отслужить им „напутственный“ молебен. X и Z, управлявшие

по праздничным дням хором, пошли петь; пошел и я с ними.

Нужно было видеть эти исхудалые, измученные лица, с непокрытыми бритыми головами, с кандалами на ногах,—при чем кандалы поминутно звякали, особенно, когда арестанты становились на колена для поклонов. Я в жизнь свою не видел так искренно, усердно молящихся людей, я не видел никогда людей с таким выражением веры, надежды, какое было у молящихся; слезы, видимо, выступали у многих на глазах и тихие вздохи неслись из измученных грудей.

Священник, еще молодой человек, сказал напутственную сердечную речь арестантам, окропил их водою, раздал маленькие иконки и осенил крестом. Звеня кандалами, арестанты начали подходить к кресту и целовать его. Через несколько часов мы уже видели из окна, как партия двинулась к тюремным воротам и скрылась,—скрылась навсегда. На другой день, 9 мая, и я уехал из тюремного замка, уехал почти внезапно. Мы, то-есть я, X и Z, собрались пить кофе, которое было доставлено женою X—а, как вдруг явился надзиратель и сказал: „Пожалуйте,—за вами жандармы приехали“. Я не мог даже попрощаться с милыми людьми и должен был немедленно следовать к смотрителю, где уже встретил новых охранителей, которые „приняли под расписку“ меня, мои вещи и повезли на вокзал.

Г. Орел мне очень понравился и я не без сожаления оставлял его.

— Куда везете меня?—спросил я жандармов, желая проверить то, что прочел в бумаге.

— В централку,—ошарашил меня один из них.

„Значит, последовало новое распоряжение“!—мысленно воскликнул я. „Так вот что со мною хотят сделать без суда и следствия“! Немало ужасов слыхал я о центральной каторжной тюрьме и знал, что она находится где-то в Харьковской губернии, но в тот момент я этого не соображал, хотя поезд мой направлялся на север.

— В какую же централку вы меня везете?—попытался я выведать тайну.

— В централку,—сурово отрезал жандарм, не желая больше давать никаких сведений.

Через два часа езды от Орла поезд остановился на станции „Мценск“. Жандармы начали суетиться, собирать вещи, говоря, что „здесь *остановимся*“. Остановились; вышли из вагона; прошли зал III-го класса маленького вокзала и вышли на крыльцо, обращенное к Мценску.

— Извозчик!—крикнул один из жандармов. Под‘ехали крытые дрожки, влекомые белою клячею.

— Здравствуй, старый знакомый!—обратился жандарм к старику-извозчику.

— Желаем здравствовать! Частенько-таки вы ездите к нам.

— А что, разве не нравится?

— Нам что, нам, конечно, доход.

— То-то же... Садитесь, господин!—обратился ко мне жандарм, уложив мои вещи. Я влез в дрожки; по бокам сели жандармы. Погода была отвратительная,—дул холодный ветер, моросил мелкий дождик... Невзрачный городок Мценск походил на мокрую курицу; маленькие улицы были пусты, запотелые окна мокрых домов смотрели грустно на мир божий. Меня провезли по отдаленнейшим улицам, об'ясняя невозможностью ехать „через самый город“, благодаря отсутствию или порче какого-то моста.

Уже немного от'ехав от вокзала, я увидел на другом конце города, среди полей возвышавшееся белое здание, окруженное каменною стеною; здание и своим положением и наружным видом говорило само за себя,—это была тюрьма, куда меня везли. Хотя мне „орловские“ и говорили, что „там“ (т. е. в Мценске) *„кажись“ много* политических и, *„кажется“*, живут все вместе, но я сомневался. Вообще я под'езжал к мценской тюрьме в самом скверном настроении. Одна мысль, впрочем, утешала меня, мысль ни на чем не основанная, это—возможность встретиться с Левою Симиренко, хотя трудно было этого ожидать.

А вот и тюрьма. Сравнительно небольшое, белое, чистенькое, двух'этажное здание, обнесенное не особенно высокою белою же стеною, так что не только выдаются над стеною окна верхнего этажа, но даже немного видны и окна первого этажа. Возле каждой стены по будке и по часовому.

Недалеко от единственных ворот, окрашенных в темную краску, в стене—каменный домик для конвоя и офицера, а возле этого домика—деревянный новенький сарай, с железною крышею—вот и все, что есть вблизи тюрьмы; местность открытая, скучная, без всякой растительности, подверженная влиянию всех ветров.

Мы остановились; часовой крикнул что-то в окошечко, сделанное в воротах; звякнула задвижка, отворилась небольшая дверца в воротах же и меня попросили „пожаловать“.

Вхожу; за мною жандармы, а впереди пошел отворивший калитку высокий с маленьким брюшком господин, в какой-то странной форме с медными пуговицами; прошли небольшое пространство от ворот до входа в тюрьму; при самом входе в здание господин повернул вправо, вниз в какое-то, как мне показалось, подземелье,—мы за ним; входим в небольшую

комнату, где за столом сидел прилично одетый, довольно полный, с украинскими чертами лица чиновник.

Господин, который шел впереди нас от ворот, не говоря ни слова, отправился в мои карманы и вообще начал меня тщательно обыскивать, обыскивать до того нахально, что я опалел. Он делал это с таким спокойствием, обнаружил такое гениальное знакомство с тайниками верхнего и нижнего платья, что мне оставалось только любоваться высокого сорта пошлостью и смелостью этого господина.

На мне были, например, брюки, которые я купил в Вене, с маленьким карманом в таком месте, что, кажись, сам сатана не отыскал бы его; тайник этот предназначался для хранения денег от карманных жуликов, как мне об'яснили в столице Австрии, уверяя, что, несмотря на всю ловкость „европейских мошенников“, из кармана „в этом месте“ похищений никогда не было. Я поверил, купил брюки, и вот первый русский „казенный карманник“ разыскал хитрую похоронку и вытащил оттуда портрет любимой сестры.

— Это можно иметь?—обратился он к господину в форме министерства внут. дел, сидевшему за столом.

— Отдайте!

— Извольте-с,—вручил мне „карманщик“ карточку и начал шарить уже „за бельем“. Я краснел тогда и краснею теперь за русского человека вообще и за себя в особенности. Возможно ли представить, чтобы, например, любой гражданин Западной Европы, в XIX ст., не лишенный прав, без предписания суда, дозволил так возмутительно издеваться над собою? А я, русский, пошлый русский, раб-русский спокойно смотрел, как ворвались ко мне в дом, и теперь, когда лезут мне в карман, я с бараньим индифферентизмом отношусь к этому факту; у меня не поднялась рука отпустить пощечину нахалу, протестовать до тех пор, покуда не свяжут меня, не сделают насилия...

И представьте себе, что этот рьяный господин с брюшком оказался добродушнейшим человеком. Он обыскивал „по долгу службы“ и относился к этому не ведая, что творит, он делал это так же, как обедал, спал и т. д.; он невозмутимо спокойно из роли „обыскивателя“ перешел бы в роль „обыскиваемого“, потому что русский человек даже понять не может, в чем заключается обида обыска, и не все ли равно, что производить обыск, что быть обыскиваему.

Но обыск кончен; все отобрано; я выхожу за тем же господином из подземелья, поднимаюсь по нескольким ступенькам каменной лестницы, вхожу в стеклянные двери, ведущие в коридор второго этажа, и появляюсь в одной из камер, расположенных по обеим сторонам этого коридора. В камере никого

нет, хотя видно, что люди здесь живут: плохо застланные кровати, в беспорядке валяющаяся одежда, шапки, арестанские халаты.

— Вы останетесь здесь?—спросил обыскивавший господин очень мирным и даже заискивающим тоном.

— Хорошо,—ответил я ему, не зная, что сказать.

— Быть-может, вы кого-нибудь знаете, так с ними в одной камере можно расположиться.

— А кто здесь есть?—спросил я дрогнувшим от радости голосом, благодаря возможности быть с кем бы то ни было *вместе*, не сидеть в соседстве с одними стенами.

— Есть такой-то (он начал перечислять фамилии).

— А нет ли здесь Симиренко?—спросил я на-авось.

— Льва-то Платоныча? Есть!

В другом месте я бы подпрыгнул или сделал какую-нибудь каверзу, выражавшую высшую степень наслаждения, но здесь удержался: „Так Лева здесь?! И его называют еще Львом Платонычем, видимо почтительным тоном!“—думал я, когда господин пошел позвать его.

Через несколько минут я уже целовался и обнимался с Левою, заливаясь от радости самым глупым смехом, как мне потом говорили, и чего я в тот момент не замечал. Еще немного—и я уже был среди громадной толпы знакомых и незнакомых „политических“ и не знал, что делать, о чем говорить.

По случаю отправления на другой день после моего приезда партии в Сибирь, „политическим“ разрешено было немного кутнуть „на прощание“. Все они собрались „в общей столовой“, и я, очутившись среди них, был свидетелем этого кутежа, кутежа оригинального: „по случаю отправления в Сибирь на поселение, в каторгу“. На большом столе стоял громадный самовар, большое количество кружек и стаканов. Не успел я поздороваться с некоторыми знакомыми, которых, прибавлю, никогда не надеялся уже видеть, как какой-то незнакомый подхватил меня под руку и помчал, весело болтая, в какую-то камеру, где я выпил рюмку рому, и также быстро отправился с незнакомцем обратно „в общую“, где уже веселый хор исполнял различные песни

Вот ко мне обращается какой-то одноглазый солдат; я отвечаю ему; меня толкают.

— Что?—спрашиваю.

— Держите язык за зубами,—советуют мне.

— Как? В политической-то тюрьме?

— Да, да....

„И здесь есть!!.... „Камо бегу от лица твоего!“—подумал я, и прежняя осторожность возвратилась ко мне.

Подхожу к Ивану Карповичу Дебагорио-Мокриевичу; рядом с ним сидел старый знакомый Костюрин, а теперь он—лишенный прав каторжанин; к нам подходит милый, верующий, благородный юноша, Янковский, который уже приговорен к 10-ти летней каторге, а на вид ему не более 17—18 лет. С кем начать разговор? о чем говорить? Перебрасываюсь словами со всеми, расспрашиваю у знакомых о незнакомых, слушаю песни, курю папиросы, предварительно сговорившись с Левою—поговорить „наедине" ночью, так как он предназначен был отправиться в Сибирь с этою же партиею, т.-е. я мог видеть его только в продолжение одной ночи! Ведь вот какое стечение обстоятельств!

Народу было много, около 40 душ; это было страшное, „легальное" тайное сообщество, за принятие участия в котором на свободе ссылали на каторгу, вешали, а здесь спокойно можно было „принимать в нем участие". Было на кого посмотреть, было кого наблюдать, было кого изучать, и как же не благодарить судьбу за такое стечение обстоятельств. Вот фамилии лиц, которых я застал в мценской тюрьме. Осужденные на каторгу: Костюрин, Минаков, Говорухин, Крыжановский, Кривошеин, Властопуло, Янковский, Калюжный, Ястремский, Франжоли, Геллисы (два), Турович, Осмоловский, Казачковский Шпиркан. Лишенные прав и осужденные на поселение в Сибирь: Татаринчик, Рублев, Цукерман, Гаврилов, Тюрин, Верцинский, Олеховский.

Административно-ссылаемые в Сибирь: Долинин, Панкратьев, Штокфиш, Червинский, Трушковский, Хондажевский, Концевич, Андреев, Вноровский, Иван Дебагорио-Мокриевич, Шпадиер, Харжевский, Симиренко, Мамонтов, Кобылинский. Куплевасский, Мищенко (унтер - офиц.), Позин, Приходько, Данько, Подревский, уголовные—Мамонтов и Егоров. На другой день все они, кроме меня, Кобылинского, Мокриевича, Хондажевского, Шпадиера и Вноровского, отправлялись в Вост. Сибирь. Все, казалось, были веселы, но что у каждого из них было на душе—этого никто не знал. Впереди ничего веселого не предвиделось.

Наболевшая душа, нужно думать, приходит, наконец, к состоянию апатии, нервы притупляются и человек, повидимому, весел.

Было уже поздно, когда мы разошлись по камерам. Я с Симиренко пошел в камеру Мокриевича. Эта комната предназначалась для больницы, и вечно чем-нибудь больной Иван Карпович занимал ее в качестве больного.

Друзья прежде всего сообщили мне, что произошло за время моего одиночного заключения, и познакомили с условиями жизни в мценской тюрьме. Я узнал, что в конце 1879 г. в

г. Елисаветграде был арестован с грузом динамита сын киевского купца, Григорий Гольденберг, бежавший в свое время из Архангельской губернии. Между прочим, он посещал сходки и на той общественной квартире в Киеве, где я жил в качестве квартиронанимателя. Сознавшись в убийстве харьковского губернатора, кн. Крапоткина, Гольденберг затем написал жандармам нечто в роде исповеди, в которой сообщил все, как о своей революционной деятельности, так и других. А знал Гольденберг очень много. Он сообщил, например, подробные данные о бывших во второй половине июня 1879 г. с'ездах в Липецке и Воронеже, указав на участников их. В связи со с'ездами я был осведомлен, что чисто народническая партия „Земля и Воля" преобразовалась в „Народную Волю", которая в основу своей деятельности поставила политическую борьбу, для достижения социалистических идеалов. Выдающимися членами этой новой партии называли: Андрея Желябова, Николая Морозова, Льва Тихомирова, Веру Филиппову (она же Фигнер), Софию Иванову, Александра Михайлова, Михаила Фроленко, Якимову, Златопольского, Преснякова, Колодкевича, Квятковского. Несогласные с программою „Народной Воли" выделились в особую группу, назвав ее, как и свой орган, „Черный Передел", с чисто народническою программою, не признававшей политики и террора. Как на видных членов этой партии указывали на Плеханова, Веру Засулич, Дейча, Стефановича, Аксельрода. Сообщили мне затем, что в ноябре 1879 г. произошел взрыв на Московско-Курской ж. д., когда проходил поезд с царскою свитою. Результатом этого взрыва были лишь два опрокинутых вагона, при чем человеческих жертв не было. Виновниками называли Льва Гартмана и Софию Перовскую, из которых первый бежал за границу и не был выдан Францией, а вторая скрылась.

Поразило меня и сведение, что в августе 1879 г. казнили в Одессе Дмитрия Лизогуба и вместе с ним Чубарова и Давиденко, а над Логовенко и Виттенбергом, судившихся также по делу Лизогуба, или „28-ми", смертная казнь приведена была в исполнение в г. Николаеве. Участвовавший в этом процессе близкий мне и Леве человек, В. Х. Кравцов, о котором я уже упоминал, был присужден к бессрочной каторге [1]). Говорили, что главным виновником такого жестокого приговора был студент харьковского ветеринарного института, Федор Курицын, сидевший в одесской тюрьме и, воспользовавшись доверием заключенных, оклеветавший их. Под псевдонимом „Федьки", этот Курицын раза два останавливался в моей квартире в городищенском училище, и у нас тут же возникло

[1]) В 1923 г он умер на родине, в Волынской губ.

предположение,—не оговорил-ли он меня и Леву? Далее сообщили мне, что летом 1879 г. в Таганроге был арестован бывший студент медицинской академии, Лев Мирский. Он покушался на жизнь шефа жандармов, генерал-адъютанта Дрентельна, занявшего место убитого в 1878 г. генерала Мезенцева. В конце 1879 г. военный суд приговорил Мирского к смертной казни, а сообщника его, Тархова, к бессрочной каторге. Но, в виду несовершеннолетия обоих их, первому казнь была заменена бессрочной каторгой, а второму назначена 10-тилетняя каторга. В январе 1880 г. по делу о подкопе под херсонское казначейство и похищении более $1^1/_2$ миллиона денег, были приговорены мои одесские знакомые: дочь генерал-лейтенанта, Елена Россикова (урожденная Виттен) к бессрочной каторге, студентка цюрихского университета, Елизавета Южакова, и Анна Алексеева („Галка“) к ссылке на поселение, а главный виновник, сын флотского капитана, Федор Юрковский, которого я знавал под именем „Сашки-Инженера“, еще сидел в это время в киевской тюрьме.

Но меня более всего интересовали процессы, действующими лицами которых были близкие мои знакомые, как Владимир Дебагорио-Мокриевич, Маруся Ковалевская, Валериан Осинский. Я ничего не знал об их судьбе, так как суд над ними происходил в бытность мою за границею. По той же причине не осведомлен был я и о чигиринском деле. Больше других обо всем этом должен был знать Иван Карпович Дебагорио-Мокриевич, и я, что называется, насел на него, требуя возможно более подробных данных. Он согласился, заявив, что не ручается за точность своих сведений, так как не имел возможности получить все из первоисточников. Брат его, Владимир, был арестован в Киеве в январе 1879 г. Знаменитый жандарм Судейкин, по приказу еще более знаменитого начальника киевского жандармского управления, полковника Новицкого, отправился искать его в дом Косаровской, на Жилянской улице. Но Владимир был в это время в соседнем доме, по той же улице, у курсистки Бабичевой, что и спасло его от смертной казни. Дело в том, что бывшие в доме Косаровского оказали вооруженное сопротивление, при чем убит был один жандармский унтер-офицер, Владимир же был взят в квартире Бабичевой без сопротивления. Следствие, повидимому, выяснило, что в жандармов стреляли студент Харьковского ветеринарного института, Людвиг Брантнер, и народный учитель, Владимир Свириденко. По крайней мере, только этих двух приговорили к смертной казни, которая и приведена была в исполнение через неделю после суда, происходившего в начале мая 1879 г. Кроме них судились одновременно, как террористы, арестованные в доме Косаровской и в квартире Бабичевой,

12 лиц, причем Владимир Дебагорио-Мокриевич, Маруся Ковалевская, дочь действительного статского советника, Наталия Армфельд, сын купца Позен и рабочий-грек Феохари были приговорены к 14 годам каторги, а еще трое—к каторжным же работам на срок от 5 до 10 лет. Остальные – на поселение. Одновременно с этим делом рассматривалось и дело Валериана Осинского. Происходя из рода весьма состоятельных дворян Донской области, он, по окончании Таганрогской гимназии, воспитывался в С. Петербургском Институте Путей Сообщения. Красавец по внешности, обаятельный по внутреннему содержанию, необыкновенной храбрости, он уже на студенческой скамье пользовался большим влиянием среди товарищей, а когда, в целях революции, оставил институт, без труда становился во главе террористических предприятий, быстро передвигаясь с севера на юг и служа связью между ними. За Осинским числился целый ряд необыкновенно смелых террористических деяний. В Киеве он вместе с Владимиром Дебагорио-Мокриевичем задумали план революционной деятельности, но арест Осинского, состоявшийся также в январе 1879 г., помешал осуществлению задуманного. Полиция, осведомленная о мужестве Валериана, решила взять его на улице. Это сделано было также капитаном Судейкиным, который производил арест в доме Косаровской. Осинский не успел выхватить револьвера, а потому вступил в жестокое единоборство с десятью жандармами, с трудом овладевшими им. У него найден был, между прочим, яд. Очевидно, Осинский предпочитал лучше умереть, чем быть схваченным, но он не рассчитывал, что его возьмут на улице. Одновременно с ним была арестована дочь богатого помещика Новгородской губернии и генерала, София Лешерн-фон-Герцфельд, и Волошенко, псевдоним которого был „Волк". Все они судились одновременно с Владимиром Дебагорио-Мокриевичем, при чем Осинский и Лешерн были приговорены к смертной казни. Первый был казнен одновременно с Брантнером и Свириденко, а казнь Лешерн заменена была бессрочной каторгой. Говорили, что она просила, чтобы ее казнили вместе с Осинским.

По этому поводу началась характеристика покойного. Я, между прочим, сказал, что, несмотря на некорректный поступок Осинского по отношению меня на сходке, я никогда не чувствовал к нему неприязни, совершенно уверенный, что его деяния являлись следствием глубокой убежденности. Иван Карпович, согласившись с таким моим мнением об Осинском, добавил, что, не взирая на ряд террористических фактов, несомненно совершенных покойным, он был чрезвычайно мягкий человек, бравшийся за револьвер только ради идеи, не чувствуя никакой ненависти к лицам, на которых покушался.

Наконец, Иван Карпович добавил, что, по слухам, Осинский, сидя в тюрьме, глубоко страдал, будучи совершенно разочарованным в терроре. Только гордость не позволила ему открыто в этом признаться. Он пошел на виселицу необыкновенно мужественно. Забегая вперед, скажу, что много также я получил подтверждений относительно мягкости, если не нежности, Осинского. Именно в воспоминаниях И. С. Джабадари о процессе пятидесяти прочел следующее: „Следствие приближалось к концу, когда, однажды, во время допроса какого-то свидетеля, поднялась страшная возня на хорах; мы видели только, что хоры наводнились вдруг жандармами, выталкивавшими оттуда всю публику. Не зная в чем дело, мы думали, что Петерс (председательствующий на суде) распорядился на дальнейшие заседания публики не допускать; только вечером, когда я пришел к себе в камеру и в обычное время принял участие в своеобразном заседании нашего тюремного „клуба" (так назывались разговоры через водосточные трубы), вдруг в моем „клубе" я слышу ко мне обращается незнакомый голос: „Здравствуйте, Иван Спиридонович, я так полюбил вас и всех ваших товарищей, познакомившись с вами при чтении обвинительного акта, что сам попал к вам в тюрьму".

Это был Валериан Осинский, о котором я еще ничего не слыхал раньше и обращение которого по имени - отчеству, что в нашей среде не было принято, поразило меня.—Неужели вы попали сюда из любви к нам?—полушутя спросил я Осинского.—„Из любви, Иван Спиридонович, ей-ей, из любви. Я так полюбил ваших женщин, этих небесных ангелов, я так полюбил ваших рабочих и всех вас, кавказцев и русских, что хотел дать возможность полюбить вас и широкой публике, и задумал я с товарищами снабдить публику, не имеющую билетов на вход в зал заседания, поддельными билетами, которые мы и отпечатали сами. В первый день, т. е. вчера, нам удалось вместо 50-ти впустить свыше 200 человек, но на 2-й день, когда мы роздали уже 500 билетов, и вся эта публика разом осадила хоры, жандармы догадались, и я вместе с товарищами моими, раздававшими билеты у входа, попали сначала в участок, а затем и к вам в тюрьму".

Все это Осинский говорил спеша и волнуясь от непривычного и крайне неудобного способа разговора по трубам. Такое открытое выражение любви к единомышленникам—нам, столь редко встречавшееся в революционной среде того времени, меня чрезвычайно поразило и возбудило горячее чувство к нему. Я просил, чтобы на другой день во время гулянья он подошел к моему окну первого этажа, чтобы я мог видеть его; он подошел, и мы долго и молча смотрели друг на друга; я до сих пор помню это прекрасное юношеское лицо с боль-

шими горевшими радостью глазами. За это недозволенное, хотя и молчаливое свидание, его сейчас же перевели в другую камеру, и с тех пор я его больше никогда не видал. Я пошел в каторжную центральную тюрьму, а он через два года был казнен.

Что касается Чигиринского дела, разбиравшегося через месяц после процессов Мокриевича и Осинского в начале июня 1879 г., то Иван Карпович, обвиняя участников в составлении от имени царя подложных грамот, которые довели невежественную массу до восстания, причем около 50 крестьян приговорены были к арестантским ротам, был доволен, что брат его не принимал в этом деле участия.

Затем мне сообщили, что в начале 1880 г. в Киеве рассматривалось дело семинариста Богуславского, который известен был мне еще по „желтому интернационалу“. Оказалось, что этот совершенно юный тогда „бурсак“, как мы его называли, был замешан в деле о попытке ограбить кассу какого-то полка в Житомире и убийстве какого-то мещанина Курилова. Приговоренный к смертной казни, он стал всех оговаривать, за что казнь заменена была 15-тилетней каторгой. —А не оговорил ли он тебя?—спросил Иван Карпович.--Кто его знает,—ответил я,—хотя, собственно, нечем меня оговаривать.—В начале же 1880 г., именно 5 февраля произошел взрыв в Зимнем дворце. Произвел его крестьянин Орловского у. Вятской губ., Степан Николаевич Халтурин. По окончании сельской школы он собирался ехать в Америку, но задержался в Петербурге. Здесь он организовал „Северно-Русский Рабочий Союз“, но последний скоро был обнаружен и уничтожен. Тогда Халтурин сделался террористом. В качестве хорошего слесаря он каким-то образом попал в Зимний дворец. Революционер-народоволец Квятковский доставлял ему туда динамит, при посредстве которого и был произведен взрыв.

Я узнал, наконец, что во главе России стоит диктатор, граф Лорис-Меликов, что, благодаря ему, чувствуются некоторые „новые веяния“, поговаривают о конституции. Затем граф является противником административной ссылки, и носятся слухи о назначении комиссии для пересмотра политических дел. В виду этого к государственным преступникам вообще, а к административно-высылаемым в особенности, замечаются иные отношения. Так, руководствуясь „диктатурой сердца“, граф предписал перевести государственных преступников из ужасной центральной печенежской тюрьмы в Сибирь. Далее, Лорис-Меликову обязаны своим реформированием вышневолоцкая и мценская тюрьмы, превращенные в пересыльные, исключительно для политических ссыльных. При этом в мценской тюрьме и благодаря „новым веяниям“, и, пожалуй,

еще больше вследствие корректности смотрителя Побылевского, режим был совсем сносный.

Не говоря уже о письменных принадлежностях, заключенные имели книги и газеты, пользовались правом свидания не только с родственниками, но и знакомыми; они могли жить или в общей камере, или в отдельной, или более близкие между собою лица могли селиться вдвоем, втроем и т. д. (я, например, поселился в одной камере с Симиренко). Камеры не запирались в течение целых суток, и заключенные могли, когда им угодно, ходить по коридору, а в течение целого дня не воспрещалось гулять во дворе. Наконец, в тюрьме был повар, так что, при желании и средствах, можно было иметь сносный обед, ужин или завтрак. Словом, это была своего рода гостиница, из которой нельзя лишь было вырваться на свободу.

И, вот, это последнее обстоятельство, да постоянная мысль, что единственный путь из этой гостиницы—в неизвестную Сибирь, конечно, не могли способствовать особенно жизнерадостному настроению, тем более, что, несмотря на все слухи о реформах, аресты, обыски и высылки как по суду, так и административно продолжались исправнейшим образом, и особых надежд на свободу возлагать не приходилось.

Затем перешли к беседам о наших личных приключениях.

Оказалось, что у Левы был произведен обыск сначала в Одессе, где у него отобрали мои бумаги, карточку, но лично его не тронули, так что он имел еще возможность держать окончательный экзамен в университете, потом уехал домой и мечтал „о благополучном исходе“.

Но не тут-то было! Вскоре в Городищенский сахарный завод явилась полиция, произвела вторичный обыск и, хотя ничего не нашла, все-таки увезла Симиренко в Киев; здесь его с неделю продержали „в клоповнике“, в Лыбедской части, где он положительно не мог отбиться от клопов, а потом, без дальнейших рассуждений, потащили в Мценск, для отправки в Сибирь.

В Мценск Симиренко был привезен в ноябре, так что к моему приезду Лева уже „обжился“ в этой тюрьме, просидев 7 месяцев.

Мокриевич тоже был „внезапно схвачен“. Он ездил к своему брату в Каменец-Подольск и, не помышляя об опасности, взял для обратного путешествия у брата очень хорошую шубу. Но только что Иван Карпович явился в свое имение (Лука-Барская, Подольской губ.), как был „схвачен“ в шубе брата, привезен в Киев, посажен в тюрьму, потом вскоре отправлен в Мценск, куда привезен в январе, несмотря на

весьма болезненное состояние. В 79 и 80 году генерал-губернаторы не любили медлить и об'яснять причины, а особенно в 79 году, т.-е. в год ареста меня, Левы и Мокриевича.

Итак, с разных концов генерал-губернаторы согнали нас на свидание в Мценск.

Я, в свою очередь, рассказал о моих похождениях.

Чуть не до света болтали мы и далеко не переговорили обо всем. Весь другой день ушел на приготовление к отправке партии, которая должна была уехать с ночным поездом (в час ночи) по направлению к Москве. В полдень получена была телеграмма от губернатора об оставлении Симиренко. Это и обрадовало нас и поставило втупик: мы не знали причины желанного оставления „до следующей партии". Но ни радоваться, ни раздумывать было некогда: все убиралось, приготовлялось. Вдруг по камерам и в коридоре пронесся слух, что „непривилегированных закуют в кандалы". Этот слух поразил нас, не хотелось верить, не хотелось видеть унижения человеческой личности; слух же, между тем, принимал все большую и большую вероятность, превратившись скоро в действительность. Нужно заметить, что многие, привезенные в мценскую тюрьму в кандалах, здесь были раскованы на все время пребывания в ней. „Привилегированные же" и отправились без кандалов, так как, по закону, они, привилегированные, должны быть закованы уже на месте, на самой каторге, если, конечно, в дороге не произойдет ничего „особенного". Однако, следует заметить, что генерал-губернаторы и в этом случае поступали как им было желательно: многие „привилегированные" были привезены уже в мценскую тюрьму закованными!

— Да я им с . . . . с . . . . ., головы разобью!—кричал кто-то.

— Нельзя ли как-нибудь переговорить с начальством?

— Протестовать, господа! Протестовать!!!

— А штыки?!? Коли протестовать—так до конца, до смерти не даваться, а протестовать так себе, „до прикладов", не стоит!

— Да, быть-может, можно уговорить?

— Позвать начальника тюрьмы!

— Исправника!

Разбились на партии, пошли разговоры, рассуждения, которые привели к тому, что в четырех стенах и против штыков с голыми руками протестовать немыслимо.

Вскоре начали вызывать лишенных прав „непривилегированных" „по одиночке", и они возвращались к нам, уже звеня кандалами и стараясь скрыть собственное смущение.

Невыносимо тяжелое впечатление произвел этот звук кан-

далов. Глядя на этих совершенно юных людей, сердце сжималось от жгучей щемящей боли.

„Боже мой!—думалось,—неужели жизнь их уже окончена? Неужели они обречены на вечное прозябание в каторжных тюрьмах, в холодных степях Сибири, на поселении? Начало жизни—и тюрьма! Начало жизни—и каторга! Начало жизни, и жизнь эта уже разбита: разве жизнь мыслима без свободы? разве можно назвать жизнью—жизнь в кандалах“? Но мрачных лиц почти не было, а некоторые, как, например, Янковский, поражали верою во что-то, надеждами на что-то и невозмутимо спокойным отношением к условиям, в которые все были теперь поставлены. Янковский напоминал мне первого христианина и текст—„Блажени верующие“.

КАТОРЖАНИН ЯНКОВСКИЙ
(при отправлении на каторгу из Мценской тюрьмы в 1880 г.).

Весь день мы были в напряженном состоянии, ожидая рокового часа разлуки. Пообедали, напились чаю, поужинали; разговоры не прекращались ни на минуту; давались поручения, передавались поклоны, решались разные вопросы; обнадеживали друг друга, строили планы будущего; более близкие сегодня между собой говорили шопотом... Но, несмотря на отвлечение, было тяжело. Куда шли эти люди? Увидим ли их когда? Что оставляют они за собою? Чего лишаются? Что чувствуют перед наступлением часа разлуки с родиной, а следовательно, и со всем, что было для них близкого, дорогого, что составляло их жизнь?

Было над чем задуматься... И думали все.

— Одевайтесь, господа!—раздалось в коридоре.

Все разошлись по камерам и начали одеваться; одевшись, собрались еще раз „в общую“ и, распрощавшись на всякий случай, начали петь хором: „Идет он усталый“.

Эта песня и по мотиву, и по содержанию как раз подходила к обстоятельствам.

— Пожалуйте, господа!—позвал надзиратель в конце песни.

Хор сначала смолк, а потом окончил песню; начались

поцелуи, рукопожатия, показались слезы на глазах, и все вышли из „общей“.

В коридоре, возле дверей, стояли: исправник, начальник тюрьмы, жандармский офицер, надзиратель и жандармы.

Все мы столпились у дверей. Начали вызывать по списку.

— Янковский!

— Здесь!

— Пожалуйте!

Янковский прощается со всеми, целуется, жмет руки, потом показывается из толпы и, в сопровождении жандарма, уходит из тюрьмы, где его еще ждет солдат (на каждого полагался один жандарм и один солдат).

— Крыжановский!

— Здесь!

— Пожалуйте!

Прощание и выход с жандармом и т. д., покуда не ушли все. Мы вошли в камеры, взобрались на окна и долго еще кричали на темный двор.

— Прощайте!

В ответ на это из темноты слышалось:

— До свидания! к нам приезжайте!

— Хорошо!

Но, вот, ворота отворились последний раз, вышел кто-то последний, и все стихло. Тихо и скучно сделалось в тюрьме после отправки этой партии.

ЖИЗНЬ В МЦЕНСКОЙ ЦЕНТРАЛКЕ.

План Мценской тюрьмы был таков.

Тотчас при входе в нее, направо—небольшой каменный одноэтажный дом, крыша которого немного возвышается над стеной—это квартира начальника тюрьмы и главного надзирателя; налево—точно такой же каменный домик—баня; расстояние от ворот до здания тюрьмы не превышает 8—10 сажeней и точно такое же расстояние до здания тюрьмы от задней продольной стены; поперечные стены отделены от тюрьмы не более 2—3-саженным расстоянием, так что мы будем близки к истине, если скажем, что тюрьма „сжата“ стенами; двор—это небольшие промежутки между стенами и зданием; он чистый, гладкий, без малейшего признака какой бы то ни было растительности, не говоря уже о деревьях—не было и травы.

И стены, и домики возле ворот, и самое здание тюрьмы все белое, без из'янов. Тюрьма эта недавно (чуть ли не в начале 79 г.), по инициативе, как говорили, Лорис-Меликова, была превращена из „уголовной“ в „политическую“; на переделку и ремонт ее для превращения в „государственную“ потребовалось около 13.000 р.

Она в три этажа, причем первый входит своею половиною в землю, другой—аршина на $1^1/_2$ выступает над землей и в нем помещается кухня, квартира прислуги и канцелярия.

В узком коридоре второго этажа по обе стороны расположены камеры разной величины; в противоположных концах его по три окна: одно большое и по бокам два маленьких; окна расположены очень высоко; посредине в потолке лампа.

Камеры отличаются только по величине: $^2/_3$ каждой стены выбелено, как и в коридоре, $^1/_3$ вымазана в какую-то пепельного цвета краску, на которой, для иллюзии представления о мраморе, заметны белые крапинки, брызнутые щеткою, обмакнутою в известку; эта $^1/_3$ стены очень пачкает одежду, хотя выкрашена для обратного назначения; возле стены—деревянные кровати и на каждой из них матрац из сена, твердая подушка, две простыни из плохой парусины и одеяло из аре-

стантского сукна; несколько столиков возле кроватей; широкие, короткие окна с решетками проделаны чуть ли не у потолка.

В двух концах коридора расположены: на одной стороне „общая“ и умывальная рядом с, так называемой, „приемной“, а на другой—два ватерклозета.

„Умывальная“ очень порядочная комната, с большими резервуарами и несколькими рукомойниками, „ватерклозеты“ —тоже сносные.

Третий этаж очень походит на второй, только с меньшим количеством камер, благодаря церкви, которая занимала довольно много места, и карцеру—темноватой комнатке, в которой, к счастию, никто не сидел, хотя летом там было бы очень удобно. Переходя к нашей жизни в этой тюрьме, начну с того, что в ней, после ухода партии, остались, кроме меня, только: Вноровский, Мокриевич, Симиренко, Хоржевский, Шпадиер, Кобылинский и Мищенко. Я жил с Симиренко в одной камере, Мокриевич один, Вноровский один, Мищенко жил с Кобылинским, а Хоржевский тоже один. Но это индивидуальное или совместное житье менялось очень часто: то жил каждый в одиночку, то сговаривался с кем-нибудь и т. д. Так что, кроме меня, Левы, Мокриевича и Вноровского, все очень часто меняли товарищей для совместного житья. И неудивительно: если на свободе приедаются люди, которых мы часто видим, то каково же в четырех стенах! Само собою, каждому хотелось больше разнообразия, перемены лиц.

Отпирали наши камеры очень рано. Вставали мы в разное время: одни чуть свет, другие в 9—10 и даже, как нередко я и Лева, и в 11 ч.; вставши, если хотели, убирали комнату, т.-е. застилали кровати и приводили в порядок разбросанные книги, бумаги и т. д., так как подметал комнаты служитель; потом, если хотели, умывались, одевались (а если не хотели, то и не умывались и не одевались) и отправлялись в „общую“, где уже часов с 8 утра шумел на большом столе громадный самовар, принадлежавший Симиренко.

Ставил самовар, приносил и уносил посуду и обед служитель, кажется, Александр, который, кроме казенного жалованья, получал еще плату и от нас.

Встававший раньше дежурный, обязанность которого по порядку исполнял ежедневно кто-нибудь из нас, уже находился за чайным прибором и наливал каждому приходящему чай, а ежели кто ленился вставать, то тому нес в камеру и ставил возле кровати на стуле или столе.

Чаю пили кто сколько хотел, но хлеба, кроме ржаного, не полагалось, и все были довольны, если имелись сухари из того же ржаного хлеба; исключение было только для больных или

для лиц, которые, кроме взноса в „общую“ кассу, еще давали каждый раз на сверхштатные продукты.

Напившись чаю, мы принимались за различные занятия, если слово „занятие“ применимо к тюрьме: одни играли в шашки, в шахматы, другие расходились по камерам и там читали, писали, или просто болтали и, наконец, третьи шли на прогулку, кроме добрейшего Устина Устиновича Вноровского, который целый день, будучи нашим старостой по единогласному избранию, вертелся, как белка в колесе, заботясь о нашем благосостоянии, словно мать родная.

Прогулка совершалась между зданием тюрьмы и глухою стеною; в этом узеньком, длинном пространстве мы расхаживали, болтали, играли в мяч, а потом занимались и гимнастикою, когда ее построили.

Так тянулось время до обеда, который бывал между 12—1 пополудни; тогда все мы опять сходились в „общую“, садились вокруг большого стола, предварительно выпив „конспиративно“ по рюмочке водки, кто желал, конечно.

Обед подавал тот же служитель. Вноровский разливал, а дежурный разносил тарелки. Обед состоял из двух, обыкновенно, блюд, при чем мясо считалось некоторым образом *роскошью* и раздавалось по „кусочкам“. Если мы ели довольно сносно, то благодаря лишь личным взносам, так как казенного содержания не хватало бы на самый обыкновенный обед. После обеда, если не было квасу, пили чай, при чем его разливал опять-таки дежурный; когда же квас был, чаю не пили.

Количество пищи и качество ее проигрывали, между прочим, еще и оттого, что мы не имели права ходить в кухню, а следовательно не могли и контролировать „поставщиков“.

После обеда до вечернего чая проводилось почти так же, как и время между утренним чаем и обедом, с тем разве различием, что некоторые ложились спать, а другие опять-таки играли в шашки, шахматы, читали и шли на „прогулку“. Более веселое время начиналось с вечернего чая до „зари“, т.-е. до 9 часов или до той поры, когда нас запирали и мы ложились спать.

Вечерний чай пили между 6—7—8 часами вечера, пили обыкновенно медленно, с разговорами, шахматными и шашечными играми, а после чаю, который был и ужином, всегда почти устраивали пение, что нередко делали и во время прогулок. Песенный репертуар был невелик и пелся весь сразу, так что каждый день, в конце-концов, повторялись одне и те же песни.

Во время вечернего-же чая Вноровский поднимал вопросы,

касающиеся завтрашней злобы дня,—т.-е. какой обед? будем ли ужинать? и т. д. Потом Вноровский отправлялся совещаться с главным надзирателем о предстоящих сутках, а мы еще вели дебаты в „общей“, пели и играли.

Часов в 9—9½ надзиратель—дежурный, который охранял двери в коридоре, заходил в „общую“ и в камеры, говоря: „Господа! пора по местам“! т.-е. в свои камеры. Все расходились по своим комнатам, где уже были поставлены „параши“,—железные герметические цилиндры,—и нас запирали на ключ; спустя некоторое время являлся офицер с солдатами и делал „поверку“, при чем один из двух солдат являлся в камеру и дергал решетки в окнах, убеждаясь ежедневно в их крепости. Фомин присутствовал при поверках.

В камерах мы зажигали лампы и могли не спать сколько угодно. Дежурный надзиратель надевал валенки, чтобы не производить шуму, и иногда засматривал в окошечки в дверях, чтобы убедиться в нашей целости и невредимости; огонь и в камерах, и в коридоре должен был гореть целую ночь.

По утрам к нам часто заходил начальник тюрьмы, бывший помощник управляющего „дома предварительного заключения“ в С.-Петербурге,—Михаил Маркович Побылевский, добродушный, ленивый, довольно полный украинец. Одевался он чрезвычайно прилично и вообще мало напоминал тип смотрителя острога; черные волосы были у него всегда гладко причесаны назад, большие черные же усы—всегда в порядке и, кажется припомажены, подбородок изящно выбрит, руки чистые, лицо чистое,—повторяем, он не был похож на, так называемых,„полицейскую крысу“, „приказного крючка“ и т. д. С нами Михаил Маркович был крайне обходителен и любезен, а с женским полом—просто кавалер, comme il faut. Вообще прекрасного пола он „не чурался“, как говорят украинцы.

Побылевский начал свою карьеру с очень низких полицейских чинов, но не известно по каким причинам не опошлел, не утерял образа человеческого, и, вот, теперь, когда ему осталось всего два чина до генерала, он еще очень порядочный, главное, не глупый человек.

Благодаря последнему обстоятельству, Побылевский, вполне соблюдая „уставы“ и „законы“ и строго следя за нашею целостью, делал то, чего глупый администратор, из боязни или недомыслия, не сделал бы вовек: он давал нам газеты, что собственно почему-то *воспрещалось,* мы имели старые и новые периодические журналы, имели бумагу, перья, чернила, и вообще пользовались многими „льготами“, которых и не понюхали наши товарищи, сидевшие в такой же „политической“ тюрьме в *Вышнем-Волочке.*

Но самое важное, чем мы свободно пользовались, благо-

даря Михаилу Марковичу, это *свидания* с близкими знакомыми и родственниками, которые приезжали в Мценск.

По слухам, отчасти причиною этих льгот был орловский губернатор, Боборыкин, который, говорили, сквозь пальцы, что называется, смотрел на некоторые „послабления", а вероятнее всего то обстоятельство, что товарищи, задолго до моего приезда, устроили, так называемый, *„голодный бунт"*, который заставил начальство призадуматься и дать маленькую „конституцию".

Но дело в том, что, будь глупый и чрезмерно трусливый администратор, он бы заупрямился, принялся бы за „репрессивные меры" и, конечно, вышла бы буря к обоюдному неудовольствию.

Михаил Маркович, понимая, что требуется только необходимое и что от этого требуемого тюрьма останется тюрьмою и все будет благополучно, уступил, и жить нам стало довольно сносно.

Помимо утренних визитов, Побылевский ежедневно приходил к нам или „так себе" или с „письмецом", „газеткою", подавал руку, ободряя в большинстве случаев, утешая, что „скоро вы будете освобождены", „в Сибирь не пойдете" и т. д.

Мы, неразумные, иной раз даже верили этому оптимизму Побылевского, хотя он, кажись, говорил больше „для разговора".

Иногда начальник тюрьмы приходил с доктором или исправником.

Доктором в мое время был старичек-генерал, который в медицине уже ничего, кажется, не смыслил, но охотно балагурил с пациентом и либеральничал, что, конечно, мало помогало излечению, но действовало больше на дух пациента, ибо либералы в генеральских чинах попадаются редко. Генерал был против административной ссылки и, как и Побылевский, говорил, что „это долго не продлится". К доктору мы, кто считал себя больным, вызывались поодиночке в отдельную комнату и там выказывали ему физические и духовные недуги, получая взамен рецепт, по которому выдавалось безвозмездно лекарство.

Исправник, Герасимов, хотя и не генерал, был человек с достоинством, держал себя настолько странно, что напоминал поговорку „словно аршин проглотил". Носил он длиннейшие седые бакенбарды и всегда имел широко раскрытые, удивленные глаза, словно что-то узнал удивительное или желает нечто сообщить. При посещениях он очень близко подходил к кому-либо и предлагал вопросы, относящиеся к тому, чем в данную минуту занимается лицо, к которому он подошел: если вы читали, он спрашивал: „Вы читаете"? если писали,

он спрашивал: „Вы пишете“? и т. д. Если же он заходил в „общую“, то ему нечего было больше спросить, как: „Как вы поживаете“? Такие обыкновенные вопросы слетали с уст начальника уезда неожиданно, потому что, глядя на его лицо, казалось, что он скажет или спросит нечто очень важное.

В виду того, что исправник посещал нас довольно редко, а приезд его в тюрьму имел более глубокое значение,—в смысле вывезения кого-нибудь из тюрьмы на суд, отправки партий или каких-нибудь административных мероприятий,—то появление начальника уезда сопровождалось взаимным извещением: „Исправник приехал! Исправник приехал“!

К его приезду тюремное начальство старалось соблюсти известную формальность, т.-е. мы должны были сидеть запертыми по своим камерам (если мы не обедали, или не пили чай, что дозволялось делать всем вместе в „общей“); нужно было соблюдать известную тишину, не иметь на виду письменных принадлежностей и т. д.

На предлагаемые вопросы исправник всегда отвечал коротко и неясно.

В то время исправник деятельно розыскивал „гессенскую муху“ и каких-то „жучков“, появившихся на полях Мценского уезда и не дававших покоя администрации, взбудораженной учеными реформами профессора Линдемана.

Мокриевич предлагал мне взять темою для поэмы стихотворной—„погоня за мухами“ и изобразить по порядку: 1) выслеживание мухи, 2) уезд на ногах, 3) поимка мухи и арест ее; 4) ссылка мухи и т. д.

Но это к слову.

Самым частым нашим посетителем был Фомин, правая рука Побылевского, старший надзиратель и эконом; хитрый, ловкий, старательный, он был сначала надзирателем в одной из центральных тюрем Харьковской губернии и приспособился к этому ремеслу как нельзя лучше.

Мценский Фомин—это Наум Черниговский. Он льстил Побылевскому, ухаживал за ним, был обходителен и с нами, политическими, особенно с теми, от кого предвиделись „доходы“, но в то же время обсчитывал и обвешивал и нас, конечно, и Побылевского.

Фомин трудился с утра до ночи, был вечно на ногах и везде успевал; вечером он приходил к Вноровскому, который давал ему поручения—купить на завтрашний день того-то и того-то; в полдень он появлялся к нам и отпускал желающим по одной рюмке пред обедом водки; во время поверки он был с солдатами; после поверки—подходил к окошечкам и говорил: „Спокойной ночи“; отворял двери лицам, приходящим на свидание; встречал и провожал Побылевского и всякое начальство;

занимался хозяйством, кормил кур, распекал надзирателей и разговаривал иногда с нами,—одним словом, деятельность этого человека была непостижимая, если принять во внимание, что он же встречал и „новичков“, обыскивал их, складывал вещи, выдавал чистое белье, заведывал цейхгаузом и т. п. и т. п.

Кроме помянутых лиц, пред нашими глазами постоянно мелькали дежурные надзиратели, подчиненные Фомина: один в коридоре охранял выход, другой—во дворе, возле ворот. Надзиратели эти менялись поочередно и не играли важной роли в нашей жизни.

Что касается дежурных офицеров, то большинство из них были народ корректный.

Один старичек-офицер был настолько любезен с Симиренко, что разрешал, по просьбе Побылевского, выходить ему за тюрьму, в сад, где Симиренко устраивал разные клумбы, сеял цветы и т. д.

Вскоре после моего приезда нас перевели в третии этаж, где жизнь пошла веселее.

С третьего этажа был виден весь Мценск и окрестности его. Кроме того, видна была железная дорога, железно-дорожный мост, проходившие поезда, гуляющая публика, приезжавщие в тюрьму и все, что происходило в стенах и вне стен, чего мы не видели, находясь во втором этаже.

Это было очень важно в нашей однообразной жизни, так как увеличивалось количество впечатлений, получались некоторые новые тюремные развлечения, которые может понять только тот, кто сидел в тюрьме.

— Московский поезд!—крикнет, например, занявший с утра наблюдательный пункт у окна.

Все подбегают, лезут на деревянную кровать и смотрят в окно, перебрасываясь краткими фразами.

— Значит, 10 часов.

— Да, скоро южный из Курска придет.

— Свисток! Слышите?

— Идет из Курска!

Все смотрят, вспоминают прошедшее, шутят, что видят лиц, кланяющихся из окон вагона.

— Приехал ли кто с этим поездом?—задаются вопросом те, которые могут ожидать приезда родных или знакомых.

— Вероятно, почта пришла.

— Да.

— Надзиратель с кипою почты!

— Где?

— Пошел к начальнику тюрьмы.

— Сейчас, значит, письма и газеты.

— Фомин не идет?

— Нет, не видно.

— Письма и газеты! Побылевский идет!

Кто получал,—читал письма; это самое великое наслаждение в тюрьме; если письмо с деньгами, то отдавалось только письмо, а деньги оставлялись в конторе; получателю вручалась лишь квитанция, что такое количество хранится в конторе.

Из общих условий жизни единственное исключение представлял Вноровский, вечно деятельный и вечно совещающийся с Фоминым.

Устин Устинович имел обыкновение заявлять о своем пробуждении громким пением:

„Братья, вперед, не теряйте“...

При отсутствии какого бы то ни было голоса, а также и слуха, мужественная песня исполнялась Вноровским не совсем хорошо, но зато „храбро“ и настолько громко и твердо, что можно было сначала подумать, будто начинает петь человек „умеющий“; но вскоре Вноровский доходил до нот неприступных человеческому голосу и умолкал в силу необходимости, чтобы тотчас же с замечательною энергиею начать сначала:

„Братья, вперед...“

Вноровский все делал на ходу,—ел, пил, разговаривал, играл в шахматы, сводил счеты,—и до педантизма был точен в расходовании капиталов наших, блюдя за каждою копейкою ближнего пуще глаза.

С утра до вечера этот человек был занят „нашими делами“, которые исполнял с идеальным тактом и добросовестностью примерною.

Между 12 и 1 мы обедали; Устин Устинович высовывал голову в одну из решеток окна 3-го этажа и кричал прогуливающимся:

— Господа, обедать!

Никто не заставлял себя долго ждать, когда дело шло о желудке.

На главном месте, в конце стола восседал Вноровский, вооруженный большою ложкою для разливки супов или борщей и вилкою для математически-точного распределения „кусочков“ мяса. За обедом велись разговоры все больше на тему о желудках, о хозяйственном управлении Устина Устиновича и о проектах улучшения материального быта.

Обед состоял не более как из двух блюд, и второе было— в каком-нибудь виде жареное мясо в незначительном количестве.

После обеда краткий чай, так как многие стремились уснуть часок—другой и тем сократить тюремное время.

Часа через два после обеда опять начиналась „прогулка“ вплоть до вечернего чая.

В это время иногда отправлялся гулять даже Вноровский, который никогда почти не выходил из стен тюрьмы, читая, если у него было время, сочинения Понсон-дю-Террайля. Страсть к легкому чтению он об'яснял тем, что голова его не могла переваривать серьезной пищи. Во время вечерней прогулки мы часто пели хором, играли в мяч и упражнялись в гимнастике, в которой больше всех отличался Шпадиер, черногорец, вообще склонный ко всякого рода энергичным телодвижениям.

Но, вот, Вноровский, который давно ушел со двора „по обязанностям службы“, кричит уже в окно, держа в руках кусочек бумаги и карандаш:

— Кто что ужинать будет?

— А что есть?—спрашивают его.

— Яйца, сало, кислое молоко, каша с молоком, молоко сладкое,—отвечает, улыбаясь, Вноровский.

— Я яйца!

— Сало!

— Кислое молоко!

— Молоко сладкое!

— Сало!

— Каша!

Устин Устинович записывает.

Идем со двора в тюрьму и прямо направляемся в „общую“, где уже шумит самовар и готов ужин, состоящий из помянутых разнообразных блюд, при чем каждый обязан был есть то, что он сказал заранее; конечно, случалось, что некоторые оставались недовольны выбранным и в шутку говорили:

— Кислое молоко выгоднее.

— Жаль, что я кашу не выбрал.

Иногда происходил, по соглашению, обмен блюд во время самого ужина.

После ужина пили чай очень медленно, так как в это время было много тюремных развлечений:

1) встреча вечерних поездов, с которыми обыкновенно привозили „новых“,—им нужно было оставить чаю.

2) в это же время были „свидания“, при чем посетителя, к кому бы из нас он ни являлся, мы угощали чаем и, наконец,

3) возле тюрьмы, особенно в праздничные дни, прогуливалась публика, преимущественно мценские гражданки, из которых многие наглядным образом выражали нам сочувствие.

Мы по целым часам глазели во все окна, выражая, с своей стороны, сочувствие гражданкам. В шутку мы давали им разнообразные романические имена: Офелия, Татьяна, Маргарита и т. д. Хор, с своей стороны, немедленно при появлении публики организовывался и с большим одушевлением, под управлением баса-регента Хоржевского, пел песни, дабы заманить и подольше удержать прекрасный пол. Песни обыкновенно начинались с Некрасовской:

„Поздняя осень.

Грачи улетели"...

и кончались:

„Идет он усталый".

Если мы ожидали „новичка", то устраивали посты на всех окнах, из которых можно было увидеть все, что необходимо было для точного знания,—везут или нет?

— Поезд!—кричал кто-нибудь.

— Смотрите, господа, едут уже с вокзала?

— Едут!

— Идите кто-нибудь смотреть в коридорное окно! Размещаемся по всем пунктам.

— Фомин прошел!—кричит смотревший во двор.

— Подвезли!

Все, теснясь и налегая друг на друга, становились в „общей" на кровать и смотрели в окно.

Наконец, ворота отворены, и раб божий, в сопровождении жандармов и Фомина, появляется во дворе, изумленно осматриваясь в непривычной обстановке, покуда мы не обратим его внимания, крикнув:

— Здравствуйте!

„Невольник" смотрит вверх, лицо его при виде товарищей озаряется улыбкою, он кланяется и уже смелее направляется в преддверие тюрьмы, где с ним проделывают те же эксперименты, что и со всеми нами.

Интересно, что все мы, во-первых, знали, что „кого-то" (а иногда и именно „кого") привезут; во-вторых, видели его входящим в тюрьму, и все же „невольника-новичка" сразу нам не показывали, вели его в отдельную камеру, после обыска внизу, а нас при этом запирали, и только через несколько минут новичок появлялся среди нас. Его забрасывали вопросами, предложениями, за ним все мы ухаживали, покуда он к нам, а мы к нему не пригляделись.

Оригинален был приезд технолога Андреева; по прибытии в тюрьму он долгое время сидел, не произнося ни слова; болезненное, худое лицо его имело какое-то ироническое выражение.

— Скажите, пожалуйста, куда меня везут?—вдруг спросил он, ни к кому не обращаясь.

— В Восточную Сибирь,—ответили мы ему,—отсюда один путь.

— Не в том дело: чего же это меня из Самары да обратно привезли в Мценск, когда от Самары до Сибири ближе—через Нижний, Казань?...

— Быть-может, вам желают устроить кругосветное путешествие через Одессу.

— Разве что,—сказал Андреев и умолк.

Г. П. АНДРЕЕВ
(технолог в Мценской тюрьме).

Почти одновременно привезенные „ростовцы"—рабочие, сразу разговорились. Это был уже народ тертый, просидевший долгое время в тюрьме. Башкиров - громаднейший, здоровый человечина, с окладистою бородою, с волосами торчащими словно у ежа, добродушнейший блондин с вечно широко открытыми, большими голубыми удивленными глазами—был мастер на все руки, часто дежурил и исполнял всякие работы; Писаревский—сутуловатый, среднего роста человек, с хитрым взглядом и длинною узкою бородою—был страшно раздражителен; Беликов—с широкою, точно луна, физиономией, окаймленною узенькою бородкою, которая доходила до ушей с обеих сторон—был человек добродушный, любивший поговорить; в качестве кочегара на пароходе, он из'ездил много стран и морей; наконец, болезненный Жечковский—бог его знает, что это был за человек; одно только несомненно, что Жечковский много жил и много страдал.

Теперь о свиданиях.

Первое, дорогое для меня лицо, посетившее мценскую тюрьму, была мать Левы, Татьяна Ивановна Симиренко.

В один майский вечер Фомин доложил Леве:

— Маменька *приехали.*

Фомин заметил экономическое благосостояние матери Левы и говорил „приехали".

Мы не шли, а просто полетели, как говорится, наверх.

И вот Татьяна Ивановна! То же милое страдальческое лицо, та же знакомая улыбка, сквозь которую проглядывает тоска. Она бросилась на шею Леве; Лева обнял мать; потом светлая, улыбающаяся Татьяна Ивановна подала руку мне, и мы поцеловались. Она, видимо, сдерживалась и старалась быть веселою. Мы заговорили о „прошедшем“ в довольно шутливом тоне.

Нужно сказать—мы не притворялись: положение мое и Левы было лучше, чем положение наших родных: любящие не так страдают, перенося лично страдания, как тогда, когда видят близких людей страдающими.

Благодаря Фомину и Побылевскому, мы могли угощать Татьяну Ивановну даже кофе, а она нам в тюрьму присылала и сама привозила всякую всячину; помню, 25 мая, в день моих именин, она прислала мне торт.

Мы утешали ее, как могли, говорили о возможности освобождения, возвращения на родину, хотя, по правде сказать, и не верили сами тому, в чем ее уверяли. Мы обманывали друг друга и тем хотя немного облегчали и себя, и Татьяну Ивановну. Хор во время прогулок под окном комнаты, в которой было свидание, охотно исполнял различные песни. Татьяна Ивановна всегда плакала, когда пели:

БАШКИРОВ
(ростовский рабочий в Мценской тюрьме).

„Идет он усталый...

и не могла выносить звона кандалов: „ведь у всех их есть матери“,—говорила Татьяна Ивановна, и слезы катились из ее глаз; ей очень нравилось следующее Некрасовское четверостишие, которое я ей часто говорил:

„Им не забыть своих детей,
„Погибших на кровавой ниве,
„Как не поднять плакучей иве,
„Своих поникнувших ветвей“...

Глядя на эту прекрасную женщину и редкую мать, я часто вспоминал свою мать, которая далеко-далеко от меня

заливалась день и ночь слезами, не имея возможности, по болезни и другим семейным обстоятельствам, приехать ко мне... Я знал, что я больше не увижу ее, хотя уверял в письмах о скором свидании, обнадеживал... Я часто получал от родных письма; эти письма, исполненные любви, страдания, безответной преданности дорогой матери, разрывали мне сердце.. На моих глазах была другая мать, быть-может, более счастливая... Хотя не знаю, что лучше: видеть ли сына в тюрьме на пути в Сибирь, или только знать об этом?

Татьяна Ивановна пробыла около месяца.

Но настал и день разлуки.

Влажными от слез глазами смотрела она на своего любимца Леву, и в этом взоре выражалась и бесконечная любовь к сыну, и страдание, тоска и безнадежность; разговор не клеился; я не мог вынести этой картины и ушел. Пришедши затем в самую минуту прощания,—быстро поцеловался с Татьяной Ивановной и почти убежал; я знал, чувствовал, что не скоро, а быть-может и никогда не увижу ее...

Лева возвратился скучным и долго ничего не говорил.

К нему приезжал еще средний брат; но это был веселый молодой человек, и мы, кроме приятности, ничего не испытывали при свидании с ним.

Но самым веселым нашим собеседником была жена Ивана Карповича, Маруся, поселившаяся в самом Мценске и почти ежедневно приходившая на свидание.

Эта веселая красивая барыня, чешка по происхождению, доставляла нам много удовольствия при скучной, однообразной мценской жизни.

Приезжала еще мать Ивана Карповича. Бодрая, крепкая, славная старушка проведывала одного сына в тюрьме, когда другой в это время был на пути в каторгу; много нужно было силы воли, характера, физической и душевной крепости, чтобы вынести такое горе. Роза Петровна бодро стояла против ударов судьбы.

Наибольшую тяжесть в нашу жизнь вносили централисты—„долгушинцы". Такое название получили лица, принадлежавшие к кружку А. В. Долгушина. Оправданный по Нечаевскому делу, А. В. Долгушин обосновался в С.-Петербурге и поступил в мастерскую железной посуды, где занимался пропагандой. Спустя немного времени он организовал чуть-ли ни первый в России кружок из лиц, стремившихся „в народ". В их числе наиболее выдающимся были: Гамов, Васильев, Дмоховский, Плотников и Папин.

В первой половине 1873 г. они переселяются в Москву, кроме самого Долгушина. Последний купил в Звенигородском у., Московской губ., пять десятин земли, устроил дачу, вызвал

своих единомышленников, завел типографию, в которой печатался „листок“, а также прокламации, воззвания и т. п. Все это предназначалось для распространения в народе.

Но скоро всех долгушинцев арестовали и судили: Долгушина и Дмоховского приговорили в каторжные работы на 10 лет, Гамова на 8, Плотникова и Папина на 5 лет и Васильева на 2 года и 8 месяцев каторжной работы.

После приговора их отправили в Белогородскую, Харьковской губ., Волчанского у., каторжную тюрьму, где Гамов и сошел с ума и умер. Остальные при Лорис-Меликове были назначены в Сибирь, на Карийские каторжные работы, при чем Папин и Плотников отправлялись через Мценскую тюрьму. С ними прислали и Донецкого, осужденного по собственному делу.

И. И. ПАПИН
(каторжанин по процессу Долгушина в Мценской тюрьме).

Из них лишь Папин вполне сохранился и был настолько бодр духовно и крепок телесно, что, не взирая на кандалы, иногда плясал казачка, тем показывая полное презрение к оковам. Обладая прекрасным голосом, он, кроме того, очень часто пел. Что же касается Донецкого и Плотникова, то оба они были сумасшедшие. Первый из них считал себя, между прочим, гением добра, что и доказывал при посредстве какого-то календаря. Больше всего страдал от этого нервный и болезненный Дебагорио-Мокриевич, к которому Донецкий чувствовал наибольшую симпатию. Во время прогулок Донецкий, вспоминая свое ужасающее житье в центральной каторжной тюрьме, приводил примеры того, как каждая несправедливость по отношению к нему со стороны тюремного начальства непременно влекла за собою какое-нибудь несчастье.

— Вот,—говорил он,—лишили меня тогда-то обеда, и, смотрите,—в этот день умер...

При этом Донецкий показывал в календаре, кто именно умер в этот день. Такие однообразные беседы изо-дня в день тяжело отражались на нервной системе Дебагорио-Мокриевича, и однажды он, изыскивая способы, как бы изменить хотя бы тему разговора, сказал Донецкому:

— Вот вы говорите, что вы—гений добра, а я—гений зла.

В подтверждение истины своих слов Дебагорио-Мокриевич утилизировал тот же календарь: он выдумывал примеры сделанного ему кем-нибудь добра в известный день и указывал, что в этот день умер такой-то.

Эта случайная изобретательность Дебагорио-Мокриевича, неизвестно почему, отстранила, повидимому, Донецкого от его idée fixe; по крайней мере больше он не беседовал на излюбленную тему. Тяготение Донецкого к И. К. Дебагорио-Мокриевичу могло об'ясняться и тем, что ранее он был единомышленником Владимира Дебагорио-Мокриевича и был в 1873 г. послан последним из Цюриха в Россию с прокламациями, но в Каменец—Подольской губ. его арестовали. Возможно, что Донецкий, хотя и смутно, вспоминал Владимира и, быть может, смешивал с Иваном Мокриевичем.

В. ДОНЕЦКИЙ (каторжанин умалишенный в Мценской тюрьме).

Еще тяжелее было смотреть на Плотникова. У него было мрачное, тихое помешательство. Он почти не разговаривал и ужасно стеснялся своих кандалов, которых с него не снимали, несмотря на сумасшествие. Для сокрытия кандалов, Плотников сшил себе из арестантских брюк что-то в роде юбки и мало ходил, опасаясь, вероятно, чтобы кандалы звоном своим не выдали себя. Представьте все страдание несчастного больного при такой idée fixe! Кандалы мучают его и день, и ночь, каждый час, каждую минуту, каждую секунду! Он всем существом желает избавиться от них, а они, проклятые, звенят и звенят, не дают ни на миг покоя!... Боже, сколько жестокости нужно, чтобы не снять оков даже с умалишенного!

При воспоминании о Плотникове мне рисуется еще одна трагическая картина. Мать и сестра, узнав о переводе его в мценскую тюрьму, приехали к Плотникову на свидание. Они не знали, что он душевно расстроен, и сгорали желанием увидеть одна—горячо любимого сына, другая—брата. Приходит как-то к нам в тюрьму совершенно расстроенный смотритель и, сообщив в чем дело, спрашивает совета:

— Что делать? У меня не достает мужества сказать им правду, что Плотников помешан.

Мы тоже не знали, как выйти из этого ужасного положения, и посоветовали лишь как-нибудь подготовить несчастных женщин.

В конце-концов вышла потрясающая сцена, когда мать и сестра, увидев Плотникова, догадались в чем дело. Побылевский со слезами на глазах рассказывал нам об этом тяжелом свидании.

Здесь, к слову, сообщу кое-какие сведения о печенежской центральной каторжной тюрьме, в которой много лет сидели Папин, Донецкий и Плотников.

По рассказам, слышанным мною в мценской тюрьме, режим в „централке“ Харьковской губернии не уступал, вероятно, шлиссельбургскому. Заключение в ней было строго одиночное; вести из внетюремной жизни почти не доносились; заключенных плохо кормили; обращение было грубое. Общие ужасающие условия каждый раз ухудшались, как только за стенами тюрьмы происходили какие-либо случаи политических преступлений, о которых заключенные, конечно, и не знали. Весьма вероятно, что такого рода периодические усиленные репрессии, сопровождавшиеся карцерами, лишениями пищи и т. д., и были причиной idée fixe Донецкого. Особенные жестокости по отношению к заключенным проявлял знаменитый фон-Валь и, частью, кн. Кропоткин. Нет ничего удивительного, что значительный процент заключенных в каторжной печенежской тюрьме не вынес всех ее ужасов. Обо всем этом написал и с‘умел переслать из тюрьмы А. В. Долгушин. В 1878 г. на основании его данных была издана брошюра— „Заживо погребенные“. Возможно, что следствием этой брошюры было убийство харьковского губернатора Кропоткина. Насколько запомнил я из рассказов, в новобелгородской тюрьме из 30-ти заключенных 7 человек сошли с ума и четыре умерли, причем двое—из числа сошедших с ума. Следовательно, погибли 9 человек, или 30%. Это именно: 1) Боголюбов (сошел с ума), 2) Бочаров (сошел с ума и умер), 3) Гамов (сошел с ума и умер), 4) Герасимов (сошел с ума), 5) Донецкий (сошел с ума), 6) Елецкий (умер), 7) Малиновский (умер), 8) Плотников (сошел с ума) и 9) Соколовский (сошел с ума). Остальные, в большинстве измученные, с расстроенною нервною системой были в 1880 г. отправлены в Сибирь на Карийские рудники, а часть, кажется, на поселение. Уже в бытность в Сибири я видел в Красноярском остроге: Долгушина, Здановича, Мышкина, Сажина, Дмоховского, умершего за Красноярском, Виташевского, Джабадари, Свитыча, Ковалика, Войнаральского и Рогачева. Видел ли остальных, не помню.

Поименованные лица осуждены неодновременно и по разным делам. Герасимов, например, судился за пропаганду среди рабочих и солдат Московского полка. Во главе этого процесса стоял студент Дьяков, приговоренный к 10-летней каторге. Тому же наказанию подверглись еще двое обвиняемых по этому делу: Александров и Сиряков. Боголюбов и Бочаров осуждены были в 1877 г. за демонстрацию на Казанской площади в Петербурге. С ними судились также пошедшие на каторгу: Бибергаль, Чернявский и Гервасий. В ссылку с лишением прав по этому же делу попали: 16-тилетняя девушка Шефтель, Геллер, Попов, и Громов. По монастырям водворены: Потапов, Тимофеев, Григорьев. Наконец, Джабадари и Зданович осуждены были по „процессу пятидесяти“, а остальные лица—по „Большому процессу“ 193-х. На этих двух последних процессах, как самых характерных для семидесятых годов, мы считаем нужным остановиться, хотя некоторые данные о „Большом процессе“ уже сообщили выше. Об этих двух процессах говорила буквально вся культурная Россия и выдающиеся писатели того времени. Публичное судебное разбирательство, сведения о котором печатались в „Правительственном Вестнике“, дало возможность широким кругам русского общества видеть, какие высоконравственные, самоотверженные, искренние люди шли в народ и каких высоких идеалов стремились они достигнуть. Речи, произнесенные на процессе „50-ти“, разбиравшемся в особом присутствии Сената с 21 февраля по 14 марта 1887 г., Алексеевым и Бардиной, а на „Большом“—Мышкиным заучивались молодежью наизусть. Точно также заучивали стихи, посвященные обвиняемым по процессу „50-ти“. Более других популярно было следующее стихотворение Некрасова:

Смолкли честные, доблестно павшие,
Смолкли их голоса одинокие,
За несчастный народ вопиявшие.
Но разнузданы страсти жестокие,
Вихорь злобы и бешенства носится,
Над тобою, страна безответная,
Все живое, все честное косится.
Только слышно, о ночь беспросветная,
Среди мрака, тобою разлитого,
Как на грудь великана убитого,
Кровожадные птицы слетаются,
Ядовитые гады сползаются.

Поэты—Боровиковский и Полонский—посвятили стихотворение специально женщинам, среди которых были приехавшие из-за границы высокообразованные: Бардина, Ольга и Вера

Любатович, Лидия Фигнер, Варвара Александрова, Хоржевская. Стихотворение Боровиковского таково:

Мой тяжкий грех, мой умысел злодейский
Суди, судья, но проще и скорей—
Без мишуры, без маски фарисейской,
Без защитительных речей.
Крестьянские вериги, вместо платья,
Надев и сняв преступно башмаки,
Я шла туда, где стонут наши братья,
Где вечный труд, где бедняки.
Захвачена на месте преступленья,
С поличным я к тебе приведена,—
Зачем же здесь свидетели и пренья?
Ведь я кругом уличена.
Но знаешь ли, что как я ни преступна,
А предо мной бессилен ты, судья,—
Нет, я суровой каре не доступна
И победишь не ты, а — я...

Наконец, Полонский писал:

Что она мне — не жена, не любовница
И не родная мне дочь...
Так отчего ж ее доля проклятая
Ходит за мной день и ночь?
Словно зовет меня, в зле неповинного,
В суд отвечать за нее,
Словно страданьем ее заколдовано
Бедное сердце мое.

О Тургеневе говорили, что он целовал портреты подсудимых, называя их „святыми“. Вероятно, о них думал и Вл. Г. Короленко, когда писал свой высоко-художественный рассказ: „Чудная“, напечатанный нелегально. Все судившиеся женщины были приговорены к каторжным работам. Такое же наказание, кроме Джабадари и Здановича, о которых сказано выше, понесли: братья Владимир и Григорий Александровы, Агапов, Гамкрелидзе, Кардашев и кн. Цицианов. Наконец, Лукашевич и Чхеидзе были лишены прав состояния и сосланы на поселение.

Процесс „193-х“ был, можно сказать, развитием процесса „50-ти“. Последний происходил в январе 1877 г., а первый начался в октябре того же года, но длился до конца января 1878 г. И обвинение было одинаково: пропаганда. Исключение составлял один Мышкин, ездивший в Сибирь, чтобы освободить Чернышевского, и при аресте оказавший вооруженное сопротивление. Он был приговорен к 10-тилетней каторге. Такое же наказание было назначено: Войнаральскому, Ковалику, Рогачеву,

Муравскому, Синегубу, Союзову, Стаховскому, Добровольскому, Квятковскому, Чарушину, Шишко, Зарубаеву и Чернявскому. К пяти годам каторги приговорили: Брешко-Брешковскую, Макаревича и Сажина. Остальные понесли меньшие наказания, а некоторые—оправданы. Среди последних были будущие выдающиеся революционеры: Желябов, Перовская, Грачевский, Саблин, Якимова.

Читая эти два процесса, невольно согласишься с Кравчинским, который писал: „Движение это (т. е. народолюбство) едва ли можно назвать политическим. Оно было скорее каким то крестовым походом, отличаясь вполне заразительным и всепоглощающим характером религиозных движений. Люди стремились не только к достижению определенных практических целей, но вместе с тем — к удовлетворению глубокой потребности личного нравственного очищения. Но это движение не выдержало и не могло выдержать столкновение с грубой и суровой действительностью. Пропагандисты ничего не хотели для себя. Они были чистейшим олицетворением самоотверженности. Но эти люди были слишком неподходящими для предстоявшей страшной борьбы. Тип пропагандиста семидесятых годов принадлежит к тем, которые выдвигаются скорее религиозными, чем революционными движениями. Социализм был его верой, народ—его божеством. Не взирая на всю очевидность противного, он твердо верил, что не сегодня-завтра произойдет революция, подобно тому, как в средние века люди иногда верили в приближение страшного суда“.

Возвращаемся к Мценской тюрьме.

Вечером, когда нас запирали, я и Лева взлезали на окно и поджидали вечернего московского поезда. По нему поверял я часы, и приход поезда был, кроме того, некоторым образом сигналом ко сну.

Иной раз Мокриевич, почитатель всяких муз вообще, после дневных трудов над поэмами, брался за скрипку и... неимоверно плохо играл среди ночной тишины. Насколько восхитительно Иван Карпович играл на рояле, настолько плохо на скрипке: рояля не было—он резал на скрипке.

— Господа, видите луну?—кричал из своей камеры Мокриевич.

— Видим, — кричали мы ему в ответ.

— Правда, — хороша?

— Отличная! Только не порти впечатления скрипкою.

— Эх, вы! Ничего вы не понимаете! Разве я плохо играю?— сам смеясь, спрашивал Иван.

Иногда в камерах ночью раздавалось пение solo или хором. И я с Левой нередко заводили дуэты. В общем, жизнь в мценской тюрьме была более чем сносная, благодаря Михаилу

Марковичу Побылевскому, память о котором надолго сохранится у всех, кто сидел в Мценске.

Но все же было тоскливо.

— Хотя бы скорее какой-нибудь конец,—говорили мы,— свобода или Сибирь!

— Я умру скорее здесь, чем поеду в Сибирь, — говорил Иван Ка̀рпович.

Наконец, в одно прекрасное утро Михаил Маркович об'явил нам, что после завтра все, кроме Мокриевича, Донецкого и Плотникова, будут отправлены в Сибирь.

— О вас еще ничего неизвестно,—шепнул при этом мне и Леве на ухо Побылевский.

— То-есть, как же это?

— Я телеграфировал,—вы двое не упомянуты.

Нас взяла тоска,—неужели еще коптеть в тюрьме? Даже завидно сделалось, когда увидели других, как они суетятся, убираются, а мы? Опять бесплодные ожидания...

— Чего вы тоскуете?—спрашивал Мокриевич,—да ничего нет хуже Сибири.

— Ну, брат, сиди себе, а нам лучше ехать хоть к чорту на кулички.

— Конечно, лучше ехать, — говорил Устин Устинович, которому было теперь работы по горло.

К нашему счастью, на другой же день Побылевский об'явил, что и мы поедем.

Почему мы радовались, — неизвестно, так как, что ни говорите, а еще вопрос, что лучше — Якутка или мценская тюрьма? Здесь, по крайней мере, тепло, знаешь, что не пропадешь с голоду, а там? Но или так велико стремление человека к свободе, или просто перемена в образе жизни приободрила нас, но мы уже мечтали о неизвестных странах и приятном по ним путешествии.

Ежедневно со дня об'явления похода в тюрьме царила суета невообразимая; все разбросано, раскрыто, убирается; все расчитываются, пишут письма, галдят, шумят; все старались выдумать родным такие послания, чтобы не обеспокоить их, т.-е. самое путешествие представить *очень* приятным, Сибирь — страною прелестною и, наконец, доказать, что эта ссылка более чем временная и что, мол, „ожидайте“, скоро увидимся...

Я, помню, начинал перед отправкою письмо родным такими словами:

„Наконец-то *давно желанная* отправка осуществляется. *Как приятно* проехаться со всеми удобствами в неизвестную, *чудную* страну, чтобы *скоро* возвратиться к вам, дорогие мои, и рассказать обо всем. Да *больше чем* несомненно, что мы увидимся *не через годы*, а *через месяцы* и т. д.“.

Искренности, конечно, в этом письме не было ни на грош. Все писали, полагаю, в таком же духе.

В СИБИРЬ!

17 июля настал день от‘езда. Я и Лева зашли в камеру Мокриевича, с женою которого распрощались накануне, и начали прощаться. И у нас, и у Ивана Карповича видны были слезы.

— Когда-то и при каких обстоятельствах увидимся?— спрашивали мы один другого.

— Пишите же!—раздавалось со всех концов.

Донецкий прощался, а несчастный Плотников даже не понимал, что происходит, хотя подарил Леве карточку с собственноручною подписью.

Вышли во двор; там были уже жандармский офицер, жандармы, исправник, солдаты; обращаем последний взор на тюремные окна, из которых видны лица Ивана Карповича, Донецкого и прибывших в день нашего от‘езда Данько и Приходько; у Мокриевича страдальческое выражение.

Поодиночке, в сопровождении жандарма и солдата, выводят каждого за ворота, и каждый снимает шапку и кричит, подняв вверх голову:

— До свидания! К нам приезжайте!

Мы вышли последние.

До свидания! — крикнул дрогнувшим голосом вслед нам Иван Карпович.

— Прощай, брат!—ответили мы ему.

Скажу здесь к слову, что больше с Иваном Карповичем нам не пришлось повидаться: сосланный в Курск он там и умер.

Считаю необходимым привести здесь письмо его ко мне, написанное в декабре 1880 г., как я думаю, незадолго до смерти, и полученное мною уже в Сибири. Письмо это как нельзя более подтверждает мой взгляд о пессимизме Ивана Карповича, о чем я говорил в своем месте.

„Дорогой Иван Петрович!

Мне очень интересно знать, получили ли ты и Лева мои письма, которые я послал отсюда на имя вашего губернатора.— Если да, ты должен был заключить, что я до сих пор все

еще нахожусь в Мценске и мое пребывание здесь продлится до мая месяца; так я, по крайней мере, надеюсь, что зимой меня отсюда никуда не вышлют. С большим нетерпением я жду от тебя продолжения твоих писем, 3 номера которых у меня хранятся в неприкосновенности и в большем почете (я их всегда ношу в боковом кармане у своего сердца). Тем более мне приятно было бы получить от тебя описание твоего житья-бытья, что твой юмор хоть несколько развеял бы мою скуку, которая начинает таки порядком давать себя знать. Занятия мои идут плохо и крайне не спешно, ничего ценного не выходит, часто перескакиваю я от романа к поэме, от поэмы к лирике и все таки—ни черта. А что хуже всего—начнешь за здравие, а кончишь за упокой. Мой пессимизм положительно начинает проникать все мое существо, и все что бы я ни творил окрашивается таким толстым слоем неверия, что самому становится неприятно. Начну, кажется, хорошо—и не оглянусь, как все выходит темнее самой ночи. Вчера, например, читал в сущности пустячную вещь, один современный романец, в котором пессимизма ни на грош (это—я уже сегодня днем проверил), а мне было страшно тяжело. Ясно, что даже произведения людей, с которыми у меня ничего не может быть общего, воззрения которых я решительно не разделяю, в моих глазах, под влиянием моего внутреннего миросозерцания, окрашиваются исключительно в мой собственный колер—это наконец становится скучным, все это до того однообразно, монотонно, а главное постоянно, что часто я сам не знаю, куда деть себя, что предпринять, на что наброситься, чтобы, наконец, забыть то, что составляет мое мучение. Я не могу представлять для себя никакого разумного основания в человеческой жизни. Все стремления людей (без всякого исключения) мне кажутся скорее жалкими, смешными, детски наивными,—и мучит меня не то обстоятельство, что я не достиг того, чего я хотел, а что—*никто и никогда* не достигнет того, чего желает, и что жизнь есть, в сущности, только одно стремление к удовлетворению своих животных потребностей. Мне интересно очень знать, как повлияла на тебя твоя новая жизнь, в какую сторону она тебя повернула, продолжаешь ли ты попрежнему смеяться надо всем и вся. Я очень ценю в тебе это твое качество—и крепко жалею, что у меня его нет совершенно. Ты может быть подумаешь, что на меня дурно влияет настоящее мое положение; но хочешь знать правду—с тех пор как первый раз мы с тобой встретились, я уже был такой; но я крепко следил за собою и старался не высказывать своих дум, мне казалось неприличным быть ночным филином среди веселых птичек, и разница только в том, что моя настоящая обстановка мало напоминает собою

ликующий день, что дает мне право быть тем, что я есть. Не доставит тебе мое письмо никакого удовольствия,—это я знаю, но если ты хочешь, чтобы я писал к тебе, то позволь мне быть в моих письмах к тебе вполне откровенным, что в свою очередь и от тебя я требую. Иван Дебагорий".

На площади возле тюрьмы мы увидели длинный ряд одноконных извозчиков с двумя пассажирами у каждого: политический арестант и солдат с ружьем.

Наконец, уселись и мы; Леве недоставало извозчика, и он поместился с жандармским офицером.

Сзади ехал Побылевский.

— Трогай!—крикнул жандарм, и мы тихою рысью отправились через Мценск к вокзалу. Долго махали мы шляпами и платками в ответ на махание из тюремных окон...

Приехали на вокзал; там нас окружили солдаты, разогнав любопытствующую публику, и вскоре рассадили в два вагона.

Звонок, свисток, запыхтел паровоз, тронулся поезд... Прощай Мценск!

А скоро прощай и Россия вместе с железными дорогами. Мы едем в страну, где не услышишь свистка паровоза! Вот еще раз мелькнула мценская тюрьма, когда поезд подошел к железнодорожному мосту, который виден был из нашего окна; быстро проехали мост, в'ехали в ложбину и... тюрьма скрылась, а вместе с нею и Мценск.

Утром 18 июля наш поезд прибыл в Москву.

Не доезжая станции, наши вагоны были отцеплены от общего поезда, по уходе которого особый локомотив перевез нас на Нижегородскую жел. дорогу, где уже стояли три вагона с политическими преступниками, привезенными из вышневолоцкой пересыльной тюрьмы. Эти вагоны были прицеплены к нашим, и поезд отправился дальше, но, не доезжая Нижегородского вокзала, он опять был остановлен, как оказалось, с целью проверки нас и в ожидании женщин из Москвы. В наш вагон явился сначала какой-то штатский господин в сопровождении пристава и начал записывать наши имена и фамилии; потом нас посетил генерал, кажется Гаврилов, который спросил о нашем здоровье. На это один из товарищей заявил, что у него болезнь сердца. Генерал пообещал прислать доктора. Затем явился начальник тюремного комитета Галкин-Врасский.

Он распорядился, чтобы нас принял жандармский офицер Владимиров.

От Мценска до Москвы нас сопровождал весьма любезный жандармский офицер, который, передавая нас Владимирову, трогательно с нами распрощался и все спрашивал, всем ли

мы довольны. Наш утвердительный ответ, видимо, был очень для него приятен.

Галкин-Врасский отдал приказ Владимирову, чтобы письма наши с дороги отправлялись по назначению и чтобы нам об‘явлено было, куда мы высылаемся. Последнее обстоятельство было для нас чрезвычайно важно, так как из мценских заключенных никто не знал не только места назначения, но даже в какую Сибирь везут—западную или восточную. Теперь же нам сообщили, что мы отправляемся в распоряжение генерал-губернатора восточной Сибири, но в какое именно место—это зависело от того же генерал-губернатора. Принимая во внимание необ‘ятность восточной Сибири и неопределенность срока ссылки, сообщение офицера почти ничего не говорило. Мы лишь узнали, что путешествовать придется немало и что вообще будущее нам не улыбается. Если бы не молодость и не вера в торжество какой-то „правды“, то это известие могло бы сильно подействовать на настроение, но в то время я, по крайней мере, спокойно отнесся к судьбе, тем более, что „на людях и смерть красна“: *все* туда ехали.

В. П. РОГАЧЕВА
(урожденная Карпова.)

После Галкина-Врасского нас посетил доктор, очень много обещавший, но ровно ничего не сделавший, в смысле удовлетворения различных просьб со стороны товарищей. Да, вероятно, врач был бессилен оказать какую-либо существенную помощь.

Скоро к нам присоединились „московские женщины“, т. е. сидевшие в московской тюрьме: Витаньева, Мищенко (Вноровская), Диковская, Донецкая (жена каторжника), Клейн, Коленкина (каторжанка), Левандовская, Морозова, Осинская,—жена повешенного Валериана Осинского,—Рогачева. После этого поезд окончательно двинулся по направлению к Нижнему-Новгороду. Шел он без расписания и пропускал все другие поезда, вследствие чего нам приходилось очень долго стоять на станциях.

18 июля мы прибыли на станцию „Нижний Новгород“.

Простояв несколько времени возле вокзала, поезд двинулся назад, к волжской пристани; уклон на этом пути таков,

что, несмотря на самый медленный ход, в голову приходила мысль о возможности опрокинуться с вагонами. Не доезжая до пристани, локомотив отцепили, а вместо него припрягли лошадей; такой оригинальный поезд, при криках ямщиков, погонявших лошадей, быстро доехал до пристани, и вскоре начался выход партии из вагонов на баржу, среди двух рядов солдат. Первыми вышли политические: сначала каторжане, одетые в такой же костюм, как и уголовные; они несли свои мешки с вещами; за ними следовали „административные“ в своих платьях; каторжане были бритые и в кандалах.

После политических перевели и уголовных, и через час с небольшим вся партия и ее багаж были уже на барже, которую буксировал пароход „Фабрикант“, компании Курбатова и Игнатова; вскоре баржу отвели от берега, хотя в путь двинулись только в 2 часа по полуночи.

Баржа—это довольно большое судно с маленькими окнами и крытой палубой; крыша палубы укреплена на железных столбах, между которыми натянута густая проволочная решетка, проходящая вдоль с обеих сторон той части баржи, которую занимают арестанты (на носу и на корме крытой палубы нет); такая же решетка разделяет палубу на две почти равные части, которые сообщаются посредством двигающейся на блоках решетчатой железной двери; такие же двери при входах. Благодаря проволочной решетке, палуба напоминает те клетки, в которых бабы возят на базар животных пернатого царства.

Во время непогоды спускают парусинный брезент, так что, в общем, палуба баржи сносна,—и свету довольно, и от непогоды защищает; одно неудобство: нет ни столов, ни скамеек, так что приходится и сидеть, и обедать на грязном полу.

На палубе же устроена и кухня; есть большой умывальник и тут же рядом совершенно темный ватерклозет.

В нескольких местах палубы устроены железные решетчатые двери, поднимающиеся снизу вверх: это ход в каюты, которых на барже четыре.

Каюты расположены в нижней части баржи; внутри их устройство следующее: посередине очень широкие нары, но такие высокие, что ни больные, ни женщины не могут на них взобраться, за отсутствием скамеек, или чего-либо в этом роде, и принуждены спать под нарами. Таковые же нары приделаны и возле поперечных стен, а подле окон, вдоль кают, тянутся длинные доски, заменяющие столы. Окна расположены по три с обеих сторон каюты. Свету от этих окошечек очень мало, так что, когда спустишься в каюту с светлой палубы, сразу глаз не в состоянии ничего разглядеть; читать и шить

можно только у самого окна, что, благодаря малому количеству окон, доступно очень немногим.

При том количестве арестантов, какое помещалось на барже, духота в каютах, понятно, страшная, тем более, что даже при открытых окнах вентиляция происходит только во время движения баржи, когда-же она останавливается, воздух делается еще более тяжел и удушлив.

На барже были и фельдшер и аптека.

В кухне было четыре котла: в одном, большом, готовили обед арестантам, в другом—для них-же кипяток; а в остальных—обед конвоирам. Чтобы нагреть котлы, нужно топить печь часа три, вследствие чего в кухне развивался сильнейший жар (до 60 град.); арестанты, готовившие обед, обливались потом, а тут же, сбоку, сделано в кухне окно, в которое страшно дуло; да и везде на барже дули сквозные ветры, и здесь не только ревматизм не мудрено было схватить, но и паралич.

Чтобы составить себе ясное понятие о воздухе в каютах, достаточно сказать, что в них бывает по 200 человек, что во время холода, не имея чем хорошо укрыться, арестанты не отворяют окон, и даже часто им приходится затыкать трубу, так как из нее дует.

Кроме вышеописанных кают, находящихся в нижней части баржи, есть еще и на верху: каюта начальника баржи, больница, аптека, помещение для конвойных и каюта „привилегированных“.

Последняя очень маленькая, но светлая, с двумя решетчатыми окнами и двумя ярусами нар, при чем верхний ярус так близок к нижнему, что удивляешься, как могут дышать спящие внизу.

Партия, о которой идет речь, состояла из 500 слишком уголовных арестантов с детьми и 93 политических.

Фамилии последних: 1) Андреев, Г. П. (технолог), 2) Андреев, В. З., 3) Анисимов, П. (рабоч.), 4) Ахаткин (чиновник), 5) Баранов, О. (рабоч.), 6) Башкиров, Ф. (рабоч.), 7) Берг (акушерка), 8) Бердников (технолог), 9) Борисов, 10) Бутовская, 11) Беликов, Д. (рабоч.), 12) Белоконский, И. П., 13) Владыченко, П., 14) Вноровский, У. У., 15) Грязнов, 16) Диковская, 17) Доллер, 18) Домровский (слес.), 19) Донецкая, 20) Дробышевский, 21) Жебунев, Л. Н., 22) Жечковский (рабоч.), 23) Иванайн, К. (рабоч.), 24) Иванов, Л. (рабоч.), 25) Карпов, Е. П., 26) Клейн, Л. Г. (курсистка), 27) Князев, Я., 28) Кобылинский, Г., 29) Кобылянский, К. (слесарь), 30) Коленкина, 31) Концевич, 32) Короленко, В. Г., 33) Крыжановский, 34) Кузнецов, 35) Кульчак (жандарм или городов.), 36) Курицын, крест.), 37) Левандовская, В. Н., 38) Левенталь, Л., 39) Лойко И.,

40) Мищенко (она), 41) Морозова, П., 42) Пласковицкая, Ф., 43) Попов, П., 44) Поспелов, 45) Ратнер, 46) Ратенгрубер (слес.), 47) Ремизова, Р., 48) Рогачева, В., 49) Романов (рабочий), 50) Рублев, А., 51) Рышкевич, 52) Самарская, 53) Симиренко, Л. П., 54) Синягин, Н. Г., 55) Смирнов, И. (сторож университетской библиотеки), 56) Соловьев, Д. И. (офицер), 57) Трушковский (рабоч.), 58) Трушковская, 59) Хоржевский, А., 60) Цукерман, 61) Чуйков, С., 62) Шиханов, А. 63) Шилов (рабоч.), 64) Шкалов (рабоч.), 65) Шпадиер, Г., 66) Щепанский.

Кроме того 24 человека (а с детьми 27) высылались административным порядком по варшавскому делу, и мы всех их называли „поляками“.

Это именно: Абрамович, Августович, Белецкий с женой, Венцковский с женой, Гельперн, Геринг, Гласко с женой, двое Грабовских, Графинский с женой, Данилович с женой, Завадский, Ковальский, де-Мезер, Мондшейн, Рогальский, Рожанский и Свенцицкий.

Из них только не следовавшие в нашей партии—Серошевский, впоследствии известный писатель, и Лянды—судились и, лишенные прав, были сосланы на поселение, но это явилось не результатом самого дела, а по обстоятельству, имевшему место в варшавской цитадели, где содержались заключенные. Там совершилось такое событие: часовой застрелил рабочего Бейта, разговаривавшего с товарищами через окно; тогда Серошевский и Лянды подняли бунт и оказали сопротивление тюремным властям, выломав доски из нар. За это их и судили. К слову сказать, Лянды в Сибири женился на сестре моей жены, Феликсе Николаевне Левандовской, и сделался, стало быть, моим зятем.

Подавляющее большинство „поляков“, если не все мужчины, были люди с высшим образованием (студенты или окончившие университет), развитые, начитанные и „джентльмены“ в европейском смысле слова, чем резко отличались от большинства русских. И еще у них была одна черта, совершенно отсутствовавшая у нас, русских: у поляков социализм совершенно не мешал им быть одновременно националистами и горячими патриотами. А мы как будто даже стыдились за свою родину, смешивая ее с правительством. Дело „поляков“, предшественников партии „пролетариата“, замечательно было тем, что оно велось под руководством впоследствии знаменитого временщика фон-Плеве, который начал свою карьеру в Варшаве в качестве товарища-прокурора по политическим

делам [1]). По словам наших товарищей, фон-Плеве проявил в их деле удивительный талант, раскрыл все нити их дела, чем впервые обратил на себя внимание Петербурга. Довольный таким успехом, фон-Плеве предложил закончить названное варшавское дело административным порядком и скоро был переведен в столицу, где, оцененный по заслугам, уже беспрепятственно пролагал себе путь к власти.

Помимо перечисленных „поляков“ в нашей партии были: два каторжанина—Бердников и Папин, и одна каторжанка—Коленкина; последняя, как и Бердников, судилась по делу об убийстве Мезенцова, а Папин, как уже говорилось, был централист; остальные—административные по разным делам и в том числе 15 рабочих, один городовой, высылавшийся за передачу за солидное вознаграждение записок заключенным, и один крестьянин, Курицын, ссылавшийся... за донос. В роли сельского старосты в одной деревне Тульской губ. он, по наущению лакеев помещика Суворова - Римникского, донес на последнего московскому генералу-губернатору, кн. В. А. Долгорукову. Донос не оправдался и Курицына выслали как..... государственного преступника! Из числа рабочих выдавались только двое: финляндец Иванайн и русский рабочий Шиханов. Остальные не представляли никакого интереса, причем один из них шел по уголовному делу.

ШИХАНОВ (рабочий).

Уголовные были размещены в 3-х каютах, где проводили весь почти день, выходя на палубу ненадолго.

Как только мы разместились на барже, сейчас же сам собой возник вопрос о необходимости хозяйственной организации нашей партии на время продолжительного речного

---

[1]) С членами партии „пролетариата“ расправа была много более жестокая. Об этом я узнал от поляков уже перед самым концом ссылки, в 1885—1886 г.г. значительный % их попал на о-в Сахалин. Мне называли фамилии: Домбровского, Поплавского, Дегурского и др. А уже в России, тотчас по возвращении из Сибири, узнал я, что на Сахалин был сослан Бронислав Осипович Пилсудский, студент Петербургского у-та, по процессу „1-го марта 1887 г.“.

путешествия: немыслимо было, чтобы каждый отдельно готовил себе обед или кипятил воду для чая и т. д.

На барже партия кормовых не получала, а должна была кормиться „на котле", как говорят арестанты. Офицер, заведывавший баржей, закупал провизию и для партии, и для конвоя.

Политические арестанты, у которых был конвой отдельный от уголовных, получая кормовые, покупали провизию у офицера и варили себе обед в общей кухне, когда котлы свободны; кроме того, как им, так и уголовным разрешалось покупать на пристанях молоко, яйца, рыбу и пр. Арестанты покупали не сами, а через солдат.

Вообще в отношении питания баржа представляла для партии гораздо больше удобств, чем железные дороги, где все очень дорого, а кормовых в óбрез, особенно если судьба воспроизвела кого из, так называемого, „непривилегированного сословия" (дворянам полагалось 15 к., не дворянам 10 к.).

Помимо хозяйственных дел, организации диктовалась также необходимость правильного представительства при сношениях с конвоем, защита своих прав и, главное, устранение столкновений с конвоем. Дело в том, что в партии немало было людей с расстроенными нервами, очень вспыльчивых и раздражительных. Естественно поэтому, что каждую минуту возможно было ожидать со стороны их какого-нибудь конфликта с жандармами или солдатами, в котором, конечно, пришлось бы принять участие и всем нам, т.-е., другими словами, пришлось бы оказать сопротивление вооруженному с ног до головы многочисленному конвою, последствия чего были бы для нас, понятно, ужасны. Вот почему, помимо „кухарей" и ежедневных дежурных по хозяйственной части, мы избирали и особых старост с хозяйственно-дипломатическими функциями. Мценская партия избрала своим старостой Л. П. Симиренко, а вышневолоцкая—сначала Грабовского, а затем В. Г. Короленко.

Я, вероятно, не ошибусь, если скажу, что среди партии, несмотря на разнообразие взглядов и темпераментов, мало находилось, если они были, лиц, которые бы, что называется, не тяготели к Короленко, хотя со стороны последнего не замечалось, выражаясь дипломатическим языком, „шагов к сближению". Он ни к кому не навязывался с дружбой и совершенно был чужд, так называемого, амикошонства.

Всегда серьезный, вдумчивый, сосредоточенный, Владимир Галактионович располагал к себе искренностью и теплою сердечностью, проявлявшимися по отношению ко всем его окружавшим. Каждый чувствовал, что если он обратится к Короленко, то встретит чуткое отношение к своей нужде, получит обдуманный совет. Мягкий по натуре, он был стоек

в своих взглядах и убедителен в доводах. Не раз, выражаясь фигурально, температура среди партии доходила до точки кипения, не раз были моменты, когда резкость, невыдержанность, повышенная нервозность некоторых из товарищей могли повлечь за собою столкновение с вооруженным конвоем, который, понятно, всегда остался бы победителем, и Владимир Галактионович играл одну из первых ролей в смысле предупреждения подобных гибельных конфликтов. Пользуясь авторитетом среди партии, он в то же время, в лице жандармского и конвойного офицеров, оказывал влияние и на конвой, и лично я уверен, что Короленко в значительной мере способствовал тому, что наше этапное путешествие до Томска прошло вполне благополучно. Точно также немало сделал он и в смысле улаживания столкновений среди самой партии. Мне думается, что успех в этом об‘ясняется присущей В. Г. чертой — видеть в каждом индивидууме прежде всего человека во всей сложности и разнообразии его природы, а затем уже судить о нем, как о носителе тех или иных взглядов, причем, если эти взгляды были глубоки и искренни, то Владимир Галактионович относился к ним с полным уважением, как бы ни расходились они с личными его воззрениями. Не ведая, до какого момента судьба дозволит мне довести свои воспоминания, скажу здесь, что мои первые впечатления не обманули меня: скоро по возвращении в Россию, Короленко проявил себя как великий русский писатель и прекрасной души человек [1]). Кто не знает теперь Владимира Галактионовича? Я считаю нужным лишь сообщить, что 25 декабря 1921 г. он скончался в Полтаве, где поселился с 1906 г. Похороны его показали, как чтит его не только, так называемое, общество, а—народ. Вот как хоронили Короленко 28 декабря 1921 г.:

„Этот день об‘явлен траурным. Занятия в школах и учреждениях не производились, спектакли и зрелища в этот день запрещены. Местными учреждениями издана однодневная литературно-общественная газета „Призыв“, посвященная памяти Короленко. Весь сбор с газеты поступил в пользу голодающих, как „фонд памяти Короленко“. В „Полтавских Известиях“ помещены извещения Губисполкома, Губсовпрофа, всех Губотделов союзов, политотдела энской дивизии, артистов, полтавского бюро с.-р. и др. о смерти В. Г. Короленко. На похороны прибыли из Харькова Наркомпрос Украины Гринько и писатель Пешехонов.

С утра улицы, прилегавшие к дому Короленко, заполнялись густыми толпами народа. Из соседних сел и деревень

---

[1]) К слову сказать, в 1922 г. в Москве изданы были „Письма В. Г. Короленко к И. П. Белоконскому“.

прибыло на похороны селянство, присутствовали специальные делегации Губпарткома, Губисполкома, Губсовпрофа, Губспилки, всех профсоюзов, учреждений, предприятий, организаций, учащихся и воинские части.

При глубоком молчании стотысячной толпы, под торжественные звуки мощного хора, спевшего вечную память, вынесли гроб с останками великого писателя. Хор сменился оркестром. Заколыхались траурные знамена, поплыли развивающиеся ленты многочисленных венков, и процессия, мерно колыхнувшись, тронулась к месту вечного упокоения писателя. Послышались рыдания, раздававшиеся то здесь, то там, в колоссальной толпе рабочих, селян и интеллигенции, явившейся сюда отдать последний долг памяти великого гуманиста, В. Г. Короленко. По пути шествия все улицы, крыши домов, деревья и заборы были усеяны народом. К концу шествия процессия разрослась в 150-тысячную толпу. Несколько раз процессия была сфотографирована. Произведены также кино-снимки специальным аппаратом, доставленным из Харькова.

Наконец, процессия достигла кладбища, где состоялось у могилы трогательное прощание рабочих организаций, селянства и интеллигенции с телом В. Г. Короленко. Первые венки возложили предгубисполкома тов. Дробнис и Наркомпроса тов. Гринько. Затем возложен был венок местной еврейской общиной с надписью: „Великому писателю-гуманисту—признательный еврейский народ“.

Л. П. Симиренко также обладал всеми качествами, необходимыми для авторитетного представительства. С сильным характером, стойкий, серьезный, он с большим тактом устранял всякого рода недоразумения, вызываемые нервностью или легкомыслием и чреватые серьезными последствиями.

Но возвращаюсь назад.

В Нижнем-Новгороде 19-го июля. в первый день пребывания партии на барже, было шумно и беспорядочно.—На баржу, буксируемую пароходом „Сарапуль“, мы вступили в 6 ч. пополудни, а уже в 8½ ч. вечера жандармы потребовали, чтобы с палубы спустились в каюту. В каюте душно и темно,—она освещена была всего 4-мя фонарями. Шум и разговоры. Кто-то из „поляков“ стал играть на флейте. Дежурный жандарм потребовал прекращения игры. Товарищ не обратил внимания и продолжал играть. Потом началось пение. Песни наши, нужно заметить, были совершенно те же, что поются и теперь, или, вернее, в настоящее время поются наши старые песни, а именно в нашей партии исполнялись следующие песни; *„Вы жертвою пали в бою роковом“* (похоронный марш), *„Идет он усталый и цепи звенят“*, *„Отречемся от старого мира“*, французская *„Марсельеза“*, *„Дубинушка“* *„С дымом-пожаром“*

(польская революционная песня), *„Гей, не дывуйте добрии людэ“* (украинский марш). Помимо перечисленных в большом ходу у нас были малороссийские песни, переложенные на музыку некрасовские стихи, *„Вниз да по матушке по Волге“*. Кроме хоровых, у нас исполнялись дуэты, трио и solo.

Из solo часто пели: *„Прости, несчастный мой народ“*...

22-го июля, под видом „осмотра багажа“, у нас жандармами произведен был обыск. Опечатав багаж казенными печатями, жандармы утверждали, что больше „осмотра“ производиться не будет, но, как ниже будет сказано, утверждение это не оправдалось.

На шестой день плавания мы прибыли в Пермь, где были пересажены в арестантские вагоны.

На другой день мы были уже в Екатеринбурге, где нас опять обыскали, причем чуть-чуть не произошло столкновения с конвоем. Дело в том, что сначала нас обыскали жандармы, а затем явился какой-то „капитан“, чтобы „проверить жандармов“, т. е. произвести вторичный обыск. Мы категорически заявили, что не допустим до этого. „Капитан“ сначала энергично настаивал, но затем, к нашему счастью, согласился не осуществлять своего нелепого намерения.

Из Екатеринбурга партия отправилась 23-го июля. Екатеринбургско-Тюменский тракт производил чрезвычайно приятное впечатление: прекрасное, ровное шоссе, с красивыми по обеим сторонам березами, образующими аллею, которая была насажена еще при Екатерине; мелкие березовые рощи то подходят к самой дороге, то удаляются от нея, давая место полянам и нивам; местность совершенно ровная. Села и деревни лучше большинства центральных русских губерний.

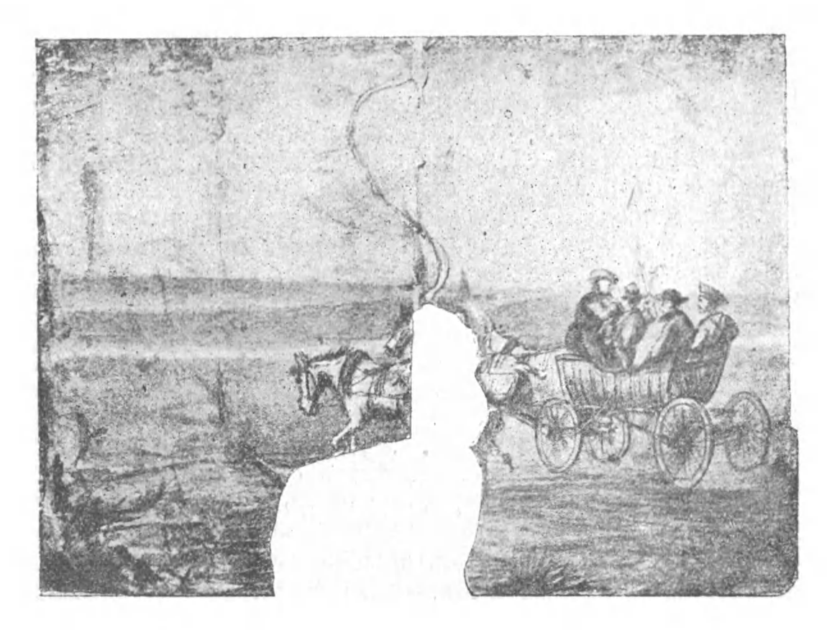
В попутных селах можно было достать разнообразную провизию и недорого.

Тюменский тракт чрезвычайно бойкий: ежедневно громадные обозы, преимущественно с чаем, тянулись из Сибири в Россию, а из последней — с разнообразными товарами в Сибирь; кроме того, постоянно бывала масса проезжих, не говоря уже о партиях, которые ежедневно мчались на тройках в таинственную Сибирь, останавливаясь ненадолго на полуэтапах и этапах, устроенных в тех же селах, где и почтовые станции.

Наружный вид полу-этапа не представлял ничего особенного: небольшое пространство, обнесенное с четырех сторон довольно высоким, заостренным наверху частоколом. В камерах, благодаря массе арестантов, воздух отвратительный. Отсутствие вентиляции и дезинфекции здесь такое же, как и на барже и в тюрьмах; летом, при открытых окнах еще таксяк, но осенью беда.

Кстати об окнах: они по большей части не отворялись, а приходилось просто раму выставлять; летом ни во время грозы, ни в дождь арестантам нечем себя защитить, а осенью, когда окна наглухо заколочены, даже в хорошую погоду нельзя очистить испорченного воздуха камеры. Все это производило болезни.

Скажем еще о способе перевозки арестантов по описываемому нами пути, который с проведением железной дороги отошел в вечность. Возили их здесь на „вольных“: подрядчики заключали контракты с агентами правительства и должны были с 1-го мая по 1-е октября доставлять ежедневно по 20 повозок; плата с версты за тройку — 12 коп. Раз началось



Екатеринбургско-Тюменский тракт. Перевозка государственных преступниксв (оригинальный рисунок с вырванным куском).

движение с 1-го мая (иногда немного позже, смотря по началу навигации на Волге) из Екатеринбурга, то 1-я партия всегда имела позади 2-ю, эта 3-ю и т. д. Сажали в повозку по 6 чел. уголовных с одним конвойным, и потому,—по расчету 120 чел. в день,—получалось в год 18,060 чел., высылаемых ежегодно в Сибирь из России, не считая политических.

Езда на тройках была очень быстрая, несмотря на то, что повозки ветхи, и арестанты подвергались опасности свернуть себе шею. Поминутно слышалось, как то один, то другой

12

ямщик кричали: „е-эй! стой, стои—й! „Что там?“—„Ось, ваше благородие“! Наладили, двинулись, опять: „Сто-ой!—„Чека, в. б., выпала!“ и т. д. Иногда всему поезду приходилось стоять на дороге и ждать, пока верховой с‘ездит в ближайшую деревню за повозкой.

Все повозки обязательно следовали близко одна за другой, так что в сухую погоду поднималось страшное облако пыли, в котором приходилось буквально задыхаться. Так путешествовали партии от Екатеринбурга до Тюмени четыре дня. Раньше возили, говорят, в повозках, напоминавших клетку: арестантов сажали в них по 5 человек на каждую из двух скамеек, спинами друг к другу, а сзади восседал солдат с ружьем.

Скажем к слову, что Екатеринбургско-Тюменский тракт был весь на откупу, благодаря чему „на вольных“ ездить воспрещалось. Компромисса ради можно ехать только на одной лошади, на паре уж нельзя. Но крестьяне умудрялись надувать откупщика: они ехали по шоссе, а перед станцией сворачивали в сторону и об‘езжали ее, чтобы дальше опять выехать на шоссе. На вольных езда много дешевле почтовых.

На ст. *Марково*, последней в Пермской губернии, начиналась уже та неизвестная Сибирь, которую так хотелось поскорей увидеть. Мысли витали в далеком прошлом... Кто только ни шел, ни ехал по этому тяжелому пути! Какая масса несчастных перешагнула в страну, из которой большинство бежало, часть погибала, а немногие правдами и неправдами попадали в число счастливых. А и те, что добровольно отправлялись в богатую Сибирь, где, по слухам, „реки молочные и берега кисельные, богатства сколько хочешь загребай,“—где они, эти искатели не столько счастья, сколько хлеба, которого не могли достать на своей родине? Немногие из них находили в Сибири то, чего искали.

Природа точно гармонировала с нашими невеселыми мыслями. Когда на заре мы выехали из Маркова, сделалось холодно, начал накрапывать дождик... „Вот она Сибирь-то!“—думали мы, особенно когда пришлось ехать вместо прекрасного шоссе по какой-то грязи, смешанной с камнями. На 11 версте от *Маркова* мы увидели каменный невысокий квадратный столб, давно небеленый, с гербами Пермской и Тобольской губернии.

Остановившись, мы принялись читать надписи на этом историческом столбе, который осматривали, несомненно, все, едущие в Сибирь первый раз. Надписи не только на русском языке, но и на иностранных, причем последние более сантиментальны и приличны; русские—с примесью крепких слов: русский человек и в горе, и в радости ругается. Надписи

коротки, иногда два—три слова, но они подчас прочувствованы, в них вложена душа человека; здесь он прощался со всем ему близким, дорогим, прощался навеки; часто он оплакивал прошедшее, пугаясь будущего, томясь настоящим.

Итак, мы, наконец, в Сибири, в Тюменском округе, Тобольской губернии! Здесь мы должны были сказать последнее „прости“ Европе с ее цивилизацией, с ее железными дорогами. Жутко становилось при мысли, что впереди предстояло проехать сотни, тысячи верст по скверным дорогам, на что понадобятся целые недели. Прощай Европа! Прощай Россия!

От Маркова до самой Тюмени приходилось ехать по безобразнейшей дороге, судя по которой составляешь невыгодное мнение о Сибири; неприятное впечатление увеличилось еще благодаря скверной погоде. Но мы ошиблись в нашем суждении о стране, в которой отныне нам приходилось поселиться: далеко, далеко, где мы и не предполагали, нам пришлось восхищаться ею, несмотря на осеннее время. Шоссе продолжалось до Тюмени, но уже без березок и совершенно испорченное, с отвратительными мостами, которые, вероятно, останутся такими до тех пор, пока кто-нибудь из тех, кому ведать надлежит об исправности дороги, не сломает себе шеи.

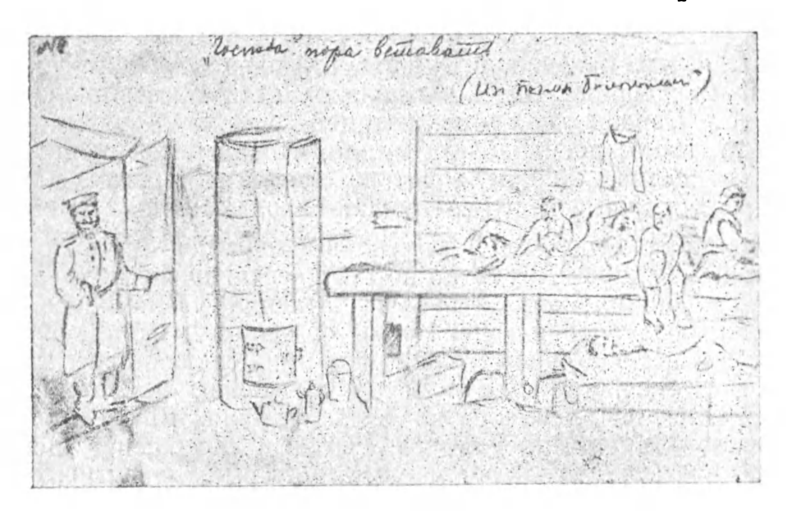
Переменив лошадей в с. *Успенском,* мы прямо уже покатили в *Тюмень,* до которой от Екатеринбурга 316 верст.

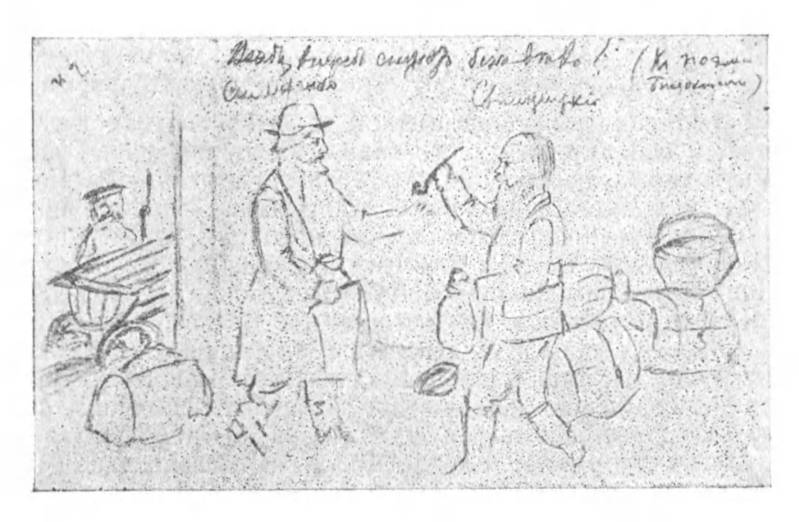
Я и не заметил, как проехали мы это пространство. Да, кажется, и вся партия чувствовала себя очень бодро. Главной причиной такого настроения была, конечно, молодость. Но для некоторых явились и другие благоприятные обстоятельства. Мне, например, во время плавания на барже, приглянулась, как говорят, девушка, В. Н. Левандовская, явно, в свою очередь, симпатизировавшая мне. За близкое знакомство в Одессе и Николаеве с лицами из кружка Ковальского она сослана была в Вологодскую губ., сначала в г. Кадников, а затем—в г. Никольск. В этом последнем городе ссыльные устроили иллюминацию, желая ознаменовать какое-то политическое событие, за что Левандовская и высылалась в Сибирь. Взаимное наше влечение привело к тому, что мы с удовольствием под‘езжали к каждому этапу, чтобы поскорее быть вместе. Под влиянием зарождавшейся любви я стал писать стихи и, между прочим, написал целую шутливую поэму, которая начиналась так:

„Господа! пора вставать,
Скоро будем уезжать.
На воззвание жандарма.
Пробуждается казарма“...

Впоследствии мне говорили, будто эта, незаметно исчезнувшая „поэма“ была напечатана в какой-то русской заграничной газете.

К моей поэме кто-то, не помню, сделал такие рисунки:





Впрочем не я один проявлял повышенное настроение и талант. У В. Г. Короленко обнаружился большой художественный дар—он отлично рисовал. Иные, как Свенцицкий, оказались прекрасными декламаторами. Свенцицкий особенно хорошо декламировал известное польское стихотворение: „Белое покрывало“. Папин великолепно пел.

Поясню, что на этом рисунке художник не совсем удачно изобразил Симиренко и Свенцицкого. Возвращаюсь к Тюмени.

Как и всякий русский город, он начинается самым необходимым для порядка зданием—белой каменной тюрьмой, окруженной каменной же высокой стеной; тюрьма находится влево от дороги; направо—длинный, грязный старый этап. В тюменской тюрьме скоплялась масса арестантов во время навигации. В наше время у ворот, на черной доске, было написано мелом: состоит 1306 чел., прибыло из России 21, убыло в Россию 3; в Тобольск 487 ч.

Партии, останавливаясь в этой тюрьме, ждали дальнейшей отправки, которая бывала раз в неделю; отправляли арестантов отсюда опять на барже до Томска.

В Тюмени остались из нашей партии, кажется, 21 человек, которые предназначались в Западную Сибирь, а остальные отправлены были по сибирским рекам в Томск. Двинулись мы в путь из Тюмени в 3 часа утра 31-го июля, причем нашу баржу буксировал пароход „Рейтерн".

Баржа эта, менее поместительная волжско-камской, по наружному виду ничем почти не отличалась от последней; внутреннее устройство разнилось только меньшими размерами кают и более низкими нарами. Благодаря тому, что в партии было более 500 человек, ехал не только фельдшер, но и врач; в распоряжении их была плохенькая аптека и две или три больничных каюты, устроенных в верхней части баржи; вместо нар, в них широкие скамейки и столики; воздух в больнице даже при 3—4 больных невыносим, тем более, что к одной из стен примыкал ватерклозет. В случае у арестантки заболевает ребенок, то, отправляя его в больницу, она принуждена не только сама туда же перейти, но также взять и здоровых своих детей, если какая-нибудь сердобольная подруга не согласится присмотреть за ними.

Дети в пути хворали очень часто, особенно дифтеритом, заражаясь друг от друга. Не удивительно поэтому, что больницы вечно были полны здоровыми и больными. Немала и смертность: за 10 дней нашего плавания 6 трупов было оставлено на разных пристанях. Иногда, если больных уж очень много и их никак нельзя втиснуть в больницу, устраивали лазарет прямо на палубе, где и здоровым ночью холодно, приняв во внимание, что пароход доходит до 61° с. ш.

Баржа была до того ветха, что во время дождя показывалась течь в каютах. Сам пакельщик, засовывая паклю в гнилой потолок, проделывал еще большие дыры, прибавляя: „ведомо, вещь не новая, что с ней поделаешь? В вёдро она ничего"! Воображаем, что здесь бывало, если дождливые дни продолжались долго!

Когда из р. Туры выплыли в р. Тоболь, то на пристани Ивлево наш хор исполнил несколько русских и украинских песен. Пассажиры с парохода вышли на берег и слушали наше пение, причем одна барыня расплакалась.

Проехав далее *Медянские Юрты*, татарское село с мечетью, мы увидели вдали красивый г. *Тобольск*.

Блеснувшие главы многих церквей и расположение одной части города на горе напомнили нам Киев, когда смотреть на него с Днепра. Подгорная, главная часть Тобольска показалась похожею на Подол Киева. Все любовались городом, как вдруг кто-то подле крикнул: „смотрите, смотрите“! Оглянувшись, мы увидели замечательную картину: темная вода Тобола резко, рельефно разделялась темной полосой от молочного цвета воды *Иртыша*, в который впадал Тобол. Вода Иртыша напоминает цвет чая с небольшим количеством молока; особенно заметен этот цвет при впадении Тобола.

В‘ехав в Иртыш, мы уже хорошо стали различать Тобольск: вот виднеется Кремль, присутственные места, собор, архиерейский дом, а подле обелиск—это памятник Ермаку, с надписью: „Ермаку—покорителю Сибири, 1581—1584 гг.“.

Около архиерейского дома стоит небольшая колокольня, где среди благонамеренных колоколов есть сосланный колокол с отбитым ухом и с надписью: „сей колокол, в которой били в набат при убиении благоверного царевича Дмитрия в 1593 г., прислан из града Углича в Сибирь, в град Тобольск в церковь Всемилостивого Спаса, что на торгу, а потом на Софийской колокольне часобитной; весу в нем 16 п. 20 ф.“.

Недолго крамольный колокол скучал в одиночестве,—скоро Тобольск сделался местом ссылки и для людей: в 1656 году сюда явились братья Чириковы; в 1688—гетман Самойлович; далее, взятые под Полтавой шведы, выстроившие в Тобольске кремль и претерпевшие немало мук в этом городе; потом—поляки: Мошинский, Крыжановский, богач князь Сангушко, один из приверженцев Косцюшко, и много конфедератов. Был в Тобольске и Фик, любимец Петра, и знаменитый Радищев; потом явились на поселение декабристы: Алексей Муравьев, Торсон и Кюхельбекер; последние два здесь и умерли, а Муравьев был впоследствии тобольским губернатором. Sic transit gloria mundi!

Можно вспомнить о губернаторе Бантыш-Каменском, проявлявшем к декабристам отеческое внимание. В 30-х и 63-м годах явились опять поляки, затем стали появляться русские государственные преступники. Вообще город этот богат историческими воспоминаниями, хотя и печального свойства.

Около 9 ч. утра остановились мы у хорошей пристани Тобольска, где стояло несколько пароходов, барж и лодок.

Простояв часа два, пароход пошел вниз по *Иртышу,* ширина которого здесь более 300 с., а глубина 6-10 с. Иртыш, по татарски „Землерой“, назван так, вероятно, потому, что не имеет мелей, сильно подмывает доходящий до 200 с. высокий, крутой правый берег, намывая левый, который почти на всем течении низменный, супесчаный, с отсутствием более или менее красивых видов. Правый берег меняется: то он походит на левый, то переходит в возвышенный, крутой, поросший сосновым или еловым лесом. Особенно красив Иртыш при впадении в него Туртуса, Демьяной и Конды.

Проехав русское с. *Юрьевское* и д. *Филатово,* татарские юрты—*Иштамские* и остяцкие—*Ворлышовы,* мы остановились подле с. *Демьянского,* первой пристани от Тобольска, расположенной на крутом берегу; население села состоит из русских и татар. За этой пристанью по Иртышу встречаются еще села: *Романово, Реполово* и *Самарское.* В последнем пароходная пристань; село это—граница хлебных растений: дальше на север земледелием уже не занимаются и живут в страшной нужде. От с. Самарского до устья Иртыша всего 23 вер., но пароход дальше идет не по самой реке, а по ее протоке—„Неулевке“, впадающей в Обь и имеющей 74 вер. длины; по пустынным берегам этой протоки, проходящей уже по стране тундр и болот Сургутского края, разбросано 5 русских деревень.

Обь начинается от устья Неулевки при д. *Зеньковой,* и пароход дальше идет уже по этой величайшей реке; ширина ее, не превышая вначале 400 саженей, постепенно увеличиваясь, доходит до 15, даже до 40 верст.

Иной раз думаешь, что вот-вот определились, наконец, ее берега; на самом же деле мы плывем не по самой реке, а по одному из ее многочисленных рукавов, „проток“. Берега Оби пологи, низки, покрыты тальником; везде тихо, дико и пустынно; только рыбалки оглашают воздух своими криками, да порой прошумит, пролетая, стая диких уток; кой-где мелькают юрты остяков.

Помним один вечер: луна, то скрываясь за легкие тучки, то показываясь из-за них, освещала величественную Обь, бросая по воде серебристый столб; ветер стих; отдаленные берега реки чуть-чуть виднелись на золотистом западе, еще освещенном последними лучами скрывавшегося солнца; кругом тишина, прерываемая лишь мерными движениями парохода; свежо, но хорошо! Вдруг с баржи донеслись до нас звуки песни, в которой слышалась то удаль бесшабашная, то грусть—тоска... „Гей же вы, хлопци, гей же молодьци! чом вы смутны, не веселы?“

Не хотелось думать, что находишься в необитаемых диких местах, что вокруг все мертво, что стоит высадиться на берег и тебя, культурного человека, ожидает неминуемая смерть, если не наткнешься на какую-нибудь юрту дикого остяка, которой иногда нет на сотни верст!

Такова местность до Сургута, неприглядного городишки, куда некогда брошены были декабристы: Тизенгаузен, Фохт и Фурман, причем два последних здесь и умерли.

Миновав Сургут, мы остановились около пристани „Мелипольские Мели", где нам удалось близко видеть остяков, приехавших сюда на маленьких лодочках и привезших стерлядей, осетров и дичи, чем наглядно показали свой образ жизни и занятие.

Некрасивые, черные, грязные, с волосами на подобие шапки, остяки были одеты в какие-то тряпки, очевидно вымененные у русских: были и в халатах, и в пальто, даже в кофтах; некоторые без брюк, несмотря на дождь и довольно чувствительный холод. Были здесь и женщины в безобразного покроя ситцевых платьях, а одна—просто в арестантском халате с куском кожи на груди, усеянном белыми пуговицами; дети полунагие; одна девочка лет 12-ти, худая, бледная, в лохмотьях, держала на руках ребенка,—„это мать"-сказали нам.

Продажа рыбы и дичи производилась следующим образом: в руку остяка бросали медные деньги (серебра они не любят), и он отрицательно качал головой, пока сумма его не удовлетворяла, тогда он отдавал рыбу. Охотнее, чем деньги, остяки берут хлеб: мы видели, как один остяк торжественно уносил два белых хлеба, за которые отдал массу рыбы, а остальная толпа с жадностью и завистью глядела на счастливца. Более всего, однако, остяки любят водку, и можно себе представить, как пользовались этой страстью и поощряли ее купцы, скупающие у инородцев шкуры, рыбу и дичь.

Следующая пристань—село *Тымское*, не велико—не более десятка домишек, старая церковь. Но издали оно кажется большим, благодаря тому, что дома построены далеко один от другого,—земля, ведь, в Сибири была не мерена, бери сколько хочешь!

С. Тымское стоит на земле, принадлежащей, собственно, самоедам, но здесь поселились русские промышленники, скупающие у инородцев шкуры, которые потом сбывают в Нарыме и Томске. Самоеды, лишь изредка приходящие в село, нанимаются рубить дрова для пароходов; ведут они точно такую жизнь, как и остяки, которых и в Нарымском крае немало; прибавим, что те и другие ездят зимой на собаках, запряженных в нарты—род саней.

В 110-ти верстах от с. Тымского, вниз по *Оби,* расположен *Нарым,* заштатный город Томской губернии. Это единственный город в громадном Нарымском крае; он находится верстах в двух от Оби, на правом берегу р. *Кети,* берущей начало в Енисейской губернии и впадающей в Обь несколькими рукавами, из которых самые большие около д. Колташевой. Кеть так близко подходит к р. *Енисею,* что при ее посредстве этот последний соединен с Обью.

По количеству домов и жителей Нарым не превышает Сургута, если даже не меньше его; такой же глухой, мертвый, жители—мещане и казаки—занимаются рыбной ловлей; торговля находилась в руках нескольких купцов, сбывающих товар, купленный у инородцев, в Томске и Ирбите.

Нарымский край находился в ведении заседателя 5-го участка Томского округа; заседатель жил в самом Нарыме, где было и, так называемое, „расходное отделение“, куда инородцы этого края сдавали „ясак“. В Нарым сослан был на поселение декабрист Выгодовский; каково жилось ему в этой глуши, одному богу известно.

Из Оби мы выплыли в Томь; ее берега покрыты лиственным лесом, в котором изредка попадаются хвойные деревья, довольно красивые; по берегам немало сел, деревень, заимок (хутор), вообще чувствуешь, что приближаешься к довольно большому оживленному городу, что безграничные, страшные тундры Сургутского и Нарымского краев с их дикими инородцами остались далеко позади.

На десятый день плавания мы, 9-го августа, прибыли в Томск, где пришлось пробыть 5 суток—до 14-го августа.

ПО БОЛЬШОЙ СИБИРСКОЙ ДОРОГЕ.

В Томске две тюрьмы—губернская, „содержающая", как называют ее арестанты, и „центральная — пересыльная". Первая—это большое, трех'этажное здание с довольно обширным, чистым двором, посреди которого есть нечто в роде садика; при тюрьме есть кузница, слесарные мастерские, где работают арестанты; есть грязная тесная баня.

На окраине города, по дороге в Красноярск, расположена другая тюрьма—„центральная пересыльная", окруженная высоким частоколом и состоящая из нескольких деревянных зданий, между которыми выделяется своею крестообразною формою церковь, расположенная прямо против ворот, посреди обширного двора; кроме постоянных построек здесь есть еще и временные бараки, где арестанты помещаются летом. Несмотря на обширность тюрьмы, в ней очень заметно ощущается недостаток помещения, так как во время навигации арестантов скопляется здесь многое множество.

Теснота — главный недостаток тюрьмы; камеры в большинстве светлые, высокие и при незначительном количестве народа здесь было бы сноснее, чем в других тюрьмах, не говоря уж об этапах; но, благодаря множеству заключенных, в ней гигиенические условия ничуть не лучше,чем в остальных тюрьмах, расположенных на пути.

В томской тюрьме мы, между прочим, узнали, что учрежденная Лорис-Меликовым особая комиссия по политическим делам постановила шесть лиц из нашей партии совершенно освободить, а четырех, в том числе и В. Г. Короленко, возвратить в ссылку в Европейскую Россию. О последнем мы считаем здесь уместным привести справку Департамента Полиции, вызванную утверждением В. Г. в звании редактора:

СПРАВКА.

„Короленко, Владимир Галактионович, происходит из дворян Волынской губернии. В 1876 году принимал участие в

студенческих беспорядках, за что и был выслан из Москвы. В мае 1879 г., в виду полученных указаний на сношение Короленко с революционными деятелями, был выслан из столицы и водворен под надзор полиции в Вятской губернии. В январе 1880 г. Короленко самовольно отлучился из Вятской губернии, за что был выслан в Пермскую губернию. Проживая в Перми в 1881 г., Короленко отказался принять верноподданническую присягу, порицая при этом распоряжение административной власти. Вследствие сего в июле месяце 1881 г. Короленко был выслан в Восточную Сибирь и поселен под надзор полиции в Якутском округе... Литературные произведения Короленко помещались главным образом в журнале „Русская Мысль“, а также в заграничных нелегальных изданиях „Free Russia“ и „Прогрессе“. Сочинения Короленко пользуются большой известностью в обществе и охотно принимаются всеми периодическими изданиями“...

Если бы выше названная комиссия добросовестно отнеслась к возложенной на нее миссии, или, вернее, если бы целью ее было действительное выяснение полицейского произвола, то она должна была бы постановить о возврате подавляющего числа высылаемых, по крайней мере, административным порядком.

Но что поделаешь! Неосвобожденным приходилось идти, куда гонят, и изучать тюрьмы и этапы.

В Томск еженедельно привозят гораздо больше народу, чем отправляют в Красноярск, и потому арестанты сидят в пересыльной тюрьме по долгу. Здесь удобнее всего познакомиться с внутренним строем партии.

Арестантская партия — это организованное общество с собственным „сводом законов“ и неумолимым „уложением о наказаниях“. Законы здесь просты, наказания тоже. Собственно говоря, существует одно преступление—*донос*, одно наказание—*смерть*. Развитие арестантской организации и законодательства очень просто и понятно. Отдельно взятый арестант—личность бесправная в буквальном смысле этого слова; с ним можно поступать, как кому заблагорассудится. Для самозащиты и возникла в отдаленные времена артель, организация. Цель ее—недопущение начальства в тайны арестантской жизни. Недопустить силой нельзя, необходимы хитрость и абсолютная тайна—вот причина страшного наказания за донос. *Молчи!*—вся суть, весь нравственный кодекс арестантской жизни. Можно убить, ограбить, надуть своего ближнего, такого-же арестанта, но донести невозможно. Как же заставить молчать такую массу разнообразнейших преступников? Только угрозой смерти, почти всегда приводимой в исполнение. Вот почему арестант, не будучи уверен в неприкосновенности своей собственности,

даже жизни, в большинстве случаев, может быть покоен, что его не выдадут, когда он затевает побег, или желает сделать что-нибудь против начальства.

Побеги из тюрем и этапов—вещь рискованная, и потому арестанты чаще всего прибегают к „смене“: желающий бежать каторжник или идущий в отдаленнейшие места, отыскивает в партии какого-нибудь бедняка, идущего на поселение, и меняется с ним именем и фамилией, причем, если у собирающегося бежать нет нужной суммы и если он идет в каторгу без срока или на 20 лет, то для него собирают деньги, и никто не отказывается дать хотя бы копейку, если нет больше. Иногда „приметы“ сменяющихся не совсем сходны, но в таких случаях бедняк не задумается причинить себе даже физическое страдание. Так, например, в томской тюрьме у одного сменявшегося каторжника был волдырь на лбу; сменивший его поселенец, не долго думая, разбежался и что есть силы ударился лбом об стену, дабы иметь примету каторжника, в случае начальство вздумало бы проверить приметы. И это за каких-нибудь два—три рубля—до того велика нужда большинства! Обменявшись, каторжник выходит на перекличках за поселенца, а поселенец за каторжника, пока последний не выйдет вместо поселенца на волю: выпущенный на поселение в какую-нибудь волость, он немедленно бежит и делается *бродягою.* Понятно, все это бывает известно всей партии и возможно лишь при страшной боязни наказания за донос. Сменщик, не желая идти на каторгу, скоро после ухода каторжника, об‘являет начальству свою настоящую фамилию. Начинается следствие, справки, и, в конце концов, сменщика отправляют на каторгу или поселение, предварительно наказав *плетьми.* В этом последнем случае „артель“ также выручает своего товарища: чтобы облегчить участь наказуемого, делают сбор и вручают деньги, „маховые“ (от „махать“), палачу, который, за вознаграждение, действует так ловко, что *плеть* почти не касается тела арестанта. Гораздо хуже *розги,* от которых откупиться невозможно: наказывает розгами не свой брат-арестант, а полицейский или тюремный служитель в присутствии тюремного смотрителя или какого-нибудь начальства.

Сменщика скорее всего можно найти среди *жиганов. Жиган*—это проигравшийся в карты арестант. Нужно заметить, что картежная игра, несмотря на все запрещения, развита в больших размерах во всякой тюрьме, во всякой партии. Есть арестанты, через руки которых проходит по 100—200 рублей! Увлекшись, арестант проигрывает все свои деньги, все свое и казенное имущество и даже „кормовые“ за весь путь вперед, т. е. обрекает себя на голод.

Картами игроков снабжает майданщик; он же дает деньги под залог имущества и кормовых. *Майданщик* в партии это то же, что маркитант при войсках. С большой опасностью он достает и держит у себя все воспрещенное: у него есть не только карты, но и водка, табак, закуска, не говоря уж о чае, сахаре и т. п.; все это продает он втридорога и, конечно, наживается.

В существовании *майдана* заинтересованы все, а потому он охраняется строгим молчанием. В виду того, что иногда на этапах, а в губернских городах всегда, проверяют казенную одежду, и тех, у кого ее нет, наказывают, майданщики часто снабжают жиганов временно, для начальства, вещами и потом отбирают ее, благодаря чему жиганы ходят в лохмотьях, питаясь лишь подаянием, которым наделяют партию в деревнях и селах. Подаяние собирает жиганский староста и делит потом поровну между всеми. *Жиганы* в партии исполняют роль прислуги за ничтожное вознаграждение: носят дрова, воду, парашу, подметают камеры и т. д. Гроши, получаемые жиганами от партии, немедленно проигрываются или пропиваются. Выпущенные на свободу жиганы пополняют собою кадры мелких воров и плутов.

Самые влиятельные и самые солидарные между собой лица в партии—это *бродяги*. Стоит оскорбить одного бродягу и приходится иметь дело с целою компанией. Нередко десяток *бродяг* держит в руках всю партию. Причина понятна: *бродяга* не раз надувал начальство, уходил из под замков и от конвоя, прошел вдоль и поперек Сибирь, гулял на воле на правах свободного человека и теперь идет на поселение. Оно ему не страшно: он хорошо знает все места, где придется проходить, и часто заранее решает, откуда он убежит, и — непременно убежит! Кто лучше бродяги знает начальство от Одессы до Сахалина? Кто знает пути, все бродяжьи тропы в тайге? Как обойтись без бродяги новичку, идущему в Сибирь впервые и желающему бежать? *Бродяга* понимает это и как нельзя лучше пользуется обстоятельствами, эксплоатируя простых смертных из арестантов самым бесцеремонным образом. Нередко он грабит и убивает тех, которых сам же выручил из беды, дав возможность бежать. У бродяги потеряно чувство жалости, человечности. Его никто не жалеет, и он никого. Сегодня на него охотятся, как на дикого зверя, он питается одними кореньями, терпит нужду, голод и холод, а завтра он убивает своего преследователя или кого попало, грабит, ворует и кутит напропалую, топит в вине воспоминание о пережитых страданиях. Рассказами *бродяг* об их странствиях и баснословных приключениях можно бы наполнить целые томы, но многое в их повествованиях — чистейшая ложь: принужденный перед на-

чальством скрывать свое имя, свое прошлое, бродяга привыкает лгать, говоря о своих похождениях, преувеличивая опасности, которым подвергался, хотя они и без того велики. Конечно, он не скрывает своего прошлого от товарищей, которые нередко знают его настоящее имя, но арестант не может быть уверен, что бродяга врет ему немало.

Количеству бродяг в Сибири несть числа. Плохо ли живется в чужой стороне, одолеет ли тоска по родине и семье,— берет ссыльный котомку, котелок и идет, редко достигая желанного места, а чаще попадаясь в дороге. Иногда, застигнутый вьюгой и морозами, он добровольно является в тюрьму (в Сибири к зиме тюрьмы полнешеньки), называет себя уроженцем какой-нибудь губернии, куда его и отправляют. Уличенный в обмане, он меняет показания, его отправляют в новое место и т. д. по несколько раз, пока рассерженное начальство не предаст его суду (без присяжных) и не осудит его на поселение.

Бродяжат нередко люди, не совершившие никаких преступлений.

Бродяжат не только мужчины, но и женщины. Если мужчине трудна и опасна бродячая жизнь, то, понятно, для женщины она вдвое труднее и опаснее. Женщин заставляет бродяжить их подневольное, нередко унизительное положение, как жен и дочерей, заставляющее бежать от постылого мужа или строгих родителей. Очень часто причиною служит также любовь к какому-нибудь бродяге, за которым любящая женщина с свойственным ее полу самоотвержением следует всюду. Нужно заметить, что, не смотря на всю испорченность уголовной среды, на весь царящий в ней разврат, нам пришлось видеть немало примеров самой бескорыстной, самой глубокой любви. Так, в томской тюрьме мы видели молодую девушку, которая года два назад добровольно назвалась „непомнящей родства“, чтобы следовать за своим „любителем“; оставленные на поселении в Иркутской губернии, они вместе ушли и долго бродяжили; но девушка, несмотря на всю свою любовь, должна была бросить бродягу за зверское с нею обращение, вскоре была арестована, открыла свой „род жизни“ и была отправлена в Москву, но на пути сошлась с другим бродягой и теперь шла за ним в Восточную Сибирь, вновь перенося все неудобства путешествия. И это факт не единичный. Часто причина бродяжничества — стыд явиться в родимую деревню с конвоем. В описываемой нами партии за Ачинском мы познакомились с одной женщиной, лет 30, шедшей из Тобольска на каторгу, и она говорила нам, что лет семь назад, будучи арестована в Курске, без паспорта, она побоялась указать, откуда родом: „отец проклял бы меня, да и сестра—невестка заела бы; с роду ведь у нас сраму этакого не было, чтобы кто в тюрьме сидел,

или украл что,—не бывало этого! А тут в части бабы научили: „скажи, что бродяга". Ну, я, по дурости, и послушала их, и пошла в энтакую жизнь. Молода — глупа была, а теперь не вернешь. Иду в работы за поджог из ревности, это уж недавно случилось, а раньше никаких преступлениев за мной не было, не-ет"! Нередко мужья и любовники угрозами заставляют женщину бродяжить. Мы сами видели одну такую скромную, тихую женщину, до безумия любившую своих детей; муж ее, из зажиточных крестьян, совершив убийство, скрылся; однажды ночью он явился к ней и сказал, что если она не пойдет с ним бродяжить, то он убьет сына. Несчастная мать, взяв своих детей, телегу с конем и кое-какую одеженку, отправилась странствовать с мужем по весям и дебрям Сибири; мало того что терпела нужду—принуждена была смотреть, как чахла ее пятилетняя дочь, вскоре умершая; только смерть мужа, утонувшего через год в р. Томи, дала возможность бедной скиталице об'явить, кто она, и быть отправленной по этапу при партии на родину, в Енисейскую губернию.

Мы сказали уже, что бродяги пользуются наибольшим почетом в партии. Староста, который обязательно должен быть в каждой партии, выбирается чаще всего из их среды. *Староста*—представитель партии, защитник ее интересов, посредник между начальством и арестантами; он получает на руки „кормовые" на всех и он же раздает их, причем, для удобства, партия делится на десятки. Нужно ли обратиться к этапному офицеру с какой-либо просьбой, идет староста и, как человек знающий все начальство, заранее может сказать, у кого и о чем можно просить; староста же должен заботиться, чтобы были телеги не только для больных и детей, но и лишние, на случай, кто устанет; чтобы получить лишние телеги, два-три арестанта притворяются больными (а они мастера на это!); староста заявляет офицеру, что такие-то пешком идти не могут; получив просимое, староста обязан следить, чтобы никто на телеге не сидел слишком долго, чтобы соблюдалась очередь; из-за мест на подводе поднимаются вечные ссоры, но стоит вмешаться старосте, и немедленно его распоряжение приводится в исполнение. Обязанность представителя партии довольно хлопотливая, а потому нередко бывает еще и *подстароста.* Но кроме хлопотливости обязанность эта довольно ответственна: за побеги, бунт арестантов старосте не миновать розог или плетей. Поэтому они строго смотрят за порядком. Определенного вознаграждения арестантские выборные администраторы не получают, но доходов имеют немало.

Таким образом, в каждой партии сами собой возникают: правительство (староста и его помощник), аристократия (бро-

дяги), среднее сословие (арестанты вообще) и пролетариат (жиганы).

Кажется, на второй день пребывания в томской тюрьме нас посетил томский губернатор, г. Мерцалов. Выбритый, гладко остриженный, он одет был в летнее серое пальто и беседовал с нами чрезвычайно любезно, предварительно сняв фуражку и любезно поздоровавшись, чего, обыкновенно, другие администраторы не делали. Один из товарищей, Ахаткин, заявил жалобу на смотрителя тюрьмы за кипяток и поздний обед, и губернатор тотчас же сделал выговор начальнику тюрьмы. Затем он разрешил свидание Бердникову, Папину и Мищенко, которая, как освобожденная, должна была уже проситься на свидание в тюрьме с мужем, Вноровским. Наконец, губернатор сообщил нам, что все наши письма отправлены и что от Томска все мы, даже и непривилегированные, будем ехать, а не идти пешком. После губернатора нас посетили полицеймейстер, явившийся в полной форме и во всех регалиях, и доктор. Последний между прочим прописал рецепт для ребенка Мищенко: „*политическому ребенку* г-ну Мищерскому“.

На следующий день к нам приходил какой-то „чиновник министерства внутренних дел“ и спрашивал, кто желает иметь казенную, т. е. арестантскую одежду, которую мы просили, чтобы в дороге не носить своей. Заходил также священник и спрашивал, „не может ли он быть чем-нибудь полезен“. Вообще в томской тюрьме к нам были внимательны и нас не стесняли. Мы имели продолжительные прогулки, пели, плясали, а у кого были родственники или знакомые, то свободно получали с ними свидание, причем Бердникову и Папину приносили немало продуктов и лакомств, которыми они, конечно, делились с нами. Между прочим, Бердников угощал нас национальным сибирским блюдом—превосходными пельменями. В последний день перед от‘ездом нас посетил какой-то „директор комитета“, добрый, повидимому, растерянный старик с седыми волосами и такими же бакенбардами, которые он постоянно брал в рот. Старик задал нам ряд хозяйственных вопросов: как мы готовим пищу? Не нуждаемся ли мы в чем? Не желаем ли мы квасу? На последний вопрос мы ответили утвердительно и еще раз заявили о желании иметь в пути казенную одежу. Он ответил, что все наши желания будут удовлетворены, а затем, немного подумав, вдруг сказал: „Я, несомненно, вам сочувствую“. После этого он поклонился и быстро ушел. Почти весь день перед уходом из томской тюрьмы мы провели на дворе, где, между прочим, играли в чехарду. Заперли нас лишь в 10 час. вечера, но и в камере

мы продолжали веселиться: пели, танцовали, а Свенцицкий превосходно декламировал по-польски.

14-го августа, в 12½ час. дня, мы двинулись в далекий этапный путь на Красноярск, на который должны были потратить целый месяц.

Грустно было нам расставаться с товарищами, которые оставались в Томске или возвращались в Россию. Когда нас стали выводить из тюрьмы, Короленко, Вноровский, Донецкая, Рогачева и Осинская взобрались на погреб в тюремном дворе и махали нам платками, покуда не скрылись мы за тюремными воротами. На улице стоял уже длиннейший ряд телег, на которые нас усадили и тихим шагом повезли в „отдаленные места" Сибири.

По большому Сибирскому тракту, государственные преступники в пути (оригинальный рисунок).

От Томска до Красноярска 554 вер. Расстояние это партия проходит в месяц, при чем идет только 19 дней, а 11 отдыхает, так как через два дня на третий бывает дневка—суточный отдых на этапе. В среднем выходит 30 верст в сутки. На первый взгляд сделать 30 верст дело не трудное, но нужно принять во внимание следующие обстоятельства: в партии идет народ не только изнуренный тюрьмой, но и отвыкший ходить, во-первых; во-вторых, такое путешествие продолжается целые месяцы (большинству надо пройти не сотни, а тысячи верст, напр., до Кары, на каторгу, или в Якутскую область, на поселение); в 3-х, экономическое положение арестанта и плохое устройство этапов ведет к тому, что партия плохо питается и не может, как следует, отдохнуть на дневке;

наконец, климатические условия. Выше мы упомянули о жаре и пыли, в которой вся эта масса, идущая обязательно плотной кучей, задыхается, а путешествие летом считается еще лучшим. Представьте-же себе осеннюю или весеннюю распутицу, не говоря уже о зимней стуже. Моросит холодный, пронизывающий дождь, идет снег; казенный халат и рубаха промокли насквозь; арестанта пробирает дрожь; хотелось бы итти скорее, но это очень трудно, благодаря кандалам и массе грязи, прилипшей к *котам* и до того затрудняющей шествие, что многие предпочитают, сняв обувь, идти босиком, несмотря на холод.

Но вот вдали блеснул крест на сельской церкви. Спустя немного перед взорами арестантов раскинулось и самое село, в начале которого из-за высокого частокола высится красная крыша полуэтапа; еще полчаса, и усталая, промокшая партия добралась, наконец, до столь желанного места отдыха. Партия, пересчитанная на улице, раскрывает ворота этапа и стремглав бежит в желтое деревянное здание. расположенное среди двора, чтобы поскорей захватить места на нарах,—иначе придется спать на полу под нарами, что многим и приходится делать, благодаря недостатку места.

Пол моментально покрывается толстым слоем мокрой грязи, принесенной сотнями ног; в камерах холодно или потому, что печи испорчены или—„еще не время топить“. Продрогший арестант не имеет возможности даже белье переменить или чем-нибудь укрыться: все имущество его промокло, потому что лежало на телеге ничем не прикрытое. Как бы то ни было, арестанты размещаются, подкрепляются пищей, купленной у торговок, и убивают по своему время. Перед вечером их всех опять собирают во дворе, делают перекличку, ставят в коридор громадные кадки—„парашки“ без крышек и запирают на ночь. Завтра опять путь, опять жара или дождь, снег, такой же этап. И так изо дня в день, целые месяцы! Нужно ли говорить, что при такой обстановке значительный % арестантов каждой партии заболевает в пути. Нужно ли говорить, что многих из заболевших ждет смерть, если только организм сам не пересилит болезни. Как бы ни был тяжело и опасно болен арестант, его не оставляют на этапе, а везут за партией до пункта, где есть хоть какая-нибудь медицинская помощь. А таких пунктов до Красноярска три: с. Ишимское, г. Мариинск и г. Ачинск. И, вот, тифозные, дифтеритные и др. плетутся на телегах, прикрытые казенными халатами, мокнут на дожде, засыпает их пыль или снег, пока не довезут до больницы. Чтобы понять весь ужас положения уголовных и политических арестантов, все те физические и

нравственные страдания, которые выпадают на долю этих людей, нужно испытать все это самому или хоть видеть воочию.

Скажем теперь несколько слов об устройстве полуэтапов. Поднявшись на высокое крыльцо желтого здания, вы входите в небольшой коридор с одним окном в конце его и иногда с нарами у окна. Из коридора четыре двери (две направо и две налево) ведут в четыре камеры с одноэтажными или двухэтажными нарами возле стен, исписанных всевозможнейшими надписями, служащими для партий справочною книгой, из которой узнают, кто, когда и куда прошел; кто бежал, пойман или умер; тут, кроме того, пишутся: поклоны, любовные записки и т. д.; надписи делаются также и на заборах, и на наружных стенах. Вот образчики их: „.....Машка, Гришка будет ждать тебя в Ачинске" —„Федька босоногий шлет привет, а его уж нет". „Пусть это знает „Перекати поле", и т. п. до бесконечности. Камеры в полуэтапе едва-едва достаточны человек на 100. Предоставляем судить читателю, что бывает при 300 и более душ. Кроме главного здания, летом имеются еще особые бараки; в них очень холодно. На некоторых полуэтапах нам приходилось видеть помещения для арестантов запертыми на замок. На вопрос,—почему в эти помещения не пускают арестантов, когда в бараках и камерах холодно и тесно, нам, не стесняясь, отвечали, что в этом здании сохраняются товары, которыми, с разрешения офицеров, торгуют солдаты!

Этапы вечно исправляются и всегда не исправны. Проезжая по тракту в 80 году, мы видели всюду разломанные печи, работающих плотников и печников; в 83 году та же картина. И это, говорят, ежегодно.

Этап много обширнее полуэтапа; возле первого всегда устроена гимнастика для солдат, имеется довольно обширное помещение для начальника этапа, выходящее фасадом на улицу села и огороженное палисадником; рядом с помещением офицера расположены солдатские казармы; иногда есть и баня; помещения для арестантов обширнее, хотя далеко не достаточны при больших партиях, несмотря даже на то, что бывает еще отдельный двор с двумя камерами—для женщин и семейных. Внутреннее устройство этапов такое же, как и полуэтапов, только все в больших размерах; нельзя умолчать о ватерклозетах, устроенных во дворах этапов и полуэтапов: они находятся большею частью возле колодцев и заражают воду.

Офицер, живя на этапе, провожает партию от своего этапа до другого и сейчас же возвращается обратно, чтобы вновь совершить такое же путешествие, причем лишь более храбрые обгоняют партию, оставляя ее на попечение фельдфебеля;

большинство едет за партией шагом в конце длинного поезда. Понятно, что такая однообразная, монотонная жизнь действует на офицеров самым отупляющим образом, и большая часть из них или горькие пьяницы, или люди мрачные, молчаливые.

Нельзя не сказать того же самого и о солдатах. Занятие их трудное и в высшей степени ответственное: за побеги арестантов солдат отдают под суд; поэтому они жестоко расправляются с пойманным беглецом. Провожать партию солдатам еще и потому неприятно, что они считают это переливанием из пустого в порожнее. Мы сами были свидетелями следующей сцены: „вон, поглядите, *стрелки* (так солдаты называют бродяг) идут",—обратился к нам солдат, указывая на несколько человек, стоявших у самой дороги с котомками на плечах: „ведь попадутся скоро—опять веди! Эй, ты!"—обратился солдат к одному бойкому арестанту,—„как тебя? иди сюда!" Арестант подошел.—„Признайся, ты проходил с партией весною"?—Как не проходить, проходил!—отвечал спрошенный,—скрывать нечего: меня оставили в К—ком округе, а я и убег, да, вишь, мало на воле погулял. Ну, да ничего,—скоро опять погуляю! В Кузнецке!—вдруг крикнул арестант бродягам и исчез в толпе товарищей.—„Вот слышите", продолжал солдат: „мы их вперед, а они назад! Вот и води, язви их в душу"!...

Дорога от Томска на расстоянии 91 верст идет по Томскому округу; дальше начинается округ Мариинский.

На 5-й станции от Томска, в с. Колионском, 20-го августа нас нагнали мать—Вл. Г. Короленко, Эвелина Осиповна, и сестра его, Мария Галактионовна, по мужу Лошкарева. Мать сопровождала дочь в Сибирь, куда раньше нас прошел ее муж, Н. А. Лошкарев.

В нашей партии был близкий их знакомый, студент П. З. Попов, благодаря которому мы и узнали, кто были наши случайные спутницы. 23-го августа мы прибыли в последний город Западной Сибири,—Мариинск. 31-го августа на этапе Боготольском устроили спектакль.

Только тот, кто сам пожил кочевою этапною жизнью, только тот, повторяем, может понять, почему большинство даже из идущих на каторгу желает поскорее достигнуть места назначения. Тяжело на каторге, но она все-таки есть нечто определенное: есть свой угол на нарах, определенное занятие; арестант обдумывает побег или работою старается наполнить время, пока не окончится „срок испытания"; наконец, на каторге, ознакомившись с начальством, можно, принаравливаясь к его нраву, немного улучшить свою безотрадную жизнь. Не то на этапе: сегодня одно начальство с одними требованиями,

завтра другое—и требования иные; один этапный офицер запрещает петь, другой—дает на водку за хорошо исполненную песню и т. д. О радости поселенцев при приближении конца этапного путешествия и говорить нечего: ведь их ждет свобода! Положим, они на чужой, далекой стороне, часто без медной полушки денег, но все-таки „воля“—не тюрьма, не окно с решеткою. А кому же недорога свобода, хотя бы в нищенской обстановке?

В предыдущей главе мы заметили, что этап на этап похожи, как две капли воды; жизнь на этапах также однообразна, и потому достаточно описать одну „дневку“, чтобы читатель мог составить себе понятие о жизни на этапе вообще. Мы это и сделаем.

Совсем рано; солнышко только что позолотило восток, не показываясь на небе; в воздухе чувствуются холод и сырость; на этапном дворе невозмутимая тишина, почему ясно слышны шаги часовых за оградою и разговоры торговок, явившихся с припасами заранее и разместившихся под навесом, в ожидании своих покупателей, которые еще заперты в камерах.

Наконец, по двору быстро прошел из казармы фельдфебель с конвоем, подошел к этапу, отпер замок и, отворив дверь, остановился на крыльце: „Тьфу, черти, и как только они не издохнут в этакой, можно сказать, гадости“!—ворчит фельдфебель, отплевываясь, когда из отворенных камер пахнуло спертым, удушливым воздухом.

— Варнаку все нипочем,—замечает на это, один из солдат.

— На поверку, на по-вер-ку-уу!—раздается затем по камерам, и вся партия сонная, неумытая, зевая, протирая глаза и потягиваясь, высыпает во двор для проверки, после которой поднимается шум, гам и толкотня. Кто спешит умыться, кто идет обратно спать; „парашники“ выносят парашу, тащут в камеры дрова, воду; около торговок столпились покупатели, стараясь поскорее захватить, что подешевле. Вон у окна солдатской кухни собралась толпа с жестяными чайниками и, в ожидании кипятку для чая, толкают друг друга, отпуская шутки, колкости и остроты; другие, захватившие кипяток раньше, сидя группами, пьют чай; вот целое семейство—мать, отец и пять человек детей—с наслаждением прихлебывают жидкие, черные щи, причем ребятишки не раз получают подзатыльники за желание вырвать друг у друга маленькие кусочки мяса, плавающие в миске. Еврей, надев на себя полосатую хламиду, уселся в углу двора, на бревнах и начал молиться.

— Эй, жид! что бормочешь?—обращается к нему молодой арестант, садясь рядом и трогая еврея за руку.

— Что пристаешь!... Всяк по своему бога хвалит,—строго останавливает молодого повесу седой худощавый старик.

— А тебе что? Сам ты жид, что-ли?—огрызается молодой.

— Сам ты жид!—сердится старик.

— А ты... брат мой!...

— Ну, чего глотки дерете!—прикрикивают на ссорящихся близ стоящие. Ссора прекращается.

— Ишь, денек-то какой—благодать!—весело заговорили арестанты, когда часам к 10 небо прояснилось и из-за туч выглянуло теплое солнышко, осветившее двор,—веселее даже —право! Эх, кабы завтра да этакую погоду!—добавил бледный, больной арестант, садясь на самом припеке, а то замаяла меня проклятая лихоманка, а намедни весь промок.

— Как не промокнешь, коли ежели весь день так и льет, так и льет!...

— Гляди,—вон и ребята-то выползли на солнышко.

Действительно, из камер начали выходить дети, причем более бойкие сейчас-же принялись бегать по двору; большинство же жалось к матерям и отцам, исподлобья поглядывая на всех. Как бледны, грязны эти несчастные, без вины виноватые, переносящие все невзгоды пути наравне со своими преступными родителями! Неудивительно, что большая часть из них умирает в дороге. Не лучше-ли это для них? Чего не вытерпят, чему не научатся они в окружающей среде? Нам пришлось видеть малолетних девочек, позволявших себе такие бесстыдства, что краснели взрослые женщины. Насколько дети оживляют тюрьму, бывают любимы в них, настолько на этапах, при тесноте и большей раздражительности арестантов, они ненавистны большинству, и нам не раз приходилось слышать, как выбивавшаяся из сил, измученная дорогою мать, глядя на целую ораву детей своих, говорила: „хоть-бы господь прибрал их, а то и они мучаются, и мне житья с ними нет!" В партии, о которой идет речь, мы встретили семью, в которой был мальчик, гимназист 1-го класса. Бедный ребенок,— что ожидает его впереди! О науке, конечно, и думать нечего. А бросил он гимназию, чтобы следовать за своими преступными родителями.

Кончили еду, чаепитие; утро кое-как прошло, а до вечера, до сна далеко еще. Что делать?

Несколько баб, получив от фельдфебеля корыта, принялись стирать белье; вон у очага, построенного среди двора, какой-то мастер паяет для офицера кастрюлю; рядом с ним другой—починяет жестяные чайники; матери принимаются за шитье и починку детских лохмотьев; кое-кто из холостяков сами взялись за иглу, умудряясь из дыр соорудить платье;

на длинных бревнах, у изгороди портной, мурлыча песню, переделывает брюки для дворянина; ходят медленно группами дворяне, вспоминая о былом прошедшем и с полупрезрением бросая взоры на „простых“ своих товарищей, которые тоже бродят взад и вперед отдельно, по два, кучами и тоже ведут разговоры, при чем бродяги непременно повествуют о своих похождениях, выдумывая такие невероятности, что „новички“ просто за голову берутся, удивляясь и восхищаясь до бесконечности; другие укладываются спать тут же, на дворе; несколько человек, усевшись на солнышке, без церемонии сняли с себя рубахи и преусердно казнят вшей и блох за их ночные каверзы; кучка бродяг окружила торговцев и торговок.

— Эй, кто киевский будет!?—кричит один из них.

— Не надо-ли самарского? Так я буду.

— Я киевский,—а тебе зачем?

— Да, вот, землячок тебе выискался,—говорит бродяга откликнувшемуся и подошедшему на зов, указывая на седого старичка, торговавшего шаньгами.

— А ты разве был в Киеве?—вопрошает старика бродяга.

— Був риднэсэнький, був—шамкает украинец,—из Кыива и прыгнали сюды.

Пошли расспросы про город, про Россию вообще, про землю в особенности; у старика даже блеск показался в потухших глазах, тем более, что бродяга не лез в карман за словом.

— Так, кажишь, чугунка?

— Она самая! То-ись скажу тебе—ветер! Только сядь,—свистнет, и-и... понесла! Птица!

— А-а! боже мий, боже мий! Якэ диво! Хочь-бы глазком подывыцця! Та дэ вже! Разве внучата вернуцця. Так як птыця?

— Эге, птыця, птыця!—подделывается бродяга.

— На, хлопче, з‘иж на здоровье,—сказал старик, давая бродяге шаньгу. Последний только этого и ждал и вызвал желающих подражать ему.

— Я из Пензы!—заорал какой-то детина,—нет ли землячек промеж баб?

— Я из Пензы, мы с тятенькой недавно оттеда,—робко об‘являет девочка, торгующая квасом.

— Больно мала,—отвечает детина,—а вот с тобой мы земляки,—обращается он к молодой бабенке... Окружающие хохочут.

— Кто щи заказывал?—кричит тоненьким голоском вошедшая во двор девочка. Арестанты мгновенно ее окружают, спрашивают о цене, пробуют жирные ли щи и... расходятся, не думая вовсе покупать, а болтая от скуки. В углу двора

уселись политические, играя в шашки, в шахматы; кто громко читает книгу товарищам; их окружила толпа арестантов, спрашивавшая, что нового в газетах. Многие просят „почитать книжечку", каковая просьба удовлетворяется немедленно; иногда происходят расспросы, кто из какого города и т. д. Здесь кстати сказать, что просят „почитать" очень многие из арестантов и, действительно, читают с увлечением. Мы помним одного поселенца, шедшего за оскорбление офицера. Он, едва партия приходила на этап, сейчас шел к политическим, просил книгу и немедленно принимался читать, забывая даже об отдыхе.

Почти на середине двора арестанты образовали круг, в котором отплясывал цыган под песню:

А барыня пышна
За ворота вышла... и т. д,

В разных местах идут беседы на всевозможные темы...— Семь ведь?—слышится в кружке собравшихся баб,—„Солдат" —раз, Степка—два, на бирже Тимофей да „кудлатый".—А Миронов?—забыла—Ну, Миронов еще и—больше не было: всего пять, да теперь Финоген...

— А „пожарные" даром, небось, чаем угощали?

— Провалиться на этом месте—не успела,—скоро назад тогда в острог увели...

..... — Ну пять! Нешто это мало?

..... — Да ты сам посуди: у „чалдона" работы много, работа трудная; даст он, положим, рублей пять,—так ведь одежи-то я в месяц сколько изорву! А ежели я залезу в чужой, значит, карман, али дом, у меня худо—худо—рубля два барыша, и одежа целехонька—вот что!—А ежели по спине-то дадут? по загривку?

— А голова на што? Разве руки не привычны?

..... — Уже лупцовал он меня, лупцовал,—повествует в другом месте баба,—взял кандалы у Петьки из-под подушки всю спину избил, и теперь знаки есть. Рассказчица спускает по пояс рубаху и показывает на спине шрамы; бабы качают головами; рассказчица продолжает: мужики, было, заступились, а я им:—не ваше, мол,—дело, говорю. Как сказала я это, он бить и бросил: отлегло, значит, за то, что покорилась.

— Нет, мой-то что сделал! Бил меня, бил и подает стакан вина: пей!- говорит; а какое тут питье, когда на сердце кровь-то закипела у меня от этакова, можно сказать, случая. —А—а! не хошь? говорит—и ну опять, опять! Я и выпила, так чтоже? бить то перестал, да еще почал целовать. Поверите, захворала я от этого виница.

— Уж как не захворать! Не дай бог с эдаким связаться, —хоть в гроб ложись!—Ну ты это напрасно, обижается рассказчица— я его всегда добром поминаю. Вот хоть бы в Нижнем: сам на „пайке“, а мне все порции, порции, пять или шесть там порций (по копейке тогда порции были). Щей арестантских и в рот я не брала, да и ходила я чистенько не как другие—прочие: шаль подарил, платье; а что побоев приняла я от него—это точно.

— А-яй, сколько побоев!—вздохнула рассказчица,—теперь с Федькою ку-ды-ы вольготнее.

..... — Так вас, баб, и надо: бить, да учить уму разуму,—сказал какой-то подошедший арестант.

— У самого есть—ли?—огрызнулась баба.

— Ах ты, к.....—еще поговори! И арестант шлепнул бабу по спине, повалил ее на землю.

— Дуй ее, дуй!—шутливо подзадоривали проходившие.

..... — Как проиграю я эти деньги, моя-то дура и ревет, а я ей: нешто это мои деньги? нешто я их заробил?—Уж где заробил,—сегодня выиграл, завтра проиграл.—Ну, да—ба-ба, чего она смыслит?—Ведомо!—Одно слово ба-ба . . . . . .

..... — Шохор, шохор—слышится у ворот: это старый бродяга, нечто в роде клоуна, представляет танец каких-то сибирских инородцев, прибавляя цинические жесты. Кругом хохочут и аплодируют.

..... — А я Наполеона видел—рассказывает арестант средних лет.—Видел? Ишь ты!—качают головами слушающие его солдаты.—А вы и поверили? А еще сол-даты—смеется другой арестант.—Да он в материнском пузе еще не зачинался, когда Наполеон в Рассеи был: в 12-м году он был, целых семьдесят слишком лет назад.—И то правда! Ах ты чортов сын, мудер надувать!—А про Бисмарка слыхал?—Как не слыхать! Тоже, чай, газеты читывал.

..... — Этьен, Этьен! повествует грамотная каторжанка содержание когда-то читанной ею повести,—я тебя люблю, но не могу бросить мужа,—я должна к нему вернуться!

— Ишь, образумилась, значит?—Известно, ученая не то, что наша сестра...

..... — Шел я это на поселение за кражу—замок сломал —и повстречайся я в Томском с „Сохатым“ (Сергей и „Безродный“ знают его); встретились, а он и ну бахвалиться: я де засыпал Козлову—это бытто свекру мому; зло тут меня взяло, сердце закипело, жалко мне свекра, добрый был человек! Как схвачу я нож, да как полосну „Сохатого“ по шее—он только ахнул.

— Так ему и надо! Утопил, с... с..., да еще бахвалится! Умер?

— Нет, чорт его не взял! Опосля еще где-то ребята ему подбавили; в бегах уж, слыхать, где-то окачурился.

— Как это ты, братец, сплоховал?

— Стыдно, брат!

— Нож, должно быть, не больно востер был.

— Прямо бы его по башке, в висок—и-и, шаба-ш!

...... — Трудно, и-и как трудно бродяжить бабе, да и на каторге не житье, а мука,—говорит худая, сморщенная старушонка—бродяга, обращаясь к молодой красивой арестантке, идущей на каторгу за убийство ребенка. Здесь-то одежонка плохая, а на заводе и того хуже; а тут все на работе, да на работе,—только успевай делать; дадут на три месяца тебе „чирки“, „коты“ по здешнему, а они за неделю и порвутся; придешь к смотрителю, а он сейчас: „розог“!—кричит.—И наказывают?—вздрагивая спрашивает слушательница.—А ты думаешь шутят? А еда-то еда—не приведи господи! Щи черные, пречерные! Рабочему человеку полагается фунт мяса в день, а мы в месяц трех фунтов не получали; хлеба по $2^1/_2$ ф. давали; так, поверишь ли, нам, бабам, и то не хватало.—Уж как хватит, коли один хлеб почесть. Видно сменяться надо да бежать!—От этого житья как не убежишь...—Страшно, как вспомню, что и убить-то тебя могут, и зверь-то в лесу...—Ну, зверь-то ничего, а вот „братских“ берегчись надо, а то как раз на „лопать“ то позарится и убьет; да и одежонку-то худеньку-прехуденьку надо носить; этак-то уж не нарядишься, как ты теперь. У молодой девушки показались слезы на глазах. Впереди видит она одно горе, одни опасности,—все равно пойдет ли на каторгу или в лес...—Девятнадцатый год всего мне... Лучше бы сразу на суде меня убили,—рыдает она. Окружающие притихли...—Ну, Маша, полно горевать-то!—утешают бродяги,—ишь нас сколько! Нам с тобою веселее в лесу будет.—Я уж десять лет по бродяжеству хожу, всю почесть Сибирь проклятую знаю, как свой дом,—все покажу тебе!—Пойдем-ка песни петь! Вон наши певуны усаживаются. И через несколько минут все еще грустная Маша сидела уже „в обнимку“ со своим „любителем“ в кругу певцов. Хор собрался большой. Слышались и недурные голоса, но пели не особенно стройно:

На этап нам собираться
Приказанье отдано,—
Знать с Сибирию спознаться
На роду нам суждено.
Не боюся я Сибири,
Но боюсь разлуки я,—
Жалко с милой мне расстаться
Она дороже мне всего!

Не кори меня в разврате,
А целуй меня звончей!
Поздно думать об утрате
Наших прежних дней..

Здесь, кстати, приведем еще несколько песен, петых арестантами, заметив, что за весьма незначительными исключениями, все они не оригинальные, а взятые из различных „сборников“ и „песенников“, нередко перевраны и переиначены до неузнаваемости; содержание песен, в большинстве, подходящее к тюремным и этапным условиям.

Мещане больших русских городов очень часто пели:

В одной знакомой улице
Я помню старый дом,
С высокой темной лестницей,
С завешанным окном;

И там огонь, как звездочка,
До полночи горит,
А ветер занавесочку
Тихонько шевелит.

Никто не знал. какая там
Затворница живет,
Какая сила тайная
Меня туда влечет;

Какая чудна девица
В заветный час ночной
Выходит ко мне бледная
С распущенной косой,

С заплаканными глазками,
И в ручках со свечей;
Какие речи странные
Она твердила мне:
О мужестве, об обществе,
О дальней стороне.

Теперь мы пташки вольные,
И нас не стерегут,
А ты, мой друг, не девица—
Тебя не проклянут.

Прощай, прощай, мой милый друг!
И поцелуй звучал,
А ветер занавесочку
Тихонько колыхал.

Каторжники нередко пели:

Ночь темна, лови минуты!
У тюрьмы стена крепка,
У дверей наших замкнуты
Два железные замка.

Чуть брежжет вдоль коридора
Огонек сторожевой,
Не стучит там шпором, шпором,
Но скучает часовой.

„Часовой!—Что, барин, надо?
— Притворись, что будто спишь!
А я мигом чрез ограду
Тенью быстрою промчусь:

Край родной повидеть надо
И жену поцеловать,
А потом с друзьями под тенью
В лесу зеленом погулять".

— Я бы рад услужить тебе
Во что ни стало,
Но боюся одного:
Отдадут меня под суд военный
И сквозь „тальцы" проведут,
И мой труп окровавленный
На тележке повезут,

И не дадут мне ни ружья, ни пистолета,
Но дадут одну лопатку,
И ноги к тачке прикуют;
Вечно цепь будет одета,
И меня в каторгу сошлют;
И не видеть мне родного края,
И жены не целовать,
И под тенью с друзьями
В лесу зеленом не гулять.

Любимая песня бродяг—это известная:

Отцовский дом покинул я,
Травою заростет;
Собачка верная моя
Залает у ворот, и т. д.

А также:

Умереть бы мне молодцу в клетке,
Если-б не было милой соседки...

Или:

За дикими степями, за Байкалом,
Где золото роют в горах,
Бродяга судьбу проклинает,
Тащится с сумою назад;

Тащится густою тайгою,
Где птички поют во кустах;
Худая на нем шапченка
И серый казенный халат;

Плохая на нем рубашенка,
При множестве разных заплат;
Котелок с боку тревогу
Ухарски с ложками бьет;

К Байкалу тихо подходит,
Рыбачью лодку берет,
Любимую песню заводит,—
Про родину что-то поет.

На дворе далеко не вся партия. Многие сидят в камерах, хотя там и душно, и грязно; под шум, гам и крики в камерах, делаются дела, воспрещенные законом. „Майданщик", разложив свой „майдан", т. е. всевозможнейшие товары, охотно угощает арестантов водкою, табаком, папиросами, продавая все втридорога. Его окружает со всех сторон толпа народу, и одному майданщику не успеть бы удовлетворить требования, если-бы ему не помогали „жиганы" — должники, обязанность которых наблюдать также—„не идет-ли начальство"? Благодаря этому, тут же сидящие игроки спокойно „дуются" в самые азартные игры, ограничиваясь лишь короткими замечаниями:—Слопает Митька-то бондаря. — Ему фарт сегодня. — Ишь! так и бьет, так и бьет!

В других углах—другие занятия, и везде говор. Серега, а Серега!—кричит арестант, стоящий подле окна и разбирающий надпись. — Ну? —А Куликов - то прошел уже. — Ты откеда знаешь?—А вот тут, погляди-ка, написано на окне:—„Куликов кланяется бродягам, прошел благополучно, здоров".—Пиши и ты поклон нашим.—Ведомо напишу!.

В соседней камере раздается крик. Алешка кудрявый Сашку лупит!—об'являют публике стоящие ближе к дверям.— Так ей и надо, не связывайся с жиганами!

— Ему и обидно...—Как не обидно,—чего ей надо? Кажись, все покупает, так ей все, видишь, мало! Крики продолжаются, но никто и не думает вступаться, а вошедший староста еще прибавляет: „Паддай ей, к..., чтобы не кричала больно, а то, не ровен час, офицер услышит, так мне же и достанется!

В стороне от играющих раздался бабий плач, вслед за которым послышалось довольно логичное увещание со стороны „любителя“ или мужа: „нешто я эти деньги заробил? выиграл и проиграл! Не твои ведь?“—продолжает он, бросая карты.

— Да, не мои... А где... платье, что хо... хотел ку... купить,—всхлипывает баба,—шутка-ли 100 рублей...

— Не твое это дело! Слышь?!? замолчи! Не то... Увещатель показал солидных размеров кулак, с которым баба была, вероятно, знакома, так как всхлипывания прекратились...

...... — Что, брат, часы—ау?—А куда мне с ними? Того гляди украдут... Только больно дешево взял: пять с полтиною...—Пять с полтиною, а сам 25 дал?—Что и говорить...

...... — Эх, шут тя дери—слышен возглас под нарами,—эк ловко сделал!--выражают восхищение арестанты глядя, как их товарищ вырезал печать.

— Прикладывай на бумагу! Подали сальный огарок, и скоро прекраснейший отпечаток виднелся на клочке бумаги.—То-ись и в голову никому ие придет, что она поддельная!—продолжает восхищаться один из окружающих резчика печатей.—А видел, как Федька двугривенные подделывает?—спросил восхищающегося другой арестант.

— Нет, не видел.—Так посмотри! Вот я сказал тебе, а и то надует: даст двугривенный, а не увидишь, что он фальшивый.

. . . .

В темном уголке, под нарами шепчутся две бабы:—цыц, Марфушка,—усмиряет одна баба ребенка, чтобы слушать рассказы собеседницы,—родила, говоришь?

— Родила и не крикнула,—кругом-то мужики спали—стыдно... Как не стыдно... Пойдем, поглядим.—Нету ее там. Знаешь, Карп-то, старичек?—Ну?—Жалко ему стало бабу, ну и пошел он к политическим попросить, чтобы в свою камеру взяли (у них все покойнее); просит, а у самого-то слезы на глазах, будто она ему своя. Жаль ведь тоже и ему: теснота, гам, крик кругом, а она, бедная, первого родила.—Что же, пустили?—Сами даже ребенка унесли и постель ей приготовили.

..... — Гляди-ка,—гляди-ка!—раздается возглас арестанта, сидящего от нечего делать у окна,—экий чугун политический староста тащит! Знать у солдат на кухне обед готовили.—Им хорошо,—замечает подошедший арестант,—не то, что нашему брату...—Известно, дворяне.

... Пойти посмотреть, не набралось-ли больше торговок, к вечеру их поболе бывает: не куплю-ли молока, а то ребята плачут...—Что это нынче как все дорого стало, не приведи господи!—Тут-то еще ничего, а вот как по иркутской пойдешь—там намаешься! . . . .

...... — Пришли это мы в Нижне-Удинск,—повествует на нарах баба-бродяга окружившим ее новым арестанткам,—холостых-то угнали, а нас, баб, оставили; наши мужики и говорят: „с чужими не связуйтесь, а мы будем ждать вас в Иркутском“. Только пришла скоро партия из Красноярска,—мужиков стра-асть сколько! Нас с ними вместе и погнали. Пристают они к нам, да и только! Мы знать их не хотим: наши, ведь, сказали, что в Иркутском ждать будут. Уж и намаялись мы! С нар нас гонят, к печке не пускают, только и места нам было, что возле парашек, а мы все-таки не сдались. Только Федосья-хохлуша была у нас. „Любитель“ ейный был бедный-разбедный; она и свяжись с кем-то; а он ей купил лиловое платье. Пришли мы в Иркутск; все принарядились; и Федосья лиловое платье надела. Мужики наши рады, угощают нас; стали чай пить, а про хохлушу молчим: не наше, мол, это дело; и она со своим села чай пить, да и говорит ему: „а я ведь связалась с Иваном,—он платье мне подарил“. Ба-тюшки, думаем, сдурела девка,—ведь бить будет! А он поглядел на нее и говорит: ну, ладно, что хоть не даром—платье хорошее!—Ишь ты,—чтоб только не даром! Другой-бы забил в смерть!—Еще как бы! А он ничего.

— Уж и похохотали мы!—Пойдем, девки, с невестою чай пить, все равно шить-то темно.

— С какою невестою?

— Катьку бродяжку не знаете? Она и есть невеста: ведь она, было, в Канском за бродягою пошла и задумала с ним повенчаться, чтобы, значит, хозяйством своим жить; преступлениев за нею не было, она и открыла род жизни и просит, чтобы, значит, сняли с нее патрет на ее счет и отправили бы патрет на родину для улики, а ее чтобы в Канском оставили и венчаться позволили с бродягою.—Ну да не так-то вышло: как открылась, так ее в Казань этапом и отправили; уже другой год, как она из Канска. В Казани ее выпустили, а она опять бродягою назвалась и идет к своему „любителю“.—А он, может, другую нашел?—Я говорю ей—не верит...

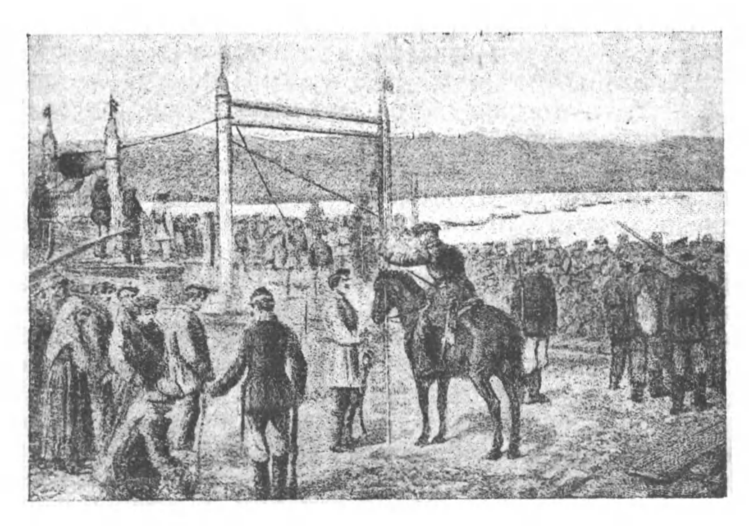
Совсем стемнело, а потому все, бывшие в камере, оставив занятия и работы, вышли до поверки во двор; только некоторые, сидя и лежа возле окон, старались докончить письма на родину, чтобы сдать до завтра офицеру.

Скоро раздалось: „на по-вер-ку-у“! Арестанты сбежались со всех сторон, выстроились, были проверены и заперты на замок. Долго еще в душном этапе продолжалась жизнь: играли в карты, пили, пели, ругались, бились, но в конце концов все уснули мертвецким сном, чтобы, проснувшись, идти дальше, до следующей дневки, где повторится подобная же картина. И так до бесконечности.

КОНЕЦ ЭТАПНОГО ПУТИ.

Давно, давно сказали мы последнее прости Европе и России. Как они далеко теперь от нас! Вон вдали виднеются уже столбы на границе западной Сибири. Дальше начинается восточная, т. е. „места отдаленные“, „более отдаленные“, „отдаленнейшие“... Необ'ятная Русь, сколько есть у тебя „мест“ для обуздания страстей твоих сынов! И таких мест, куда не дай бог попасть человеку! Мы же пока вступаем только „в места отдаленные“, где есть еще признаки цивилизации, в виде телеграфной проволоки, не покидавшей нас на всем пути, —мы в Ачинском округе, Енисейской губернии. Тотчас за станциею Красноречинскою, последнею в Мариинском округе, взору открывается громадная перспектива—ничего не скрыто на 30-ти верстном расстоянии: первое восточно-сибирское с. Белоярское, самый г. Ачинск, а за ними вдали синеют горы, горы и горы, точно заграждая путь; еще немного, и первый окружный город восточной Сибири—как на ладони: блестят кресты на трех церквах, видны здания нижнего и верхнего города, обрывистый берег Чулыма. Что за чудная река! Вода чисто изумрудного цвета. А в каких местах она протекает! Какие виды! Летом Чулым мелеет, почему пароходы из Томска в Ачинск проходят только раннею весною, во время разлива; течение реки очень быстрое, благодаря чему переправа через него совершается при посредстве „плашкота“, с которым считаем не лишним познакомить читателя, ибо „плашкотов“ в России не имеется. На середине реки устанавливают несколько лодок, причем крайняя, вверх по течению, укрепляется на якоре, соединяясь с другими лодками канатом, другой конец которого привязывается к парому, —вот и все устройство „плашкота“; двигается он силою течения; как только паром отвяжут, течение уносит его вперед, но, прикрепленный канатом в одной точке, к неподвижной лодке, он описывает дугу и приплывает к другому берегу, напоминая качание маятника. На таком „плашкоте“ мы переправились через Чулым и очутились в Ачинске.

Маленький, скучный и мертвый, как все окружные города восточной Сибири, он расположен в довольно красивой местности. Желая, вероятно, увековечить за собою название „Ачинского острога“, Ачинск устроил у себя такой острог и такую пересыльную тюрьму, что, раз заглянув в них, не забудешь во веки. Много тюрем и этапов пришлось увидеть нам, но хуже ачинских ни одной. Просто удивляешься выносливости человеческого организма, видя заключенных в этих клоаках. Когда мы обратились к смотрителю с вопросом, по-



Переправа арестантов через реки в Сибири.

чему вы не постараетесь хотя немного почистить ваши тюрьмы? Он ответил: „сами Галкин-Врасский видели все это; чтобы сделать тюрьмы сносными, их надо сжечь и выстроить новые,—а где деньги?“ После этого разговаривать было нечего. К несчастию, партиям приходилось делать в Ачинске дневки, а те, кто назначен в Минусинский и Ачинский округа,—нередко остаются здесь целые месяцы до отправки.

В Ачинске всякую партию тщательно проверяют, бреют обросшие за дорогу головы, вместо старой выдают новую одежу, а осенью, кроме того,—полушубки, бродни и суконные штаны. Благодаря недостатку помещения, проверка и выдача одежи производятся на дворе. Мы видели, как в пасмурный и осенний день стояли арестанты на холоде с 2 часов пополудни до вечера, и так как процедура не была окончена, то партию разбудили в 3 часа пополуночи, а в 10 утра отправили дальше. От Ачинска до Красноярска всего 166 верст.

Путь проходит по Ачинскому и Красноярскому округам и совершается партиею ровно в неделю.

Начиная от Ачинска дорога идет по холмистой и чрезвычайно живописной местности. Особенно чудные картины открываются тотчас за станциею Большой Кемчуг с, так называемой, „Крестовой горы": налево и направо тянутся горы, бездонные овраги, покрытые густым хвойным и лиственным лесом; а у подножия этих гор, в глубине оврагов сверкает и лентою извивается красивая река Кемчуг; в долине, расстилающейся перед глазами, на открытых берегах этой реки расположено с. Большой Кемчуг.

В этих местах мы отчасти познакомились с настоящею сибирскою „тайгою".

„Тайга" трудно поддается описанию; для этого нужно иметь особый поэтический талант.

Когда едешь по широкой дороге, окаймленной с обеих сторон лесом, еще не чувствуешь „тайги". Но взберитесь на возвышенное место и оглянитесь кругом,—картина величественная! Во все стороны, куда ни посмотришь,—необ'ятный лесной океан сливается с горизонтом; темно-зеленые хвойные деревья, перемежаясь с светло-зелеными и пожелтевшими лиственными, образуют чудный ковер; над этим беспредельным царством растительности высится голубой купол неба, и солнце обливает фантастический лес своими светлыми лучами, словно желая проникнуть в таинственный мрак „тайги". Но трудно, очень трудно солнечным лучам проникнуть внутрь заколдованного лесного царства! Ветви деревьев, сплившись между собою, переплетенные ползучими растениями, строго охраняют тайны леса.

Лишь дикие звери царят в „тайге",—птицы не решаются залетать далеко в „тайгу", живя лишь по ее окраинам. Нужно быть инородцем-звероловом или опытным бродягою, знающим „бродяжьи тропы", чтобы выбраться из „тайги", в глубине которой нет и помину не только о дорогах—о тропинках: метки на деревьях, камни да колоды служат там путевыми знаками, таежными верстовыми столбами. Но какой глаз, какой навык, наблюдательность нужны, чтобы заметить, запомнить эти метки! Простому смертному без хорошего компаса или проводника нечего и думать выбраться из этого лесного лабиринта, где царит невозмутимая, гробовая тишина, где особый, свой мир.

„Тайга" имеет громадное влияние на климат прилежащих мест. Нивы подтаежных сел и деревень почти ежегодно бывают жертвами ранних морозов. Нередко, когда в степи уже пашут, в „тайге" ездят на санях, и очень часто подтаежные обыватели бросают свои деревни и перебираются на другие

места. „Тайга“ после самой упорной и продолжительной борьбы побеждает крестьянина, пробирается в улицы деревни, окружает дома и гонит от себя пахаря. Но за то какое раздолье здесь охотнику! Медведи, волки, лисицы, рыси, сохатые, изюбры или моралы, россомахи, белки—в его распоряжении! Но, чтобы охотиться в „тайге“, нужно много опытности и умения. Дорога, конечно, подчиняется здесь всем условиям таежной жизни, и не дай бог ехать здесь весною или осенью!

Последняя станция перед Красноярском—с. Заледеевское; отсюда дорога вступает в волнистую степь с высокими холмами из красного мергеля, благодаря чему и город получил название красного яра. Далеко раньше города виднеется, так называемая, Афонтова гора, на которой некогда был сторожевой пикет, а теперь одиноко стоит полуразрушенная часовня. У подошвы этой горы, между реч. Качею и левом берегом Енисея, расположен город Красноярск, стиснутый с трех сторон горами, отчего здесь почти беспрестанно дует сильный ветер.

В КРАСНОЯРСКЕ.

10 сентября 1880 г. наша партия после месячного этапного пути от Томска совершала последний переход к городу Красноярску.

Здесь должна была решиться судьба многих из товарищей, а в том числе и моя. Поэтому ни холодный ветер, ни дождь со снегом лично на меня не оказывали никакого действия. Скрючившись на телеге и плотно закутавшись в арестантский халат, словно бы созданный для „Владимирки“, я погружен был в думы о ближайшем будущем. Оно зависело от двух обстоятельств: оставят ли меня в Красноярске и, главное, останется ли в этом городе Валерия Ник. Левандовская. Как я уже говорил, эта молодая, глубоко-идейная девушка завладела всеми моими симпатиями и была причиной, что этапный путь показался мне приятной прогулкой. С тех пор и на всю жизнь укоренился у меня взгляд, что счастье—это всего лишь внутреннее, суб'ективное ощущение, имеющее очень мало общего с внешними условиями. Уж что могло быть хуже тех неожиданных лишений, которыми угостила меня судьба, что могло быть тяжелее переходов и переездов с этапа на этап с тем, чтобы в конце концов очутиться в далекой Сибири на неизвестное количество времени, без определенных средств к существованию и в полном подчинении полиции. А между тем я чувствовал себя счастливым и совершенно не замечал обстановки, среди которой совершался мой полный своеобразной поэзии роман, роман без луны и соловьев, без реки и лодки, без беседки в тенистом саду и под наблюдением жандармов и часовых.

Правда, большую роль играла беззаветная молодость и, как ее спутница, вера в свои силы, надежда на будущее. Однако она, эта молодость, с ее атрибутами лишь поддерживала бодрость духа, но не давала еще отрады, не давала тепла и того чувства, что придает красочность жизни. А, вот, когда молодость озарилась любовью,—жизнь тотчас зарделась всеми цветами радуги и, как один день, незаметно пролетел

для меня месяц пути. Теперь предстояла разлука с виновницей моих радостей. Было над чем задуматься! Не говоря уже о том, что Валерия Николаевна, как и я, не знала, где ей будет назначено место жительства, она намеревалась ходатайствовать об отправлении ее к лишенной всех прав состояния сестре, Феликсе Николаевне, поселенной в селе Тунке, Иркутской губ. Но если бы это и не осуществилось, Красноярск вообще был почти запрещенным для ссыльных пунктом. Из опасения побегов все поселения большого сибирского почтового тракта исключались для жительства государственных преступников. Но, главное, не было никаких шансов, что нас оставят в одном месте. И я, и Валерия Николаевна, как и все административные, препровождались „в распоряжение генерал-губернатора Восточной Сибири“, и он имел полное право рассовать нас по одиночке на необ‘ятной, подчиненной ему площади, куда входили губернии—Енисейская, Иркутская и Якутская область. С другой стороны, у меня, как не связанного родством с Левандовской, не было никаких оснований ходатайствовать о поселении в одном городе с нею,—подобное ходатайство не было бы уважено. Погруженный в такие невеселые думы, я не заметил, как наш длинный обоз под‘ехал к острогу, расположенному в самом начале гор. Красноярска.

Громыхнул замок, отворились тяжелые ворота, и мы сквозь строй охраны стали входить в них.

— Иван Петрович!—в это время окликнула, подходя ко мне, Валерия Николаевна.

— Что?

— А вот что,—вспыхнув румянцем, тихо ответила она,—если вы останетесь в Красноярске, то и я здесь останусь...

Переполненный радостью от этих слов, я горячо пожал руку дорогой девушке и сказал:

— А если вас здесь не оставят, то я еду туда, куда и вы, если бы пришлось добраться до Якутской области.

На глазах Валерии Николаевны блеснули слезы, она протянула мне руку и тихо сказала:

— Теперь мне ничего не страшно,—у меня есть друг...

— Но позвольте договорить до конца: вы согласны обвенчаться со мной, если бы без этого нас разлучили?

— Конечно, согласна, и пойду туда, куда вас отправят.

— И мне теперь ничего не страшно...

В этот момент мы вошли в помещение тюрьмы, и нас разлучили.

Но тюрьма мне теперь показалась дворцом. Что мне до нее? Наступит же день, когда я выйду и буду на свободе жить с дорогою Валерией Николаевной. Где это будет, не все ли равно? Теперь будущее обеспечено! Лишь только об‘явят,

что назначили в разные места, мы тотчас обвенчаемся, и тогда нас не разлучат...

А судьба, словно в награду за все испытанное, готовила мне совсем редкий сюрприз. Не помню через сколько дней, было об‘явлено, что в Красноярске освобождают не только меня и Валерию Николаевну, но и друга моего Симиренко. Этого уж я не ожидал! По слухам виновником этого сюрприза был енисейский губернатор, Лохвицкий, который, говорили, поручился за всех тех административных ссыльных, относительно которых не было особых распоряжений. Не знаю, насколько был основателен этот слух, но Лохвицкий по отношению к политическим оказался, как выяснилось впоследствии, действительно, редким администратором.

Об этом, однако, ниже, а теперь сообщу, что тотчас после сообщения об оставлении в Красноярске меня обуяло чувство, я бы сказал, стыда. Мне вдруг стыдно сделалось за свое счастье при мысли, что многие из товарищей, с которыми я сжился в пути, шли дальше, при чем некоторые, как Бердников, Папин, Коленкина направились на каторгу. Тяжело было расставаться с ними без надежды когда-либо встретиться. Что значили все мои переживания, сравнительно с перенесенными уже и предстоящими в будущем страданиями каторжан? Взвесить и понять свои радости и печали можно лишь через сопоставление их с радостями и печалями окружающих. То же, несомненно, чувствовали и все освобожденные, особенно женщины. У всех у них на глазах видны были слезы, а на лицах выражалось сильное волнение. Что касается Валерии Николаевны, то она, как говорится, не была похожа на себя. Грустные, оглядываясь на окна, из-за решеток которых высматривали оставшиеся, вышли освобожденные за ворота; здесь мы замахали товарищам платками и перекрикивались прощальными возгласами.

— Уходите, уходите, господа,—торопила нас тюремная администрация,—нельзя переговариваться!

— Но ведь мы только что были вместе...

— Мало ли что, уходите!

И сразу разверзлась бездна между нами „свободными“, и теми, которые остались в тюрьме.

Нужно самому испытать все это, чтобы понять наши чувства.

— Придем к вам на свидание!—крикнули мы в последний раз.

— Уходите же, наконец!—раздался на это уже грозный оклик.

Вышли мы из тюрьмы, включая меня, Симиренко и Левандовскую, в количестве, кажется, 22 человек, а именно: выше-

названные воспитанники Варшавского университета—Абрамович, Августович, Гельперн, Геринг, Гласко с женою, урожденною Гружевскою, Завадский, Ковальский, Де-Мезер, Рогальский и Свенцицкий; далее студент медицинской академии, последнего курса, Данилович с женою, урожденною Пласковицкою, студент Петербургского университета П. Г. Попов, студент Петербургского технологического института Г. П. Андреев, воспитанница Петербургских высших женских курсов Клейн, Л. Н. Жебунев; наконец,—были еще высланные из Одессы—Кобылинский, Морозова и черноморец Шпадиер.

Первым делом мы направились в единственную тогда в Красноярске гостиницу.

Лишь тот, кто, привыкнув к культурной обстановке, долгое время просидел в грязной, одиночной камере, кто затем в течение нескольких месяцев препровождался из одной тюрьмы в другую, а потом из этапа на этап, кому все это время приходилось валяться на нарах, не видеть тарелок, не пользоваться правом есть при посредстве вилок и ножей, лишь тот, повторяю, может понять прелесть самой жалкой гостиницы. Усевшись за стол, мы, в ожидании обеда, словно дикари, любовались „роскошной“ обстановкой, т.-е. столом покрытым белой, сравнительно, скатертью, обеденною сервировкой, картинами из „Нивы“, развешанными по стенам, зеркалами и другими совершенно обыденными предметами, от которых отвыкли за долгое время арестантской жизни.

В середине обеда к нам нежданно-негаданно явился тогда уже известный публицист, Сергей Николаевич Южаков.

Живой, веселый, он ободряюще приветствовал нас, сопровождая свои слова громким, раскатистым смехом. Как раньше было мною сказано, я знаком был и с ним и с его семейством еще в России, именно в Одессе, где Сергей Николаевич работал в „Одесском Вестнике“, состоя помощником редактора, а я в это время, как говорится, пробовал в той же газете свое перо. Южаков, высланный из Одессы тогдашним генерал-губернатором, Тотлебеном, прибыл в Красноярск несколькими месяцами ранее нашей партии и уже устроился в этом городе. Он сообщил мне приятную новость, что в Красноярске находятся еще два моих,—о которых выше говорилось,—знакомых: Семен Титович Герцо-Виноградский, талантливый, провинциальный, или вернее, одесский публицист, и Владимир Викторович Лесевич, известный философ и сотрудник „Отечественных Записок“.

— Владимир Викторович,—прибавил он,—только на-днях перевелся сюда из Енисейска и живет в этой же гостинице.

— Неужели?—возрадовался я.

— Сейчас в этом убедитесь.

Сергей Николаевич вышел и скоро возвратился, действительно, вместе с Лесевичем.

Горячо и радушно поздоровавшись, Владимир Викторович тотчас же вступил с нами в беседу.

Живой, остроумный, язвительный, он необыкновенно красочно рисовал сибирский быт и нравы.

Между прочим, когда речь зашла о стоимости жизни, Лесевич заявил, что в Сибири „все рубль стоит“.

— Сахар—рубль, свечи—рубль, спички—рубль.

— Такой высокий денежный курс лишь для одного Владимира Викторовича существует,—заметил Сергей Николаевич,—так как он о ценах на предметы первой необходимости не имеет даже смутного представления.

Впоследствии я убедился, что Южаков был совершенно прав.

Писатели внесли такое оживление в нашу среду, что мы и не заметили, как прошел обед.

Между тем необходимо было подумать и о квартирах.

Почти ни у кого из нас не было настолько средств, чтобы оставаться в гостинице, которая, впрочем, вряд ли и разместила бы всех, а потому предстояло так или иначе сегодня же устроиться иным способом.

Лично для меня вопрос разрешился очень скоро. У Южакова оказалась лишняя комната, которую он предложил к моим услугам. Тут же выяснилось, что Сергей Николаевич нанимает квартиру на Базарной площади, в нижнем этаже дома Замятина, а верхний этаж снял уже Лесевич. Лучшей комбинации для меня трудно было придумать. Теперь мне лишь оставалось устроить Левандовскую.

Из гостиницы мы, как и все другие, отправились высматривать квартиры. Энергичные, вынужденные крайней необходимостью поиски увенчались успехом, так что к вечеру у всех, кажется, были комнаты. Валерия Николаевна, между прочим, нашла маленькую комнату во дворе, в Больничном переулке.

Таким образом, в день прибытия мы уже с грехом пополам устроились в Красноярске и начали свою ссыльную жизнь.

Для меня это начало чуть не закончилось трагедией.

Утром на другой день Валерия Николаевна зашла за мной, чтобы идти на свидание с оставшимися в тюрьме товарищами.

Мы и представить себе не могли, чтобы с людьми, с которыми были вместе в течение целого месяца до вчерашнего дня включительно, чтобы с ними, повторяю, нам не позволили

повидаться. Но тюремный смотритель, Островский, и слышать не хотел о свидании, не проникался никакими доводами.

Огорченные необ'яснимым запретом, мы отправились на громадную площадь, расположенную возле тюрьмы, причем Валерия Николаевна, салютуя носовым платком, вступила в энергичные перекрикивания с товарищами, которые выглядывали из-за решеток. Смотрителю, конечно, доложили об этих переговорах, и он, пылая негодованием, явился на площадь и требовал, чтобы мы немедленно ретировались. Мы не исполнили этого приказа, при чем Валерия Николаевна, не обращая внимания, продолжала переговоры.

Тогда рассвирепевший смотритель потребовал на помощь конвой.

— Если вы сейчас же не удалитесь, я велю стрелять!— крикнул он, обращаясь к девушке.

Но Валерия Николаевна не испугалась угроз.

— На прицел!—скомандовал тогда Островский.

Я совершенно инстинктивно поднял руки вверх и стал между солдатом и девушкой, с ужасом ожидая немедленного выстрела.

Но тут произошло чудо.

Заметив полное спокойствие Валерии Николаевны, смотритель дал знак, чтобы конвойные взяли ружья на плечо.

Мужество молодой, чрезвычайно женственной на вид девушки победило смотрителя. Он проникся к ней уважением и впоследствии почти никогда не отказывал в свиданиях.

Но я пережил ужасный момент, который не могу забыть до сих пор.

— На вас лица нет,—взглянув на меня, с волнением сказала Валерия Николаевна.

— Но, боже, ваша жизнь висела на волоске...

— Вы, друг мой, не заметили, что заняли позу, благодаря которой легли бы первым...

— От каких случайностей зависит жизнь человека!—рассантиментальничался я.

Уж подлинно:

„А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,
Такая смешная и глупая шутка“...

— Ну, довольно об этом... Мы живы и будем брать от жизни то, что она сейчас дает.

— Правильно, моя милая!

Я взял под руку дорогую девушку, и мы отправились в Красноярск.

Таковы были первые шаги в этом городе.

Кроме Лесевича, Южакова и Герцо-Виноградского, в Красноярск ранее нас были сосланы, или, вернее, по счастливой случайности оставлены здесь: Н. А. Лошкарев, к которому, как уже было сказано, добровольно приехали жена его, Мария Галактионовна, и теща, Эвелина Осиповна, первая—сестра, вторая—мать В. Г. Короленко; Я. Н. Шульгин, киевский публицист, П. П. Семенюта, П. А. Патруева, переведенная из Енисейска, Н. Н. Емельянов, О. Я. Рубанчик, С. С. Левандовский—студент Харьковского университета, Е. П. Карпов [1]), совершенно юная девушка Виктория Гуковская, о которой говорится ниже, акушерка Берг, рабочие—И. М. Радецкий и А. И. Трушковский, отставной николаевский солдат Штокфиш и его жена Майданская,—мать повешеного в Одессе по делу о покушении на жизнь Гориновича Майданского, и, наконец, лишенная всех прав и сосланная на поселение по делу о вооруженном сопротивлении в Киеве, 1879 г., в доме Косаровской—А. Э. Патылицына.

Таким образом, если я никого не упустил, в Красноярске, включая оставленных из нашей партии, образовалась колония политических ссыльных и добровольно приехавших за ними не менее как в 45 человек.

Такое количество было достаточно, чтобы жить собственною, так сказать, ссыльною жизнью. А это было очень важно для нас, так как при гласном надзоре трудно было расчитывать на слияние с местным обществом.

В виду отсутствия в то время резкой партийности, а также благодаря культурному составу ссыльных, что способствовало терпимости вообще, мы в Красноярске с первых же шагов зажили довольно дружно. Острых конфликтов почти вовсе не было, и если у нас произошла некоторая дифференциация, то вызвана она была чисто личными симпатиями, а отчасти—профессиональными занятиями.

Но прежде чем приступить к описанию жизни в Красноярске, скажу, что очень скоро один за другим уехали из него: Е. П. Карпов с женою, добровольно приехавшею за ним, П. П. Семенюта и С. Т. Герцо-Виноградский.

На последнем я считаю нужным остановиться. По окончании юридического факультета новороссийского университета, Семен Титович, был, кажется, сначала народным учителем, а затем судебным следователем. Но ни юриспруденция, ни учительство совершенно не были его призванием. Природа наградила его крупным публицистическим талантом или, вернее, она создала его фельетонистом. Можно без преувеличения сказать, что в семидесятых годах Герцо-Виноградский не имел

[1]) Будущий, ныне умерший уже, драматург.

себе соперников в провинции в этом роде литературы, да и в столицах мало было подобных ему. Что же касается Одессы, то он здесь был царь и бог. Я писал уже, что познакомился с С. Т. в самом расцвете его славы, когда фельетоны „Барона Икса“ (псевдоним Герцо-Виноградского), помещавшиеся в „Одесском Вестнике“, „Новороссийском Телеграфе“ и „Правде“ читались на расхват. Поразительная легкость пера, редкое остроумие, язвительность, делали то, что „Барон Икс“, по его желанию, мог кого угодно или поставить на пьедестал, или убить и лишить гражданства.

Одни его боялись, другие раболепствовали, многие ненавидели, но никто не относился безразлично. Страх чувствовали особенно артисты, и не было той труппы, представитель которой, прежде чем начать представление, не явился бы с поклоном к Семену Титовичу и не предложил в его распоряжение лучшие места в театре.

Выше я назвал три газеты, в которых участвовал Семен Титович. Все они были разного направления, причем „Новороссийский Телеграф“ был газетою чуть ли не реакционной.

Но Герцо-Виноградский был в высокой степени аполитичен, не принадлежал ни к какой партии, писал во всех органах одинаково, писал, можно сказать, инстинктивно, как поет птица. Он представлял собой тип скорей безразличного европейского публициста, чем русского, который, в подавляющем большинстве случаев, пишет в органе, подходящем к его взглядам.

Таким же С. Т. был и в жизни. С одной стороны, он был, например, дружен с С. Ю. Витте, который в это время был управляющим юго-западных дорог, а с другой—в его квартире нередко можно было застать представителей всех крайних партий.

Получая солидный гонорар, Герцо-Виноградский вел открытый и весьма безалаберный образ жизни, который привел его, в конце-концов, к морфинизму и одарил сильнейшею неврастенией. Последняя всегда требовала сильных воздействий на нервную систему, чтобы заставить ее работать. Как-то появился превосходный фельетон „Барона Икса“. „Что за прелестная вещь,—похвалил я.—А знаете, чем это об‘ясняется?—спросил Герцо-Виноградский.—Чем?—Сегодня я спал над бомбами.—Что вы?!—Честное слово. Прихожу из театра и в квартире застаю теплую компанию, заявившую, что ее преследуют по пятам и она не знает, куда спрятать бомбы. Не долго думая, я предложил спрятать их в турецкий диван, на котором и лег спать. Жутко было, но на заре схватился словно новорожденный и, вот, в один миг накатал приводящий всех в восторг фельетон“.

Как сейчас помню его всегда изысканно одетым, нередко в фрачной паре; на улицах он появлялся не иначе, как в лоснящемся цилиндре. И, боже, какой контраст представляли посещавшие его демократические элементы, из которых многие не вышли еще из фазиса нигилизма! Любопытно, что Семен Титыч чувствовал органическую потребность в сближении с этими элементами. Часто после „безумных ночей“ в обществе великосветском или среди полусвета Герцо-Виноградский начинал каяться и даже плакать, сопоставляя свою жизнь с жизнью идейной молодежи, и в этот момент последняя давала ему громадную нравственную поддержку. А иной раз, наоборот, он громил всех и вся, указывая „на скуку тенденциозной жизни“, и говорил, что он „понимает революцию не иначе, как с шампанским“. Не знаю, как кому, а мне почему-то нравилась неуравновешенность Семена Титовича, контрасты и скачки его души, если можно так выразиться, хотя я ясно сознавал, что все это происходит от ненормальных условий жизни. Во всяком случае, у меня с Герцо-Виноградским во все время знакомства сохранились самые теплые отношения.

Выслан он был в 1879 г. генерал-губернатором Тотлебеном в Сибирь за то же, за что высланы были тогда из Одессы сотни лиц,—т.-е. за совершенно не выясненные „преступления“.

Об этой массовой высылке составилась в то время целая легенда, соответствовавшая, кажется, действительности.

Сначала по разным подозрениям были в 1879 г. арестованы и посажены в Одесскую тюрьму несколько человек.

Когда затем вводили новичка, то ранее арестованные громко спрашивали из-за решеток: „а такой-то (имя рек) арестован?!“

И этого было достаточно, чтобы через некоторое время „такого-то“ действительно арестовали.

Таким способом „наловили“ сотни людей и затем выслали их в Сибирь.

Возможно, что и Герцо-Виноградский явился „жертвой“ такого „случая“, но возможно, что администрация не выносила его убийственно-обличительных фельетонов и узнала о знакомствах. В хронике социалистического движения в России 1878—1887 г. (официальный отчет) говорится, что „расходы по содержанию квартиры „капитана“ (так звали Сергея Чубарова, повешенного в Одессе по делу 28 мая) и по организации коммун, которые служили главным местом для сборищ южных анархистов, оплачивались подпиской, сборами с публичных концертов, которые устраивались в доме члена партии (?) Герцо-Виноградского“. Но лично С. Т. хорошо не знал, за что очутился в Восточной Сибири, и невозможно мучился в ссылке.

Привыкший к широкой жизни, к европейскому комфорту, к заманчивому положению авторитетного публициста, не имея в то же время ничего такого в душе, что бы его поддерживало в лишениях, Семен Титыч, что называется, обезумел в Красноярске и, не распаковывая своих чемоданов, строчил прошения во все ведомства, покуда не была взята с него подписка, что больше прошений писать он не будет. Тогда он проникся полным отчаянием, стал прибегать к напиткам, к которым вообще чувствовал склонность, и, наконец, придумал самый нелепейший выход: он решил симулировать самоубийство! В один прекрасный день Семен Титович набросил веревку на шею. В квартире, конечно, поднялся переполох. Дали знать полиции. Результат получился неожиданный: Герцо-Виноградского препроводили в Самару на... покаяние за покушение на самоубийство! И вот какое оттуда прислал он мне письмо:

Самара, 11 мая 81 г.

„Милое, премилое письмо ваше я получил только на-днях. Скажу вам без утайки, оно мелькнуло розовой полосой на тусклом, сером фоне моего существования. Ну, ну! Времена! „Листок“ мой цензура страшно сократила. Я опять бездельничаю, тоскую, мечусь. Ах, когда же все это кончится? Надежда? Но чорт ли в ней, в этой всесветной наложнице, лживой прихлебательнице!

А вы таки не в добрый час молвили накануне моего от‘езда из Красноярска (кстати, сообщите, пожалуйста, подробности пожара), что мне придется, может быть, пожалеть за ним. Типун вам! Да! бывают минуты, что я любовно переношусь мыслью к вам, тем более теперь, когда ваша колония удвояется, утрояется, учетверяется, словом, является в геометрическом приросте. Жаль только, что средства пропитания,— таков, по крайней мере, минорный тон письма,—у вас жалкие. Ну, да и тут они не в авантаже. Да, у вас компания завидная: Южаков, Шульгин, Лесевич, Спандони (он у вас?), Симиренко. Ах, отчего я не тот „цветочек дикий“, что в „один букет попал с гвоздикой“, и который от этого „душистым стал и сам“? Как видно, я так и останусь „диким“ и всегда буду издавать тот свой собственный запах, за который вы меня журите в вашем письме. Тысяча спасибо за дружелюбный тон этого нагоняя! Но представьте себе, что есть „дикие“ упрямее меня. Получил я от Ревы письмо. „Иду,—пишет,—в „Новороссийский Телеграф“ — „Несчастный, остановись! Ты идешь в трясину!“ — отвечаю я. — „Эту трясину обращу я в цветущий луг“, — возражает он. И, кажется, он уже занялся культивированием Озмидовской клоаки! Меня же спас от этого рискованного шага мой Саша. Да благословит его небо! Боже, как меня изнурила эта ссылка, это ненормальное существование

под высоким давлением! Одно время я, было, ожил, оживил „Листок", попал в милость к губернатору, но злодеяние первого марта было для меня „стоп машиной". Я написал передовую— я тут все — и публицист, и фельетонист, и социалист, и аферист (завел торговлю телеграммами агентства) и... и,—спросите у Семенюты что еще,—цензор ее пропустил (посылаю вам ее), а губернатор мне до сих пор ее простить не может! Бога ради, читайте: что в ней неблагонамеренного? Затем еще несколько столкновений, — и все пропало! „А счастье было так близко, так возможно"... Как там дальше? Кажется, „быть может, я неосторожно?".. Да, да, так вот и я! О, me miserum! С каким бы я удовольствием пошел сейчас купаться в Енисей, к которому было рукой подать! Волга тут далеко и к ней крутой спуск. Зной у нас адский, но все-таки меньше, чем был у вас 17 апреля. Кто из вас пострадал? Какое течение имел огонь? Что истребил?—Опишите все сие. Теперь у вас дороговизна— бедные вы!

Если останусь в Самаре, возьму „Листок" в аренду, приезжайте и будем здесь представлять собой маленький „Таймс" — ведь есть же „маленький Фауст", почему не быть маленькому „Таймсу?" Ах вы тюфяк, тюфяк! Если я, „диктатор", „кассир" (см. обвинительный акт по делу о 27), успел выбраться из Сибири, то вам и бог велел. Ай-ай-ай! А Елизавета Михайловна, что она, кто она? Душевный, любовный привет ей. Видаете ли вы Виктора Викентьевича? Сообщите о нем, если встретите, скажите ему, что и сейчас, и еще долго, и всегда я буду с любовью вспоминать о нем.

А что и как золотое мое сокровище, радость моя, куколка и пр. пр.? Кто бы это? Ну, конечно, пресловутый Коля. А вашей барыне также нижайший поклон, да и всем—всем, кто только этим не побрезгует. Вас же заключаю в свои об'ятия. Говорят:— Редин повесился. — Правда ли? А мое „церковное покаяние" здесь у архиерея. Говорят, ничего не будет. Да, конечно! Вот после семи покушений, тогда другое дело—семь бед, один ответ, а пока их было три. Боюсь, грозит четвертое, ну до семи еще далеко!

Однако, я болтаю, а вы такой esprit serieux. Ну, прощайте! Обнимаю вас. Пишите, это свинство—паузы у вас ужасные!

С. Герцо-Виноградский.

P. S. Привет нашему милому цензору. Посылаю вам свою образину. Не правда ли—noble et distingué? Что нового у вас? Я часто думаю: „несчастные, они только через месяц будут читать и узнавать о том, что мы уже забыли, наши корки будут для них апельсинами!"

И это было последнее письмо Семена Титовича. Знаю только, что Герцо-Виноградский добился таки скорого возвра-

щения в обожаемую им Одессу. Чтобы не возвращаться более к нему, считаю теперь нелишним дать некоторые дополнительные сведения. В Одессе он прожил более 20 лет. В 1892 г., когда С. Ю. Витте был назначен министром финансов, Семен Титович послал ему поздравительную телеграмму. Полученный на нее дружественный ответ от министра, был, как передавали, громаднейшими буквами напечатан на заглавном листе „Новороссийского Телеграфа“, сделавшего себе рекламу из талантливого, но слабовольного публициста, начавшего по возвращении из ссылки опять писать в той газете, которую, как мы видели, называл „Озмидовекой клоакою“. Умер Герцо-Виноградский в Одессе в 1903 году. Литературною памятью его явилась всего одна книженка, изданная в 1882 году и заключавшая в себе некоторые беллетристические очерки.

Переходя к жизни ссыльных, скажу, что она разделялась на лично-материальную и духовно-общественную, если можно так выразиться, при чем последняя всецело поглощала первую.

Все мы переживали в то время период глубоко альтруистический, как наследие 70-х годов.

Нам казалось „стыдно“ слишком заботиться о своем благосостоянии в то время, когда нищенствовал народ и целые сотни товарищей, разбросанные на необозримом пространстве Сибири, находились в положении много хуже нашего.

Поэтому все заботы наши сосредоточивались на организации помощи ссыльным вообще, проходящим через Красноярск партиям в частности и на устройство, если являлась возможность, побегов желающим. Следует сказать, что через Красноярскую тюрьму проходили тогда почти все выдающиеся лица, можно сказать, цвет революционеров 70-х годов, представителей всех процессов и партий, похороненных в каторжных тюрьмах и высылавшихся Лорис-Меликовым на каторгу в Сибирь. Принимая во внимание, что у большинства красноярских ссыльных средства были скудные, лично материальная жизнь наша ограничивалась самым необходимым. Квартиры были более чем скромные, обстановка примитивная, пища самая простая. Наши женщины, вечно занятые хлопотами о помощи товарищам и вообще отрицательно относившиеся „к кухне“, лишь в редких случаях заботились о хозяйстве и сплошь да рядом обедать, например, вовсе не приходилось. На этой почве бесхозяйственности нередко происходили высококомичные сцены.

Особенно беспомощен был наш милый философ, В. В. Лесевич.

Как-то утром отправился я к нему и увидел такую картину, достойную кисти художника: сидит философ на корточках перед голландскою печью, зажигает одну спичку за другою и прикладывает их к коре толстых, сырых березовых поленьев.

— Что вы делаете, Владимир Викторович?

— Да вот,—улыбаясь, отвечает он,—Лидия Парменовна ушла на свидание в тюрьму, а к кухарке явились ее любовники-солдаты... Она не идет топить печь, а у нас холодно.

— Как же вы думаете поджечь спичками такие громадные поленья?

— Что же делать?

— Щепок нет?

— Щепок?.. Нет...

Я вытащил обратно дрова, сорвал кору с них, отколол ножом несколько щепок и, наложив опять дрова на щепки и кору, затопил печь.

— Как это просто!—воскликнул Владимир Викторович,— в жизни своей не растапливал печи!

А маленькая его дочь, Юлуся, даже в ладоши захлопала, увидев яркое пламя.

Другой раз заметив, что В. В. не во-время вышел из квартиры, я, при возвращении, вышел к нему навстречу и спрашиваю:

— Куда это вы ходили в неположенное время?

Опять та же жалоба, сопровождаемая добродушным смехом:

— Лидия Парменовна ушла на свидание, а у кухарки любовники, и она не варила обеда.

— Что же вы придумали?

— Ходил, ходил и купил пряников...

— Пряников?!. Зачем?..

— Нашел простоквашу и, думаю, с Юлусей этим пообедаем...

— Простокваша с пряниками!

— А что делать?

Потом он говорил, „что его обед“ был „очень вкусен и весьма питателен“.

Когда я женился на В. Н. Левандовской, в моем хозяйстве бывали еще похуже эксцессы.

Некоторое время со мной жил С. Н. Южаков, когда уехала его жена, и технолог Г. П. Андреев.

Валерия Николаевна, как хозяйка, должна была заведывать нашим питанием, но в действительности и сама ничего не ела, и нас бросала на произвол судьбы, с утра до ночи находясь то в тюрьме на свидании, то провожая или встречая партии, то собирая для товарищей деньги, одежду и провизию.

Как-то раз она особенно запоздала, а мы были голодны, как собаки. На наше счастье баба принесла яйца. Я тотчас купил их и торжественно об‘явил своим сожителям, что уго-

щу их яичницей. Южаков залился своим звонким, раскатистым смехом, не веря в мои способности, Андреев также сомнительно улыбнулся... Между тем я принялся за свое дело и, не найдя ни масла, ни соли решил зажарить яичницу на постном, коноплянном масле, купив его в мелочной лавченке, торговавшей дегтем и другими „черными товарами“. Скоро невероятная вонь, проникшая во все комнаты, и шипение известило моих товарищей, что я серьезно приступил к делу.

— Что вы там делаете?—кричал Южаков.

— Идите яичницу есть и зовите Григория Петровича!—отвечал я.

Пришли они; я им подал яичницу, не говоря, на чем я ее приготовил.

Кривились мы, кривились, но с‘ели до-чиста.

— Ну, какова?—спросил я, когда обнаружилось дно сковородки.

— Тошнит!—ответил, заливаясь смехом, Южаков, но есть можно.

Тогда я обнаружил свой секрет.

— Чорт бы вас побрал!—пробурчал Андреев,—зачем вы об‘яснили? Того и гляди вырвет...

Но дело обошлось благополучно, а Валерия Николаевна, узнав, по возвращении о моем искусстве, чуть не умерла от смеха.

Единственный дом, в котором все и всегда было исправно, это был дом Лошкаревых. Хотя Мария Галактионовна[1]) уделяла не мало времени заботам о товарищах, но хозяйством заведывала ее мать, Эвелина Осиповна, и, благодаря этому, в квартире Лошкаревых была, как говорится, божья благодать. Кто бы и когда ни зашел, всякого и всегда Эвелина Осиповна встречала с редким радушием, вы сразу чувствовали себя, как дома, в уютной семейной обстановке, и без всякого стеснения ели вкусные обеды или пили чай с превосходными булками, которые Эвелина Осиповна изготовляла с редким искусством. Не говоря уже о присущей ей искренности и сердечности, Эвелина Осиповна с особенным сочувствием относилась ко всем ссыльным и потому, что все ее три сына были ссыльными, заброшенными в разные глухие места, и сама она приехала в Сибирь за дочерью, добровольно последовавшей за мужем. Эвелина Осиповна беззаветно любила своих детей, непрестанно думала об их судьбе, которая была аналогична с судьбою окружавших ее в Красноярске ссыльных, и последние поэтому были близки ее любящему сердцу, как постигнутые одинаковой участью с ее семейством. Забе-

[1]) Скончалась в конце апреля 1907 г.

гая далеко вперед скажу, что 30 апреля 1903 года она скончалась.

Но я уклонился в сторону.

Возвращаясь к общественной деятельности в сфере помощи товарищам, скажу, что она на каждом шагу подвергала нас и особенно женщин не малой опасности.

Так, например, в виду трудности и, часто, невозможности добиться свидания с проходящими через Красноярск партиями, приходилось переговариваться с ними в то время, когда партии, окруженные вооруженными солдатами, шли через город. Наши женщины прямо, как говорится, лезли на штыки, всегда умудрялись проникнуть в цепь, переговорить и даже иногда кое-что передать.

Одновременно с явной помощью товарищам мы, по мере сил и возможности, оказывали помощь тайную, в виде подготовления побегов желающим и укрывательства уже бежавших из Красноярской тюрьмы. В мое время удалось устроить побег, кажется, одному Малавскому. Удивительна судьба этого мирнейшего, казалось, из людей. Его положительно преследовал какой-то рок. Я знал его еще по Киевскому университету. Высокого роста, добродушный украинец, он отличался национальным философским спокойствием, неповоротливостью и поразительным, свойственным тому времени, пуританством. Помню я его арест в Киеве, кажется, в 1877 году. Его предупредили, что надвигается гроза, но Малавский не желал скрыться, потому что... „за месяц вперед заплатил за комнату и считал нужным дожить до срока!“ Его арестовали и два года держали в тюрьме. Ходили слухи, что, когда в 1878 г. из киевской тюрьмы освобождали Стефановича, Дейча и Бохановского, была отворена и дверь камеры Малавского, но он, будто бы, отказался бежать, веря в свое оправдание.

Киевская палата в 1879 г. приговорила его, кажется, на поселение по Чигиринскому делу. Недовольный этим решением, Малавский подал жалобу в сенат, который в 1880 г. приговорил его к 20-ти годам каторги! В 1881 г., по пути на каторгу, Малавский прибыл в красноярскую тюрьму, из которой и решено было его освободить. Предприятие это было совершено с редким успехом. Малавскому доставлен был костюм тюремного надзирателя. Вечером, после поверки он, положив на свою кровать чучело и прикрыв его одеялом, не только спокойно вышел из тюрьмы, но, забыв теплые чулки, возвратился за ними в камеру, взял их и вторично вышел, никем незадержанный. В городе ему была приготовлена квартира у одной акушерки, где Малавский должен был пережидать, покуда, после тщетных розысков, власти не успокоятся. Предполагалось, что полиция прежде всего бросится искать

беглеца по дорогам, но каким-то образом она узнала, что Малавский скрывается у акушерки. Стали производить обыски у всех акушерок. Малавского предупредили и советовали ему скрыться. Но, преследуемый роком, он, как когда-то в Киеве, не нашел это нужным, подлез под кровать и лежал там с украинским спокойствием, покуда его буквально не вытащили оттуда. Возбудилось, конечно, дело, при чем из участников освобождения дочь красноярского прокурора Долгушина потерпела более других. Эта девушка значительно способствовала побегу. Как раз в то время в тюрьме находился ее брат, Александр Вас. Долгушин, бывший студент Петербургского Технологического института. Уроженец Сибири, Тобольской губ., он впервые арестован был еще 21 года, в 1869 году, по нечаевскому делу, и тогда же привлекался, как сибирский сепаратист. За оба эти дела до суда он просидел в Петропавловской крепости около 2-х лет, хотя впоследствии, в 1871 г. был оправдан петербургской судебной палатой. Вторично его арестовали в 1873 г. по процессу 50-ти, называвшемся также „Долгушинским". По этому делу в 1874 г. он был приговорен к 10-ти годам каторги, которую, как выше сообщали, и отбывал в ужасной Ново-Белгородской каторжной тюрьме, в с. Печенегах, Харьковской губернии, до 1881 г., когда все политические каторжане были переведены на Карийские рудники.

По пути на последние, Долгушин и пребывал в остроге г. Красноярска, где отец его, как сказано, был прокурором. Следствием такого редкого совпадения было то, что, во-первых, вся семья Долгушиных свободно посещала дорогого им арестанта, которого не видела многие-многие годы, а во-вторых, и другие, находившиеся в то время в тюрьме, политические пользовались большими льготами. Это обстоятельство и дало возможносвь передать решившему бежать Малавскому все необходимое через сестру Долгушина. Когда бегство обнаружилось, смотритель, известный уже нам Островский, ввел в тюрьме жестокий режим, за что от Долгушина получил пощечину. Результатом же неудавшегося побега Малавского были такие последствия: сестру Долгушина и акушерку, где скрывался Малавский, сослали, кажется, в Енисейск, а Долгушину и Малавскому прибавили 15 лет каторги.

Однако преследование рока относительно Малавского не прекращалось. В 1883 г. он с несколькими другими политическими арестантами решил бежать из Карийских рудников, но, как носились слухи, опоздал выходом из подкопа, был пойман, отвезен сначала в Петропавловскую крепость, откуда переведен в Шлиссельбургскую крепость, где и умер.

Участвовали ссыльные и в помощи побегам из партий. Так, для освобождения, кажется, Адриана Михайлова, ссылав-

шегося в то время на Кару, в Красноярск приезжали будущие шлиссельбуржцы: Юрий Богданович (Кобозев) и Оржих. Первый вел себя более чем осторожно и, кажется, занимался организациею „Красного Креста“, а второй, наоборот, жил без всяких предосторожностей и по целым дням изготовлял паспорта под руководством Г. П. Андреева. Последний замечательно изощрился в этом деле, и в кухне на печке, и в печке у нас всегда „сушились“ паспорта. Отличаясь поразительной молчаливостью, редкой серьезностью и выдержанностью, Андреев был прирожденный конспиратор, и уж за что он брался, всегда доводил до конца и исполнял настойчиво и добросовестно. В своей специальности он не имел соперников, и к Андрееву всегда обращались за паспортами, которые трудно было отличить от подлинных. Побег Михайлова, кажется, не удался или была брошена мысль об этом, не знаю уже. Во всяком случае он довезен был до Кары.

Была еще, кажется, мысль об освобождении Ореста Эдуардовича Веймара, на котором считаю нужным остановиться. Гл. И. Успенский в некрологе о нем писал: „31 октября 85 года умер на Каре от скоротечной чахотки врач, О. Э. Веймар. 2-го апреля 1879 г. он был арестован по делу Соловьева, 14 мая 1880 г. приговорен военным судом к 15-ти летней каторге в рудниках, но 16 мая, в виду обильных заслуг, оказанных О. Э. в качестве военного врача во время войны 1877 г., срок каторги убавлен с 15-ти на 10-ти летний,—работа в рудниках заменена работою в крепостях. После суда О. Э. содержался в Петропавловской крепости до марта 81 г., когда заболел цынгою, невралгиею и плевритом, вследствие чего был переведен в дом предварительного заключения, а 23 августа того же года был отправлен на Кару. Здесь, до февраля 84-го года, все время был закован в кандалы, и только 12 марта 85 года был выпущен в вольные команды“. По пути на Кару, Веймар был некоторое время в Красноярской тюрьме, где его посещал живший в то время в одной со мною квартире А. И. Иванчин-Писарев. Он хорошо знал О. Э. и чуть ли не принимал участия с ним в освобождении кн. Кропоткина. Во всяком случае от А. И. я много слышал и об О. Э., и о кн. П. А. Кропоткине, как и о знаменитом побеге его в 1876 г., о котором в то время говорила вся Россия, по крайней мере, городская. Веймара судили по делу Соловьева и обвиняли еще по делу об убийстве Мезенцева. Но ни в том, ни в другом О. Э. участия не принимал. Но он был главным действующим лицом в побеге друга своего, кн. Кропоткина, о чем правительство не знало. Арестованный в 1874 г. кн. Кропоткин, по случаю болезни, переведен был в военно-сухопутный Николаевский госпиталь. Изучив последний, он придумал способ

побега, письменно изложил его и сумел передать его на волю. Друзья немедленно приступили к осуществлению плана князя. С этою целью приобретен был знаменитый, известный по бегам всей столице рысак „Варвар", соответствующий экипаж и упряжь. Все это хранилось у Веймара, аристократа, известного в придворных сферах и имевшего собственный дом на Невском проспекте. Он же взял на себя роль седока, долженствовавшего усадить кн. Кропоткина, когда он выбегает из тюрьмы, и помочь ему переодеться. Кучером взялся быть один помещик, опытный в управлении лошадьми. В назначенный день побег был устроен артистически. Кропоткин эмигрировал заграницу, а Веймар был арестован, как сказано в некрологе, лишь через три года, в 1879 г. и совершенно по другому делу. Ко всему сказанному прибавлю, что все бежавшие откуда бы то ни было политические ссыльные, если им только приходилось держать путь к Красноярску, находили, понятно, приют у ссыльных. Между прочим, административно высланный из Одессы Малеваный, бежав из Иркутской губ., скрывался в Красноярске у С. Н. Южакова; у меня проживали беглецы из Енисейской губ.—Георгиевский и Овчинников.

Нечего говорить, что освобожденные из ссылки делали у нас длительную передышку. Между прочим в Красноярске в 1880 г. встретил я Батя, товарища по Киевскому университету, и других киевлян.

Раннею весною 1878 г. они были высланы из Киева за „бунт" в Киевском университете в „весьма отдаленные места", не имея ни средств, ни теплой одежды. Зная при каких условиях это произошло, я думал, что увижу одни скелеты, вымерзшие, так сказать, в полярных странах и истощенные. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что студенты лишь на обратном пути узнали, что обитали в самых холодных пунктах земного шара Не взирая на все лишения, на свои подбитые ветром одежды, они были здоровы и жизнерадостны. Такова приспособляемость русской молодежи в момент духовного под‘ема! Но, по возвращении в Россию, настроение Батя совершенно изменилось под влиянием реакции. „Я был поражен переменой, происшедшей в нем",—пишет А. Бах в своих о нем воспоминаниях („Былое", кн. I, 1907 г.). „Из молодого, жизнерадостного юноши,—когда нас высылали из Киева, ему было всего 18 лет,—он превратился в совершенного старика не столько лицом, сколько душою. Печать безнадежного уныния лежала на всей его фигуре, и первое время мне прямо больно было смотреть на него". Следует заметить, что, помимо „бунта" в Киевском университете, Бать был еще оговорен семинаристом Богословским, охарактеризовавшим юного студента, почти мальчика, как „револю-

ционера“. По дороге в Сибирь, именно в Красноярской тюрьме, свирепый начальник восточно-сибирского тракта, полковник Загарин, из-за мелочной обиды, велел заковать в кандалы некоторых политических ссыльных, а в том числе и Батя. Это обстоятельство и было причиною, что они попали в отдаленнейшие места Восточной Сибири. И все вынес Бать с редкою стойкостью, но не устоял против тлетворной реакции, наступившей в 80-х годах.

Он не верил в возможность побороть ее наличными силами и говорил Баху в Казани: „Пока солнышко взойдет, роса очи выест“. Однако, у него хватило энергии на достижение другой цели: окончить университет и сделаться земским врачем. На пути к этой цели лежали почти неодолимые препятствия. „Революционер“, бывший ссыльный и к тому же еврей, был в положении человека, лишенного всех прав состояния. И, боже, что пришлось испытать Батю, покуда он, окончив университет, сделался, наконец, земским врачем. Все испытанное и пережитое подорвало организм его, и Бать не прожил и десяти лет после достижения своей заветной мечты. Но, несмотря на краткость своего служения на земском поприще, деятельность его была такова, что в Новгороде даже „губернатор,—как пишет А. Бах,—счел своим долгом пойти на похороны еврея Батя, несмотря на то, что он должен был встретиться на них со всеми радикальными элементами города“.

Наконец, к общественным делам ссыльных следует отнести громадную переписку, которую они вели между собою для выяснения условий жизни и, соответственно этому, организации помощи.

У нас были подробные списки и довольно точные сведения решительно обо всех ссыльных, разбросанных не только на необ‘ятном пространстве Сибири, но Севера России.

Лично я вел переписку с очень многими ссыльными в разных местах Сибири и просил описывать как гиблые места их, так и свою жизнь. Громадное большинство охотно откликнулось на мои призывы и аккуратно отвечало на мои запросы. Вследствие этого у меня образовался громаднейший материал относительно сибирской ссылки. Многие письма были полны захватывающего интереса. К сожалению, место не дозволяет привести их, и я ограничусь только некоторыми, из наиболее отдаленных мест Сибири. Начну с писем офицера Дмитрия Ивановича Соловьева из Туруханска, ограничившись тремя письмами за 1881 г. В письме от 15 июля он писал:

„Пишу Вам, Белоконский, на улице—à la belle étoile, ибо в избе ни писать, ни читать нельзя—темно; на улице тоже почти темно... от комаров. Я говорю „на улице“ только для красного словца, так как ни одной таковой не имеется в сто-

лице края, равняющегося поверхностью владениям германского и австрийского императоров в совокупности. Жителей здесь далеко менее 100,—человек 60 обоего пола, пьяниц же по крайней мере 200, что об‘ясняется тем, что многие пьют за двоих, за троих и даже более [1]).

Пить начинают, по местному обычаю, тотчас по рождении на свет, сначала молоко, а затем немедленно водку, каковую и пьют все и всегда, во дни и в нощи, летом и зимою, с мордобитием и без оного, с упоминанием родителей и без оного. Это вовсе не гипербола, так как вовсе не пьют здесь, кроме скопцов (за дряхлостью), только я с Кнейпером, да пристав (из этого можете себе представить, в каком веселом городживу). Что вам сказать про мое существование здесь. Жизнь положительно каторжная. Нет ни угла своего, ни покоя, ровно никакого дела, жестокий до 53½° мороз зимой, сырость и мириады комаров летом (не дают спать по несколько ночей сряду), дороговизна всего, начиная с хлеба (1½ р. пуд муки), полное отсутствие мяса, а зимой и рыбы (все уходит в Енисейск), круглый год вода из окрестных болот и стоячих ям (река далеко), ежедневная жизнь впроголодь и вообще медленное вымирание, отощал до того, что уже 2 раза перешивал пуговицы на кальсонах (это масштаб bien être’а); малокровие мое дойдет скоро, кажется, до бескровия, десна и зубы одного цвета, начинающаяся цынга (по словам приезжавшего сюда д-ра Вицына), ревматизм сочленений и мышц, полученный еще в пути, а теперь недавно начал, к величайшему своему ужасу, глохнуть, пока на левое ухо, изредка грудь побаливает и т. д. и т. д. все в том же роде. Скучно и писать-то вечные иеремиады. Недавно мне пришло решение выдавать по 6 р. в месяц, из которых около 4 уходят на хлеб и его печение, остальные 2 рубля надо платить за квартиру, покупать дрова, чай, табак, вообще все, кроме хлеба... Овощей никаких нет. Молоко страшно дорогое“.

Туруханск, 13 августа.

„Живем мы очень хорошо; пишу сие послание, напр., в помещении имеющем 3 шага ширины, 4 шага длины, а высоту удобнее всего измерять количеством моих ростов, если бы я мог тянуться к облакам: если я встану со стула в шапке, то последняя может свободно рисовать узоры по потолку, если, напр., она выпачкана сажей от вечно коптящих сальных свечей. Мой товарищ всегда, входя ко мне, преклоняет голову, в каковом положении и остается, пока не ухитрится сесть на кровать,—словно подавленный величием комнаты и в бла-

[1]) Отсутствие концов в письмах об‘ясняется цензорским пером.

円говении пред опять-таки газетами, которыми обклеена последняя. Крухмалов купил дом за 20 рублей, с рассрочкой на 587 лет с 1/4, дом этот немедленно по приобретении подпер довольно толстой палкой, дабы он смотрел бодрее в свою будущность и не отчаивался за свое горькое прошлое. Дом этот удобен для нас тем, что, в случае ставки самовара, не требуется углей: стоит отодвинуть рукою любую доску внутренней обшивки и вынимать оттуда горстями совершенно готовый бурый уголь, что мы и проделываем почти ежедневно,—летом это довольно удобно, дешево и сердито. Вы спрашиваете о ценах. Хлеб ржаной печеный обходится нам около 5 коп. сер. за фунт, стирка белья 5 коп. со штуки, табак цен не имеет определенных, а торговцы берут сколько влезет, смотря по погоде, напр., коп. 30 и больше за 3 сорт (1/4 ф.), сахар 50 коп. фунт, кирпичный чай до последнего времени был 2 рубля, теперь 1 1/2; фамильный мерзейшего вкуса 2 р., дешевле нет. Мясо неизвестно. Молоко 12 коп. горшок небольшой, свечи 25—30 коп., сивуха (которой я вовсе не пью, да и не пил никогда) 45 коп. „за 1/2 Федора“, по выражению одного моего товарища; пшено 11 коп., гречневой крупы нет, да и вообще больше здесь ничего нет, да и не надо. Спешу закончить письмо, ибо пора относить в цензурный комитет, а то опоздаю. Вообще живем распречудесно, чего и Вам желаем“.

Туруханск, 23 сент. 1881 г.

„Белоконский! Получил ваше письмо с извещением о состоявшемся моем переводе в Минусинский округ, равно как и одновременно с тем получена официальная бумага о том же губернатора. Но одно дело право на переезд в лучший округ губернии, а другое — возможность осуществления этого права. Ехать нужно на свой счет, хотя мой „счет“ состоит в том, что с недавнего времени я признан официально неимущим, почему и получаю 6 руб. казенного пособия; на этот „счет“ довольно хитро проехать 1500 верст до Красноярска и дать средства казаку-провожатому вернуться обратно. Недавно один еврей, переведенный в Казачинскую волость, должен был внести 70 рубл. на прогоны в оба конца. Из сей басни следует, что возможностью „улучшать свой быт“ могут пользоваться de facto только богатые люди, в противном случае можно весь век созерцать красоты туруханской природы и перевод в южный край, даже и „по расстроенному здоровью“,— будет простая фикция и горькая насмешка над болезнью и бедностью. Это действительность. Поэтому будем подождать, пока не разбогатеем, потому казенных средств на перевозку переведенных даже по расстроенному здоровью по закону

не полагается. Я твердо решился с сего дня откладывать от казенного пособия по 5 коп. в месяц на поездку, так что через 250 лет я соберу нужный капитал и приеду в Красноярск улучшать свое здоровье и поблагодарить губернатора за его гуманность и человечность, про которые“...

А вот письмо из самой скверной окраины Якутской области, из довольно популярного, хотя и неизвестного Средне-Колымска. „Что такое Средне-Колымск? Брошенный судьбою за полярный круг (67° 10′ с. ш., 174° 50′ в. д.), Средне-Колымск (от Спб. 11.278 в., от Мск. 10.600 вр.), никоим образом „городом“ назван быть не может, хотя в нем имеется все, что и в других городах, с точки зрения начальства, т. е. есть исправник, его помощник и 15 человек казаков (солдат нет, да и зачем?), которые вместе взятые, с исправником и его помощником, составляют охрану города от нашествия неприятеля, мора, глада и даже, кажется, идей; первые и последние, т. е. неприятели и идеи, никогда не заходят, средние же хотя и появляются, но тщательно скрываются начальством, употребляющим все меры, чтобы блеснуть из-за полярного круга и показать еще высшему начальству, что и Средне-Колымск „благоденствует“, а жители „сыты, веселы и здоровы“.—Но кто сии герои, решившиеся отправиться на слубжу в непроходимые дебри, за десятки тысяч верст от мира цивилизации? Не беспокойтесь. Не нужда, не страдания и не желание геройских подвигов заставило их ехать в страну мрака и печали, в страну восьмидесятидневной ночи (от 1 ноября до 20 января), северных сияний, 50-тиградусных морозов по R и полуторамесячного дня в трехмесячном лете, которое не мешает выпадению снега и понижению температуры до 5° R и не допускает подниматься ртути выше 21° R. Мы удалились в сторону, рассуждая о прелестях Средне-Колымской природы, и не ответили на вопрос: что же заставило? и т. д. Причины, почему нашлись желающие начальствовать даже в Средне-Колымске, суть следующие: большой оклад жалованья, двойные прогоны туда и обратно, вечный, пожизненный пенсион после пятилетней службы, двойной—после десятилетней и очень хорошие доходы, благодаря, так называемым „ясачным народам“, т. е. разным якутам, чукчам, тунгусам и т. д.: все это несчастное, неизвестное почти, дикое население очень усердно таскает начальству черно и красно-бурых лисиц, бобров, соболей, благодаря чему... предоставляем вывод на усмотрение благосклонного читателя. Но откуда казаки? Неужели их посылают туда? Нет, казаки из местного элемента: каждое лицо мужского пола, как только появилось на свет колымский, немедленно начинает получать *пол пайка* казацкого, т. е. 4½ руб. и ½ пуда муки в месяц; в таком виде

получение бывает до 7 лет; начиная с 7 лет каждому лицу мужского пола поступает *полный паек*, т. е. 9 руб. и 1 пуд муки в месяц, такой паек выдается до 42 лет; когда казак выходит в отставку после 25-летней службы (от 17 до 42 лет), выдача *пайка* ему прекращается. Но в Средне-Колымске есть не только начальство, есть и церковь в полном смысле этого слова, т. е. с иконами, колоколами и т. д., а в церкви имеется *протоиерей*. Святой отец сей тоже не чужд мирских страстей: двойные оклады и пенсии после 5 лет сделали свое дело, а чернобурые лисицы вкупе с бобрами и другой *пушниною* заставили протоиерея восхвалять господа на сих отдаленных окраинах. Те же причины заставили проявиться в тех местах двум *монахам*, которые, *обзавевшись семьею*, проповедуют нехристям святое евангелие, что, однако же, не мешает быть последним в очень плохих экономических обстоятельствах и в полнейшем неведении относительно истин, заповеданных Христом, а монахам—ходить в очень хороших одеяниях, в виде дорогих шуб и т. д.

Население Средне-Колымска доходит до 400 человек обоего пола, при чем оно почти пропорционально разделено между русскими и якутами; язык последних — господствующий, кроме сфер официальных; культурный уровень и русских, и якутов стоит на одинаковой ступени невежества и полускотского состояния, что, конечно, есть следствие географических и других условий. Если вы спросите средне-колымского гражданина, якут он или русский—это безразлично — хорошо ли ему живется, он ответит „нет“ или „да“, при чем на вопрос, почему нет? он ответит: сегодня не обедал, или—не пил чаю; если ответ—„да“,—это значит, что он обедал, т. е. вообще *ел* и *пил:* далее этих потребностей, которые суть источники горя и радостей колымца, они не идут и понять не могут, что таковые существуют. Удивляться, конечно, нечему, если мы скажем, что ни в Средне-Колымске, ни в округе, кроме прозябающих капусты и брюквы, ничего не произрастает: казна поставляет хлеб ржаной (6 р. пуд) и соль (1 р. 20 к. пуд), а сами жители добывают: *всегда* рыбу и *редко* оленье мясо (коровьего нет), при чем рыба во время хорошего улова—1 р. за пуд. и в обыкновенное время 2—3 р. за пуд. Колымские старожилы, как и старожилы всего мира, жалуются „на нонешние времена“, ибо прежде „и рыбы больше было, и целые стада оленей переплавлялись через Колыму, и дичи больше прилетало, а теперь: рыбы мало, оленей только чукчи пригоняют, дичь тоже не прилетает. Беда колымцам! Ни домашней птицы, ни вообще птицы (кроме *вороны*) у них нет, и без дичи — совсем плохо; домашних животных — тоже нет, кроме собак, жизнь которых так тесно связана с жизнью людей, что,

как ниже прочтет читатель, можно говорить и о собаках и о людях совершенно одно и то же. Весною все жители Средне-Колымска, кроме начальства, протоиерея и казаков, выезжают „на заимки“, т. е. просто в избушки, выстроенные по р. Колыме, и там ловят рыбу, бьют дичь, пушнину и т. д.; к осени, т. е. в конце августа (осень в Средне-Колымске продолжается не более 10—15 дней) и жители, и собаки появляются в Колымске, и те и другие бывают в это время довольны собою, ибо отъедаются на заимках и жиреют, но к зиме продукты становятся все меньше и меньше, люди и собаки худеют, при чем последние поднимают страшный, невыносимый вой, а первые, наевшись, когда придется, спят вечно, развлекаясь *иногда* вином, табаком и картами, этими единственными и дорогими утешениями средне-колымцев, особенно карты, в которые и якуты и русские проиграют все свое имущество; все увеселения, свадьбы, собрания, все это сводится к одному: пить, играть в карты и орать—да и что больше делать? В Колымске ежегодно в известное время приезжают одни и те же три купца с кой-какими товарами, при чем покупателями, кроме начальства и протоиерея, являются и казаки, у которых остаются деньги и хлеб от „пайков“; цены на товары само-собою неимоверные, так, напр., табак-махорка 1 р. (за ¼), свечи сальные 1 р. фунт, стеариновые 2 р., сахар 1 р. за ф. и т. д. Вообще же в самом Колымске лавок никаких не имеется, кроме хлебных и соляных магазинов; жители пьют кирпичный чай, чай отвратительнейший и очень дорогой. Рыбу нечищенную, живую прямо бросают в холодную воду и ставят на огонь, где она медленно сдыхает с поднятием температуры воды. В Колымске, как это ни странно, есть свой beau monde (исправник, помощник и протоиерей), средний класс—полицейские писцы, фельдшера (доктора нет в Колымске, а фельдшера там из фельдшерских учеников, ничего не понимающие мальчишки) и, наконец, populus: казаки, якуты и русские мужики. Насколько хорошо там живется, можно отчасти заключить из того, что сосланные туда скопцы, которые почти преобразили Якутский округ (Якутск), и другие уголовные стараются сделать какое-нибудь преступление, чтобы попасть на каторгу. В Средне-Колымске никто не запомнит пожаров, так как летом никого не бывает в городе, а зимою и природа, и сами жители окружают избы свои снегом и таким образом пожар делается невозможным, если принять во внимание, что и окна в домах делаются из ледяных глыб вершков в пять толщиною, и длины какой угодно; для добывания природных окон, на реке очищается место, на котором, по мере надобности, вырубают импровизированные стекла. Ледяные стекла эти меняются за зиму несколько раз, так как, конечно, тают от внутреннего

тепла; летом вместо стекла натягивают бумагу или рыбьи пузыри. —Преступлений в Средне-Колымском округе не существует почти, и только к Якутску, где инородцы больше и ближе сталкиваются с русскими, там начинаются преступления. Закончим сведения наши о Средне-Колымске путями сообщений. Дорог ни к Средне-Колымску, ни от него не существует. Большой тракт, почтовая дорога с запада оканчивается *Якутском*, от которого до Ср.-Колымска—2,315 вр. еще, а на восток вовсе нет дороги; старики говорят, что когда-то из Средне-Колымска существовала дорога к Охотску, но она *забыта* и теперь ее нельзя открыть, хотя чукчи и другие инородцы приходят с восточной стороны, но различными, невиданными путями; почта в Средне-Колымск ходит три раза в год, при посредстве полиции, которая, посылая из Якутска разные бумаги, передает и почту; если, например, почта придет в Якутск, а оттуда в Средне-Колымск бумаги уже отправлены, то корреспонденция лежит, таким образом, четыре месяца; газеты и письма получаются maximum через год и minimum через 5 месяцев. О событии 1-го марта там было узнано через 26 дней, благодаря курьеру из Якутска; при чем никогда не доходят *все* №№ газет и *редко* целые журналы, хотя первые и последние выписывали *только* „политические": до них в Средне-Колымск получался только „Прав. Вестн.", получался исправником, но не читался, кажется, никем. Почта, т. е. посыльный, едет на оленях или верхом по тропинке, длиною ни более, ни менее как в 2,315 вр.!!

На некоторых картах Средне-Колымск поставлен правильно, на других гораздо южнее, что же касается сведений о нем, то все они требуют больших поправок, уже не говоря о наших географиях, которые лгут все подряд не только относительно такого места, как Средне-Колымск, но и о более близких местах Сибири, да и кто их проверит"?

А вот письмо из Олекминска, Якутской области.

„У нас в Олекминске не только музея, но и никакой библиотеки нет. Есть у нас экземпляров 120 хороших книг для серьезного чтения, получаем 2 журнала, читаем газеты... Вот и вся наша духовная пища. Ни у кого мы не бываем, да и не думаем, чтобы общество, которое здесь имеется, могло бы представить какое-либо развлечение. Вот почему я не могу сказать Вам как относится к нам общество: враждебно или нет. Да, по правде сказать, это нисколько и не интересует меня, а хотелось бы поскорее, как можно скорее выбраться отсюда. Полнейшая мертвечина. Зима чуть ли не 12 месяцев в год. Люди представляют из себя экземпляры, на которых можно с удобством проследить прогрессивную метаморфозу от четвероруких к двуруким, а отличаются от четвероруких

только тем, что задние оконечности у них приспособлены так, что их удобнее назвать ногами. О самом Олекминске говорить много не приходится. Со всех сторон горы, покрытые не ахти каким лесом, в котором преобладает лиственница. В широкой долине между горами течет Лена, на левом берегу ее Олекминск, небольшой, скверный городишко с двумя стами жителей. Летом бывает ярмарка, на которой можно запастись всем необходимым на целый год. Население края якуты, народ, говорящий своим языком, с монгольским типом; живут они в юртах, которые не что иное, как очень незатейливые хижины, смазанные снаружи коров. экскрементом. Это делается для теплоты, но зато, ах, какой аромат, когда наступает лето! Якутская юрта внутри не более не менее как большая, чистая изба, в которой помимо печи всегда есть комелек, над комельком приделан железный ящик, в котором якуты сушат зерна хлеба, тут же помещается ручная мельница, на которой якут мелет муку. У якута найдутся стеариновые свечи, хотя фунт их стоит здесь 50, 60 к. У него всегда есть один, два самовара. Скитаясь по лесу, мне случалось не раз заходить к якутам и меня всегда угощали чаем, сбитыми сливками и сдобными кренделями. Вообще в Якутской об. заведено мало порядков, а потому экономическое положение якута гораздо лучше положения нашего русского мужика. Но довольно об этом, боюсь утомить Ваше внимание. О своем житье-бытье сказать почти нечего, жизнь наша настолько бедна живыми впечатлениями, что прямо и поделиться нечем“.

Но не одни ссыльные интересовали нас. Так часто бывал у нас приезжавший на каникулы студент С-Петербургского университета, А. Н. Шепицын, который, как сказано будет ниже, из-за желания оказать мне услугу, чуть-чуть не испортил всю свою карьеру. Памятно мне и другое знакомство. Однажды в 1881 г. ко мне явился очень скромный на вид, застенчивый молодой человек. Это был Константин Гаврилович Неустроев, якут, проезжавший в Иркутск из С.-Петербурга, где окончил университет кандидатом естественных наук. Глядя на него и в голову не приходило, чтобы судьба готовила ему грозную, насильственную смерть. А между тем менее чем через 2 года после знакомства жизнь его была преждевременно прервана. Арестованный в конце 1882 г. в Иркутске, когда был уже учителем в местных женской и мужской гимназиях, Неустроев при посещении тюрьмы генерал-губернатором, Анучиным, дал последнему пощечину. Принимая во внимание невероятную скромность Неустроева, следует думать, что его поступок являлся следствием сильнейшего нервного расстройства, граничившего с невменяемостью.

За это деяние военный суд приговорил Неустроева к смертной казни, и в конце 1883 г. он был расстрелян.

Переходя к обыденной жизни ссыльных в Красноярске, прежде всего начну с своей квартиры. В верхнем этаже дома Замятина, о котором я упоминал, жили: Владимир Викторорович Лесевич, его жена, Лидия Парменовна, малютка-дочь, Юлия, или Юлуся, как мы ее называли, и квартирант Лесевичей—Яков Николаевич Шульгин; в нижнем—Сергей Николаевич Южаков, его жена, Зинаида Михайловна, грудной ребенок, Коля, и, в качестве квартиранта, я. Главными персонажами нашей квартиры были, конечно, Сергей Николаевич и Владимир Викторович. На них я и считаю нужным остановиться, начав с Южакова.

К. Т. НЕУСТРОЕВ.
(Учитель женской гимназии в Иркутске, расстрелянный там в 1883 г.)

Сын генерала-от-кавалерии, Сергей Николаевич не имел решительно ничего генеральского. Это был демократ с ног до головы, не только по внутреннему содержанию, но и по внешнему виду. Необыкновенно талантливый, широко образованный, он, при европейских условиях, вероятно, сделался бы выдающимся профессором, а русская жизнь приуготовила ему иной путь. Трудно сказать, за что Сергея Николаевича выслали в Восточную Сибирь, но нужно думать, что причиною этому было, с одной стороны, сотрудничество в „Одесском Вестнике“, или, вернее, пребывание в составе редакции, а с другой,—сестра Елизавета Николаевна, участвовавшая в нелегальных организациях и сосланная по суду на поселение в Сибирь, где, как ниже будет сказано, ожидала ее самая трагическая гибель. Когда я в 1877 или 1878 г. впервые познакомился с Южаковым, он, как я уже писал,—был товарищем редактора „Одесского Вестника“, известного земского деятеля П. А. Зеленого, не принадлежал ни к какой партии и был очень далек от кружков, в которых вращалась его сестра. Последняя, с которой я познакомился ранее, чем с Сергеем Николаевичем, говорила о своем брате, что и в бытность его в Новороссийском университете он ближе других стоял к организации

студентов, преданных науке и преследовавших чисто культурные цели. Словом, Южаков еще с университетской скамьи, 19-ти летним юношей, вступивший на литературное поприще, был чистой воды писатель и ученый, в теории исповедывавший социалистические взгляды и совершенно неприкосновенный к активной борьбе. Но он безусловно благожелательно относился к движению 70-х годов, был в хороших отношениях со многими участниками его, при чем в самом составе редакции „Одесского Вестника“ были лица, близко стоявшие к этому движению, и в том числе его сестра, Елизавета Николаевна, студентка Цюрихского университета, работавшая, кажется, в иностранном отделе. Вот это-то обстоятельство чуть было не погубило и „Одесского Вестника“, и его редактора Зеленого, и, как сказано выше, вероятно, повлекло за собой ссылку Южакова. Уехав раннею весной 1879 г. из Одессы за границу, я уже не был свидетелем одесского разгрома и знаю о нем лишь по рассказам и судебным процессам. Этот разгром начался в том же 1879 г. после назначения одесским генерал-губернатором графа Тотлебена. Говорили, впрочем, что Тотлебен был пешкою в руках своего правителя канцелярии, некоего Панютина. Но так ли это или иначе, во всяком случае в генерал-губернаторство Тотлебена для одесской интеллигенции настали тяжелые дни, о чем я упоминал раньше, когда говорил о причине высылки Герцо-Виноградского. Для Южакова они осложнены были еще тем обстоятельством, что в июне 1879 г. его сестра, Елизавета Николаевна,—названная в обвинительном акте „бывшая цюрихская студентка и ревностная последовательница Нечаева“,—была привлечена к делу „о дерзком ограблении Херсонского казначейства“, когда на революционные цели было похищено 1.599.638 рублей, скоро, впрочем, отобранных.

С. Н. ЮЖАКОВ.
(Писатель и ученый).

Чтобы не возвращаться более к Елизавете Николаевне, здесь же сообщу о трагической судьбе ее. Сосланная на поселение в Сибирь, именно в с. Радуй, Балаганского уезда, Иркутской губ., эта генеральская дочь, образованная курсистка Цюрихского университета, сошлась с рабочим Бачиным,

который во всех отношениях был ниже своей жены. Это обстоятельство, как и следовало ожидать, повлекло за собою бедствие. Не взирая на отсутствие каких бы то ни было поводов, у Бачина не могла не развиться не только ревность, но даже, пожалуй, и ненависть. Дело в том, что он раньше принадлежал к организации, лозунгом которой было, между прочим, изолировать рабочих от интеллигенции. Эта организация была „Союз северных рабочих". Сознавая всю разницу своего и жены социального положения и умственного развития, муж во всех выше его стоящих людях видел конкурентов, которым легко завоевать симпатии Елизаветы Николаевны. А среди ссыльных было много интеллигентных и широко образованных лиц, так что всегда была пища для ревности и принципиально недружелюбного обращения. Искра возникшая в Балаганском округе, превратилась в пламя, когда Бачиных, после неудавшегося побега, сослали в Якутскую область. Повидимому,здесь у Бачина образовалась уже idée fixe. Чтоб сгладить разницу между ним и женою, он превратил последнюю в чернорабочую. Она, кроме того, что исполняла всю домашнюю работу, должна была раздувать мех в кузнице своего мужа. Но, увы, образование, интеллект давали себя знать, и приезжавшие или проезжавшие ссыльные,—хотя это было и редко,—охотнее беседовали с Елизаветой Николаевной, чем с ее мужем, и тем опять пробуждали чувство уязвленного самолюбия, а главное—ревности. И, вот, в 1883 г., после ухода посетившего Елизавету Николаевну ссыльного студента, Говорухина, Бачин зверским образом задушил жену, а потом, арестованный, отравился в Якутской тюрьме. После них осталась маленькая сиротка-дочь.

Кроме Южаковой был арестован В. X. Кравцов, служивший секретарем редакции „Одесского Вестника". Против редакции этой газеты, таким образом, накопилось много обвинений, вследствие чего однажды редактор был вызван к генерал-губернатору, который в очень грубой форме пригрозил П. А. Зеленому, ни в чем неповинному, высылкой и закрытием газеты. Угрозы эти не были приведены в исполнение, но значительный процент сотрудников, а в том числе и Южаков, попали в Сибирь.

Перехожу к В. В. Лесевичу.

Если у Южакова не было ничего генеральского, хотя и отец, и даже, кажется, дяди его были генералы, то у Владимира Викторовича Лесевича не было ровно ничего военного, не взирая на то, что он, по окончании гимназии и инженерного училища, не только служил в офицерских чинах на Кавказе, но и сражался с горцами, а затем прошел курс академии генерального штаба. Владимир Викторович был типич-

ный ученый, но в то же время живой, остроумный и отзывчивый человек. И эти черты характера нередко заставляли его сворачивать с научного на публицистический путь, причем на этом пути он обнаруживал блестящий талант. Как раньше говорилось, познакомился я с Лесевичем в Петербурге, когда, в конце 70-х годов, ездил туда депутатом от группы киевских радикалов для переговоров с петербургскими либералами о совместных действиях для достижения конституции. Хотя, по сравнению с Владимиром Викторовичем, я был мальчишка (мне было 21—22 года, а Лесевичу 40—41 год), он принял меня так радушно, так в то же время серьезно отнесся к моей миссии, что, несмотря на краткость нашего первоначального знакомства, что называется, обворожил меня. Скоро после этого его арестовали, продержали в Литовском замке и выслали потом в Енисейск, но за что — не знаю. Думаю, что главную роль сыграла связь его с П. Л. Лавровым и со многими представителями движения 70-х годов, так как лично Владимир Викторович, кажется, ни к какой партии не принадлежал.

В. В. ЛЕСЕВИЧ.
(Ученый и писатель).

И с Южаковым, и с Лесевичем приехали добровольно их жены, не имевшие заметного политического прошлого.

Что касается, наконец, воспитанника киевского университета и публициста, Якова Николаевича Шульгина, то он в общей массе был выслан тоже, кажется, из Одессы в 1879 году.

Таков был состав нашей квартиры по своему прошлому, насколько было оно мне изветно. В Сибирь Лесевич приехал уже с крупным научным и литературным именем. Помимо постоянного участия в авторитетнейшем из тогдашних журналов—„Отечественных Записках“ и ряда научных статей в них, как, например, „Философия истории на научной почве“, „Позитивизм после Канта“, „Эмиль девятнадц того столетия“ и мн. др., за ним числились уже и отдельные научные труды, как: „Опыт критического исследования осново-начал позитивной философии“, „Письма о научной философии“. И в Красноярске он продолжал свои научные занятия, имея в своем распоряжении превосходную библиотеку, которую привез с

собою из России, и выписывая много русских и иностранных газет и книг. Любопытно, что наука избавила Лесевича от контроля, которому подвергалась переписка всех ссыльных. По рассказам, случилось это таким образом. В Тару, Тобольской губ., был сослан большой приятель Лесевича, известный публицист и статистик Н. Ф. Анненский. Ему Лесевич послал из Красноярска громадное послание, в котором выяснял „сущность испанской философии“. Тема, очевидно, настолько благонадежная, что не могло быть и речи о недоставлении адресату такого письма. Между тем от Анненского долгое время не получалось ответа, а затем пришло извещение, что письмо не дошло. Лесевич со свойственной ему настойчивостью стал производить расследование, причем выяснилось следующее: заведывавший нашею перепискою чиновник канцелярии губернатора, кажется, Слатковский, прочитав о сущности философии, ничего не понял из этого письма и, опасаясь ответственности, передал его на усмотрение губернатора. Губернатор тоже ничего не понял и, по тем же основаниям, какие были у его чиновника, приказал препроводить „испанскую философию“ в департамент полиции. С последним случилось то же, что и с красноярскою администрацией: письма в Петербурге не поняли и обратно отослали енисейскому губернатору на его усмотрение. Тогда,—говорили,—начальник, енисейский губернатор, и возбудил ходатайство об освобождении переписки Лесевича от контроля, чтобы, значит, не затруднять властей и не тратить понапрасну времени. Ходатайство было уважено.

Владимир Викторович вел необыкновенно правильный и чрезвычайно умеренный образ жизни. Он не пил, не курил, соблюдал гигиену, совершал прогулки, руководствуясь при этом показаниями термометра и барометра. Последнее обстоятельство вызывало со стороны ссыльных добродушную иронию, тем более, что сплошь да рядом барометр обманывал Лесевича. Особенно острил на эту тему талантливый юноша П. З. Попов.

Демократ с ног до головы, одевавшийся неизменно в костюм простого рабочего и занимавшийся чуть ли не столярным ремеслом, Петр Зосимович, хотя и с большим уважением относился к Лесевичу, не мог переварить его, я бы сказал, культурности. И, вот, если Попов заходил к Владимиру Викторовичу в момент, когда последний, собираясь на прогулку, справлялся с барометром, Попов поступал совершенно обратно действиям Лесевича.

— Ну, барометр идет в гору,—говорил, положим, Лесевич,—можно идти без галош и зонтика.

— В таком случае позвольте мне взять то и другое,—язвительно улыбаясь, заявлял Попов.

— Сделайте одолжение,—отвечал деликатнейший Владимир Викторович, не умевший ни в чем и никому отказывать,—но зачем?

— Раз вы идете без галош и зонтика, то наверное будет дождь.

Лесевич на такие остроты отвечал обыкновенно добродушным смехом, жаловался на барометр, об'ясняя неверность его парижским происхождением.

— Повидимому,—говорил он,—парижский барометр не подходит под сибирские условия.

И в работах Владимир Викторович был чрезвычайно обстоятелен и систематичен. Приступал он к ним с большими подготовками, при чем даже письменные принадлежности не упускал из виду. Сплошь да рядом он жаловался, что в Красноярске нельзя достать „настоящей бумаги“ и „настоящих перьев“. Лесевич свободно писал лишь на бумаге лоснящейся, за которую не цепляются перья.

— Не может быть ничего отвратительнее волохатой бумаги,—пояснял он при этом,—останавливая перо, она останавливает и мысль, постоянно отвлекая ее зацепками и порчею перьев.

С. Н. Южаков представлял совершенную противоположность В. В. Лесевичу. Если последнего можно было сравнить с ученым немецкого типа, то первый был чистейшей воды русский человек. Живой, общительный, он не прочь был провести напролет ночь и изрядно выпить в компании, не придерживаясь никакой правильности и систематичности ни в жизни, ни в работе. В зависимости от настроения, то работал он запоем, то ничего не делал. Он необыкновенно быстро писал статьи для „Русских Вед.“ и „Отечественных Записок“, как вообще все быстро делал. Обладая редкими способностями, Сергей Николаевич с поразительным успехом ориентировался во всяких науках, при чем проявлял какой-то особый дар в изучении языков. Я никогда не забуду, как он мгновенно овладел английским языком. Этот язык понадобился ему, кажется, для прочтения каких-то книг в библиотеке Лесевича. Сергей Николаевич в самый короткий срок усвоил три тысячи корней и вскоре после этого свободно читал английские книги и газеты.

Но очерченная разница между Южаковым и Лесевичем не мешала быть им в самых теплых и дружеских отношениях. Сергей Николаевич по несколько раз в день поднимался в верхний этаж и долго беседовал на разные темы с Владимиром Викторовичем.

Я гордился своими сожителями, которые, не взирая на мою молодость, относились ко мне, как к равному. Мне было

лестно, что живу с видными писателями, и моею тайною мечтою было—проложить себе путь в те органы, в которых и они пишут. Хотя статьи мои и корреспонденции без затруднения печатались уже в провинциальных и некоторых столичных органах Европейской России, хотя я был приглашен в постоянные сотрудники сибирских газет, где и писал, но все же мысль о таком органе, как „Отеч. Записки", казалась мне недопустимой и дерзновенной, и я, боясь об этом говорить, тайно, по ночам, когда все засыпали, готовил статью в этот журнал. Единственный человек, который знал об этом, которому я читал свою статью, была В. Н. Левандовская, горячо поддерживавшая меня во всяких моих дерзаниях.

К ней я и перейду.

Валерия Николаевна, помимо забот о партиях и свиданий в тюрьме, имела уроки: она занималась с дочерью Лесевичей, давала уроки русского языка у золотопромышленников Кузнецовых и, кроме того, тайно бесплатно обучала бедных детей, которых сама разыскивала по городу. Говорю „тайно", потому что ссыльным было строго-настрого воспрещена педагогическая деятельность. Свободной Валерия Николаевна была только по вечерам, и я, покуда не поселился вместе с нею, не пропускал ни одного вечера, чтобы не посетить мою невесту в ее скромной с убогой обстановкой комнатушке, где, однако, столько было уюта, что я бы не променял эту каморку ни на какие богатые хоромы. Меня всегда ожидал самовар и теплая, дружеская встреча любимой девушки. Обменявшись новостями дня, содержанием писем, если таковые получены были в течение дня, мы, обыкновенно, занимались чтением какой-нибудь, в большинстве, серьезной книги до глубокой ночи, когда я отправлялся домой. Так изо дня в день проводили мы время, не замечая, как оно летит. Но однажды я застал Валерию Николаевну в совершенно непривычном настроении. Бледная, с явными признаками слез на глазах, она не могла скрыть своего волнения и сердилась за это на себя.

— Что с вами, моя дорогая?—спросил я.

— Да ничего, не обращайте внимания.. Это так себе, пройдет...

— Нет, я не могу быть равнодушным к вашему настроению и, если вы считаете меня другом, должны открыть мне причину... Вы знаете, что совместно всякое горе переносится легче.

— Я не считаю себя в праве тревожить вас... Что я вам за друг, если буду только причинять вам неприятности... Я проклинаю себя, что вы меня застали в таком виде.

И долго пришлось мне уговаривать Валерию Николаевну, покуда она, наконец, не открыла мне свою тайну.

Еще на этапах она вскользь упоминала, что вся ее семья сослана, но в то же время Валерия Николаевна проявляла столько жизнерадостности, что никому и в голову не приходило выражать по ее адресу какое-либо сожаление. Наоборот, она всех бодрила, всех утешала, вселяя веру и надежду на лучшее будущее. Но оказалось, что Валерия Николаевна, затаив в глубине души своей великое горе, не считала себя в праве проявлять его; лишь по ночам давала волю своим терзаниям и нередко, уткнувшись в подушку, плакала подавленными слезами. Причиной же ее горя была горячая, редкая любовь к своему семейству. Она обожала своих престарелых родных и сильно любила своих сестер. Между тем 75-ти летнего отца и 68-летнюю мать с подростками дочерьми—19-ти и 17-ти лет —выслали в Архангельскую губернию, а старшую сестру Феликсу Николаевну—на поселение. Что касается Валерии Николаевны, то она, 28 мая 1878 г. была арестована в Одессе, неделю просидела при полиции, а затем ее увезли в Вологду. Здесь она просидела 5 дней в полиции и выслана в Устюг. В этом городе она провела 11 месяцев, а потом переведена в г. Николаевск, где прожила около 6 месяцев. Наконец, из этого города В. Н. была привезена в Московский тюремный замок, проведя в котором 11 месяцев, была отправлена в Восточную Сибирь. Ссылка совершенно разорила семью, и родным Валерии Николаевны не на что было жить. Бедствовали и другие более или менее близкие родственники. Дело в том, что В. Н. происходила из польской семьи, многие члены которой принимали горячее участие в восстаниях поляков 30-го и 63 г.г. прошлого столетия. Часть их погибла в боях, часть эмигрировала. У оставшихся родственников, как, например, тетки В. Ник. М. Ф. Кленовской,—имущество было конфисковано и они остались без всяких средств. И, вот, каждое их письмо, несмотря на все усилия родных скрыть тяжесть своего положения, разрывало душу Валерии Николаевны, заставляя напрягать все силы своего ума, чтобы хоть как-нибудь помочь им. Весь свой скудный заработок она отправляла родным, оставляя для себя лишь столько, чтобы не умереть с голоду, при чем выяснилось, что Валерия Николаевна почти вовсе не обедала.

Я не шутя рассердился на моего друга за сокрытие своего положения, и тут же мы решили поселиться на одной квартире. Хотя и у меня средств не было, но все же я время от времени получал гонорар за свои статьи, который давал возможность скромно существовать двоим лицам, и следовательно, все то, что приходилось Валерии Николаевне затрачивать на квартиру и на себя, можно было отправлять ее родным.

В декабре 1880 г. мы уже осуществили свое решение. Валерия Николаевна наняла полу-подвальный этаж в доме,

кажется, Субботина, на главной, Московской улице, где, кроме нас, поселились еще: юная девушка, Виктория Гуковская и Майданская с своим гражданским супругом, Штокфишем. Последние совершенно не имели никаких средств, и Валерия Николаевна считала своим нравственным долгом дать им приют. Прошедшее наших сожителей достойно быть отмеченным. Витя Гуковская была арестована в Одессе, в 1878 году, 14 лет от роду. При демонстрации во время суда над Ковальским, приговоренным к смертной казни, потрясенная этим событием, Витя, одевшись в мужской костюм, бегала по улицам и горячо, как могла, протестовала против казни. Ее арестовали, но несколько самоотверженных молодых людей силой вырвали юную девушку из рук арестовавших, увели ее и, чтобы спасти от вторичного ареста, вздумали окрасить ее чудные, толстые золотистые косы в другой цвет. Благодаря вечерней поре и спешности, с которой проиводилась эта операция, цвет волос получился зеленый! Это, говорят, и послужило причиной вторичного ареста Вити, которую затем судили по процессу 28 („Лизогубовцев“) и, не взирая на несовершеннолетие, присудили к ссылке в Сибирь. Необычайная суровость роковым образом отразилась на детском почти организме и повлекла за собою преждевременную гибель девочки, о чем будет сказано ниже.

Что касается Майданской, то это была старуха-мать казненного в Одессе по делу о покушении на Гориновича, Льва Майданского. Лишив сына, ее выслали административным порядком в Сибирь, и за нею последовал ее гражданский супруг, николаевский, кажется, солдат, Штокфиш, не только не имевший никакого отношения к политике, но и неграмотный.

Не имея ровно никаких средств к жизни, старики старались усиленным трудом быть полезными нам.

Как я уже говорил, Валерия Николаевна целый день была занята и не имела никакой возможности, да и охоты, заниматься жалким нашим хозяйством; я весь день занимался литературным трудом; Витя, не говоря уже о юности, всегда находилась в настолько подавленном настроении, что не могло быть и речи о ее домоводстве. Оставались, таким образом, Майданская и Штокфиш, и они, действительно, играли решающую роль в нашей обыденной жизни, проявляя прямо гениальные способности в хозяйственном отношении.

При неопределенности литературного заработка, иногда выражавшегося в значительных суммах, а иногда в совершенно мизерных, а главное—вследствие неправильных получек из редакций, которые, получки, надо было скрывать, у нас сплошь и рядом не бывало ни копейки денег. И, вот, в эти-то

критические моменты, Штокфиш проявлял свой гений. Он необ'яснимым способом и неизменно разыскивал в нашем убогом имуществе какие-то „старые вещи“, до истоптанных галош включительно, пихал их в мешок, являвшийся атрибутом его хозяйственного могущества, отправлялся со своей старухой на базар и непременно приносил оттуда предметы первой необходимости, в виде мяса, хлеба и т. п. Мы поэтому никогда не заботились о пище и не знали путей, какими она к нам приходила.

При такой экономии, нужно ли говорить, что каждый рубль в глазах Штокфиша имел необычайное значение. Бывало, когда, получив откуда-нибудь деньги, дашь Штокфишу, вдруг, рублей десять „на хозяйство“, он, улыбаясь воодушевленно говорил:

— Ну, теперь на год хватит!

Конечно, это была гипербола, но что он мог ими обходиться в течение месяцев—это факт. Все мои получки и деньги, которые платила Витя, шли прежде всего на уплату за квартиру и дрова, а „на хозяйство“ оставались лишь остатки от этих важнейших расходов, без которых немыслимо было обойтись.

Помимо удивительных хозяйственных талантов, Штокфиш вообще был мастер на все руки. Между прочим, он выделал из жести громаднейшую трубу; в этот инструмент Штокфиш усиленно дул, извлекая однообразные звуки, под которые ссыльные отплясывали всевозможные танцы, преимущественно в квартире Лесевичей·

Здесь кстати скажу, что в виду редкого радушия и благожелательности Лесевичей, а также благодаря тому, что они были обеспечены средствами, получали много газет и журналов, вели обширную переписку с Россией,—квартира их служила центром ссыльной жизни, при чем нередко у Лесевичей устраивались и своеобразные „балы“ под единственную вышеназванную трубу Штокфиша, лицо которого, при игре на ней, наливалось кровью, а глаза лезли на лоб. Сколько же с нашей стороны надо было веселья и фантазии, чтобы принимать эти дикие, первобытные звуки за „музыку“ и исполнять под нее *все* танцы!

О, невозвратная молодость!

Другим местом, где ссыльные часто отводили душу, была квартира милейшей часовщицы—Ольги Яковлевны Рубанчик, у которой квартировала Александра Эмануиловна Патылицына и, кажется, добрейшая акушерка Берг.

Рубанчик и Патылицына были всегда веселы, словоохотливы, чрезвычайно гостеприимны, а первая к тому же обладала еще недурным, хотя и маленьким голосом. Все это при-

влекало ссыльных и особенно молодежь, которая составляла подавляющее большинство.

В свободное от занятий вечернее время, когда Ольга Яковлевна, имевшая, к слову сказать, многочисленные заказы, бросала свое часовое мастерство, двери ее квартиры, как говорится, не затворялись. Впрочем, и днем у нее можно было застать посетителей. Так, здесь почти постоянно околачивался добродушнейший и превеселый студент, Семен Степанович Левандовский, все „искавший“, как он говорил, „теплого плеча“, на которое мог хотя бы „склонить свою голову“; здесь же весьма часто бывали Иван Маркович Радецкий, упорно пропагандировавший свою более чем неудачную музу, а также Петр Зосимович Попов, ядовито подтрунивавший над всеми.

Третью квартиру, которую охотно посещали ссыльные, а я с Валерией Николаевной чувствовали особенную привязанность,—была квартира Лошкаревых, о которой я раньше уже говорил. Нигде не веяло такою теплотою, такою, я бы сказал, семейственностью, как здесь, и каждый из нас, я думаю, глядя на Эвелину Осиповну Короленко, представлявшей воплощенную доброту, вспоминал свою семью, свою мать. К Лошкаревым мы ходили не часто и не для веселия, а именно в нередкие минуты жгучей тоски, когда хотелось поговорить, что называется, по душе, услышать сочувствие общему или своему горю. Все знали, что в квартире Лошкаревых они найдут это. Чуткая Эвелина Осиповна искренним радушием, ласковым словом откликалась на всякий призыв и смягчала горе, которое у всех, конечно, было, но которое наружу проявлялось лишь при случае.

А. Э. ПАТЫЛИЦЫНА.
(По мужу Данилович, ссыльно-поселенка).

Наконец, и моя квартира являлась нередко пунктом для собрания ссыльных товарищей.

Было у нас и еще одно развлечение, возникшее по инициативе В. В. Лесевича.

Он подал мысль издавать рукописную газету, под заглавием: „Гони зайца дальше“. Название мотивировалось целью,

которая заключалась в том, чтобы газета, заполненная интересными для ссыльных сведениями, быстро переходила „дальше“. П. З. Попов начал „издавать“ другую газету, кажется, „Административный ссыльный“, в которой завел полемику с „Зайцем“. Дело от этого только оживилось и приобрело всеобщий интерес. Смешно сказать, но это факт, что „газеты“ чуть было не окончились для нас трагедией. У кого-то при одном из обысков найден был нелегальный. „Заяц“, и жандармы выбивались из сил, чтобы раздуть „дело“ о... „подпольной печати“!

Были у некоторых попытки испробовать свои силы и в драматическом искусстве. Между прочим, бестужевка, Лидия Григорьевна Клейн, большая подруга Валерии Николаевны, не послушав последнюю, выступила на подмостках красноярского театра в старинной драме: „За монастырской стеной“. Эту драму в свой бенефис ставил артист Рахманов и, воспользовавшись согласием Клейн, превратил на афишах абсолютно неопытную курсистку во „вновь ангажированную артистку“, пропечатав ее псевдоним—Григорьева—громадными буквами.

Мы были на этом спектакле, при чем Валерия Николаевна всею душою болела, глядя на игру своей приятельницы, изображавшей роль во вкусе тех старых классиков, которые выражали драматичность чрезмерным повышением или понижением голосовых средств и жестокою мимикой. С нашей точки зрения провал был полный, но публика рукоплескала и вызывала Клейн.

Такова в общих чертах была наша общественная и личная жизнь в течение четырех месяцев 1880 г. и 1881 г.

В этот период случилось у нас два несчастья: 22 декабря 1880 г. скоропостижно, от аневризмы, скончалась жена Даниловича, урожденная Пласковицкая, а 1-го марта 1881 г. повесилась Витя Гуковская. Последнее бедствие совершилось в моей квартире при самых непредвиденных обстоятельствах. Как сейчас помню, 1-го марта была великолепная погода,— яркий морозный день. Я, Валерия Николаевна и Витя пошли гулять на Енисей, где бегали и катались на льду. Витя была весела и жизнерадостна; ничто, казалось, не предвещало ее скорой гибели. Затем я и Витя возвратились домой, а Валерия Николаевна, по обыкновению, направилась в тюрьму на свидание. Прийдя на квартиру, Витя прошла в свою комнату и заперлась, а я стал что-то писать. Как вдруг, не знаю почему, меня поразила жуткая тишина, хотя всегда Витя и запиралась, и тихо сидела в своей комнате. Я употребил все усилие, чтобы побороть необ‘яснимое волнение, но не мог этого сделать. Я почти побежал к жившему по соседству Симиренко и со-

общил о необ'яснимом моем настроении. Вероятно, зараженный моею нервностью, Симиренко тотчас же побежал со мною в мою квартиру, при чем по дороге мы решили заглянуть в окно комнаты Вити, выходившее в палисадник. Взглянули и замерли!... Витя, поджав ноги, висела на полотенце, прикрепленном к крюку!... Не помня себя, мы бросились в комнату; Симиренко рванул дверь, которая отворилась, и мы еще теплую высвободили несчастную из петли. Я без шапки побежал к Даниловичу, который, узнав в чем дело, тотчас же побежал со мной обратно. Но увы, ничего уже нельзя было поделать,—Витя скончалась! Горю и растерянности нашей не было пределов. Меня еще волновало то обстоятельство, что с минуты на минуту должна была притти Валерия Николаевна, сильно любившая Витю. Я трепетал при мысли, как отразится на ней это несчастье, которое будет ужасной неожиданностью. И я побежал по направлению к тюрьме, чтобы встретить Валерию Николаевну и как-нибудь осторожно предупредить ее. Но из этого ничего не вышло. Вид мой был, вероятно, настолько ненормален, что, увидев меня, Валерия Николаевна испуганно спросила: „Что случилось?" Как обыкновенно бывает в этих случаях, я начал городить чушь: „Витя внезапно заболела"... „Быть может скончалась"... — „Господи, что такое"?!—только произнесла Валерия Николаевна, побледнев, как полотно,—и, ничего не расспрашивая, почти бегом направилась в квартиру. Я следовал за нею, тщетно силясь выполнить свою предупредительную миссию. Между тем к квартире собралось уже много товарищей и была полиция. Валерия Николаевна, увидав труп Вити, лежавший на постели, и неснятое с крюка полотенце, зашаталась и упала бы, если бы я и другие товарищи не поддержали ее и в обморочном состоянии не усадили на стул. Придя в себя, она бросилась к постели, опустилась на колени и, положив голову на труп, тихо зарыдала.

ВИТЯ ГУКОВСКАЯ.

Я хотел было снять полотенце, производившее потрясающее впечатление, но мне сказали, что нельзя этого делать

до прихода следователя и что против меня и Симиренко уже возбуждено дело за то, что мы, не подождав полиции...... вынули повесившуюся из петли! Лишь заявление медика Даниловича, что это сделано в его присутствии и по его указанию,—чего на самом деле не было,—понижало степень нашего проступка. Я и тогда не мог понять и теперь не понимаю всю нелепость подобного обвинения. Оказывается, что нельзя спасать человека до прихода полиции!

И я, и, особенно, Валерия Николаевна долго не могли придти в себя от самоубийства Вити и немало провели мы после этого бессонных ночей.

Силясь об‘яснить причины ее разлуки с жизнью, мы, как это всегда бывает, стали припоминать всякого рода события из жизни девушки. Припомнили, между прочим, что она, как бы шутя, нередко говорила, указывая на крючек в ее комнате: „а как на нем удобно повеситься“! В конце-концов мы склонились к мысли, что, вероятно, почти детский организм Вити был потрясен уже арестом, затем судом по процессу 28-ми, вынесшим ряд смертных приговоров, и, наконец, ссылкою ее по тому же делу на поселение, при чем юной девушке грозили отправкою в Туруханск. Хотя бог его ведает, что именно явилось последнею причиной такого ужасного расчета с жизнью... По совпадению, смерть Вити произошла как-раз в день трагической кончины императора Александра II-го.

По дошедшим до нас слухам, убийство это было совершено народовольцами. Ранее этого они обзавелись динамитною мастерскою и особою техническою организацией, во главе которой стоял студент медицинской академии, Н. И. Кибальчич, изобревший, как говорили, воздухоплавательный снаряд. После целого ряда неудачных взрывов царского поезда и подкопов прибегли к бомбам, при посредстве которых и был убит император. Суду по этому делу преданы были 6 лиц: А. И. Желябов, С. Л. Перовская, Н. И. Кибальчич, Т. Михайлов, Н И. Рысаков и Г. М. Гельфман. Все они, за исключением последней, были приговорены к смертной казни, приведенной в исполнение 3 апреля 1881 г. Процесс 1 марта печатался в газетах и был издан затем отдельной книгою. Тогда мы узнали все подробности дела. Следствием трагической смерти Александра II явились репрессии, которые в конце-концов докатились и до Сибири.

Но прежде чем говорить о них, скажу несколько слов о красноярской администрации, главным образом, о губернаторе Лохвицком, о котором упоминал раньше.

Это был удивительный администратор. Не знаю, каков он был по отношению к населению, но к ссыльным относился превосходно. Не говоря уже о том, что, благодаря ему, Крас-

ноярск не был исключен из пунктов поселения государственных преступников, он беспрепятственно принимал нас, беседовал наедине, выдворяя „бравого“ полицеймейстера, Воронцова, сквозь пальцы смотрел на воспрещенные ссыльным занятия, как, например, уроки, и сплошь да рядом удовлетворял письменные ходатайства ссыльных и личные наши хлопоты о переводе в Красноярск товарищей из захолустных селений. Вследствие этого, нам удалось перевести в Красноярск немало новых лиц. В краткий Лорис-Меликовский период такие отношения к ссыльным губернатора сходили ему с рук, но вскоре, после событий 1-го марта, дело изменилось, и стали ходить слухи, что положение Лохвицкого пошатнулось.

Слухи эти оправдались только в начале 1882 г., но изменение административного настроения замечалось уже в 1881 году. В это же время нам был об‘явлен и срок ссылки, лишивший всяких надежд на возвращение, при чем мне было назначено 5, а Валерии Николаевне 4 года, не считая уже прожитого. Все эти обстоятельства и опасение, что нас могут выслать из Красноярска, заставили меня и Валерию Николаевну „соединиться“, как говорят, „законным браком“, который мы в принципе отрицали и чего бы при других обстоятельствах никогда не сделали. Оказалось, что, не имея никаких документов, отобранных у нас и сгоревших во время пожара, мы и на брак должны были просить разрешение у самого генерал-губернатора Восточной Сибири, проживавшего в Иркутске. Нечего делать,—послали ходатайство, которое и было уважено по телеграфу. Тогда, 29 июня 1881 г., совершилась наша свадьба. Шаферами были: Южаков, Симиренко, Гласко и Емельянов.

Впоследствии этот Емельянов сделался усердным сотрудником „Московских Ведомостей“, где всех нас разделал в пух и прах, не пощадив даже Валерии Николаевны и ее семейства, которому всем был обязан. Впрочем, я об‘ясняю такое падение жестоким алкоголизмом Емельянова. Человек, несомненно, талантливый, он пропил и свой дар, и свою честь, вероятно, не отдавая себе ясного отчета. Еще понятно было бы, если бы он, изменив взгляды, боролся с противниками на принципиальной почве. Но Емельянов избрал своим амплуа самую грязную клевету.

Возвращаюсь к свадьбе.

Я с Валерией Николаевной и шафера пешком отправились в военную церковь, где добродушный священник быстро перевенчал нас, удовлетворившись платою, кажется, в 5 рублей. Такая же сумма, если не меньшая, была затрачена мною на угощение шаферов и товарищей, что не мешало нам чрезвычайно весело отплясывать свадьбу, скоро пригодившуюся нам,

как средство от неминуемой разлуки. Любопытно, что в России, когда мы возвратились из ссылки, выяснилось, что брак наш был не действителен, на том основании, что в брачном свидетельстве, за отсутствием документов, не было упомянуто звание ни мое с женой, ни шаферов, и написано было что-то в роде того, что государственный преступник такой-то обвенчался с государственной преступницей такой-то, а свидетелями были государственные преступники такие-то. Точно я не помню содержание этого акта, но когда мне впоследствии понадобилось пред'явить его по одному делу, то суд признал наше свидетельство незаконным, что, впрочем, не помешало мне благополучно прожить с моей женой до самой ее кончины. Мы настолько уже привязались друг к другу, настолько общи были у нас интересы моральные и политические, так глубоко уважали один другого и горячо любили, что отдельная жизнь каждого казалась невозможною, или, во всяком случае, мучительной. Вместе же нам, как говорится, море было по колено. Казалось, нет такого лишения, которое бы мы не перенесли, и я совершенно искренно говорил, что рад ссылке, потому что она дала мне такую жену-друга. Кажется, осенью 1881 г. Лохвицкий был вызван в Петербург. Исправлять должность губернатора стал вице-губернатор Заботкин, и мы тотчас же почувствовали на себе эту перемену. Самодур, он начал с того, что, выпивши где-то, велел бить в набат, дабы проверить исправность пожарной команды. По отношению к нам, он не медля установил самый жестокий полицейский режим, и полицеймейстер, вполне корректный при Лохвицком, изменился до неузнаваемости в обратную сторону. В этот смутный период, дававший все основания полагать, что жизнь наша в Красноярске сочтена, я пережил и отраднейший момент в моей жизни, поднявший меня в моих глазах. Я уже говорил, что заветной моей мечтою было проникнуть в „Отечественные Записки", где работали выдающиеся литературные силы, а в том числе Лесевич и Южаков. Говорил также и о том, что тайно писал для этого органа статью, о чем знала лишь Валерия Николаевна, ободрявшая меня в этом дерзании. Теперь же скажу, что статья эта, озаглавленная „Очерки тюремной жизни", секретно была отправлена в „Отечественные Записки" в начале 1881 г. Говорю „секретно", потому что надо было избежать просмотра ее администрацией, которая, конечно, задержала бы мое произведение. По этим причинам я на свой адрес не мог получить извещения из редакции, так как оно показало бы, что мною что-то послано помимо начальства, а такое открытие могло бы кончиться ссылкою в Туруханский край. Следовательно, я был лишен возможности узнать об участи своей статьи.

Нужно ли говорить, что я томился неизвестностью, с жадностью набрасываясь на каждую книжку журнала „Отечественных Записок“, в надежде увидеть свое произведение. Но, увы—прошла весна, прошло лето, а статья моя не появлялась. Поэтому с душевной болью я решил, что дерзкая попытка моя не увенчалась успехом, и, как это нередко бывает с людьми, потерявшими надежду, стал считать себя непригодным к литературе, почти идиотом. Но жена энергично поддерживала меня.

— Уверяю тебя,—говорила она,—что твоя статья может быть не принята только по цензурным условиям, и в этом обиды нет никакой. Надо лишь как-нибудь обратно получить ее.

К счастью человека, нет, кажется, такого горя, чтобы время не уврачевало его. К осени и я успокоился и иногда думал лишь, как бы получить мое произведение обратно. Но, вот, в это время, именно в конце ноября 1881 г., утром совершилось то, чего уж мне и во сне не снилось.

Захожу я как-то в библиотеку. Вижу—лежит на столе только-что полученная октябрьская книжка „Отечественных Записок“. Начинаю, по обыкновению, просматривать оглавление и глазам своим не верю: „Очерки тюремной жизни“... „Неужели моя статья“?! Фамилии не было, но я и просил об этом редакцию, так как, в противном случае, обнаружено было бы мое преступление,—отправка статьи помимо начальства. „А что если кто-либо назвал так *свою* статью“?... Нервно начинаю искать ее в книге. Увы, последняя не разрезана, и я никак не мог раскрыть страницы со статьею. Роюсь среди статей и журналов.—Вот, наконец, костяной нож! Дрожащею рукою разрезываю листы... Вот она! Читаю несколько строчек... Моя!... Но только вторая часть... Что за история?! Боже, с каким бы трепетным удовольствием я взял эту книгу и побежал бы к жене, чтобы вместе разделить радость! Только она поймет мое счастье... Но и дома ее нет, и книжки нельзя взять... Начинаю читать сам... Но нет,—не читается... Я то открою, то закрываю книгу... К несчастью, приходят посетители. Надо читать, а то кто-нибудь возьмет... Бегло просматриваю статью и убеждаюсь, что помещена только вторая часть... Иду в свою старую квартиру—к Лесевичам и Южаковым, которые получали „Отечественные Записки“. Оказалось, книга пришла к ним еще третьего дня и они уже ее просмотрели.

— А что интересного в ней?—спрашиваю осторожно Лесевича, у которого был в это время и Южаков.

— Здравствуйте, Иван Петрович!—раздался голос Лидии Парменовны из соседней комнаты,—прочтите в „Отечественных Записках“—„Очерки тюремной жизни“,—несомненно кто-то из политических писал.

Я чувствую, что краснею от удовольствия, но стараюсь сдержать себя и, подделываясь под хладнокровие, небрежно бросаю:

— Пожалуй, не моя ли это статья?

— Ах, вот как!

Лидия Парменовна выходит с книгой и, поздоровавшись, отдает мне ее.

— Посмотрите...

Перелистывая книгу, словно бы я ее не видел, нахожу статью, пробегаю ее глазами и, еле сдерживая волнение, хладнокровно произношу:

— Да, моя, только, почему-то, вторая часть...

— Поздравляем!—искренно, почти в один голос произнесли Южаков и Лесевич с женой и горячо пожали мне руку.

Чувствую, что слезы радости навертываются у меня на глазах, растерянно достаю носовой платок и, будто бы, утирая нос, нарочно задеваю платком и глаза. Опасаясь возрастающего смущения, прошу дать мне книгу на дом. Просьба моя была немедленно исполнена, и я, наскоро простившись, ушел к себе.

Вероятно, я все же настолько сумел овладеть собой, что ни Южаков, ни Лесевич не говорили мне впоследствии о моем волнении, а они, особенно Сергей Николаевич, никогда и ничего от меня не скрывали и всегда откровенно высказывали свои впечатления.

Дома я уже застал жену, и, боже, сколько радостных минут мы пережили с нею, когда она громко прочла первое мое произведение в самом лучшем тогда органе!..

Помимо нравственного удовлетворения, помещение статьи сулило материальную помощь, в которой я чувствовал большую потребность. По определению Лесевича и Южакова, я должен был получить около двухсот рублей, что, при скромных потребностях наших и сравнительной дешевизне предметов первой необходимости, представляло целое богатство. Но, как ниже будет сказано, я не только не получил гонорара, но из-за него чуть было не погиб симпатичнейший студент петербургского университета, А. Н. Шепицын, с которым, как говорилось уже, я познакомился на каникулах 1881 г., когда он приезжал в Красноярск, бывший его родиной.

В конце 1881 г. над ссыльными вообще, над красноярцами в частности разразилась гроза. У разных лиц в Европейской России, при обысках в конце 1881 г., найдено было очень много сибирских адресов, предложенных для бежавших и бегущих. Это повлекло за собой массовые обыски и аресты, во время которых в Красноярске был, между прочим, аресто-

ван Симиренко, сосланный впоследствии в Иркутскую губ. В это же время нашли у кого-то и нашу газету—„Гони зайца дальше“.

В начале 1882 г., именно в ночь с 17 на 18 апреля, Красноярск постигло ужасное бедствие: от страшного пожара сгорела громадная часть города. Никогда я не забуду этого события, тяжело отразившегося на нашей жизни. Вечером 17-го апреля началась жестокая буря, какие только бывают в Сибири. Я, Валерия Николаевна и Григорий Петрович Андреев, живший с нами, пили в это время вечерний чай, прислушиваясь, как ветер рвал ставни, стучал дверьми и грозно завывал в трубах.

— Ну что, если бы в это время случился пожар?—неизвестно почему задал вопрос Андреев.

И вдруг, как бы в ответ на его вопрос, послышался набат.

— Боже мой,—воскликнула жена,—пожар!.. Слышите?!..

Накинув на себя, что попало под руки, мы вышли во двор и оцепенели: моря огня охватило уже громадную площадь! Совершенно инстинктивно мы побежали на пожар, но скоро должны были остановиться. Ужаснейшая буря несла целые облака раскаленной пыли, искр и громадные пылающие головешки. Все это падало на крыши, и на наших глазах один за другим загорались дома. Надо было подумать о своем жилище. Мы возвратились, наскоро вынесли свое убогое имущество на какой-то пустынный огород и опять побежали, надеясь оказать какую-нибудь помощь товарищам. Но в это время стихия разыгралась до таких размеров, пламя было так громадно, жар так несносен, что немыслимо было пробраться по пылающим улицам и приходилось обходить пожар полем.

О спасении деревянного города не могло быть и речи. Жалкая пожарная команда ничего не могла поделать, тем более, что, благодаря отсутствию хороших спусков к Енисею, с трудом можно было добывать воду, да и то в ничтожном количестве. До какой степени раскалилась вся атмосфера, можно судить по следующему факту. Прибрежные жители снесли свое имущество и пригнали скот на Енисей, еще покрытый льдом. И что же, несмотря на высокий берег, который должен бы служить спасением от жары и пламени,—на льду загорались вещи! В конце же концов, в довершение бедствия двинулся лед! Когда об этом разнесся слух, жители с ужасом бросились из реки спасать свое имущество, скот и даже спящих детей!

Пожар сам собой окончился на другой день утром, когда уже нечему было гореть. Громадное число жителей осталось

без крова. Сгорели и квартиры многих ссыльных; сгорело губернское присутствие, где хранились наши документы, и многие ссыльные, а том числе и я, остались, как говорится, „Иванами Непомнящими“.

Но этим беда не окончилась.

Как это всегда бывает при несчастиях, какие-то негодяи стали распространять слухи, что город подожгли мы, ссыльные. К счастью, Лохвицкий в это время еще не был устранен и употребил все усилия „спасти“ нас от общественного негодования. Однако, проект его оказался для нас не только совершенно неприемлемым, но таким, что, если бы мы согласились на предложение губернатора, тогда кем-то пущенная клевета приобрела бы характер правды. В самом деле, Лохвицкий советовал нам „переселиться“ в Красноярский монастырь, расположенный в красивейшей местности по ту сторону Енисея, против города. Отвергнув этот совет, мы, наоборот, потребовали, чтобы были тщательно исследованы причины пожара. Губернатор признал наше желание совершенно правильным. Вследствие этого была образована официальная комиссия, которая очень скоро убедилась в неосновательности обвинения нас в поджоге и опубликовала во всеобщее сведение данные по исследованию.

Так этот печальный инцидент и кончился. Но нас ждала другая беда, совсем неожиданная. Лохвицкого скоро удалили, при чем, как носились слухи, лишили, будто бы, пенсии „за ссыльных“. Исправляющим должность губернатора явился вышеупомянутый вице-губернатор Заботкин. Он очень скоро постановил—„очистить Красноярск“ от ссыльных, выслав часть в Минусинск, а часть,—в том числе всех евреев,—в Енисейск.

В это время я и Валерия Николаевна жили в одной квартире с недавно прибывшим в партии А. И. Иванчиным-Писаревым, которого, благодаря отчасти настойчивым хлопотам моей жены перед Лохвицким, удалось оставить в Красноярске.

Мы, сравнительно, сносно устроились, кое-чем обзавелись, и вдруг предписание: в 24 часа оставить Красноярск и этапным порядком отправиться в Минусинск!

Но наше положение было еще не так ужасно, как людей семейных, больных. А между тем пощады никому не было.

Нужно самому испытать этот жестокий административный произвол, самому пережить всю горечь бесправия, чтобы понять наше чувство, особенно, если принять во внимание невероятную весеннюю распутицу, когда вот-вот должен был двинуться лед на реках, через которые нам надо было переправляться.

Представьте себе такую картину: сидите вы в своей квартире и, прислушиваясь к завыванию ветра и стуку дождевых капель в стекло, пьете, предположим, всей семьей вечерний чай и мирно беседуете о разных житейских делах. Вдруг, является городовой и приносит вам бумажку, которую вы должны прочесть и расписаться, что читали. А в этой бумажке говорится, что *завтра*, без замедления, вы обязаны ликвидировать ваши дела, явиться в пересыльный замок, облечься в арестантский халат и отправиться этапным путем за 500 верст!

Представьте вы себе только это и тогда поймете наше настроение.

Кажется, в страстной четверг нас выбросили из квартир, пригнали в тюрьму, а оттуда направили в Минусинск. Для этого довольно было одного росчерка пера, быть может, не совсем трезвого администратора!

ЖИЗНЬ В МИНУСИНСКЕ.

Опять пересыльный замок, опять арестантский халат, опять телеги, стража, этапы!... Повторение пройденного, воспоминание о недавнем прошлом, но при неизменно худших условиях... „Свежо предание, а верится с трудом"... Миновал период „куцой" Лорис-Меликовской „конституции", и все изменилось до неузнаваемости. Словно бы какой-то маг и волшебник махнул в Петербурге реакционной палочкой, и на всем пространстве Руси настали тяжкие дни... Боже, как эластична российская власть! Лица все те же, но словно бы из них из'яли старые мозги, душу, сердце, нервы и всунули все это новое, согласно новым требованиям. И голос ее сделался грубее, и взгляд суровее, и обращение каторжное... Когда полтора года тому назад нас препровождали в эту же самую Восточную Сибирь, то к приходу партии не только тщательно чистились и белились этапы, но даже устанавливались елками. Жандармский офицер, Владимиров, сопровождавший нас от Москвы до самого Красноярска, был вполне корректен; то же самое можно сказать и о нижних чинах. А теперь? Этапы— в полной неприкосновенности: грязные, вонючие, с массой клопов, блох и вшей, как органическая, можно сказать, принадлежность уголовных партий, после которых этапы не чистились, как это было раньше; обращение дикое, как с лишенными прав уголовными преступниками, хотя не только суд нас не судил, а мы административным порядком даже не ссылаемся, а переселяемся из одного города в другой. А тут еще грозит опасность ни за что ни про что утонуть: весенний лед на быстрых и многоводных сибирских реках дал уже трещины, образовались громадные полыньи, через которые стража перебрасывает доски и пускает нас вперед, наблюдая с берега, благополучно ли мы перебираемся, и тогда следует за нами. В г. Ачинск, последний для нас пункт на большом сибирском тракте, отстоящий от Красноярска в 166 верстах, прибыли как раз в великую субботу. Отвратительнейшая ачинская тюрьма,—к тому же в ней свирепствовал тиф,—и пред-

дверие праздников воскресения Христова заставляли надеяться, что нас не будут держать в этой клоаке. Но не тут-то было! Не имея распоряжения, исправник наотрез отказался „взять на себя ответственность“, и нам пришлось лучшую из суббот, вызывающую так много воспоминаний со времени самого раннего детства, как и первый день праздника, провести в отвратительном остроге, достойном пера Дантэ. На мое счастье со мной была горячо любимая и горячо любящая жена. Ярким, радостным лучем озаряла она мрак жизни, и мне казалось, что он не проникает внутрь меня, а находится в каком-то отдалении, словно тяжелая картина, виднеющаяся на расстоянии. И думал я,—что если бы в мире не было любви, дружбы, привязанности? Жизнь тогда превратилась бы в одно сплошное горе, в одну невыносимую тоску, и стоило ли бы при таких условиях даже существовать? Для чего?

Из Ачинска мы двинулись в путь, оставив в тюремной больнице двух товарищей, заболевших тифом: старого моего знакомого, о котором упоминалось выше, инженер-технолога, Александра Ивановича Венцковского, и его жену, женщину-врача, Марию Михайловну. Никому из нас не разрешили ухаживать за ними, и мы в душе распрощались с этими умными и милыми спутниками, не веря в возможность вырваться им из когтей ужасной болезни при невозможных тюремных условиях. Но, забегая вперед, скажу, что, к нашей радости, они победили смерть: молодость и, вероятно, высокий душевный tonus преодолели „врата ада“, и Венцковские, кажется, даже нагнали нас.

Долго тянулись мы по степям, начавшимся от Ачинска, покуда не достигли, наконец, Минусинска. Боже, что за городишко! Маленький, серенький, он расположен на некрасивой ровной местности, орошаемой рукавом р. Енисея и его притоком—речушкой Минусинкою. Жуть брала при мысли, что он отстоит на 500 верст от губернского города, на 300 с лишним от большого тракта и является пограничным городом с Монголией!

Но что поделаешь? Надо было жить. „Везде есть люди“, утешали мы себя известной русской поговоркой, и скоро убедились в ее правдивости.

Я с женой и Г. П. Андреевым в самый день приезда в Минусинск нашли квартиру на Соборной площади, в доме Ивана Осиповича Крылова. За деревянный одноэтажный особняк в четыре комнаты с прихожей и кухней взяли с нас 10 рублей в месяц. И эта дешевизна была первым утешением, потому что в Минусинске ни на какие заработки расчитывать было нельзя, и вопрос о средствах являлся для ссыльных самым жгучим вопросом. Чтобы выяснить его и более к нему

не возвращаться, я считаю здесь уместным привести содержание следующей своей небольшой статьи, написанной для издававшейся Л. А. Полонским прекрасной газеты „Страна“, которая стала выходить в январе 1880 г., а через 3 года, в январе 1883 г., после двух предупреждений была приостановлена и больше уже издаваться не могла. Приводимая нами статья, хотя написана 30 лет тому назад, сохранила, как показательная, полную силу и до настоящего времени. Вот что писал я в ненапечатанной по цензурным условиям статье: „Некоторые газеты, за несколько времени до обнародования „Положения о полицейском надзоре, учреждаемом по распоряжению административных властей“, высочайше утвержденного 12-го марта 1882 г., высказали взгляд, что это „Положение“ издано с исключительной целью урегулирования отношения администрации к сосланным административным порядком и что оно предназначено, будто бы, для уничтожения произвола, царившего ранее, и вообще—облегчения участи ссыльных. Но так ли это? Уже при поверхностном ознакомлении с „Положением“ заметен, по меньшей мере, индиферентизм к ссыльным, внимательное же чтение приводит к убеждению, что оно, это „Положение“, явно направлено к ухудшению их существования, тем более, что статьи, клонящиеся в пользу ссыльных, совершенно не исполняются. Так, параграф 3-й гласит: *„при учреждении надзора должна быть определена и продолжительность, но на срок не свыше пяти лет“*. Но кто же тогда об‘яснит следующие факты: Шульгину, после трехлетнего пребывания в Сибири, назначено еще три года, т.-е. он пробудет в ссылке шесть лет; Гернету—тоже самое; князю Кропоткину, который пробыл в Сибири уже семь лет, еще назначено пять, или всего будет 12 лет; Буриоту, находящемуся в ссылке 8 лет, срок вовсе еще не назначен, хотя § 4 „Положения“ гласит: „срок надзора считается со времени об‘явления подлежащему лицу об учреждении над ним надзора“. Неужели же ни князю Кропоткину, ни Буриоту до „Положения“ не об‘являлось о надзоре?

Чем же мотивировали их высылку в Сибирь? Partie fine? Увеселительная прогулка, окруженная некоторою таинственностью? Правда, во второй половине § 4-го прибавлено: „если по сему предмету (т.-е относительно срока) не последует от власти, уполномоченной на учреждение надзора, особого распоряжения“. Но как же тогда понять категорическое требование § 3-го—„но на срок не свыше пяти лет?“ Одно из двух—или вовсе не должен быть срок, или, раз он узаконен, не место „особому распоряжению“, так как последнее вносит начало произвола.

Переходя затем к §§ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17, мы ясно видим, что ими административная ссылка приравнивается к тюремному заключению. В самом деле, ими, между прочим, воспрещается ссыльным выходить за окраину города, потому что ни одна статья не устанавливает, где именно находится та „черта“, которую не может переходить ссыльный. В то же время примечание к 32 § определенно гласит, что „за самовольную отлучку поднадзорных из мест, назначенных им для жительства, они подвергаются суду и наказанию, определенному в ст. 63 уст. о наказ., налагаем. миров. судьями, т.-е. аресту не свыше трех месяцев или штрафу не свыше 300 руб.“. Но может быть и много хуже, потому что местная администрация,—как это уже бывало,—может выход ссыльного за черту города об‘яснить „побегом“, за каковой полагается ссылка в Якутскую область. § 18 почти узаконяет произвол по отношению к ссыльным, наделяя местную полицейскую власть правом „входа в квартиру поднадзорного *во всякое время*“, т.-е. когда она, эта власть, захочет, без всякого повода. И уже имеется не мало прецедентов, что, руководствуясь названным §-ом, полиция, во-первых, лазила под кровати, забиралась в сундуки и шкатулки на том основании, что кто-то откуда-то „бежал“, а во-вторых, опасаясь „разоблачений“, она делала „обыски и выемки“ с единственной целью узнать, „кто пишет в газеты“. §§ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 направлены не только к полному экономическому стеснению ссыльных, но прямо, как говорится, лишают их куска хлеба. Действительно, этими §§-ми ссыльным воспрещаются всякие занятия, а умственные в особенности. Между тем, подавляющее большинство ссыльных, состоящее из интеллигенции, может жить только умственным трудом, преимущественно работой (сотрудничеством) в газетах и журналах. Но что удивительно, так это то, что § 37 грозит лишением пособия ссыльным, „уклоняющимся от занятий по лености, дурному поведению или привычке к праздности“. Всякого рода работа и занятия воспрещены, а за „леность“ и „праздность“—„лишения пособия!“. К слову, скажем об этом „пособии“.

Во всех местах, кроме Якутской области и северных частей Иркутской губернии, оно выражается суммою в 6 р. в месяц. Возьмем же самый благодатный край, как Минусинский, который считается „житницей Сибири“. Пуд хлеба здесь стоит 60—70 к.; мясо от 6—$7^1/_2$ коп. за фунт; сахар—от 40—48 к. фунт; керосин—фунт 20 коп.; квартира от 2—17 руб. в месяц; картофель—12—15 к. ведро; яйца—80 коп.—1 р. сотня; соль—2—3 к. фунт; капуста—20—30 коп. ведро; молоко—5—10 к. кувшин; табак—72 к. 3-й и 1 р. 20 к. 1-й сорт за фунт; гречневая крупа—3—4 к. фунт. Высчитаем те-

перь самое необходимое количество на одного человека в месяц продуктов, без которых немыслимо обойтись, и вот что получается:

15 ф. мяса по 6 коп. фунт		90 к.
8 ф. крупы по 3 коп. фунт		24 „
1 ведро капусты		25 „
$1^1/_2$ пуда хлеба ржаного	1 р.	20 „
$^1/_4$ ведра картофеля		3 „
1 фунт сахару		40 „
$^1/_4$ ф. чаю		30 „
1 фунт табаку		72 „
2 ф. соли по 2 к.		4 „
Приправа разная		50 „
Квартира (почти лачуга)	2 р.	— „
Освещение	1 р.	— „
Мойка белья		50 „
Итого	8 р.	08 к.

Вряд ли кто может этот бюджет причислить к требовательным. Здесь все необходимое, чтобы только кое-как существовать, и все же выходит, не включая молока, на 2 рубля 8 копеек больше, чем выдается пособие. А ведь надо же как-нибудь одеваться, приобретать время от времени какое-нибудь белье, обувь. Но об этом, конечно, не может быть и речи. В таком виде рисуется быт административно-ссыльных по „Положению 12-го марта 1882 года“.

Вот что гласили статьи, непосредственно относившиеся к ссыльным.

1) Полицейский надзор, как мера предупреждения преступлений против существующего государственного порядка, учрежден над лицами вредными для общественного спокойствия. 21) Лица поднадзорные не могут состоять на государственной и общественной службе, но могут быть допускаемы к письменным занятиям в правительственных и общественных учреждениях по найму, с тем однако, условием, чтобы всякий раз испрашивалось на то разрешение у министра внутренних дел. 22) Лица поднадзорные не могут быть учредителями, председателями и членами в частных об-вах и компаниях, а также председателями и членами конкурсных управлений. 23) Поднадзорным лицам воспрещается: а) всякая педагогическая деятельность, б) принятие к себе учеников для обучения их искусствам и ремеслам, в) чтение публичных лекций, г) участие в публичных заседаниях ученых об-в, д) участие в публичных сценических представлениях, е) вообще всякого рода публичная деятельность, ж) содержание типографий, литографий, фотографий, библиотек для чтения и

служба в них в качестве приказчиков, конторщиков, смотрителей над рабочими, з) торговля книгами и всякими принадлежностями и произведениями тиснения, и) содержание трактиров и питейных заведений, а равно и торговля питиями. 28) Все остальные занятия, позволенные законом, разрешаются поднадзорным, но с тем, что от местного губернатора зависит воспретить избранное им занятие, если оно служит сему последнему средством осуществления его предосудительных замыслов, или, по местным условиям, представляется опасным для общественного порядка и спокойствия. О всяком таковом воспрещении, а равно и об основаниях к оному, губернатор немедленно доводит до сведения министра внутренних дел, от которого зависит отменить воспрещение, если он признает то нужным. 34) Лица, высланные под надзор полиции и не имеющие собственных средств к существованию, получают от казны пособие, на основании существующих узаконений. 35) На тех же основаниях получают они пособие на одежду, белье и обувь. 19) Местная полицейская власть имеет право входа в квартиру поднадзорного во всякое время.

Что касается лично меня, то, имея возможность зарабатывать литературным трудом, мне оставалось лишь найти способ пересылать статьи без ведома администрации и сноситься с редакциями при посредстве адресов лиц, не состоящих под надзором; и это, как увидим ниже, не трудно было устроить. Много сложнее был вопрос о получении денег. На этой почве у меня скоро произошло более чем неприятное дело. Я уже говорил, что в 1881 г. в *„Отечественных Записках“* были помещены мои „Очерки из тюремной жизни“. Денег за них в Красноярске я получить не успел и написал студенту петербургского университета знакомому уже А. Н. Шепицыну, с которым близко сошелся в Красноярске, чтобы он зашел в редакцию, получил гонорар и выслал его мне в Минусинск. Молодой приятель мой ответил, что охотно исполнит мою просьбу, а затем, сравнительно скоро, я получил от него другое уведомление, что деньги высланы. Но проходят все сроки, а их нет, как нет. Наконец, вместо 150 р. минусинская почта получает на мою фамилию (имя было переврано) пакет со вложением... 7 руб.!—Я телеграфирую об этом Шепицыну. А следует заметить, что в то время телеграмму из Минусинска надо было предварительно нарочным отправить в Ачинск, т.-е. за 300 с лишним верст. Это стоило очень дорого, почему сношение телеграммами производилось в самых экстренных случаях. После долгих ожиданий, вместо ответа на телеграмму я получаю, такого содержания повестку: „Дворянин Черниговской губернии, Иван Петрович Белоконский, вызывается в 1-е отделение С. Петербургского окружного суда к $10^1/_2$ часам утра

на 7 ноября 1885 г., как свидетель по делу Чеканинского, обв. по 294 ст. улож.“ Когда я спросил исправника, как же мне быт?. Он ответил: „Никак,—ехать Вам, конечно, не разрешат“. Но скоро я получаю вторичную такого же содержания повестку с назначением прибыть 2 декабря 1885 г. Результат, понятно, был тот же. Наконец, меня через некоторое время вызвал... местный судебный следователь.Моему изумлению не было пределов, когда он начал расспрашивать о моих отношениях к Шепицыну. „Что такое?“—задавался я мучительным вопросом,—не за меня ли его привлекли? не за знакомство ли со мною, как с государственным преступником? И, дав в душе утвердительный ответ на этот вопрос, я, желая выпутать Шепицына, стал утверждать, что „никакого Шепицына никогда не знал и не знаю“. Судебный следователь, заглядывая в какую-то бумагу, только плечами пожимал и раз пять повторил: „неужели не знали? вспомните, не познакомились ли с ним в Красноярске? Он утверждает, что хорошо знает вас“.— „Дудки,—думаю я,—не подведешь“! И продолжал стоять на своем: „не знаю, не знаю и не знаю“. Так я написал в допросном листе и, довольный своей твердостью, ушел от следователя. Как вдруг через месяц получаю из Петербурга, написанное кем-то, вероятно имевшим свидание с Шепицыным, письмо, в котором говорилось, что, отрицая знакомство, я топлю Шепицына, умоляющего, чтобы я говорил „всю правду“. Дело же оказалось самого гнусного содержания и состояло в следующем. Шепицын, отправившись, по моей просьбе, в редакцию, получил сто пятьдесят рублей, а затем дома, вложив их вместе с письмом ко мне в куверт, понес на почту. По дороге он встретил товарища, также студента петербургского университета и, спеша куда-то, попросил, чтобы коллега отправил мне деньги. Последний охотно согласился, с целью, как оказалось, смошенничать. Он послал мне только семь рублей, уничтожив письмо и куверт Шепицына и своей рукою написав мой адрес! Затем в почтовой расписке он эти семь рублей переправил на сто пятьдесят, уверенный, что товарищ не обратит внимания на подлог. Так и случилось. Благородный и доверчивый Шепицын не мог и в мыслях допустить, чтобы студент оказался мошенником. Когда я уведомил его, что прислано вместо ста пятидесяти—семь рублей, он немедленно отправился в петербургский почтамт, чтобы раз‘яснить недоразумение. У него потребовали расписку, и Шепицын, не глядя, отдал ту, которую получил от коллеги. Почтовому чиновнику не стоило труда убедиться в подлоге. Он попросил Шепицына „подождать“, а в то же время дано было знать полиции, и оказавший мне услугу Шепицын из почтамта был прямо препровожден под арест, где ему пред‘явлено было

обвинение в уголовном преступлении! Представьте себе психологию идейного юноши: он—мошенник!..

Но в чем же его обвиняют? Шепицын ровно ничего не понимал. Он даже не догадался сказать, что не лично отправлял деньги, так как ему и в голову не приходил злостный обман. Когда же, наконец, из допросов Шепицын стал догадываться, в чем дело, он указал на посылавшего, чтобы выяснить недоразумение; последний наотрез отказался, заявив, что никогда и никаких денег он от Шепицына для отправки мне не получал! Таким образом, ни в чем неповинный Александр Николаевич был опутан паутиной злостной уголовщины и, сославшись на меня, ждал в тюрьме последней помощи, сгорая от стыда, позора и негодования! А я, ничего тоже не понимая, вместо спасения, еще больше запутывал дело, отвергая всякое знакомство с Шепицыным. Если бы мне об этом не сообщили из Петербурга, моего приятеля тогда бы осудили за подлог! Когда же я получил письмо, раз'яснившее суть дела, у меня, как говорится, волосы стали дыбом от ужаса, что я гублю напрасно преданного и услужливого студента. Что делать? После обсуждения вопроса с женой, я немедленно послал в Петербург судебному следователю заявление, где изложил всю истину, откровенно добавив, что прежние мои показания совершенно неверны и мотивировались стремлением выгородить Шепицына, которого, думалось мне, обвиняют в государственном преступлении за знакомство с ссыльными, в том числе и со мной. К моему величайшему счастью, заявление мое достигло цели: Шепицына освободили и привлекли к ответственности настоящего виновника, что я узнал по новому допросу меня следователем. Я хотел выгородить и этого несчастного, ответив отрицательно на вопрос, нуждаюсь ли в деньгах и большую ли помощь оказали бы мне 150 руб. Но ничего не вышло: Чеканинского судили за подлог, лишили всех прав состояния и, кажется, сослали в Сибирь или отдали в арестантские роты. Должен признаться, что гибель полутораста рублей была для меня весьма чувствительна, тем более, что сибирские газеты, в которых легче и удобнее было сотрудничать, не могли надлежащим образом оплачивать труд. Больше всего писал я в „*Сибири*“, издававшейся в Иркутске, а затем в „*Восточном Обозрении*“, начавшем выходить в 1882 г. в Петербурге. Здесь, кстати сообщу, что Николай Михайлович Ядринцев, предложив мне принять постоянное участие в его газете, просил в то же время порекомендовать и других сотрудников из политических ссыльных в Сибири. Я прежде всего обратился к В. Г. Короленко, который в то время находился в Якутской области, и он не замедлил прислать мне ответ нижеследующего содер-

жания: „Спасибо, Иван Петрович, за ваше сообщение. С великим бы удовольствием отозвался на приглашение Ядринцева, но вопрос этот пока еще представляет неразрешимую проблему. Я говорю о возможности писать для печати. Впрочем, сделаю попытку с своей стороны,—остальное будет зависеть от обстоятельств „независящих"... У нас переписка еще от контроля не из'ята, и прежний исправник даже прямо об'явил мне,что писать для печати безусловно не дозволяется. Кажется, впрочем, что это был только личный взгляд г. исправника, который он имел полную возможность проводить и на деле. Теперь начальство у нас переменилось и, кажется, нам будет разрешено то, что нигде не воспрещается. Посмотрим. От Папина поклон вам и Валерии Николаевне. От меня, конечно, также. Где-то здесь, в Якутских палестинах находится знакомый Валерии Николаевны—Долинин. О нашей обстановке и образе жизни вы, вероятно, знаете. Теперь нового ничего. Жму вашу руку".

Из этого письма я заключил, что Владимир Галактионович не знал еще о „Положении 12 марта 1882 г.", потому что, как иначе об'яснить его фразу:—„У нас переписка еще от контроля не из'ята",—когда названным „Положением" контроль узаконялся, и переписка поднадзорных *никогда* из-под контроля не освобождалась. То же самое следует сказать и относительно того места в письме, где говорится: „прежний исправник даже прямо сказал, что писать для печати безусловно не допускается. Кажется, впрочем, что это был только личный взгляд исправника"... Увы, исправник был безусловно прав: „Положение 12 марта 1882 г." (§ 6) совершенно лишало поднадзорных права литературной деятельности. Это абсурд, неведомый, вероятно, ни в одной цивилизованной стране, но это факт, который, как далее увидим, и мне сильно дал себя знать.

Скажу здесь к слову, что в это же время я получил от возратившегося в Россию С. Н. Южакова из Екатеринослава большое письмо, в конце которого он писал:

„Друзья мои, здесь вовсе не так хорошо и не так сладко живется, как из Вашего (впрочем, вовсе не прекрасного) далека это может казаться. Мое екатеринославское сиденье, поверьте мне, в некоторых отношениях даже тяжелее сиденья красноярского и даже томского. Там я был в неволе политической, но одиноким не был, а здесь я сижу в горшей неволе экономической и вдобавок чувствую полное одиночество. Правда, неволя экономическая есть прямое последствие и как бы продолжение неволи политической, но это сознание, конечно, прибавляет лишь новую горечь и больше ничего. Тяготение за той слепой силой, что сокрушила жизнь и бросила на берега Енисея, оно же и теперь связывает тебя путами

экономического бессилия; чувствуешь себя еще в руках того же кошмара, что начался в 1877 г., а между тем внешние путы неволи уже отошли в прошедшее. Вот в чем тяжесть положения возвращенного: ему нет места на родине, при этой ужасной политической лихорадке, что мы переживаем и которая равно разит правого и виновного.

Тяжело жить, тяжело дышать, нечего делать,—не лучше ли и для Вас самих, что Вас просят обождать? Подумайте да потрудитесь, да не зарывайте своего таланта в землю (это уже Ваша обязанность, Валерия Николаевна, присмотреть).

С этими грустными размышлениями я почти забыл, что должен еще Вас поздравить обоих с первою годовщиною Вашего брака. Да, год тому назад я был с Вами, друзья мои, в Красноярске. Вы, мои четыре свидетеля, а где все мы? Желаю же Вам, добрые друзья мои, провести и следующие годы, многие годы Вашего супружества, так же счастливо, как, уверен я, провели Вы этот первый год, но вместе с тем, чтобы больше ни одного года не было, который своим внешним тяжким ударом как бы боролся с медовым временем. Желаю Вам счастья, любви и свободы, а теперь от искреннего сердца приветствую Вас и остаюсь душевно преданный.

С. Южаков“.

Возвращаюсь к прерванным воспоминаниям об устройстве в новом месте жительства.

Первым, кто познакомил меня и жену с условиями минусинской жизни, был князь Александр Алексеевич Кропоткин, родной брат известного географа и анархиста, князя Петра Алексеевича Кропоткина.

По словам Джорджа Кеннана, „кн. Кропоткин не был ни „нигилистом“, ни „революционером“. Впервые его арестовали еще в 1858 г. студентом Петербургского университета за одну английскую книгу, данную ему профессором Тихонравовым, которого он не хотел назвать. По окончании университета, кн. Кропоткин занимал видный пост в почтово-телеграфном ведомстве и в это время имел столкновение с министром внутренних дел, из-за чего и вышел в отставку. В 1876 г. он был вторично арестован и сослан в Минусинск, по совершенно неопределенному, но роковому в России обвинению в „политической неблагонадежности“. Судить его было не за что“...

Александр Алексеевич нанес форменный визит, чем немало смутил нас.

Когда он позвонил, Валерия Николаевна, принципиально отрицавшая прислугу, сама подтирала полы, а я, одетый в старую блузу и туфли на босую ногу, наливал в лампы керосин.

Полагая, что явился кто-либо из приехавших с нами товарищей, я, не приводя себя в порядок, отправился отворить дверь.

Каково же было мое изумление, когда я увидал высокого, худого, с большою бородою, совершенно прилично одетого господина в очках, а у под‘езда стоял экипаж, запряженный парою лошадей.

— Извините,—растерянно залепетал я...

— Князь Кропоткин,—отрекомендовался на это Александр Алексеевич, приветливо улыбаясь и протягивая мне руку.

— Извините, мои руки в керосине... Пожалуйте...

Но тут на выручку явилась, успевшая кое-как приодеться, моя жена, которая и заняла князя, а я, воспользовавшись этим случаем, юркнул, чтобы придать себе хотя приблизительно человеческий вид.

Однако, с первых же слов выяснилась такая простота Кропоткина, такая его сердечность, что у нас, как говорится, развязались языки и полилась живая беседа.

Князь, еще семь лет тому назад сосланный в Минусинск, конечно, превосходно изучил маленький городишко и сообщил нам самые утешительныю сведения.

Как старинный ссыльный пункт, Минусинск давно уже приобщен к культуре. Первыми насадителями ее были еще декабристы, потом поляки 30-х и 60-х годов, наконец, русские государственные преступники. При этом многие из поляков сделались уже постоянными жителями Минусинска и его округа и проявляли искреннее сочувствие русским. Скажу здесь к слову, что впоследствии я собрал немало сведений о жизни в Минусинске декабристов и статью о них послал в „Русскую Старину“. Мих. Иван. Семевский уведомил меня, что статья интересна, принята и будет напечатана. Но, увы, она не появилась до самой смерти редактора этого популярного в свое время журнала, а со смертью Семевского исчезли все следы для розыска статьи.

Как к ссыльным полякам относилось местное население, тому доказательством может служить следующий факт, имевший место в Енисейске. Молодой поляк нанимал у одной обывательницы квартиру. Та начала расспрашивать его, за что он попал в Сибирь.—„Убил ты что-ли кого“? — „Нет“,—отвечал поляк.—„Может, украл?“—„Нет, и не крал“.—„Так за что же тебя сюда послали?“—„Я—поляк“.—Обывательница взглянула на допрашиваемого с состраданием и, грустно покачав головой, произнесла: — „такой молодой, а уже поляк!“ Очевидно, обывательница считала слово „поляк“ названием неизвестного ей, но какого-то тяжкого преступления. В квартире, однако, молодому человеку она не отказала. Возвращаюсь к Кропоткину.

Он назвал фамилии польских семей: Корженевские и Войцеховские, а из русских указал на акцизного надзирателя Куна, доктора Малинина и особенно на Николая Михайловича Мартьянова, творца минусинского музея, в котором работал и князь Кропоткин, занимаясь в то же время астрономией. Единственно, что было для нас тревожно в сведениях Александра Алексеевича, так это то, что лично ему в Минусинске жизнь стоила недешево. Но скоро, однако, выяснилось, что все это зависело от самого князя, который не в силах был отказаться от многих привычек былого и сузить себя до тех рамок, в которые, и в силу необходимости, и по принципу, вдвинули себя мы. При всем теоретическом стремлении к демократизму, он не мог отказаться от множества привычек, как, например, держание лошадей в городе, который, как говорится, можно было переплюнуть и т. п. Между прочим, будучи несколько лет единственным „государственным преступником" в Минусинске, князь перезнакомился со многими обывателями и, чтобы поддержать престиж поднадзорного, отдавал им тем же, что получал, т.-е. устраивал у себя вечера, не уступавшие обывательским и т. п. С нашей точки зрения, все это были „слабости", не соответствовавшие истинному демократизму, но Александр Алексеевич и его семейство, состоявшее из жены и двоих детей, были настолько симпатичны, настолько искренни, чистосердечны и просты, что мы ограничивались лишь дружеским указанием на необходимость „сокращений" расходов, с чем Кропоткин теоретически совершенно соглашался. Весьма возможно, что он, под влиянием ссыльных, осуществил бы это на практике, но очень скоро Кропоткин переведен был в Томск, где и лишил себя жизни.

Что заставило его сделать это, для нас осталось неизвестным, но носились слухи, будто и в этом тяжелом случае не малую роль играли материальные условия,—мысль об отсутствии средств к жизни.

Это подтверждается и „Восточным Обозрением", в № 34 которого за 1886 г. сообщалось о самоубийстве Александра Алексеевича. Именно там говорилось: „Он уже собирался вернуться в Россию, уже отправил жену и троих детей к родным в Харьковскую губернию. Он горячо любил свою семью и после от'езда жены и детей почувствовал себя одиноким, впал в уныние, затосковал по ним. К этому присоединилась еще тревога по поводу отсутствия средств к жизни. Некогда довольно богатый землевладелец, князь Кропоткин за долгий период ссылки в Сибири прожил почти все свое состояние, так что после его смерти у него оставалось имущества не больше, чем на 300 руб. В 45 лет ему предстояло впервые серьезно подумать о том, чем жить и на что содержать семью,—

вопрос тем более трудный, что в России человек науки не может рассчитывать много заработать на литературном поприще, а ни к чему другому князь Кропоткин не чувствовал себя способным“......

Я немного опередил события, сделав это, чтобы более уже не возвращаться к кн. Кропоткину.

Теперь, следуя хотя приблизительно хронологическому порядку, скажу, что первое знакомство мое в среде минусинских обывателей было с Николаем Михайловичем Мартьяновым, о котором, помимо кн. Кропоткина, ранее слыхал кое-что и в г. Красноярске.

Наперед скажу, что это был замечательный человек, который навсегда искоренил у меня распространенный взгляд, что среда засасывает людей, что в глухой провинции гибнут таланты, что в медвежьих углах не может проявиться никакая сила.

Выдержав экзамен на провизора в Казанском университете, в котором слушал соответствующие лекции, Мартьянов, кажется, по предложению д-ра Малинина, приехал в Минусинск, где и занял место провизора в аптеке названного доктора. А кто не знает обязанности провизора, особенно если у него нет помощника. Приходится, не покладая рук, работать с утра до ночи. Так и работал Мартьянов, потому что был он человек бедный, который должен был, помимо себя, содержать еще родственников, живших в России. Особенно тяжелыми были для него базарные дни, когда в Минусинск стекались люди с разных мест и, конечно, старались запастись лекарствами в единственной на весь округ аптеке. Во время базаров Мартьянов, что называется, не разгибал спины, изготовляя и отпуская лекарства.

Мыслимо ли, казалось бы, еще что-нибудь делать при таком каторжном труде?

А между тем Мартьянов создал замечательный Минусинский музей, слава которого дошла до Европы, миновав, как это часто бывает, Россию; образовал прекрасную при нем библиотеку, способствовал всестороннему изучению округа в естественно-историческом отношении, вообще взростил ранее брошенные семена культуры и насадил новые деревья ее, получив еще при жизни своей обильные плоды.

В первый же мой визит к нему я уже воочию увидел и понял метод его работы, если можно так выразиться.

Аптека, где он меня принял, была битком набита народом всех полов и возрастов, и многие из посетителей, особенно дети, которых, к слову сказать, Мартьянов наделял лакомствами, доставляли Николаю Михайловичу всякого рода „редкости“: кто—камни, кто—кости, кто—растения, кто—насе-

комых, вообще все то, что принесшему казалось заслуживающим внимания, „редкостью“, имеющей право занять место в музее. И все эти оригинальные дары Мартьянов любезно принимал, складывал в одну кучу, одновременно продолжая тут же, на глазах всех изготовлять лекарства и, не отрывая глаз от колбочек, весов, пробирок, баночек, банок и т. п., без умолку беседовал с пациентами, расспрашивая их, что они видели или слышали замечательного, обращали ли внимание в местах своего жительства на то, на что он указывал в прошлый раз, не могут ли достать для музея то-то и то-то и т. д.

Я был поражен и трудоспособностью и способностью Мартьянова, но в то же время не видел никакой возможности познакомиться с ним в общепринятом смысле и, посидев некоторое время, собрался уходить.

— Куда же вы?—задержал меня Николай Михайлович.

— Я зайду как-нибудь в другое время, когда вы будете более свободны...

— Да у меня никогда больше времени не бывает,—всегда так... Впрочем, позвольте, вы когда встаете?

— Часов в семь.

— Можно к вам в это время нанести визит?

— В семь-то часов?

— Да, да, я только и хожу по гостям, что ранним утром, до открытия аптеки, и поздним вечером, после ее закрытия.

— Буду очень обязан...

— А если что-нибудь задержит—позвольте часов в 11 вечера забежать?

— Сделайте одолжение...

По правде сказать, я думал, что все эти обещания являлись простою вежливостью страшно занятого человека, действительно не имеющего возможности знакомиться обыкновенным способом, но и не желающего в то же время оскорбить нанесшего ему визит, и не надеялся на скорое посещение меня Мартьяновым.

Но каково же было мое удивление, когда на другой же день ранним утром послышался звонок и, отворив дверь, я увидел Николая Михайловича.

— Не ожидали?—улыбаясь, спросил он меня.

— Должен признаться, что да... Пожалуйте...

— Я мог бы еще раньше придти, да все разбирал вчерашние дары для музея.

— Не выпьете ли чаю?

— С удовольствием... А самовар уже готов?... Я, ведь, долго не могу..

— Все готово...

— Отлично...

Мы отправились в столовую, где Николай Михайлович познакомился с женой, и за чаем полилась у нас оживленная беседа.

Мартьянов рассказал, что из приносимых ему „редкостей“ подавляющее большинство, как ни на что непригодное, выбрасывается вон, а кое-что всегда остается, как ценное, и идет в музей...

Но массовые пациенты вообще мало сочувствуют росту музея и библиотеки; наиболее существенные и обильные материалы добываются путем утилизации интеллигентных сил.

— Всякий интеллигентный человек должен дать все, что может, для той местности, где проживает...

Мартьянов при этом словно пронизывал меня и жену своим взором, как бы узнавал, что от нас он может получить.

И скоро он узнал.

— Я вижу, господа, что оба вы могли бы кое-что сделать для библиотеки... Прежде всего, нет ли у вас каких-либо книг, которые вы могли бы для нее пожертвовать?.. Затем, нужно составить каталог... Если пожелаете, работать у нас можно, и время ссылки пролетит незаметно и с пользою... Я даже не понимаю, как не найти захватывающего дела в любом месте на земном шаре... Везде интересно...

Мартьянов посидел не больше часу, и за это время обворожил и меня, и жену, при чем мы отдали все „ненужные“ книги и согласились работать в библиотеке.

Так мало-по-малу привлек он, начиная с кн. Кропоткина, большинство ссыльных, причем некоторые из них, приложив свои богатые научные силы, принесли громадную пользу не только музею, как таковому, но, при посредстве последнего, и науке.

Один из выдающихся примеров этого рода мы встретим в лице Д. А. Клеменца, о котором речь впереди, а о другом любопытном работнике музея скажу теперь же.

Это именно бывший технолог, Гр. Петрович Андреев, о котором я упоминал несколько раз, при чем говорил о его необыкновенной молчаливости, точности и аккуратности. В Красноярске качества эти проявлялись в изготовлении паспортов, а в Минусинске, благодаря Мартьянову, были с громадным успехом утилизированы для науки. Андреев проявлял большую склонность к изучению природы вообще и в особенности к ботанике. С редким усердием в разное время и при всяком случае собирал он растения, тщательно их засушивал, расправлял, определял и составлял гербарии. Но, будучи человеком без всяких средств, живя исключительно на 6 руб.

ежемесячного пособия, из которого умудрялся даже одеваться, Андреев, конечно, немог совершать дальних экскурсий, тем более, что, по нездоровью, ему было трудно ходить пешком. Поэтому он ограничивался собиранием флоры только в бедных природою ближайших окрестностях самого города. А для Мартьянова было, конечно, интересно произвести ботанические изыскания по всему округу. И, вот, в одно прекрасное время для Григория Петровича, на добытые каким-то путем Мартьяновым средства, были куплены кляча и тележка. Андреев был в восторге от такого сюрприза и с необыкновенным рвением принялся за исследование флоры в пределах досягаемости, если можно так выразиться. В конце-концов он составил в нескольких экземплярах богатейший гербарий флоры Минусинского округа. Часть их Андреев пожертвовал музею, а два дублета хотел отправить в какое-нибудь Российское научное учреждение, которому стоило бы уплатить лишь за пересылку. И что же? Охотников не нашлось!.. Куда ни обращался Андреев, никто не пожелал бесплатно воспользоваться его богатым научным даром! И так, вероятно, дублеты погибли бы, если бы на выручку не явился американец в лице известного Джорджа Кеннана, о котором будет говориться далее. Познакомившись с Андреевым и увидев у него собрание минусинской флоры, знаменитый публицист был поражен, узнав, что Григорий Петрович не знает, что делать со своим гербарием, немедленно купил два экземпляра гербариев и отправил их в Америку. Н. М. Мартьянов крайне был опечален индиферентизмом русских научных учреждений.

Чтобы не возвращаться больше к Мартьянову, скажу, что дружеские отношения мои с ним сохранились не только в течение всего времени пребывания в Минусинске, но и по возвращении в Россию. Между прочим, он нежданно негаданно посетил меня в Харькове. Это было в 1907 г., когда, по совету врачей, он отправился из Минусинска в Крым, именно в Севастополь, и по пути остановился в Харькове. В течение всего времени пребывания его здесь мы виделись ежедневно. Совершенно больной, он пользовался каждой секундой облегчения, чтобы говорить о науке, труде, культуре, и не переставал заботиться о своем музее. Лишь в редкие моменты тяжелых приступов болезни Николай Михайлович падал духом и тогда я, насколько мог, утешал его, советовал „не киснуть". Из Севастополя я получил от него следующие два, уже последние, письма:

1)—„Дорогой Иван Петрович! Сейчас получил ваше письмо. Спасибо вам, милый Иван Петрович, за ваши бодрящие строки. В Харьков приеду на скором поезде 15-го апреля и думаю остановиться в гостинице старый „Бель-Вю", если, конечно,

найду подходящие номера. Если Затворницкий хворает, то нельзя ли попросить Масловского. Соболев писал мне. О своем приезде в Харьков я извещу своевременно. При свидании увидите, имею ли я основания „киснуть“,—хотелось бы держаться молодцом. До скорого свидания, дорогой мой! P. S. Валерии Николаевне низкий поклон“.

2) „Христос Воскресе! С праздником, добрейший Иван Петрович!

Желаю вам здоровья и всех благ. Искренно благодарю вас за вашу готовность хлопотать по моим личным делам, о чем писал мне А. Н. Макаревский. Мое здоровье значительно ухудшилось со времени, когда я виделся с вами. Думаю опять приехать в Харьков за советом врачей. Если в состоянии буду ехать, то приеду 15-го апреля. Моя просьба к вам заключается теперь в том, чтобы вы повидались в Влад. Алек. Затворницким и спросили его, будет ли он в это время в Харькове и согласен ли он на то, чтобы на консилиум пригласить д-ра Масловского. Если согласен, то лично или при посредстве Вас. Яковл. Данилевского попросите д-ра Масловского не отказать быть на консилиуме. Если окажется, что ехать в Харьков в это время не буду в состоянии, то предупрежу вас телеграммой и затем вышлю на ваше имя деньги для передачи г-ну Соболеву, который со своим братом согласен ехать в Минусинск. Мне тяжело писать. У меня теперь невыносимая боль спины, груди и под ложечкой. Несмотря на наступившие теплые дни, мне не лучше. Отчеты по музею, сейчас только мной полученные, выслал вам под бандеролью. Имейте в виду, что еще никому полученные отчеты не высланы. До свидания, дорогой мой“.

Приехал из Севастополя Мартьянов совсем больной, так что врачи не решались даже отпустить его в Минусинск. Но Николай Михайлович всеми силами души стремился в близкий его сердцу город, который он прославил на весь мир, и в конце-концов его повезли туда. Но в этом году от жены его я получил известие о смерти Николая Михайловича.

Возвратившись в Россию, я поместил две статьи о Мартьянове и Минусинском музее: в „Северном Вестнике“ и „Вестнике Европы“ и, кроме того, читал лекции на эту тему.

Придерживаясь того плана, который применен был мною при описании жизни в Красноярске, я должен был бы прежде всего приступить к изображению лично-материальной и духовно-общественной жизни ссыльных в Минусинске вообще, а затем уже коснуться своей персоны. Но в первый же год пребывания в этом городе в мою жизнь вторглось такое тяжелое событие, которое заставило меня временно изолироваться от товарищей и всецело отдаться личным интересам. Событие это—

побег моей жены из Минусинска, учиненный зимою 1882 г. Ему предшествовали и его сопровождали такие обстоятельства.

К слову сказать, об этом побеге, его мотивах и последствиях говорит Джордж Кеннан в известной книге: „Siberia and the exile system“, volume one London 1891 г. Но сведения, сообщаемые знаменитым американским публицистом,—о котором буду говорить в своем месте,—не совсем точны. Об‘ясняется это, нужно думать, тем, что Дж. Кеннан писал о побеге моей жены и о ней самой до встречи со мною, на основании данных, сообщенных ему до приезда в Минусинск, где он со мною познакомился. Возвращаюсь к побегу.

Я уже говорил, что Валерия Николаевна горячо любила своих престарелых отца, мать и юных сестер, сосланных в Архангельскую губернию. От последних вскоре после приезда в Минусинск она получила тревожное письмо, в котором сообщалось, что, с окончанием срока гласного надзора, прекратится и казенное пособие, являющееся единственным средством существования разоренной ссылкою семьи, и, таким образом, предстоит совершенно неизвестное будущее. В то же время на прошение родных о разрешении моей жене временно приехать в Россию для устройства семейных дел и лечения получился категорический отказ. Между тем здоровье Валерии Николаевны к этому времени заметно пошатнулось. Не говоря уже о сильнейшем нервном расстройстве, явившемся следствием всего пережитого с ранних лет и переживаемого, были явственные признаки ревматизма, как, вероятно, результат простуды в пути.

Таким образом, создались тяжелые условия, из которых необходимо было изыскать какой-либо выход. Конечно, если бы дело шло об одной болезни, Валерия Николаевна, менее всего заботившаяся о себе, вероятно, ограничилась бы каким-нибудь лечением в Минусинске же, но положение родных не давало ей покоя. И, вот, она решила бежать.

Должен признаться, что мурашки забегали по моему телу, когда она сообщила мне о своем намерении.

„Бежать“!.. Это значит, скрываясь от преследования, проделать на лошадях более трех тысяч верст! Но хорошо, если побег удастся,—а если поймают? Тогда грозит Якутская область... Но, пусть побег удастся, пусть она благополучно достигнет России,—что же дальше?.. Дальше ужасная жизнь нелегальной, постоянная тревога, что обнаружат; ни одной спокойной минуты не только за себя, но и за тех, у кого придется жить!

Такие мысли завладели всем моим существом, не говоря уже о тяжести разлуки с горячо любимой женщиной.

Но что делать?

Оставалось примириться с ужасной необходимостью и сделать все от меня зависящее, чтобы побег обставлен был самыми благоприятными условиями для его успеха.

После долгих размышлений, мы решили, сохраняя нашу тайну, провести лето вдвоем, где-либо вдали от Минусинска, возвратиться к осени обратно, прекратить появление Валерии Николаевны среди товарищей и в городе, чтобы, ссылаясь на ее болезнь, заставить всех, включая и полицию, забыть, так сказать, мою жену и тем оградить меня от расспросов, когда зимою Валерия Николаевна вовсе исчезнет.

Зима же избрана была, во-первых, потому, что на санях легче проехать тысячи верст, чем на колесах, а во-вторых,—зимою естественно кутаться, закрываться и, следовательно, больше шансов не обнаружить своего лица.

В это время в Минусинске был чрезвычайно корректный исправник Шишко, благодаря которому мы без особых затруднений получили возможность отправиться летом на Абаканский завод, расположенный на р. Абакане, близ границы Монголии.

Никогда не забуду я этой поездки, познакомившей меня с величием и красотой природы юга Сибири. Первое ошеломляющее впечатление произвела деревня Означенная, Шушенской волости. Здесь одна из величайших рек Сибири—Енисей вырывается из узкого ущелья Саянского хребта. Отвесные скалы последнего, обрамленные мощными зелеными кедрами, сплошь усеяны были цветшим в это время шиповником. Получалась феерическая картина: казалось, что бурные воды гигантской реки летели из розового, сказочной красоты коридора; тотчас после выхода из него они встречают последнюю преграду—громадный „Маинский“ порог; здесь Енисей, рассвирепевший от дерзости ставшей на его пути скалы, кипит, как в котле, пенится, и миллиардами блестящих алмазов горят его брызги, рассыпаясь вокруг и над порогом; тотчас за последним мощная река разливается широкою гладью, образуя множество рукавов, омывающих изумрудные острова.

Контраст поразительный, картина дивная!

Валерия Николаевна не могла удержаться от слез при виде этой чудной природы, и, боже, как хотелось слиться с этой природой, жить среди нее, забыть все человеческие мелочи, страдания, все муки жизни!..

Но, увы, в этот момент еще более давало нам чувствовать себя неизбежное горе,—неминуемая разлука, быть может, вечная. Мы избегали говорить о ней, как избегают говорить о смерти в доме, где есть покойник.

На Абаканском заводе мы наняли во втором этаже несуразного дома крохотную комнатушку, двери из которой выхо-

дили прямо на балкон с прекрасным видом на р. Абакан, на высокие горы, покрытые густою растительностью, на темные леса и зеленые луга. Мы только ночевали в этой комнатушке, а целый день бродили по окрестностям, забирались в самые дикие и очаровательные места. Когда все ближайшие окрестности были осмотрены, мы задались целью совершить более далекие поездки. С этою целью я вошел в сношение с хозяином. За ничтожную плату он предоставил в наше распоряжение старую, еле двигавшую ногами клячу и дребезжащую, трясучую „бричку". С раннего утра хозяин запрягал лошадь, и мы могли пользоваться ею целый день. Так мы и делали, забираясь все дальше от завода, иногда в глушь тайги, где уже в полдень лучи солнца не могли проникать в гущу этого дремучего сибирского леса, который надо видеть собственными глазами, чтобы понять всю его жуткую мощь.

Часто мы лазили по горам и созерцали отдаленные снежные вершины хребта на границе Монголии. Валерия Николаевна не могла успокоиться, покуда в каждой данной местности не взбиралась на самую высокую точку, с которой видна была бы вся горная страна, а главное дело—блистали бы снежные великаны, которых ни я, ни она раньше не видели. Сплошь да рядом приходилось при этом совершать головоломные под‘емы, карабкаясь по скалам над пропастями. Не знаю, чем бы окончились наши безумные похождения, вызванные свободным пользованием красотами природы, если бы на меня не сделан был донос, что я вошел в сношение с заводским населением и собираю материал для статей. Это обстоятельство заставило минусинскую администрацию сократить срок моего отпуска и вызвать обратно в Минусинск.

Здесь мы немедленно приступили к подготовке к побегу, о котором, кроме нас, знали только еще два товарища: Григорий Петрович Андреев и Петр Зосимович Попов, оба преданные наши друзья. Первый из них взялся изготовить паспорт, в чем, как я уже говорил, он был великий специалист.

— Ну, Валерия Николаевна,—убежденно заявил он,— я вам такой паспорт дам, что, будьте уверены, из-за него вы уж ни в коем случае не попадетесь.

Что касается П. З. Попова, то он взялся вывезти Валерию Николаевну из Минусинска на своей кляче, которую неизвестно зачем и почему приобрел.

После этого оставалось лишь осуществить ту часть плана, которая требовала изоляции моей жены, чтобы все привыкли не видеть ее.

Труднее всего сделать это было с хозяйкой. Она необыкновенно привязалась к нам обоим, но особенно любила Валерию Николаевну, ежедневно посещала ее, принося, между прочим,

по утрам свежие „шаньги“, как называются в Сибири разнообразные печения, к чаю. Единственным средством оставалось об'явить жену тяжело больной, что я и сделал. Из опасения, чтобы хозяйка как-либо не проникла в мое отсутствие, я, уходя, запирал Валерию Николаевну на замок. Вообще эта конспирация была для нас пыткою, но она вызывалась безусловной необходимостью и только благодаря ей побег, как увидим, удался блестяще. С течением времени все, включая и полицию, отвыкли видеть жену. Полиция, конечно, играла решающую роль. Ведь, поднадзорные обязаны были еженедельно являться в полицейское управление и лично расписываться в книге, так что более чем трудным являлось обмануть ее. Но, под предлогом болезни жены, я приучил и полицию расписываться за Валерию Николаевну.

Между тем время бежало, и чем ближе дело шло к побегу, тем более меня одолевала тоска, которую поймет каждый, кому приходилось расставаться с другом, при мысли, что, быть может, больше не увидишь его. Я употреблял все усилия, чтобы не обнаружить тяжелого настроения, но это мне не всегда удавалось. Что же касается Валерии Николаевны, то она, видимо, страдала и сплошь да рядом не в силах была сдерживать слез. Моя тревога достигла высших степеней, когда наступили трескучие, сорокаградусные морозы. Они являлись напоминанием о скорой разлуке и в то же время вызывали опасение за жизнь самого дорогого для меня существа. Но делать было нечего. Все решено, все было готово...

В один заранее условленный вечер послышался осторожный стук в закрытое ставнею окно. Мы вздрогнули и переглянулись. Это был сигнал к от'езду.

Валерия Николаевна давно была готова,—оставалось надеть только шубу. Молча последний раз мы обнялись, поцеловались, со слезами на глазах пожали друг другу руки и, взяв вещи, вышли на улицу. Здесь стояла кляча, запряженная в обыкновенные дровни с привязанною к ним плетеною корзиною, в которой сидел П. З. Попов. Когда влезла туда и моя жена, дровни заскрипели по снегу. Чтобы не обратить чьего-нибудь внимания, я тотчас же возвратился в комнаты, и в ту же секунду меня охватила ужасающая тоска одиночества... Как никогда, я почувствовал неволю, всю горечь ссылки, весь ужас прикрепленного. Мне хотелось полететь и нагнать дорогую женщину и ехать с нею вместе, но, увы, я никоим образом не мог этого сделать. Словно корова языком слизала все мое счастье. Я не находил себе места, и всю ночь напролет шагал по пустынным комнатам, где, казалось, витал еще дух той, которая давала смысл этому жилищу. К невероятной тоске у меня присоединилось еще и беспокойство.

Дело в том, что П. З. Попов вывез Валерию Николаевну лишь за город, где ее должен был ожидать ранее нанятый сибиряк, которого мы совершенно не знали и который нанялся доставить жену в Томск. С этим неизвестным человеком жена должна была проехать более 1000 верст, стараясь избежать встреч с какими бы то ни было властями, начиная от сельских, так как нельзя было ведать, когда в Минусинске узнают о ее побеге и дадут знать прежде всего, конечно, по главному сибирскому почтовому тракту.

На заре другого дня ко мне уже явился Попов и, со свойственным ему юмором, сообщил, как „мчалась“ его „лошадь“, „понимавшая, вероятно, всю важность события и свою роль в нем“; как он затем передал из рук в руки Валерию Николаевну „симпатичному чалдону“, который, „быть может, не убьет, но мало шансов, что не обкрадет“; что Валерия Николаевна не удержалась от слез, прощаясь с ним и прося передать поцелуй и привет; как она „умоляла“ его, Попова, „утешать“ меня.

— А я отвечал ей,—закончил Попов,—что для Ивана Петровича начинается теперь прелюбопытное и преинтересное занятие, которое не даст ему скучать: игра в жмурки с полицией—кто кого раньше поймает?

И, действительно, „занятие“ это было и „любопытное“, и „интересное“, но вместе с тем трудное и ответственное. Мне необходимо было, во что бы то ни стало, скрыть побег жены до достижения ею границ Европейской России, потому что, по существующим правилам, беглые из Сибири, задержанные в пределах Сибири, высылаются в Якутскую область, а пойманные в Европейской России могут быть возвращены в место их прежнего пребывания. Отсюда можно понять мое нервное настроение тем более, что самая большая опасность для меня была в моей же квартире. Хозяйка с каждым днем все настойчивее и настойчивее справлялась о здоровье Валерии Николаевны, желая „проведать“ ее. А мне надо было минимум месяц не допустить хозяйку в комнаты. Я об‘явил жену „опасно больною“, не выносящею света и совершенно не могущею разговаривать даже со мною.

— Ах ты, боже мой!—вздыхая, качала головой добрая хозяйка.

— Вы только, пожалуйста, никому не говорите о болезни жены, а то многие будут приходить, чтобы узнать об ее здоровье... Мне же надо будет каждому отворять двери, разговаривать и отрываться от больной.

Добрая женщина поверила моей лжи и, кажется, мало распространялась на эту тему, тем более, что, будучи сама нездоровою, редко выходила из дому.

Первую весточку от жены я получил через 10—12 дней из Томска. Ее привез возвратившийся „симпатичный чалдон“, о котором говорил Попов. Я чуть не расцеловал сибиряка, благородно исполнившего свое обязательство. Он был в восторге от жены, а последняя восхваляла ямщика и сообщала, что здорова, что чувствует себя бодро и, как только разыщет попутчика, тотчас уедет из Томска.

Таким образом, почти половина дела была сделана. Но с тем большим нетерпением я стал ждать условленной телеграммы, которая должна была быть прислана из России. Видя, что с каждым днем все больше и больше увеличивались шансы на открытие побега, о котором догадывались уже все товарищи и знакомые, нервы мои напрягались все сильнее и сильнее, и я почти не спал по ночам. Не знаю, что со мною было бы, если бы, наконец, я не получил депеши из Самары, из которой узнал, что Валерия Николаевна добралась до Европейской России. В ночь этого дня я впервые за целый месяц уснул богатырским сном, проспал, кажется, часов десять и сразу возвратил себе потерянные, было, силы.

Теперь я ничего уже не боялся и, сообща с товарищами, придумывал,—как быть дальше? После долгих бесед и размышлений я остановился на собственном плане.

Он состоял в том, чтобы, с одной стороны, не подвести полиции, а с другой,—возможно дольше скрывать место пребывания моей жены.

С этой целью я в один прекрасный день *сам* заявил полиции, что, „возвратившись вчера вечером, не застал свою жену, а потому, на правах мужа, прошу принять меры к разысканию моей супруги и возвратить ее мне“.

„Вчера вечером“ сказал я потому, что отвественность полиции начиналась с четвертого дня, т. е. когда она в течение трех суток не узнала о скрывшемся.

По правде сказать, я не был убежден, что мой ход правилен, и тем более обрадовлся, когда случилось то, чего я добивался: полиция или поверила моему заявлению, или хотела поверить, спасая себя. По крайней мере, ко мне явился полицейский чиновник и начал утешать меня:

— Да вы не очень беспокойтесь, господин Белоконский,— она, непременно, должна возвратиться... Они, ведь, все такие: побегают, побегают, да опять к мужу.

Я кусал себе губы, слушая эти утешения, а Попов, присутствовавший при этой сцене, не удержался и убежал, чтобы дать волю смеху на улице.

Кто больше всех был поражен этим исчезновением, так это хозяйка, которая, вероятно, и выдала меня, совсем того не желая.

Она, ведь, знала, как мы дружно жили, и поэтому, не взирая на всю свою ограниченность, инстинктивно чувствовала, что здесь что-то неладно.

— Да что же это с Валерией Николаевной случилось,— с чего это она?— не давала мне покоя взволнованная любопытным событием женщина.

— Бог ее ведает,—неопределенно отвечал я.

— Господи, пресвятая богородица!... Как же это?

— Может, от болезни...

Когда полиция, убедившись, что в моем заявлении скрывается какой-то обман, начала производить дознание, то первым делом допросила хозяйку, а она из полиции зашла прямо ко мне и все рассказала:

— Спрашивали меня, Иван Петрович, как вы жили с Валерией Николаевной; а я и говорю: „уж так-то жили, так-то жили, что дай бог всем так жить,—как голубь с голубкой. Иван Петрович сам на базар ходил и моксунчиков жене покупал и все, что она любила. Я всю правду рассказала, как перед богом“...

Вот эта-то „правда“ прежде всего и подвела меня.

Скоро после хозяйки позвали и меня на допрос.

Мне ничего больше не оставалось, как признаться, что жена бежала при полном моем содействии. Я лишь месяцем позже определил время побега, не сообщая места нахождения жены. На вопрос,—чем об‘ясняется побег, я, между прочим, написал, что, когда физические и нравственные мучения моей жены дошли до апогея, а родным ее отказали в ходатайстве о разрешении временной поездки в Россию, она и бежала.

Упоминаю об этом ответе потому, что впоследствии А. И. Иванчин-Писарев и Д. А. Клеменц сообщили мне, что они в Уст-Абаканском волостном правлении видели бумагу, предписывающую сельским властям разыскивать Валерию Николаевну, которая бежала с каким-то... „Апогеем“(!!). Его разыскивают, вероятно, и по сю пору...

Между тем, Валерия Николаевна в это время, благодаря прекрасному паспорту, „выданному“ ей Андреевым, совершенно спокойно проживала в Одессе в одном семействе, где имела урок, лечилась на лимане и вела со мною деятельную переписку.

Из последней я узнал, какой ужас пришлось ей перенести во время бегства. Прежде всего она наскочила на попутчика, который думал воспользоваться беззащитной женщиной. Это был инспектор одного из кавказских учебных заведений, некто К—о. Нужно заметить, что в паспорте жена значилась, как вдова чиновника, служившего в городе Ставрополе. По совпадению, первый же ее попутчик был также чиновник,

знавший Ставрополь! Чтобы не отвечать на его вопросы, так как Валерия Николаевна не имела понятия о Ставрополе, она обвязалась платком и заявила ему, что у нее болят зубы. Но тогда попутчик начал добиваться взаимности путем угроз и унижений, доходивших до того, что на станциях он требовал подавать себе сапоги!

На одной из станций Оренбургской губернии Валерия Николаевна встретилась с другим пассажиром, очень симпатичным человеком, преклонного уже возраста. Она сообщила ему о гнусных намерениях своего попутчика, и старик охотно согласился ехать с моей женой. Узнав об этом, К—о возмутился, но ничего не мог поделать, и Валерия Николаевна, наконец, избавилась от негодяя. К сожалению, новый ее попутчик скоро ее оставил, свернув в другую сторону, и до 1000 верст жене пришлось ехать одной по пустынным киргизским степям в сопровождении лишь ямщиков из киргизов, не понимавших иногда русского языка. Но все обошлось благополучно. Нужно ли говорить, что я возмутился деянием первого попутчика жены и написал громовую статью в „Восточном Обозрении“, которая и была напечатана.

Чтобы не возвращаться более к побегу Валерии Николаевны, скажу, что, подлечившись на лимане и сделав все от нее зависящее по отношению к родным, которые должны были возратиться на юг России, она переехала из Одессы в Киев и явилась к прокурору, сообщив, кто она.

Прокурор до того растерялся, что не знал, что делать, и послал ее к вице-губернатору. Последний изумился не менее прокурора и предложил идти в жандармское управление. Словом, трое суток киевские власти не знали, что им делать с беглянкой, а жандармский полковник, знаменитый Новицкий, выходил из себя и потому, что жена не была заранее арестована, и потому, что она не явилась прежде всего к нему. Когда Валерию Николаевну, наконец, арестовали, то она тотчас же заявила, что всякий допрос относительно ее бегства будет напрасен, так как она ничего не ответит. Узнав обо всем этом, киевский генерал-губернатор, Дрентельн, сказал о жене, что „из нее вышел бы хороший солдат: сколько мужества и энергии!“. Из Киева Валерию Николаевну отправили в Москву, где она увиделась с родными, препровождавшимися в это же время этапным порядком на юг, а затем послана обратно в Минусинск.

Конечно, предварительно своего от‘езда в Киев, Валерия Николавна сообщила обо всем мне, и я в тот момент предпринял все, от меня зависящее, чтобы обратное возвращение ее было, по возможности, сносное. В пределах Сибири я в разные попутные места высылал деньги, писал письма и т. д.

Когда Валерия Николаевна с партией переезжала границу Енисейской губернии, я написал енисейскому губернатору, Педашенко, чтобы жене разрешено было из Красноярска ехать на пароходе, начавшем в 1883 году впервые ходить по Енисею, и губернатор удовлетворил эту мою просьбу, как и все предшествовавшие относительно Валерии Николаевны.

Теперь возвращаюсь назад к прерванному описанием побега жены сообщению о жизни ссыльных в Минусинске.

Колония наша была очень солидная. Помимо нас, красноярцев, в Минусинск раньше и после нас выслан был целый ряд новых лиц, в том числе: Андржейкович, Буланов, Анат., с женою Буриот, мой товарищ по гимназии, Гортынский с женою, Даманский, студент, Слонов, Миртова, Зацепина, Зин. Семеновна, Казас, курсистка, Кампанец, студент, Клеменц, Дм. Александрович, Ковалевский, Ник. Вас., Лебедев, Вас. Степ. (доктор) с женою, Лешерн-фон-Гернцфельд, Мар. Пав., Литвинов, Алексей (офицер), с женою, Мартынов, Сергей Васильевич (доктор), с женою, Осташкин, Виктор Александрович, с женою (урожден. Любатович, Вера Спиридоновна), Панов А. А., учитель с женою Евгениею, Перов, Сидоренко, студент [1]), Синягин (офицер), Снегирев (ветеринарный врач), Субботина с дочерью, Тырков, Аркадий Владимирович, Фрессер, Шатилова, В. А., приехавшая к родственнице своей Субботиной, Кожухов, Бубнов (офицер), Маслов, Мержанова, Мицкевич (офицер), Миролюбов с женой, Новицкий с женой, Присецкий с женой.

Впоследствии, знакомясь с литературою о политических ссыльных, я нашел такие данные о некоторых из поименованных товарищей своих:

Буланов, Анатолий— в „Хронике социалистического движения в России“ (официальный отчет) назван одним из глав-

---

[1]) Через 43 года выяснилось, что скромный студент этот был крупный революционер. Вот что в 1926 г. я прочел о нем в одной из газет, куда одесский корреспондент писал: „В настоящее время здесь проживает один из участников террористического акта 1-го марта 1881 года—Сидоренко, получивший, как известно, по постановлению Совиаркома СССР, пожизненную пенсию. В течение трех месяцев Сидоренко, вместе с Софией Перовской, Рысаковым, Гриневицким и др. революционерами из партии „Народная Воля“, следил за ежедневными прогулками царя.

Жандармы, арестовав после убийства царя всех участников покушения, никак не могли напасть на след Сидоренко. По счастливой случайности—Рысаков, выдавший некоторых революционеров, не знал фамилии и адреса Сидоренко.

Впоследствии Сидоренко был сослан в Сибирь совершенно по другому поводу—за пропаганду среди рабочих. Сидоренко, несмотря на свои 64 года, довольно бодро себя чувствует и работает в одесском окрстатбюро“.

ных „народников“, бывший офицер. Он был арестован в Москве в начале 1882 года. *Гортынский*—член партии „Народной Воли“. Он был арестован в Киеве, куда послан партией для организационной работы. *З. С. Зацепина* в „Обзоре“, составленном департаментом полиции за 1882 г., упоминается в „деле о лицах, принадлежащих к руководящему кружку, так называемой, террористической фракции тайного общества, именующего себя русскою социально-революционною партиею“. Она была арестована в 1882 г. в городе Воронеже. О *Клеменце* (см. ниже) существует громадная литература („Хроника социалистического движения в России“, „Былое“, „Минувшие Годы“, „Голос Минувшего“ 1914 г. и др.), *Ковалевский*, Ник. Вас., учитель гимназии, известный украинофил и выдающийся общественный деятель. Еще в 1876 г. он был удален со службы за неблагонадежность, а в 1879 г. выслан генерал-губернатором Тотлебеном из Одессы в Минусинск. Все это было следствием оговора знакомого уже нам бывшего чиновника Киевской контрольной палаты, Веледницкого. Он охарактеризовал Ковалевского „украинофилом“. Возвратился он из Сибири в 1883 г. в Киев, где и умер в самом конце 90-х годов. Еще незадолго до смерти, в 1897 г., Ковалевский сносился с Павлюком, проживавшим в Галиции, по поводу издания газеты „Житье и Слово“, начавшей выходить вместо „Народа“ . Жена Ник. Вас., Мария Пав. *Ковалевская*, урожденная Воронцова, была в 1879 г. арестована в Киеве среди оказавших вооруженное сопротивление и осуждена на 14 лет каторжных работ. *Литвинов* в 1882 г. упомянут в деле „о лицах, принадлежавших к руководящему кружку, так называемой, террористической партии тайного сообщества, именующего себя русскою социально-революционною партией, а также и о ближайших пособниках их“. Он был в 1882 г. арестован в Москве. *В. С. Лебедев*, биография которого сообщается ниже. *С. В. Мартынов*, упоминается в „Хронике социалистиского движения в России 1878-1887 г.“ (официальный отчет). Он в 1880 г. был арестован по делу Петра Теллалова, о котором в „Хронике“ говорится, как о деятельном члене анархических кружков, при чем в его бумагах найден был устав „Общества освобождения“, представлявшего зародыш „Общества Красного Креста Народной Воли“. „После Теллалова,—читаем мы в названном официальном отчете,—арестовали врача Сергея Мартынова, у которого обвиняемый (т. е. Теллалов) накануне провел часть дня; у Мартынова нашли шифрованные заметки. 17-го декабря (1880 г.) в квартире Мартынова арестовали Станислава Михалевича. Прибавим здесь, что департаменту полиции осталось неизвестным, что Мартынов, как и Лебедев не только принадлежали к партии „Нар. Воли“, но в Москве

были членами Исполнительного Комитета. Избраны они были уже после 1-го марта 1881 г. *Осташкин* судился по большому процессу (193-х) и принадлежал к Самарскому кружку пропагандистов. Жена его, Вера Спиридоновна, урожденная Любатович, принадлежала к кружку, образованному в 1874 г. в Швейцарии, с целью революционной деятельности в России. Возвратившись на родину, она энергично принялась осуществлять задачи кружка, но в 1875 г. была арестована и судилась по процессу 50-ти. *Синягин*—лейбгвардии его величества полка казак. Арестован был по делу Суханова, кажется, после бала в Зимнем дворце, состоя в охране его. *Субботина,* Софья Александровна. с семейством известна по Большому процессу. Она была землевладелица и все свои средства отдала на революцию. *Тырков,* Аркадий Владимирович, был привлечен, по показаниям Рысакова, к делу о 20-ти народовольцах в 1882 г., но, по болезни, был выделен из процесса и без срока сослан административно в Сибирь. Еще студентом он познакомился с народовольцами, среди которых были такие выдающиеся революционеры, как Николай Морозов, Перовская, Колодкевич, В. Н. Фигнер, Баранников, Лев Тихомиров, Кибальчич, Желябов. Не более как через год после этого знакомства, в конце 80-го года, Тырков уже принимает участие в деле, закончившемся убийством Александра II-го 1-го марта 1881 г. Скоро после этого, недели через две Тырков

В. А. ОСТАШКИН.
В Минусинске.

СИНЯГИН.
(Лейб-гвардии казак с высшим образов.)
В Минусинске.

был арестован одновременно со своею невестою, Е. Н. Оловенниковою, которая сошла с ума и переведена в Казанскую больницу. Нервно потрясенный Тырков был, как сказано, выделен из процесса. *А. Панов* упоминается в „обзоре“ департамента полиции за 1882 г. в деле о лицах, принадлежащих к террористической фракции с.-р. партии. Арестован в Москве и выслан административно в В. Сибирь. *В. А. Шатилова* была арестована 18-тилетней девушкой и судилась по процессу 193-х, но была оправдана.

В общем, в самом городе было, вероятно, около сорока политических ссыльных. Но, не взирая на такое количество и на ничтожные размеры Минусинска, вследствие чего почти ежедневно приходилось всем встречаться друг с другом, что нередко могло вызывать разного рода инциденты, не взирая, повторяю, на это,—в новом нашем месте жительства установились такие же корректные отношения, какие были и в Красноярске. Диференциация и здесь произошла более на почве личных симпатий и вкусов, чем каких-либо других причин, а в том числе и убеждений, к которым у нас проявлялась большая терпимость.

Такой modus vivendi об‘ясняется, на мой взгляд, высоким интеллектом подавляющего большинства товарищей, который не давал развиться сектантству.

Жизнь наша в Минусинске сразу приняла тусклую окраску. Наше настроение нельзя было даже сравнить с красноярским. И это не потому только, что мы очутились в медвежьей берлоге, с точки зрения близости к миру, не потому, что Минусинск отброшен за сотни верст от большого Сибирского тракта, что к нему не проведен был в то время даже телеграф, но и потому, что чувствовалось наступление серых будней, какого-то перелома в общественном настроении.

Героический период семидесятых годов, повидимому, заканчивался; широкие задачи его, „большие дела“, вера в будущее,—все это словно бы покрывалось какою-то пеленой, отдалялось, делалось воспоминаниями, несмотря на недавность этого исторического момента. В Красноярске нас окрыляли надежды, нам казалось, что переживаемое нами—временное, скоропереходящее, что вот-вот что-то свершится и мы возвратимся в Россию свободными гражданами. В Минусинске, наоборот, охватила какая-то безнадежность, мысль о вечной ссылке, о необходимости поэтому приспособляться к властным требованиям обыденной жизни. Скоро эта местная неопределенность, это тоскливое ощущение нашло мотивы в реальной действительности, стало выясняться фактами издалека. Первые ростки всероссийской реакции прежде всего проявились на прессе. Она очень скоро стала напоминать захваченную первым

осенним морозом растительность. Еще листья зелены, но уже нет в них жизни, они уже не могут дышать. Довольно громкий голос русской печати в краткий Лорис-Меликовский период вдруг как бы охрип; сравнительно свободный язык стал принимать эзоповский характер. Вторым признаком изменений в русской общественности были вновь прибывшие ссыльные. Увы! У них было уже мало признаков настроения семидесятых годов. Тогда каждая партия имела какой-то героический отпечаток. Они напоминали пленников, захваченных в бою, но верящих в победу армии. Ссыльные восьмидесятых годов, по своей психологии, походили скорее на невольников, плохо верящих в отрадное будущее. Наконец, третьим реальным признаком тяжелой действительности было отношение к нам администрации, обнаружившееся еще в Красноярске, сопровождавшее нас в дороге и окончательно выяснившееся в Минусинске. Все мы, ссыльные, являлись, конечно, символом потрясения основ, страшным призраком недавнего прошлого, побежденными врагами государственного порядка, хотя обо многих из административно-ссыльных можно было сказать, что не они, а их „трясли“ неведомо за что, и они являлись символом не разрушения государственности, а как раз наоборот,—жертвами бюрократического произвола. Но реакция, воспользовавшись пришибленным настроением страны, не преминула, конечно, выступить в роли победительницы и прежде всего решила запечатлеть на нас свое господство. Ссыльных начали жать, накладывать им, как говорится, и в хвост и в гриву.

Назначенный на место Шишко новый исправник, Знаменский, с места в карьер стал преследовать нас, пунктуально применяя „Правила о поднадзорных“. Грубый и невежественный, он всецело подпал под влияние недалекого, но хитрого жандарма Иванова. Последний на словах постоянно выражал нам соболезнование и, казалось, сочувствие, что ввело даже в заблуждение некоторых, правда, весьма немногих товарищей, а на деле занимался систематическими доносами и, запугивая Знаменского, науськивал его на ссыльных. Не говоря о том, что мы вынуждены были раз в неделю лично являться в полицейское управление и расписываться в особой книге, к нам скоро приставлены были еще особые надзиратели, которые ни днем, ни ночью не давали покоя, посещая квартиры, заглядывая в окна, подслушивая под дверьми, не дозволяя сделать шага вне их всевидящего глаза и всеслышащего уха.

Кроме всего сказанного, нам пришлось нести и другие испытания.

Основательно опасаясь обысков, как возвратившиеся в Россию товарищи, так и мы довели до минимума переписку

и, таким образом, были поставлены вне курса русской жизни, питаясь различного рода самого невероятного свойства и неведомо откуда исходившими слухами, которые всегда являются следствием угнетенной прессы.

Если ко всему этому прибавить, что, за отсутствием проходящих, как было в Красноярске, партий, нечего было делать и по части оказания помощи ссыльным, то будет ясно, что в Минусинске мы были заперты, как в крепости, и для нас оставалась только собственная общессыльная и личная жизнь, описать которую я и постараюсь.

После побега жены, когда уже не было надобности конспирировать, я возобновил свою общественную жизнь и, кроме красноярцев, о которых я говорил и с которыми у меня сохранились прежние наилучшие отношения, познакомился со всеми ссыльными. Из этих последних остановлюсь здесь на Д. А. Клеменце.

Слыхал я о нем очень давно, а впервые познакомился в Петербурге в начале 1879 г., когда Клеменц, возвратившись в 1878 г. из-за границы, проживал еще нелегально под псевдонимом Штурма. С этим псевдонимом, к слову сказать, связано одно из деяний Клеменца, характеризующее его необыкновенную находчивость и выдержку. Близкий человек Клеменцу, Келсиев был сослан административным порядком в Петрозаводск. Дмитрий Александрович решил освободить его. С этою целью он запасся поддельными бумагами на имя капитана Штурма. Прибыв в Петрозаводск, он тотчас же нанес визит местным властям, не исключая и губернатора, заявив им, что командирован в Финляндию для геологических исследований, а в Петрозаводскую губернию завернул для собрания необходимых предварительных материалов. Начальство было в восторге от молодого, интересного ученого, и скоро Клеменц сделался persona grata для всех обывателей. Они делали для него званные вечера, обеды, балы. Д. А. охотно принимал все предложения, посещал звавших его и в то же время, не торопясь, подготовлял побег приятелю, с которым вместе и уехал. Но так он пленил власти, что там даже и в голову не пришло, что капитан Штурм—нелегальный человек, революционер, увезший государственного преступника. Когда через год Петрозаводск посетил один знакомый Клеменца, то местный исправник интересовался—не знает ли он или не слыхал ли чего про капитана Штурма, „прекрасного человека", проезжавшего через Петрозаводск в Финляндию: „он,—пояснял исправник,—обещал заехать к нам на обратном пути, да что-то не видно его. Очень жаль. Вероятно, он предпочел вернуться морем".

С Клеменцом меня познакомил Лесевич, при чем, по совпадению, как раз в это время Клеменц, вернувшийся из-за границы осенью 1878 г., был в январе 1879 г. арестован, так что видел я его в Петербурге всего один раз.

Популярное среди молодежи имя Дмитрия Александровича тесно связано было и с революционным движением вообще, и, в частности, с „Землею и Волею", и со всеми выдающимися деятелями, группировавшимися вокруг этого органа, как Кравчинский, Плеханов, Морозов, Саблин, Лев Тихомиров и друг. Кроме того, Дмитрий Александрович известен был, как знаток рабочей и крестьянской среды, с редким успехом ведший в ней пропаганду.

Вот как характеризовал Клеменца талантливый писатель Кравчинский, известный под псевдонимом „Степняка".

„Клеменц один из самых старых чайковцев, едва ли не лучший из наших народных пропагандистов. Его вольная богатая речь, пересыпанная образами и сравнениями, блещет всеми сокровищами русского народного языка, которым он владеет с изумительным, крыловским мастерством... Манера говорить и вести пропаганду у него совершенно неподражаемая... Клеменц ведет свою пропаганду всю в шутках. Он смеется и заставляет смеяться, хвататься за животы слушающих его мужиков, старых и малых, несмотря на всю их обычную невозмутимость. Однако, он всегда ухитрится вложить в свою шутку какую-нибудь серьезную мысль, которая так и засядет гвоздем в голову. Редко кому удавалось вербовать столько приверженцев из среды крестьян и рабочих. Помню, как, отправляясь, бывало, с ним в поход по деревням, я часто по целым часам не решался прерывать поток его блестящих импровизаций и, забыв про пропаганду, отдавался весь эстетическому наслаждению слушателя"...

„Я не знаю никого",—продолжает Степняк,—„кто имел бы такое влияние на окружающих, как Клеменц. В нем нет ничего конспираторского; он человек простой, душа на распашку, веселый собеседник и бесподобный рассказчик. При всем том часто одно его слово полагало конец самым ожесточенным спорам, улаживало разногласия, казавшиеся непримиримыми. Это влияние, которого он никогда не искал, которое рождалось, так сказать, само собою везде, куда бы он ни появлялся, особенно обнаруживалось в личных отношениях"...

„Благодаря своей неотразимой личной обаятельности, он привлекал массу приверженцев во всех классах общества"...

„Но Клеменц вовсе не человек партии. Как конспиратор, Клеменц не имел никакого значения... В революционном движении Клеменц не сделал и сотой доли того, что мог бы сделать по своим природным дарованиям"...

„Несмотря на деятельное участие в движении и на все превратности нелегальной жизни, он всегда держался на уровне интеллектуального прогресса Западной Европы. Обладая ненасытной жаждой знания, он изучал все, не заботясь о том, сможет ли он извлечь из этого непосредственную пользу или нет. Я помню, как он увлекался лекциями Гельмгольца, которые посещал в 1875 г., в бытность свою в Берлине. Мне стоило больших усилий отделаться от его отчетов о них, которыми он наполнял все свои письма ко мне в Петербург“...

„Клеменц любит весь мир и не упускает ни одного случая принять участие в его жизни. Он писал гораздо больше для легальных петербургских журналов, потому что нуждался в более обширной аудитории, чем та, которую могла доставить ему подпольная литература“...

„Это блестящий образчик *мыслителя* со всеми его достоинствами и недостатками“.

И вот этот бескорыстный идеалист, человек науки так характеризуется в обвинительном акте „Процесса шестнадцати“ (дело Квятковского, Ширяева и др.): „Квятковский признался только, что он был одним из заведующих типографией, основанной Клеменцом и одним из братьев Жебуневых—двумя анархистами, которые мечтали только об убийстве (?!) и готовы были соединиться с разбойниками, ворами и мошенниками (?!!), подлежащими уголовной ответственности, чтобы набрать с помощью их денег, которые были так нужны для поддержания революционного дела“. (См. „Хроника социалистического движения в России. 1878—1887“. Официальный отчет. Москва, 1906 г., стр. 115).

Арестованный, как я уже сказал, в 1879 г., Клеменц предназначен был к высылке, кажется, в Якутскую область, но затем последняя заменена была ссылкой в Минусинск. Покуда решался этот вопрос, Клеменц задержан был в Красноярске и прибыл в Минусинск уже после нас, при чем предварительно от него из красноярской тюрьмы я получил письмо следующего содержания:

„Многоуважаемый Иван Петрович!

Спешу уведомить вас, что долга, упоминаемого вами, я не забыл, но дело в том, что посланные на мое имя деньги в Иркутск до сих пор не переведены сюда в Красноярск. Счет вполне верен. Рубанчик на последнем свидании и барон перед от‘ездом говорили мне об этом и оставили счет забранного из чужих денег, я только не знал наверное—у одного ли лица забраны были деньги или у нескольких? При получке переведу немедленно сказанную сумму в ваше распоряжение, а теперь пока сами мы живем в долг и ждем у моря погоды. У нас теперь период медицинских освидетельствований. Свидетель-

ствовали Реферт два раза, меня один раз, осмотрели Бургер с Рачковским и Мажаровым. Результаты неизвестны. Дошла очередь и до Емельянова; этого торжественно таскали в губернское правление и признали, как слышно, что он подлежит временным припадкам умоисступления.—Новости у нас есть, да все грустные: на-днях привезли сюда бежавшего из красноярской тюрьмы моего спутника по партии Павла Иванова, посадили в секретную; вместе с ним попался бежавший из Верхоленска Леонид Буланов и тоже сидит в секретной. По слухам, их обоих сглотнул заседатель около Ишима. Думали мы, что, по случаю привоза новых, нужно будет освободить камеру и к нам переведут Шульгина, однако же всех держат по секретным; так что, по пословице—„шуба лежит, а шкура дрожит“. Есть свежие люди, хотелось бы узнать, что делается на свете, расспросить, как погуляли на воле, да приходится отложить о сем попечение: говорят,—нельзя.

Хотя почему нельзя?—Ведь нам сговариваться не о чем.

Еще новость общего характера: говорят, в конце мая Енисейскую губернию отделят от Восточной Сибири и вместе с Западно-Сибирскими губерниями присоединят на общем основании к России, то-есть лишат их чалдонского и сибирского звания и назовут как-нибудь Зауральским краем, что ли. Заседателей назовут становыми и нашего брата, вместо перевода из Якутки в Западную Сибирь, будут жаловать Туруханским краем.

Итак, все-таки поздравляю вас—вы отходите от господина Анучина и поступите прямо и целиком к губернатору и министру внутренних дел.

Ну-с, будьте здоровы и Писареву не кланяйтесь за то, что не пишет.

Ваш Д. Клеменц“.

Считаем нужным сделать некоторые пояснения к этому письму. Упоминаемый в письме „барон“—Александр Павлович Штромберг,—сын землевладельца Курляндской губернии, на казенный счет воспитывался в Морском училище, а потом служил лейтенантом в Балтийском флоте. В 1881 году барон Штромберг был административным порядком сослан в Восточную Сибирь, но возвращен обратно в С.-Петербург, где в 1883 году судился по делу Фигнер и военно-революционной организации, присужден к смертной казни, которая в октябре 1884 г. была приведена в исполнение в Шлиссельбурге. По пути в Петербург он некоторое время содержался в Красноярской тюрьме, где и видел его Клеменц. Говорят, барон Штромберг был убежден, что его везут в Россию, чтобы там освободить.—Реферт судилась в Киеве в 1880 г. по делу

„18-ти членов террористической партии". В Красноярске она отравилась и умерла.—Рубанчик и Емельянов упоминались выше, о Леониде Буланове будет сказано ниже, а Павел Иванов—сын чиновника, приговоренный в Киеве по делу южнорусского рабочего союза к 20-ти годам каторги.—Что касается А. И. Иванчин-Писарева, то это был один из выдающихся пропагандистов—народников 70-х годов и видный журналист. Его имя фигурирует во многих правительственных данных о революционерах. Мы встречаем его и в обвинительном акте по делу участников события 1-го марта 1881 г.; по делам об аресте Геси Гельфман и самоубийстве Саблина; по процессу 17-ти народовольцев в 1883 г. и в записке министра юстиции графа Палена—об „успехах революционной пропаганды в 1875 году". В ней по Ярославской губ. отмечается „обширная пропаганда, веденная среди крестьян помещиком Иванчин-Писаревым", и „открытые им мастерские". Наконец, А. И. был близок к „Земле и Воле".

В некрологе, написанном В. А. Мякотиным, по случаю смерти А. И. в 1916 г., сообщается, между прочим, что покойный еще студентом примкнул к кружку чайковцев, в 1874 г. он, опасаясь ареста, сделался нелегальным, каковым прожил 7 лет, будучи в это время и слесарем, и кучером и т. п. Революционный провал заставил Иванчин-Писарева скрыться за границу, где он сотрудничал в русских органах: „Вперед", и „Работник". Возвратившись в Россию в 1876 г., А. И. примкнул к партии „Земля и Воля", а в 1879 г.—сделался членом партии „Народная Воля". В 1881 г. был арестован и выслан на 2 года в Сибирь, но разоблачение Дегаева увеличило срок, и лишь в 1889 г. Иванчин-Писарев возвратился в Россию. Сам о себе в своей автобиографии А. И. говорит, что происходит из древнего дворянского рода, что, окончив Костромскую гимназию, поступил на математический факультет Московского университета, откуда перевелся в Петербургский, который и окончил в 1872 году. По выходе из университета он поселился в родовом имении Потапово, Ярославской губернии, Даниловского уезда, где, не медля, и выступил на арену революционной деятельности. Пользуясь влиянием, как помещик и земский гласный, он устроил в своем имении будущих выдающихся революционных деятелей, как Д. А. Клеменц, живший у А. И. в качестве кучера, как знаменитый впоследствии шлиссельбуржец Н. А. Морозов, как участник в деле 1-го марта 1881 г., студент-медик V курса Н. А. Саблин, как доктор и потом писатель И. И. Добровольский. Эта организация просуществовала в Потапове до 1874 года, когда, вследствие доноса, была обнаружена. Но всем, за исключением Добровольского, удалось скрыться. Последний же при-

соединен был к „Большому процессу“, в каковом фигурировали бы и остальные, если бы были арестованы.

ИВАНЧИН-ПИСАРЕВ.

Возвращаюсь к Клеменцу. Он прибыл в Минусинск вслед за приведенным письмом.

Что прежде всего бросалось в глаза, при более близком знакомстве с Клеменцом, так это необыкновенная простота его и абсолютное отсутствие показной стороны.

Лицом он напоминал киргиза, внешним обликом—нигилиста, так что, в общем, при небольшом росте и худобе, вид его был очень далек от презентабельности. Но стоило хотя немного поговорить с этим „простым человеком“, как тотчас выяснялось широкое его образование, редкое остроумие, глубина мысли, золотая душа, вообще богатое, неисчерпаемое, можно сказать, внутреннее содержание, совершенно несоответствовавшее его внешности. Любопытно, что самым близким к Клеменцу человеком был Александр Иванович Иванчин-Писарев, с которым Клеменц и жил. Любопытно это было мне потому, что у них не замечалось решительно ничего общего. У Иванчин-Писарева сохранилось много, я бы сказал, дворянских или, вернее, помещичьих, что ли, замашек, внешнего лоска, чего у Клеменца совершенно не было. Недаром В. Н. Фигнер называла А. И. „предводитель дворянства“. Между им и Клеменцом замечалась какая-то органическая связь. Александр Иванович, как за ребенком, ухаживал за Клеменцом, а Клеменц, в свою очередь, с большим почтением относился к житейским талантам своего друга. „Дмитрий“, как называл Александр Иванович Клеменца, и „Александр“, как последний величал Иванчин-Писарева, были неразлучны. Это обстоятельство, впрочем, не мешало Дмитрию Александровичу на каждом шагу нарушать ритуалы общественных приличий, к которым хотел приучить его Ал. Иванович. Особенно много забот причинял Клеменц Иванчин-Писареву, когда им приходилось бывать в гостях у местных обывателей вообще и особенно в доме доктора Малинина, считавшемся аристократическим. Сам доктор славился поразительной аккуратностью и был строгим блюстителем чистоты. Зная некоторые особенности Дмитрия

Александровича, доктор Малинин по близости каждого места, где сидел его гость, ставил, например, пепельницы, намекая тем на необходимость не бросать на пол окурков. Следил и Александр Иванович за своим другом, который тоже понимал, что от него требуется, но не в силах был в точности выполнить этот искус. Закурит он, бывало, свою „носогрейку“ и, припоминая, что ему что-то надо сделать со спичкой, долго вертит ее в руках, покуда не бросит... на пол. Малинин предупредительно каждый раз поднимал спичку и, к конфузу Клеменца, клал ее в пепельницу. Но через некоторое время опять скандал: Дмитрий Александрович, увлекшись беседой, вдруг забрасывал ногу на ногу и выколачивал пепел из своей трубки о каблук прямо... на пол! Тут же он терялся, извинялся, чтобы через некоторое время проделать то же самое...

Подобные эксцессы, вызывавшие обыкновенно при рассказе о них остроумного Иванчин-Писарева веселый смех у товарищей, об‘яснялись необыкновенной рассеянностью Дмитрия Александровича. Вот один пример. Однажды рано утром заходит к нам Александр Иванович и спрашивает:

— У вас нет Дмитрия?

— Нет,—а что?

— Пропал, понимаете ли, без вести.

— Что вы, Александр Иванович?! Каким образом?

— Вчера ночью плохо почувствовала себя Мария Павловна. Врач прописал лекарство, и я попросил Дмитрия сходить с рецептом в аптеку. Он тотчас же без шапки побежал туда, да, вот, и не возвращался. Заходил в аптеку, там его не было... Хорошо еще, что Марии Павловне и без лекарства сделалось легче.

— Да что же могло случиться?

— Совершенно не понимаю...

В тот же день выяснилось, что Клеменц, направляясь в аптеку, встретил одного из товарищей, заговорил с ним, забыл, куда и зачем он пошел, довел товарища до квартиры, где опять возгорелась беседа, и Дмитрий Александрович там и... заночевал.

Вечно вращаясь в мире идей, научных интересов, разных духовных планов, Клеменц был как бы не от мира сего, и все, что касалось обыденной жизни, как-то проходило мимо него, не задевало, не оставляло впечатлений. К ней, этой обыденной жизни, он не пред‘являл никаких запросов.

Клеменц был совершенно индиферентен к одежде, крову и пище. Александр Иванович, заботившийся и об одеянии Дмитрия Александровича, нарядил его как-то в крахмальную рубаху. А в этот день Клеменц поранил себе палец. Не долго думая, он оторвал рукав от рубахи и завязал руку.

Что же касается неприхотливости Дмитрия Александровича в еде, то достаточно сказать, что он свободно мог есть вяленую баранину, несколько дней пролежавшую на хребте лошади под седлом.

При таких свойствах Клеменц являлся незаменимым путешественником в далекие страны, и он таковым сделался, тем более, что этот бывший революционер, по природе своей, был, в сущности говоря, настоящим ученым, который, при европейских условиях, конечно, сделался бы выдающимся профессором, а в России ему, как отзывчивому, впечатлительному человеку, пришлось пройти революционную школу, чтобы вторую половину жизни посвятить тому, к чему у него было призвание.

Я уже говорил, что для учредителя минусинского музея, Мартьянова, Клеменц был неоценимый клад, но и для Дмитрия Александровича Николай Михайлович был тоже дорогой находкой.

Если Клеменц вскоре после приезда в Минусинск с головою окунулся в археологию, или „в черепки и разбитые горшки“, как иронизировал Иванчин-Писарев, то Мартьянов употребил все усилия, чтобы проторить путь к широкой научной деятельности Дмитрия Александровича в этой области.

Клеменц в Минусинске исполнил большой труд, описав и зарисовав древности минусинского музея, именно—памятники металлических эпох. Эта работа, являющаяся крупным вкладом в археологию, была впоследствии издана в Томске известным сибирским общественным деятелем И. М. Кузнецовым.

Исполняя такую солидную и сухую работу, Дмитрий Александрович совершенно не походил на археолога. И кто не видел его за этим трудом собственными глазами не мог даже догадаться, что он погружен в умершую жизнь отдаленных веков. Клеменц весь был живая жизнь. Веселый, остроумный, он всецело отдавался данному моменту и был везде самым желанным гостем, с которым не соскучишься. Его беседы захватывали слушателей, хотя Дмитрий Александрович менее всего заботился о том, чтобы произвести впечатление.

Здесь кстати уже скажу, что, по окончании срока ссылки, Дмитрий Александрович, увлеченный изучением антропологии и этнографии народностей Сибири и Монголии, еще лет 10 пробыл добровольно в „стране изгнания“. Он совершил целый ряд путешествий, забираясь в глубь Монголии, и результаты своих исследований печатал в изданиях Географического Общества. Путешествие для Клеменца было своего рода стихией, в которой он чувствовал себя, как рыба в воде. Низведя до минимума свои потребности, мало отличаясь в этом отношении от тех дикарей, которых он изучал, Дмитрий

Александрович на ничтожные средства мог осуществлять такие поездки, на которые европейцы затрачивали десятки тысяч рублей. По возвращении из Сибири, он получил сначала место консерватора Этнографического музея императора Александра III, где я его впервые и посетил после длинного периода разлуки. И что же? Клеменц был неизменен, словно бы только что прибыл из Минусинска. Тот же более чем демократический костюм, та же „носогрейка“ во рту, тот же „научный беспорядок“ в комнатушке, где он занимался. Когда я высказал ему мое впечатление, Дмитрий Александрович, пустив крепкое словцо по адресу „чиновников“, заявил, что с величайшим удовольствием „бежал бы от них опять в Сибирь“. Увы, это ему уже не удалось. Все пережитое и возраст давали себя знать. Выслужив пенсию, являвшуюся единственным средством скромного его существования, Клеменц переселился в Москву. Здесь я видел его незадолго до смерти, уже пораженного склерозом, совершенно одряхлевшего и с трудом говорившего. 8-го января 1914 г. он скончался, на четыре всего дня пережив жену свою, Елизавету Николаевну, бывшую учительницу гимназии в Минусинске, где Дмитрий Александрович женился. Смерть Клеменца вызвала довольно большую литературу о нем, но авторы статей далеко не всесторонне характеризовали эту светлую и богато одаренную личность, которая еще ждет своего биографа [1]).

Чтобы не повторяться впоследствии, Клеменцом я и заканчиваю новые знакомства в Минусинске в период отсутствия моей жены и перехожу прямо к моменту возвращения Валерии Николаевны.

Она возвратилась осенью 1883 г. и скоро заболела тифом, который, вероятно, захватила в тюрьмах. К счастью, болезнь появилась в легкой форме и, благодаря тщательному уходу, скоро дело пошло на выздоровление. Но тут явилась новая беда. Еще жена лежала в постели, как ночью явилась обыкновенная полиция и жандармы во главе с Ивановым, произвели обыск и потребовали ареста Валерии Николаевны. На это я категорически заявил, что ни под каким видом не допущу взять больную женщину, если бы это стоило мне жизни. Ехидный Иванов отвел меня в сторону и стал шептать, что он употребит все усилия „завтра же“ освободить Валерию Ни-

---

[1]) Среди писавших о Д. И. Клеменце по случаю его смерти укажем на професс. одного из редакт. „Русских Ведомостей“ и видного ученого Д. Н. Анучина, на известного шлиссельбуржца, писателя и ученого Н. Морозова, на А. Максимова. При похоронах участвовали и говорили речи, между прочим, непременный секретарь Академии Наук С. Ф. Ольденбург, президент Об-ва любителей естествознания, антропологии, этнографии проф. Д. Н. Анучин, декан Томского технологического института В. А. Обручев.

колаевну, так как вполне понимает тяжесть положения, но что сейчас сделать этого не может; он просил меня „не протестовать“, ручаясь, что жена немедленно будет помещена в тюремную больницу „при самых благоприятных условиях“. Но я и на это не согласился и вторично заявил, что буду сопротивляться. Я знал превосходно, что со мною могут сделать что угодно, что протест мой ни к чему, но видел в то же время, по поведению Иванова, что им затеяно какое-то ничтожное дело, вероятно, в отместку за побег, и арест является просто делом личной его инициативы. Мое предположение оправдалось: жандармский офицер, выразив соболезнование, согласился оставить Валерию Николаевну до выздоровления в квартире под домашним надзором.

Нужно ли говорить, что перспектива очутиться в тюрьме тотчас после выздоровления не представляла ничего утешительного, и здоровье жены сразу ухудшилось. Однако, наши милые доктора вылечили Валерию Николаевну, и ее тотчас же засадили в минусинскую тюрьму. Это заключение было более чем оригинально. Какое-то „дело“ было изобретено, несомненно, самим жандармом Ивановым, и он, побаиваясь, что ничего из этого не выйдет, предоставил жене невиданные льготы. Во-первых, мне разрешили перевести в камеру домашнюю обстановку, включая ковер на стену. Затем, камера не затворялась, и я сидел у жены по целым суткам, уходя лишь перед поверкой. Словом, это была вторая бесплатная наша квартира, с тою лишь разницей, что Валерия Николаевна не могла выходить за ограду тюрьмы. Одновременно я, конечно, энергично протестовал против ареста и добился, что жену, до окончания „дела“, освободили на поруки. Вскоре после этого Иванов вызвал ее на допрос, при чем выяснилось нечто изумительное, возможное только в нашем бесправном отечестве. „Видите ли что,—конфузливо сказал жандарм,— ваше дело мне прислали из Красноярска обратно, потому что в нем нет... обвиняемых, а все свидетели; так вот я решил вас, Валерия Николаевна, допросить теперь, как обвиняемую!!“ Он положил перед нею печатный бланк и просил ответить на соответствующие вопросы. Комментарии, конечно, излишни. „Дело“ это так и лопнуло. Ничего не вышло и из другого изобретения Иванова: на основании доноса какой-то арестантки, что Валерия Николаевна „давала читать стихотворения Некрасова“, он хотел возбудить дело „о пропаганде в минусинской тюрьме!“

Но как ни бессмысленны были все эти жандармские выпады, они причиняли массу неприятностей и до-нельзя расстраивали нервную систему. Кроме того, они могли иметь значение в смысле увеличения срока ссылки, а для Валерии

Николаевны это был вопрос жизни. Родные ее все же не были устроены, и она жила мечтой, по окончании срока ссылки, возвратиться в Россию свободною. Этот срок кончался 9 сентября 1885 года, но, с одной стороны, побег, с другой, эти нелепые „новые дела“ давали мало надежды на благополучный выезд из Сибири в назначенное время.

Понятно, такие обстоятельства не могли способствовать хорошему настроению, и последний год пребывания Валерии Николаевны в Минусинске носил далеко не розовую окраску, тем более, что и здоровье ее оставляло желать много лучшего.

Но всему бывает конец. Пришел он и ссылке жены. 9-го сентября 1885 г. ей об‘явили в полиции, что она свободна и может ехать в Россию. У нас, конечно, было все уже готово к от‘езду, чтобы ни одного часа не терять напрасно, из опасения внезапной надбавки срока. И опять я остался один, хотя ничего общего не было в моем настроении с тем, которое испытывал я при побеге жены. Тогда я мучился ее нелегальным положением, возможностью ареста и ссылки в Якутскую область, теперь же я расставался с горячо любимой женщиною при полной надежде через год быть вместе в России свободным гражданином и никогда уже не разлучаться. Эта надежда зиждилась на том обстоятельстве, что Валерии Николаевне ничего не прибавили за побег, следовательно,—думалось мне,—и мой срок не будет увеличен [1]).

Чтобы незаметно скоротать оставшийся год ссылки, я зажил широкою общественною жизнью.

Самыми близкими людьми в это время было у меня семейство Мартыновых, включая и живущую с ними Зацепину.

Их квартира в Минусинске носила такой же, приблизительно, характер, как Лесевичей в Красноярске.

Мартыновы, самые состоятельные люди из ссыльных, занимали обширное для Минусинска помещение в верхнем этаже дома на Базарной площади. Необыкновенная приветливость этого семейства, редкое гостеприимство, а также живой и веселый характер Соф. Александр. Мартыновой и ее подруги, Зин. Сем. Зацепиной, привлекали к Мартыновым подавляющее большинство ссыльных. У них целый день не затворялись, как говорится, двери, а по вечерам сплошь да рядом бывали собрания, во время которых велись оживленные беседы, споры, а иной раз устраивались танцы и часто—пение.

Особенно часто собиралась здесь холостая молодежь. Полиция так уже и знала, что вечером большинство ссыльных находится у Мартыновых.

---

[1]) Валерия Николаевна умерла в Харькове в 1910 г. 22 мая.

Зимою, например, 1885 г. прибывшие в Минусинск для изучения жизни ссыльных известный американский публицист Кеннан и художник Фрост были полицией направлены прямо к Мартыновым. На этом знаменательном вечере я считаю нужным остановиться.

У Мартыновых, кроме меня, в этот вечер, между прочим, были: Д. А. Клеменц, А. И. Иванчин-Писарев, А. И. Венцковский, В. С. Лебедев с женой, Г. П. Андреев, А. Тырков, И. Даманский, Е. Сидоренко, З. С. Зацепина и др.

В то время, когда мы сидели за чайным столом, в гостиную вошли два неизвестных, весьма прилично одетых господина, по облику своему не имевших ничего общего с приглядевшимися нам сибирскими типами.

Один из них,—с продолговатым лицом, открытым высоким лбом, большими черными блестящими глазами, красивым классическим носом, гладко выбритым подбородком и черными густыми усами,—носил отпечаток высокого интеллекта и энергии; другой,—с большою шевелюрою на голове и пушистыми бакенбардами,—выглядел попроще.

Незнакомцы, сделав поклон, нерешительно остановились у двери.

Мы ответили на поклон и в недоразумении переглянулись.

— Здесь политические ссыльные?— обратился, наконец, с вопросом первый из них.

— Вам кого надо?—спросил кто-то из нас.

— Полиция сообщила нам, что в этом доме собрались все политические ссыльные.

— Полиция?!...

При этом слове, как впоследствии оказалось, у некоторых из присутствовавших мелькнула мысль: „не петербургские ли шпионы высшего ранга?“.

Но туман подозрительности моментально рассеялся, когда Кеннан назвал себя и отрекомендовал своего товарища, художника Фроста.

До нас уже доходили отрывочные слухи об этих мужественных американских путешественниках, и, как только мы услышали их фамилии, тотчас дружески поздоровались с ними и вступили в задушевную беседу.

Здесь следует заметить, что Кеннан не только превосходно говорил по-русски, но и научно знал русский язык.

Еще совсем молодым человеком, в начале 60-х годов, он некоторое время жил в Сибири, в качестве инженера и члена американской экспедиции, изучавшей вопрос о проведении подводного кабеля чрез Берингов пролив для соединения Европы и Америки телеграфом. Результатом этого путешествия

Кеннана явилась интересная и живо написанная книга: „Кочевая жизнь в Сибири. Приключения среди коряков и других племен Камчатки и Северной Азии“, переведенная, между прочим, и на русский язык и изданная в Петербурге в 1872 г. В начале 70-х годов Кеннан путешествовал по югу России и Кавказу. Для этих поездок он изучил русский язык, что и помогло ему в 1885—1886 г.г. сделать по русской территории более 22,000 верст, осмотреть все тюрьмы от Урала до Амура и проникнуть в отдаленные части Алтая.

Впрочем, что касается политических ссыльных вообще и минусинских в частности, то Кеннан мог обойтись и без русского языка. Среди лиц, собравшихся у Мартыновых, были такие, которые обладали знанием французского и немецкого языков, а жена Мартынова, София Александровна, урожденная Перелешина, говорила и по-английски [1]).

Но Кеннан предпочел для беседы русский язык, чем мы, конечно, были очень довольны.

Прежде всего он выразил удовольствие, что политические ссыльные представляют самую культурную и образованную среду в стране.

Мы заметили на это, что в явлении, отмеченном Кеннаном, нет ничего удивительного, потому что главный контингент русских государственных преступников составляет интеллигенция.

— Теперь-то я убедился в этом,—сказал Кеннан,—а когда ехал в Сибирь, думал иначе.

И в этот момент разорвалась вся неумело сотканная в Петербурге паутина. Явление в высшей степени поучительное.

Как говорил Кеннан, он направился из Америки в Россию под сильным влиянием американского общественного мнения, возмущенного событием 1-го марта и пред‘явившего поэтому спрос на знакомство с „нигилистами“, поставившими из своей среды убийц императора Александра II.

Кеннан безусловно разделял американскую точку зрения и ехал в Сибирь, убежденный, что увидит полудиких, косматых и грязных суб‘ектов, специально занимающихся убийствами всех тех, кто, как император Александр II, заботился о благе народа.

Иностранцы, имеющие о русских самое нелепое представление, конечно, продолжали фантазировать о нашем отечестве, но непонятно, что и русское правительство надеялось, что взгляд американцев после поездки в Сибирь совершенно подтвердится, и мир оправдает реакцию. Кеннан и Фрост по-

[1]) Умерла в Петербурге в 1921 г.

лучили поэтому именное разрешение императора Александра III и, благодаря этому, имели полную возможность узнать всю подноготную относительно государственных преступников.

Чем об'яснить такой факт? Несомненно, исконным введением власти в заблуждение министерством внутренних дел, или, точнее, департаментом государственной полиции, который, пользуясь агентурными сведениями, преимущественно жандармскими донесениями, всех нас характеризовал, как ужасных по виду людей, исключительно помышляющих об убийствах.

Нужно ли говорить, что ничего подобного не было. Уже первые знакомства американцев с ссыльными в Западной Сибири убедили их в полной превратности взгляда и американцев и русского правительства; и чем дальше ехали заморские гости, чем больше приобретали знакомых, тем все больше и больше убеждались в полном несоответствии официальных данных с действительностью.

В частности, явившись в квартиру Мартыновых, они очутились в совершенно европейском обществе. Если мы прибавим еще, что среди нас были и дети, что доказывало существование семьи, которую,—как внушали американцам,—„нигилисты“ совершенно отрицали, то нет ничего удивительного, что и Кеннан, и Фрост, изумленные такою обстановкою, широко, как говорится, раскрыли глаза.

В конце-концов мы выпили с американцами „на брудершафт“ и стали угощать их русскими и украинскими песнями. Кеннан и Фрост, в свою очередь, запели свои песни, особенно налегая на песню: „Янки-Дудль“. Исполняли они ее, следует признаться, отвратительно, так как голосов у них вовсе не было, но с большим воодушевлением и экспрессией.

С этого момента мы сделались с заморскими гостями самыми близкими приятелями, что привело в ужас полицию, которая была поставлена в совершенно нелепое положение: с одной стороны знаменитые иностранцы, снабженные широкими полномочиями, а с другой—они подружились с государственными преступниками!

По словам Кеннана, Century Magazine (журнал „Век“ или „Столетие“) обратился с предложением к нему, бывшему тогда представителем бюро вашингтонских корреспондентов, отправиться в Сибирь. Кеннан принял предложение и, пригласив живописца Фроста, отправился из Вашингтона в Сибирь. До Лондона его сопровождала жена, оставшаяся в столице Англии до возвращения мужа из его далекого путешествия. По приезде в Россию, Кеннан и Фрост прежде всего посетили Петербург, с целью заручиться содействием американского посольства и получить разрешение на осмотр тюрем от русского правительства. Последнему Кеннан совершенно искренно высказал свой

взгляд на событие 1-го марта и на нигилистов, и ему беспрепятственно выданы были такие „буллы“, что в первое время его путешествия по Сибири местное начальство открыто не чинило ему никаких препятствий. Правительство, повидимому, глубоко верило, что точка зрения Кеннана на „нигилистов“ нисколько не изменится после знакомства его с государственными преступниками в Сибири. Иначе, несомненно, оно не допустило бы американского публициста сблизиться с государственными преступниками.

Изложив мотив поездки в Сибирь, Кеннан затем сообщил об условиях, заключенных им с редакцией Century Magazine. Последняя на расходы по поездке предоставила своему сотруднику carte blanche: Кеннан мог во всякое время требовать сколько ему понадобится денег, причем во всех местах, где были не только банки, но даже казначейства, деньги переводились по телеграфу. Что касается обязательств Кеннана, то он должен был за определенную плату (не помню какую, но очень высокую, сравнительно с гонораром русских писателей) дать редакции двенадцать статей, т. е. по статье ежемесячно в течение года, но отдельные издания этих статей всецело принадлежали ему.

Что касается Фроста, то он, ни слова не зная по-русски, реагировал лишь в тех случаях, когда Кеннан переводил ему наши разговоры.

На другой день по приезде Кеннан приступил к детальному ознакомлению с политическими ссыльными. Трудно себе представить большую добросовестность, чем та, которую он при этом проявил. Кеннан являлся скорее в роли самого серьезного и вполне об‘ективного судебного следователя, чем представителя печати.

Никогда не забуду я того тщательного и строго обдуманного допроса,—я не могу подобрать более подходящего слова,—какой он сделал лично мне.

Как теперь помню, Кеннан зашел ко мне утром и попросил разрешения побеседовать со мною. Получив согласие, он вынул из кармана изящную записную книжку и, улыбаясь, сказал:

— Вы не беспокойтесь: я делаю записи таким способом, что, если бы эту книжечку у меня арестовали, никто в ней не мог бы разобраться, а я, понятно, не окажу им помощи.

— Вы угадали мою мысль,—ответил я, улыбаясь.

— Да, конечно: эта понятная осторожность присуща вам, ссыльным, от Урала до Амура. Я, по правде сказать, не скоро освоился с нею,—в Америке немыслимо приобрести такую привычку,—но теперь я вполне проникся ею и совершенно ее понимаю.

Затем Кеннан начал свое исследование, не упуская ни малейшей подробности, словно бы он выяснял крайне серьезное и сложное уголовное преступление, об‘ектом которого являлся я.

Прежде всего он зорким, проницательным взором осмотрел мою маленькую квартирку и спросил:

— Вы не измеряли об‘ема вашего помещения?

Я ответил отрицательно.

Тогда Кеннан еще раз бросил взгляд на мою комнату и что-то записал в свою книжку.

Я в это время ходил из угла в угол.

Кеннан не упустил из вида и это обстоятельство.

— Скажите,—спросил он,—у вас давно образовалась привычка ходить по комнате?

— Право, не помню.

— Не явилась ли она следствием одиночного тюремного заключения?

— И на это ничего не могу сказать. Действительно, сидя в одиночном заключении, очень часто прибегаешь к такого рода единственному, можно сказать, развлечению, но не ходил ли бы я из угла в угол, не побывав в тюрьме,— не знаю. Между прочим, я всегда хожу, когда обдумываю какую-нибудь тему, прежде чем приступить к ее изложению...

— Да, но не все писатели прибегают к такому способу сосредоточения мысли, а между тем почти все политические ссыльные, которых я видел, как маятники, ходят из угла в угол.

Предложив еще несколько вопросов, касающихся моей биографии, Кеннан затем попросил меня изложить дело, за которое я сослан в Сибирь.

— Но у меня не было никакого дела, и никогда ни к какой партии я не принадлежал.

Кеннан пристально взглянул на меня и сказал:

— Вы, повидимому, не доверяете мне?

— Верьте, что я говорю с вами совершенно искренно и откровенно...

— Значит, вам не пред‘явлено было никаких обвинений?

— Решительно никаких. Уже самолюбие не дозволило бы мне скрывать истину. Ведь мне было бы гораздо выгоднее фигурировать в ваших воспоминаниях в качестве видного политического деятеля и, если бы я не говорил вам одну истину, постарался бы, скорее всего, с некоторыми натяжками, бросить на себя луч славы...

— В таком случае простите меня за мое замечание и все-таки расскажите, каким же образом вы попали в Сибирь?

Я стал подробно излагать историю своей ссылки.

Кеннан записывал и время от времени удивленно пожимал плечами.

— Если бы я был русский,—сказал он, записав мои показания,—я, быть может, понял бы причину арестов, продолжительных тюремных заключений и ссылки в Восточную Сибирь без суда и следствия, но, как американец, я этого не понимаю, и, боюсь, американцы недоверчиво отнесутся к моим описаниям.

Затем Кеннан подробно допросил меня о моей жене, которая в это время отбыла уже срок ссылки и возвратилась в Россию. Особенно он интересовался побегом ее из Сибири.

Тут же попутно я сообщил Кеннану, что и родные моей жены, без суда и следствия, сосланы были в 1879 году в Архангельскую губернию, причем отцу было в это время 73 года, матери—около 60-ти лет, а двум сестрам—одной 16, другой 17 лет.

— Значит, вся семья в 1879 году была выслана?--переспросил Кеннан, видимо пораженный таким сообщением,—никого не осталось?

— Абсолютно никого, так как и старшая дочь, Феликса Николаевна, по одесскому процессу 28-ми, осуждена была на поселение в том же 1879 году.

Кеннан только пожал плечами.

Собрав нужные ему сведения лично обо мне и моей жене, Кеннан спросил, не имею ли я каких-либо материалов о ссылке и ссыльных.

Я ответил утвердительно и прибавил, что охотно поделюсь с ним имеющимися у меня данными.

Нужно сказать, что я довольно усердно собирал сведения, касающиеся политических ссыльных, особенно административных, вел обширную переписку по этому вопросу с товарищами и приобрел немало фотографических карточек государственных преступников.

Все это я отдал в распоряжение Кеннана, предоставив ему право использовать те данные, которые он найдет для себя интересными, и значительную часть фотографических карточек подарил ему, а Кеннан за это обещал мне выслать, по первому моему требованию, копии всех фотографических снимков политических ссыльных, какие ему удалось заполучить за его путешествие.

Но с того времени не было еще такого момента, чтобы я мог получить обещанные карточки, не опасаясь, что их отберут у меня при обыске. Так я и до сих пор не обратился к Кеннану с напоминанием.

Всестороннее ознакомление с политическими ссыльными не препятствовало Кеннану заняться и другими исследованиями.

От его зоркого наблюдения не ускользнуло ничего, что было достойно внимания. Он тщательно изучил знаменитый минусинский музей, купил, как мы уже знаем, у политического ссыльного Г. П. Андреева богатую коллекцию флоры Минусинского округа, ездил по юртам инородцев и подробно знакомился с их бытом, причем приобрел все одеяние шамана и т. д., и т. д. За ним следовал Фрост и делал фотографические снимки или наброски карандашем. Кеннан не останавливался ни перед какими препятствиями, раз считал нужным заполучить необходимые данные. Его не удерживали ни холод, ни метель, ни вьюга, ни пути сообщения. Он ездил и верхом, и на санях, и на телегах, а если случалась необходимость, то ходил и пешком.

Глядя на эту удивительную энергию американца, я просто дивился ей.

При от‘езде из Минусинска Кеннан очень трогательно распростился с политическими ссыльными, взял от них письма для передачи в Россию и обещал писать из Америки.

Как ни симпатичен показался мне американский публицист, но, по правде сказать, я пессимистически отнесся к его уверениям в дружбе и обещанию переписываться.

С. В. МАРТЫНОВ
(доктор).

Пессимизм мой не оправдался, — Кеннан, действительно, остался моим другом в лучшем смысле этого слова [1]).

Сделав это отступление, возвращусь к Мартыновым, именно к Сергею Васильевичу Мартынову, считая нужным остановиться на этом удивительно оригинальном человеке.

Мартынов казался мне ярко выраженною индивидуальностью. Ее проявления сплошь да рядом до такой степени шли в разрез с общественными правилами в людских отношениях, что нередко, особенно в первое время, вызывали суровую критику со стороны товарищей, не говоря уже об обывателях. Но кто,—как, я, например,—близко сходился с Сергеем Васильевичем, кто не ограничивался одним отрица-

---

[1]) По дошедшим до меня сравнительно недавно сведениям, Кеннан скончался в Америке.

тельным реагированием на его „поступки“, кто, словом, старался углубиться во внутреннее, так сказать, содержание Мартынова, проникнуть, как говорится, в душу, тот находил в нем неисчерпаемый источник самобытной оригинальности, ума, таланта, глубокой сердечности и устойчивых взглядов. Последние, на мой взгляд, не только не были крайними, а, наоборот, Мартынова можно было назвать консерватором в лучшем смысле этого слова. Он был незыблемый законник и непримиримый враг произвола. Сам готовый исполнять малейшие требования закона, Сергей Васильевич не поддавался ни на иоту административному произволу; здесь он не знал уже никаких компромиссов. Для характеристики Мартынова в этом отношении считаю нужным привести один из инцидентов, на основании сохранившихся у меня документальных данных. Но предварительно скажу, что „наши“ врачи,—Василий Степанович Лебедев и Сергей Васильевич Мартынов,—пользовались громадной популярностью среди населения не потому только, что Сибирь вообще, а Минусинск в частности, не имели достаточного медицинского персонала, но и вследствие богатых знаний их в области медицины и редкой добросовестности при исполнении своих обязанностей. Лебедев был прекрасный терапевт, а Мартынов—отличный хирург. Первый имел порядочную практику, а второй, наоборот, и не интересовался ею,—и, пожалуй, отбивал даже своих пациентов своим оригинальным к ним отношением. Но в действительно тяжелых случаях, особенно в среде неимущих, Сергей Васильевич никогда не отказывал в помощи. И, вот, однажды ночью за ним из степей приехали полудикие инородцы с просьбой отправиться в один из улусов, где „медведь задрал человека“. Мартынов тотчас же исполнил их просьбу, вследствие чего возникло характерное дело.

После допроса по этому делу 23 декабря 1885 г. Мартынов послал нижеследующее, изложенное изысканно-официальным языком „прошение“ енисейскому губернатору:

„3 декабря 1885 г. мне об‘явлено предписание вашего превосходительства о заключении меня за отлучку из места жительства под арест на сутки. Считаю долгом об‘яснить вашему превосходительству, что я отлучился из города для оказания медицинской помощи человеку, подвергшемуся нападению со стороны медведя и опасно израненному оным. Так как и в городе не имеется, кроме меня, ни одного хирурга, к коему можно было бы обратиться за помощью, а между тем таковая требовалась немедленно в сем случае, грозящем непосредственно опасностью для жизни, то я счел своею священною обязанностью немедленно же, ночью, отправиться, по долгу присяги, и, следовательно, не имел возможности

заявить о своей отлучке полиции. Принимая во внимание, что в имеющемся у меня разрешении на практику министра внутренних дел не упомянуто о воспрещении оказывать медицинскую помощь вне города, а посему, дабы впредь не являлось подобного рода недоразумений, честь имею покорнейше просить ваше превосходительство, во-первых, разрешить мне, на основании параграфа 8-го Правил о поднадзорных, отлучки из места жительства для оказания медицинской помощи, и, во-вторых, находя назначенное мне наказание несогласным с высочайше утвержденными „Правилами о полицейском надзоре“, прошу, на основании примечания к 3 пункту 32 параграфа оных „Правил“, предать меня суду“.

Кто бы из-за „одного дня“ стал поднимать целую бучу! Но Сергей Васильевич всегда был верен себе: не только день, но хоть час административного наказания, не санкционированного судом, он переварить не мог.

Но и „дело“ характерное: врач спешит оказать помощь гибнущему человеку, а его за это наказывают! Что может быть рельефнее для уяснения сути знаменитых „временных“ „Правил о поднадзорных“!

К слову, приведу здесь еще один документ, касающийся Сергея Васильевича. Это именно „адрес“ одного уголовного поселенца за врачебные услуги Мартынова перед бедным населением. Вот он в дословной передаче с сохранением орфографии и знаков препинания:

„Г-р Минусинск.

Новаии Базар дом протопопова Г-н Оператору Мартынову.

Многоуважаемый

Г-н Оператор.

во имя Братства, Равенства и Свободы... Прошу вас зделать операцию подателю сей записки Если позволит вам ваши наука и опытность Ваша популярность Растет среди простова народа.

. . . .

Затем остаюсь навсегда доброжелательствующий вам и готовый квашим услугам Если Будет надобность на всегда скрывшийся от Глаз шумного света Поселенец деревни малой инии.

Апреля 16 дня 1886 года.

Раве... и сво... и

Многоуважаемый

Сергей Васильевич желаю вам доброго здоровья и счастия в Вашей жизни Благодарю вас заваше Благосклонное принятие моего письма и завашу Готовность—помогать всякому Обращаещемуся Квам за советом и помощью как видно ввас еще

не потухла та искра которая заставила вас как многих других покинуть родной край иуйти вдалекую и гостепреимную Сибирь Обращась квам спросьбой нет ли у вас газет и журналов или книг которым вы могли бы послать мне навремя для прочтения с подателем сей записки их попротчении обращу квам за что я Буду вам очень Благодарен потому что живя в глуши Сибири я уже Более четырех лет неимею возможности Следить нетолько затем что делается в мире и наполитическом горизонте но даже и развлечь Себя подумать

ЧТО

Заря Свободы наступает и—издали уже виден свет и всех угнетенных Бробуждается утра радостный (разсвет).

. . . .

Еще прошу вас помочь Безвозмесдно подателю Сей записки поего Бедности и старости затем остаюсь на всегда готовый к вашим услугам поселенец.
Мая 3 числа 1886 год".

Курьезный документ этот характеризирует, между прочим, отношение уголовных к государственным преступникам. Первые нередко стремились „подделаться" под взгляды последних, при посредстве громких фраз, внутреннее содержание которых было им часто непонятно. Сплошь да рядом это делалось с целью эксплоатации государственных и разных вымогательств, но, несомненно, попадались и искренние люди, желавшие показать свое сочуствие политическим.

В данном случае автор „адреса", желая услужить товарищу, которому надо „зделать операцию", силится изобразить нечто в роде прокламации, уверенный, что она произведет надлежащее воздействие на „политического".

В „адресе" имеется и не потухшая „искра", и „заря свободы", и „братство", и „равенство", словом, все, как следует быть.

Перехожу к дальнейшему описанию минусинской жизни.

Покуда исправником был корректный и мягкий Шишко, о котором я говорил ранее, „Правила о поднадзорных" применялись не особенно усердно, но когда на его место назначен был грубый и ограниченный Знаменский, положение наше, как я уже говорил, сделалось весьма тяжелым. Кстати скажу, что Шишко вынужден был удалиться по довольно странному обстоятельству. Жена ссыльного Новаковского, по невыясненным для нас причинам, явившись однажды утром в полицейское управление, намеревалась дать пощечину Шишко. Говорю „намеревалась", потому что, как передавали, нервное возбуждение г-жи Новаковской было так велико, что ее рука, будто бы, прикоснулась только к щеке исправника и упала на плечо его. Шишко не желал дать ход этому делу и, говорили,

ходатайствовал за Новаковскую, но из этого ничего не вышло: ее выслали в Якутскую область, а Шишко оставил место исправника. Особенно давали себя знать при Знаменком специально приставленные „надзиратели“, о которых выше упоминалось. Они положительно не давали нам покоя. Никогда не забуду я отвратительную рожу Огурцова, надзиравшего за мною. С круглым, красным лицом, с синебагровым носом от пьянства, он появлялся словно из-под земли. Стоило, бывало, летом отворить окно, как он уже тут-как-тут.

— С добрым утром, Иван Петрович,—раздается его слащавый голос, и тотчас показывается улыбающаяся физиономия.

— Что вам угодно?..

— Раненько вы встаете... Только солнышко взошло, а вы уже на ногах...

— Да вам-то что?

— Очень хорошо вы делаете,—это очень полезно...

— Убирайтесь вы к чорту! Мне не нужны ваши советы!.. За каким делом вы явились?..

— Так себе, Иван Петрович, шел мимо и думаю,—дай доброго утра пожелаю Ивану Петровичу, а вы, вот, сердитесь...

— Надоели вы мне, как горькая редька!..

— Ну, извините...

И Огурцов, как сквозь землю, проваливался, чтобы опять неожиданно появиться.

Вечером и ночью он сплошь да рядом засматривал в щели ставней и, если ему что-либо казалось подозрительным, прямо звонил или стучал, чтобы войти в помещение.

— Что вам нужно?!.—крикнешь на него.

Но Огурцов за словом в карман не лазил:

— Извините, Иван Петрович, иду это я, заглянул в щелочку: огонь виден, а людей не видно. Ну что, думаю, если Иван Петрович ушли и огонь забыли потушить,—ведь пожар может случиться...

— Да отстаньте вы от меня!

— Извините, Иван Петрович...

И так ежедневно по нескольку раз! Нервы напрягались до последней степени, иной раз я с трудом сдерживал себя, чтобы не нанести Огурцову оскорбление действием.

Мартынов повел войну со Знаменским бюрократическим же орудием: он решил донять его бумажною волокитою и в значительной мере достиг успеха в этом деле.

Следует заметить, что, как я уже говорил, раз в неделю каждый поднадзорный обязан был явиться в полицию и расписаться в особой для этого книге.

Знаменский, аккуратно посещавший полицейское управление, пользовался этими посещениями для разного рода „наставлений“ нашему брату, наставлений поразительно глупых и наивных.

И, вот, Сергей Васильевич однажды написал ему бумагу, в которой говорил, что он, Мартынов, не желает иметь с исправником никаких отношений, кроме чисто официальных, и не желает вести с ним словесных собеседований, а потому, буде он, исправник, сочтет нужным сделать какое-либо заявление, то пусть делает это официально, на бумаге, за надлежащим нумером. После этого Знаменский прекратил словесные собеседования, а в бумажных не было надобности. Но Мартынов на этом не остановился. Как только он замечал какие-либо упущения со стороны полиции, немедленно самым официальным языком строчил бумагу, - требуя на нее официального ответа. Когда последнего не получалось, Мартынов отправлял другую бумагу, в которой, повторяя содержание первой, требовал с нее „копию для обжалования действий полиции в высшей инстанции“. Не ограничиваясь этим, он требовал еще копии с копии и т. д. Очень часто для составления таких бумаг Сергей Васильевич приглашал своих товарищей, которые охотно шли на всякие проделки против Знаменского. Особенную роль при этом играл Иванчин-Писарев, как знаток законов. Знаменский, конечно, не оставался в долгу и не пропускал ни одного случая, чтобы прижать ссыльных.

Помимо Мартыновых, собирались ссыльные и в квартирах других товарищей: у Лебедевых, Лошкаревых, у Иванчин-Писарева, у меня.

Кроме того, как я уже говорил, у ссыльных были знакомые среди минусинского общества, особенно среди ранее нас сосланных поляков. Нельзя не отметить, что последние не смешивали русского правительства с русским народом вообще и особенно с интеллигенцией. Поляки неизменно дружески относились к нам.

Лично я был в хороших отношениях с семейством Войцеховских и Корженевских.

Главы этих семейств,—Нарцис Осипович Войцеховский и Станислав Людвигович Корженевский,—в самых ранних юношеских годах были высланы в Сибирь за участие в польском восстании 1863 года. Всяческие лишения и многие годы ссылки не вытравили у них идейного содержания, и эти польские государственные преступники встретили нас, русских государственных преступников, как близких своих друзей и оказывали нам неоценимые услуги. Точно так же относились к нам и жены их, родные сестры, Эмма Ивановна Войцеховская и Лидия Ивановна Корженовская, а впоследствии и дети,

когда достигли возраста. И вообще мы со всеми политическими ссыльными поляками 1863 года были в наилучших отношениях.

Лето 1886 года я с Корженовскими и Войцеховскими проводил в привольной Абаканской степи, близ села Усть-Абаканского, отстоявшего от Минусинска всего в 18-ти верстах.

Чтобы понять всю прелесть гласного надзора, скажем здесь, что для отлучки на расстоянии указанных 18 вер. потребовалось, во-первых, разрешение губернатора и, во-вторых, нижеследующий характерный документ:

Проходное свидетельство.

№ 163.

Приметы:
Лет 29.
Рост 2 ар. $7^1/_4$ вер.
Волосы, Брови, Борода — Светло русые.
Нос обыкновенный.
Глаза светло-карие.
Лицо чистое продолговатое

Согласно предписанию Г. Енисейского Губернатора, от 8 м. апреля, за № 5289, дано сие свидетельство дворянину Ивану Белоконскому на свободный проезд из г. Минусинска до села Усть-Абаканского, Минусинского Округа, и проживательство в сем последнем селе до первого августа сего года, с правом выезда по субботним дням в г Минусинск для закупа жизненных продуктов. Мая шестого дня, 18 восемдесят шестого года.

У сего — Печать

Минусинский Окружный
Исправник *К. Знаменский.*

Получателю об‘явлено: 1-е, что он по сему свидетельству не может проживать нигде, кроме села Усть-Абаканского, а, по приезде в сие село, обязан не позже 24-х часов со времени своего приезда лично пред‘явить его в местное инородное управление, 2-е, что во время пути он не имеет права уклоняться от маршрута при сем ему врученного и останавливаться где бы то ни было, за исключением случаев болезни или каких-либо непреодолимых препятствий, и в сих последних случаях обязан немедленно заявить о своей остановке местному полицейскому начальству для сделания на сем свидетельстве необходимых отметок. Получатель также предварен и о том, что, в случае нарушения с его стороны вышеизложенных предписаний, он будет немедленно возвращен в г. Минусинск теми властями, которыми будет обнаружено сие нарушение.

Ив. Белоконский.

Отправлен в путь из Минусинска. Мая 1886 г.

МАРШРУТ.

Отправляющийся во временную отлучку из г. Минусинска в с. Усть-Абаканское, Минусинского Округа, дворянин Иван Белоконский, обязан следовать: из г. Минусинска в село Усть-Абаканское 18 вер. Тем же путем возвратиться обратно.

У сего: } Минусинский Окружный
Исправник *К. Знаменский.*

1886 года, мая 5 дня.

Этот „маршрут“ тем более интересен, что в село Усть-Абаканское из Минусинска вел один только путь, на котором не было никаких селений.

Возвращаюсь к Усть-Абаканскому.—Здесь, я впервые познакомился с Николаем Михайловичем Ядринцевым, в органе которого, „Восточное Обозрение“, был, как выше сказано, постоянным сотрудником и с которым вел деятельную переписку. Знаменитый публицист, высокий и худой, произвел на меня впечатление Дон-Кихота. Горячий сибирский патриот, он также верил в великое будущее своей родины, как Дон-Кихот в возрождение рыцарства. Прибыл он в Минусинский округ, если не ошибаюсь, с какими-то археологическими целями, но в беседе со мною говорил исключительно на темы политические, с пылом уясняя роль областного начала в государственном строительстве, восторгаясь Сибирью и укоряя меня в недостаточной любви к ней.

— Ну, скажите, зачем вам возвращаться в Россию?—наседал он на меня,—там и без вас люди найдутся, а здесь, в этой чудной стране—бесконечно широкое поле для деятельности.

— Позвольте, Николай Михайлович, но, ведь, у вас имеются свои деятели, своя интеллигенция, которая гораздо лучше меня может...

— Да, знаю эту интеллигенцию,—перебил меня Ядринцев,—знаю я ее! Как только закончит высшее образование, калачом ее в Сибирь не заманишь!...

Николай Михайлович нервно заходил по балкону дачи Войцеховских, куда он зашел, чтобы познакомиться со мною, и еще более напомнил мне Дон-Кихота Ламанчского. Во всей его фигуре горело благородное негодование, скорбь за родину, которой он отдал все свои лучшие мечты.

— Скажите, Николай Михайлович, а почему же вы проживаете в Петербурге и там же издаете „Восточное Обозрение“?

— Вы не понимаете почему?

— Нет, я понимаю, но те же самые невозможные условия, которые губят печать в Сибири, не дают возможности...

— Что значит „не дают возможности?“. Конечно, если молчать, если пассивно ко всему относиться, то эти условия останутся навеки, но, ведь, надо действовать, работать!.. Разве в Сибири нельзя лечить, нельзя учить, нельзя судить, нельзя отсюда писать?

— А „Восточное Обозрение“?

— Ах, бог мой!—необходимо же иметь мало-мальски свободный орган именно для того, чтобы здесь, в Сибири проторить пути!.. Да, наконец, моя мечта—перенести издание в Сибирь, и это будет сделано...

После некоторой паузы он, как бы про себя, заговорил:

„Сибирь должна быть самобытна... У нее есть свои собственные жизненные силы, свои собственные интересы, своя собственная история, имеющая мало общего с метрополией... Это—колония, которая не знала крепостного права, не испытала кандалов рабства... Здесь свобода встретит благоприятную почву и возрастет скорее, чем в метрополии“.

— Ну-с, так как? какой вывод из вышесказанного?—предложил он вопрос, остановившись передо мною и вперив в меня взор.

— Что?

— Все-таки уедете в Россию?

— Да, Николай Михайлович, лишнего часа не останусь... Слова нет, Сибирь мне нравится, я в восторге от ее шири, простора, богатой, красивой природы, но...

— Но... дворянская культура тянет?..

— Быть может, и так... Много у меня там кровных связей, духовных интересов...

— Когда уезжаете?

— Ровно через три месяца, если не надбавят срока...

— От души желаю, чтобы надбавили: привыкли бы к Сибири..

— Типун вам на язык!

Ядринцев расхохотался, еще раз пожал мне руку и ушел.

Счастливый человек,—подумал я, глядя на удалявшегося Николая Михайловича,—червь сомнений, разочарований, безверия не проник еще в его душу, закаленную идеями 60-х годов. Он почти вдвое старше меня, реакция душит его орган, получивший уже второе предостережение, а Николай Михайлович, словно заспиртованный, остался таким же, каким был, вероятно, в счастливые, молодые годы, когда, выйдя из Томской гимназии, явился в Петербург, сделался вольнослушателем Петербургского университета и, войдя в кружок буду-

щего знаменитого путешественника, Григория Николаевича Потанина, весь отдался идее служения интересам Сибири в духе сибирского патриотизма, что привело в 1865 г. к аресту и привлечению к следствию в Омске и заочному суду в Москве. Сосланный в далекий Шенкурск, Архангельской губернии, после трехлетнего заключения в омском остроге, он не падает духом, а бодро приступает к работе, результатом которой явились впоследствии книги и статьи, посвященные все той же Сибири. Двадцать лет прошло с тех пор, как он был арестован и стал отбывать общерусскую для мыслящей интеллигенции повинность,—обыски, аресты, тюрьму, ссылку, —а изменений никаких, и, полагаю, Николай Михайлович и в этот момент видит свою Сибирь недалекой от... республики Северо-Американских Соединенных Штатов!..

Впоследствии Ядринцев привел в исполнении все, о чем со мною говорил. В сентябре 1885 г. „Восточному Обозрению“ дано было третье предостережение, и издание газеты было приостановлено на две недели. В 1888 г. „Восточное Обозрение“ было переведено в Иркутск. Через 6 лет, в 1894 году, Ядринцев сделался заведующим статистическим бюро при управлении Алтайским горным округом, но на самое короткое время: в том же году он скончался в Барнауле. Таким образом, и свой орган он, как обещал, перевел в Сибирь, и сам закончил в ней свое существование, погребенный на родине, которой он отдал всю свою жизнь, не дождавшись для нее ничего, даже напоминающего идеалы Николая Михайловича.

Возвращаясь к своим знакомым из минусинских обывателей, не могу не упомянуть об Ив. Исак. Пуговкине, старообрядце, с которым я и моя жена были в самых дружеских отношениях во все время нашего пребывания в Минусинске. Между прочим, он нашел для моей жены того сибиряка, о котором я ранее говорил и который при ее побеге довез Валерию Николаевну до Томска. Это может служит доказательством того доверия, которое мы питали к Ивану Исаковичу, и его горячих симпатий к нам. Он же являлся главным поставщиком материалов для корреспонденций и статей моих не только в сибирских, но и в органах Европейской России, например, в 3 №-ре журнала „Дело“ за 1884 г.: „Сектанты Минусинского округа“. Особенно много данных сообщил он мне о сектантах в Минусинском округе и ему же в значительной степени обязан я сведениями о деревне Иудиной, куда я ездил с женою для знакомства с знаменитым сектантом Тимоф. Мих. Бондаревым, которому считаю нужным посвятить особую главу в конце настоящей книги.

Кажется, к 1885 году относится мое первое знакомство с Серг. Яков. Елпатьевским.

Он приезжал из Енисейска в Минусинский округ для изучения лечебных свойств озера Шира, но, воспользовавшись этим случаем, посетил с семейством своим, состоявшим из жены и двоих детей, Минусинск, где были у него близкие люди-единомышленники, народовольцы доктора: С. В. Мартынов и В. С. Лебедев, одновременно с Елпатьевским учившиеся в Московском университете. Однако, и внешний вид друзей и их духовная индивидуальность, если так можно выразиться, были столь различны, что, казалось, между ними мало было общего. Высокий худой брюнет Елпатьевский резко отличался как от хрупкого блондина Мартынова, с розовым лицом, так и от коренастого, среднего роста шатена Лебедева. По внутреннему складу Мартынов, как я уже говорил, не был похож ни на кого, но у него было нечто общее с Елпатьевским—оба они, я бы сказал, были лириками, романтиками, в то время как Лебедев казался реалистом с головы до пяток. Общим для всех трех докторов был их ум, развитие, большая начитанность и широта кругозора. Находиться в их обществе доставляло мне высокое удовольствие. Талантливые, много знающие, каждый с печатью самобытной оригинальности, они были незаменимыми собеседниками, доставлявшими богатую пищу уму и сердцу. Между прочим, они познакомили меня с „Русскими Ведомостями", о которых я, как южанин, имел самое смутное представление, и подали мне мысль сделать попытку сотрудничать в этой газете.

Вот что об этих трех лицах писал в своих воспоминаниях, напечатанных в „Русских Ведомостях", сотрудник последних, Белоруссов, о котором я уже упоминал:

„Второе знакомство, оставившее на мне следы, было знакомство с группой студентов-медиков старших курсов, стоявших, насколько я мог судить, во-главе „левых" студентов Московского университета: Н. П. Викторовым, В. С. Лебедевым и С. В. Мартыновым.

Все трое достигли с течением времени значительной известности в области науки, практической медицины и общественной жизни. Но в то время, т. е. в конце 70-х годов, они были студентами, кончавшими университет, после года—двух, проведенных в качестве заместителей врачей на войне. С. В. Мартынов заработал на этой службе особенно много наград, кажется—четыре; любил показывать свои кресты, часто любовался ими и со свойственным ему юмором доказывал, что он —подлинный „герой". Все трое были старше нас, революционной молодежи, образованные, и потому пользовались большим авторитетом. Это были люди со вполне определившейся научной складкой ума, и благодаря их влиянию, я и многие другие серьезно сели за книжку и за самостоятельную работу

мысли, которой в революционной среде всегда было маловато, так как революционную молодежь всегда заедали программы и догмы, тем более властные, чем более „религиозный“ характер приобрела доктрина и чем фанатичнее становилось „вероучение“ под влиянием правительственных преследований“.

Относительно В. С. Лебедева в 1917 г. в Москве вышла целая брошюра, вызванная оставлением земской службы. В этой брошюре, между прочим, сообщены такие сведения о Лебедеве:

В 1873——1877 г.г. В. С. прошел курс физико-математического факультета в Петербургском университете, после чего поступил на медицинский факультет Московского университете, где пробыл по 1881 г. [1]). Семидесятые годы, с их треволнениями и страстными исканиями правды-истины и справедливости в общественных отношениях, нашли в личности В. С. энергичного выразителя и активного борца в студенческой и революционной среде того времени. В Москве ему пришлось, между прочим, принять весьма деятельное участие в подготовке и ведении общестуденческих сходок 4—8 апреля 1878 г. по поводу, так называемой, „Охотнорядской истории“.

Политическая деятельность В. С Лебедева известна весьма немногим,—она не была вскрыта ни при дознании, ни впоследствии—и подробности, следующие далее, освещаются впервые. Эта деятельность, связанная с партией „Народной Воли“, обнимает конец 1880, 1881-й и начало 1882 г.

В конце 1880 г. и весной 1881 г. на партию „Народной Воли“ обрушились жестокие преследования, и центральный орган ее—Исполнительный Комитет—понес крупные и тяжелые потери (Александр Михайлов, Желябов, Перовская, Кибальчич и др). Обстоятельства вынудили с весны 1881 г. перевести из Петербурга в Москву все главные отделы работы партии (типографию, журнал и пр.); вместе с тем сюда же переместился и центральный орган ее, состав которого был усилен несколькими новыми членами и куда вошел в это время В. С., примыкавший ранее к московской центральной группе партии „Народной Воли“. В состав Исполнительного Комитета В. С. вошел в качестве члена редакции органа партии („Народная Воля“, социально-революционное обозрение, и „Листок Народной Воли“, революционная хроника). Кроме того, через него же проходила всякого рода корреспонденция, как русская, так

---

[1]) На 5-м курсе, к апрелю 1881 г., В. С-чем были закончены все выпускные экзамены и сданы практические работы, оставалось выполнить лишь некоторые формальности; но за участие в происходивших тогда, по поводу 1 марта, студенческих сходках он был удален из университета на год, что фактически сводилось к лишению его права получить в том же году диплом врача.

и заграничная, предназначаемая для Исполнительного Комитета. Помимо участия в обсуждении общих организационных вопросов, на нем, как и на каждом члене центральной организации, лежало в известной мере выполнение текущих дел.

На этом поприще деятельность В. С. продолжалась около года, до февраля 1882 года, когда он был арестован. За это время под его редакцией и при ближайшем его сотрудничестве вышли в свет 4 выпуска партийного органа.

Перу В. С принадлежит также примечание редакции к „Предисловию" К. Маркса и Ф. Энгельса. Выпуск № 8—9 „Народной Воли", от 5 февраля 1882 г., был последним, прошедшим через редакцию В. С. В следующем далее „Листке Народной Воли" находим сведения об его аресте (6 февраля).

С 6 февраля 1882 г. в течение более года В. С. оставался в заключении в тюрьмах Москвы и Петербурга, после чего в апреле 1883 г., по постановлению особого совещания министров, был выслан в административном порядке в Восточную Сибирь на 5-тилетний срок, продленный затем еще на 1 год. Работа В. С. в центральном органе партии была настолько основательно законспирирована, что характер ее и значение остались совершенно не обнаруженными при дознании и следствии,— и этим об'ясняется сравнительная легкость постигшей его кары [1]). Годы 1883—1888 он провел в Минусинске, Енисейске и северной Енисейской тайге. В феврале 1889 г. ему было дано право возвратиться в Европейскую Россию.

В 1890 году В. С. сдал экзамен и получил диплом врача в Казанском университете.

Совещанию санитарных врачей Московского Губернского Земства, в заседании 28 марта 1917 года, членами санитарного бюро было доложено о решении В. С. сложить с себя обязанности по бюро с 1-го апреля сего года и о постановлениях губернского собрания по этому поводу. Совещание постановило:

а) В виду наступившего великого дня освобождения народа, приветствовать В. С., как активного борца и деятеля революции, отдавшего в дни тяжкого порабощения и угнетения родины свои силы и свободу на дело героической борьбы за народное освобождение.

б) Выразить В. С. глубокое сожаление совещания по поводу оставления им земской службы и надежду, что многолетняя связь его с санитарною организацией не будет нарушена, и он, в меру своих сил, сохранит участие в ее работах.

---

[1]) Тоже можно сказать и о другом влиятельном студенте Сидоренко. О принадлежности его к партии „Народной Воли" узнано было лишь в 1926 г.

в) Издать для напечатания в „Санитарной хронике Московского Земства“ портрет В. С., а также поместить его большой портрет в санитарном бюро.

Продолжаю описание жизни в Минусинске

В 1885, кажется, году произошло тяжелое для всех ссыльных событие: в местечке Абаканском, расположенном в 75 верстах от Минусинска, застрелился наш друг и общий любимец, талантливый юноша, Петр Зосим. Попов, о котором я много раз упоминал.

П. З. ПОПОВ.

Несмотря на молодость, Попов отличался большим пессимизмом. Даже в Красноярске, где многих осеняла какая-то надежда на лучшее будущее, Петр Зосимович с глубокою иронией относился к верующим, а в Минусинске, где мы были застигнуты реакцией, Попов, как говорится, не находил себе места. Угнетенный тоскою, он старался заглушать ее самым разнообразным способом.

Между прочим, он, как я уже говорил, приобрел себе клячу и дровни с корзиною. Когда надоедало слесарное мастерство, которое Попов избрал себе профессиею, он ездил на кляче то рубить в лес дрова, то вывозить навоз по дворам знакомых, то усердно катал наших барынь, усаживая их в корзину, только что освобожденную от навоза. Больше всего от такого „экипажа“ терпела Мария Галактионовна Лошкарева, которую, по дружбе, Петр Зосимович особенно усердно катал; второю мученицей являлась Валерия Николаевна, также пользовавшаяся большими симпатиями Петра Зосимовича и вынужденная поэтому нередко ездить в его корзине. Иногда Попов брался за перо и тогда выяснился у него несомненный литературный талант. Меня и Валерию Николаевну он всегда знакомил со своими произведениями, и мы с удовольствием слушали его проникнутые юмором наброски и картинки.

Однажды Петр Зосимович написал большую и интересную вещь, нечто в роде повести. По моему совету, он послал рукопись в один из столичных журналов, где она и погибла, вероятно, в корзине редакции, брошенная туда, быть может, без прочтения.

Нервный и крайне впечатлительный Попов, не получив никаких сведений о своем произведении, стал считать себя „никуда негодным и неспособным идиотом“. Нельзя утверждать, чтобы эта неудача была главной причиной его преждевременной кончины, но все же и она внесла некоторую отраву в его безрадостную жизнь. Говорили еще, будто у Петра Зосимовича в Абаканске был какой-то неудачный роман.

Он застрелился, оставив простую и, по обыкновению, юмористическую записку, в которой извинялся за „причиненное беспокойство“ друзьям и знакомым и просил исполнить разные мелочи: кому-то отдать вылуженный самовар, кому-то возвратить поправленную вещь и т. д. Этот предсмертный юмор наглядно показывал, что жизнь опостылела, что Попов смеясь расстался с нею. И, действительно, она делалась для нас все хуже и хуже. Лично я забывался лишь в обществе товарищей по ссылке и хороших знакомых. Из частых писем Валерии Николаевны выяснилось, что в России водворилась мрачная реакция.

Усиливалась реакция и в Сибири. Ярким представителем нового „курса“ являлся гр. А. П. Игнатьев, назначенный в 1885 г. генерал-губернатором Восточной Сибири, вопреки предсказанию Д. И. Клеменца.

Енисейская губерния осталась подчиненною генерал-губернатору, и Игнатьев заехал в Минусинск. Его сопровождала многочисленная и высокомерная бюрократическая свита. В числе ее, между прочим, был Васильев, бывший, кажется, товарищ прокурора или прокурор, а у Игнатьева он чуть ли не состоял правителем канцелярии что ли, и заведывал политическими делами. По крайней мере меня направили к нему, когда я выразил намерение просить, чтобы мне разрешили свободный раз‘езд в пределах Минусинского округа. Васильев встретил меня, как лакей у важного барина встречает неименитых посетителей. Высокомерно оглядев меня с ног до головы, он пренебрежительно бросил: „Что угодно?“ Я, пояснив, что мне остается всего лишь несколько месяцев до окончания срока ссылки, просил дозволить раз‘езжать в пределах округа.

— Зачем это?—важно спросил он.

— Для изучения того края, в котором я прожил около четырех лет.

— Вы не оказали никаких услуг правительству, чтобы оно вам потворствовало.

— О каких услугах вы изволите говорить? Я не понимаю... Наконец, неужели вы просьбу мою считаете столь грандиозной, что за нее нужны вам какие-то „услуги“?

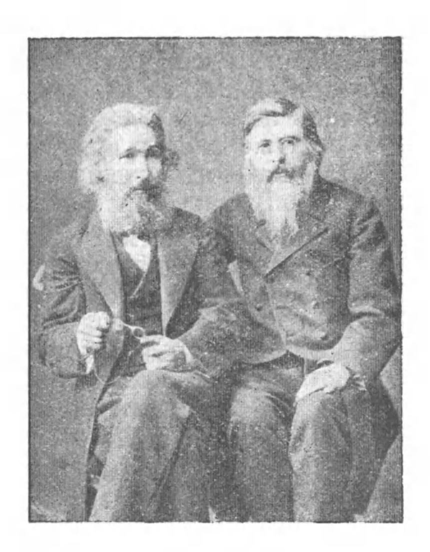
— Я не намерен с вами вступать в дебаты. Ваша просьба не может быть удовлетворена.

Мне ничего не оставалось, как уйти.

Еще любопытнее был второй случай применения ко мне игнатьевского режима. Это произошло уже всего за полтора месяца до окончания срока ссылки.

Меня пригласили в полицию, арестовали и, ничего не говоря, продержали около недели. По освобождении выяснилось, что засадила меня... редакция газеты „Сибирь“! Дело было так. Собираясь уезжать в Россию, я написал в разные места Сибири прощальные письма, а в том числе и в редакцию иркутской газеты „Сибирь“. Последняя, полагая, что моя переписка, вероятно, уже освобождена из-под контроля, послала на мое имя нечто в роде благодарственного адреса за долговременное сотрудничество и фотографическую карточку издателя и редактора: А. П. Нестерова и М. В. Загоскина. Все это попало в руки исправника, который, усмотрев „преступление“, отправил донос, что раскрылось мое сотрудничество в газете, в доказательство чего приложил адрес и фотографическую карточку. В Иркутске эти „вещественные доказательства“ моего невиданного „злодеяния“ были задержаны, а меня предписано арестовать. Так я и не увидел ни адреса, ни снимка.

Ровно за месяц до окончания срока ссылки я получил разрешение переехать в Ачинск. Переселился я в этот жалкий городишко по многим причинам. Первая из них было желание сделать опыт: „Если,—размышлял я,—мне разрешат выехать из Минусинска, значит, срока не надбавят“. Вторая причина: „Ачинск на триста с лишним верст ближе к России и расположен на большом почтовом тракте“. Третья: „Если мне надбавят срок, то об этом известят прежде всего в Минусинск, а оттуда уже бумагою дадут знать ачинскому полицейскому управлению; я же уеду на заре дня окончания ссылки,—и тогда лови меня!“ Но самая главная причина,—это нервы. Мне просто не сиделось уже в Минусинске, и чем ближе подходил срок, тем нетерпение мое росло все больше и больше. Но, очутившись в Ачинске, я скоро стал проклинать свое существование. В Минусинске у меня



Редакторы газеты „Сибирь“:
А. П. НЕСТЕРОВ и М. В. ЗАГОСКИН.

остались близкие люди, товарищи, расставшиеся со мною со слезами на глазах и у меня вызвавшие слезы, а здесь я был абсолютно одинок и совершенно не знал, что мне с собою делать.

За весь месяц лишь один эпизод оживил мое прозябание.

За несколько дней до от‘езда я на почтовой станции вывесил об‘явление, что ищу попутчика в Россию. И, вот, однажды ко мне явилась согбенная старуха. Плотно затворив за собою дверь, она подозрительно оглянулась, словно опасаясь, как бы кого не было, и шопотом спросила меня:

— Ты, сказывают, государственный будешь?

— Кто это вам сказал?

— В полиции.

— А зачем вам это знать?

Она опять оглянулась, еще ближе придвинулась ко мне и еще тише заговорила.

— Да мне надо доподлинно знать—государственный ты преступник, либо нет?

— Ну, государственный, так что же из этого?

— А то, милый человек, что стара я, а мне, как и тебе, в Томск надо ехать.

— Так вы попутчицей моей желаете быть?

— Да, да милый человек... Все, видишь, государственного попутчика жду...

Зачем же вам „государственного“?

Старуха опять оглянулась, попросила запереть дверь на крючок и опустить занавеску.

Изумленный этими предостережениями, я исполнил желание незнакомки, думая, что она намерена сообщить мне что-либо таинственное, относящееся к политическим ссыльным. Но вышло иначе.

— Видишь, милый человек, я с собою шесть тысяч денег везу, а ты знаешь нашу Сибирь: не то что украдут, а убьют еще! А с государственным я спокойна. Ты у меня возьми деньги, а в Томске отдашь.

Не могу сказать, чтобы перспектива езды на перекладных с ветхой старухою улыбалась мне, но, с другой стороны, меня тронуло доверие к „государственным“, и я согласился взять ее попутчицей, тем более, что никого другого не было. И старуха тут же отдала мне деньги, завернутые в большой ситцевый платок.

Благодаря усиленным хлопотам, я уже в восемь часов утра 9-го сентября 1886 года получил подорожную от Ачинска до Томска, а через час после этого катил со старухою на

почтовой телеге, по отвратительной, с подмороженными кочками дороге.

Подорожная гласила:

По указу его величества государя императора Александра Александровича, самодержца всероссийского и прочая, прочая, прочая.

От г. Ачинска до г. Томска дворянину Ивану Белоконскому из почтовых давать по две лошади с проводником за указанные прогоны без задержки.

Дана в Ачинске сентября 9-го 1886 г. № 1060.

С сей подорожной за 389 верст 3 р. 89 к.

Авось нигде с этой подорожной не задержат!

О Тимофее Михайловиче Бондареве [1]).

В сочинениях графа Л. Н. Толстого есть статья, озаглавленная: „Женщинам". В ней наш знаменитый писатель, между прочим, говорит: „Как сказано в библии, мужчине и женщине дан закон: мужчине закон труда, женщине закон рождения детей. Хотя мы, по нашей науке, nous avons changé tout ça, но закон мужчины, как и женщины, остается неизменным, как печень на своем месте, и отступление от него казнится все также неизбежно смертью. Разница только в том, что для мужчины отступление от закона казнится смертью в таком близком будущем, что оно может быть названо настоящим, для женщины же отступление от закона казнится в более далеком будущем. Отступление общее всех мужчин от закона уничтожает людей тотчас же; отступление всех женщин уничтожает людей следующего поколения. Отступление же некоторых мужчин и женщин не уничтожает рода человеческого, а лишает только отступивших разумной природы человека. Отступление мужчин от закона началось давно в тех классах, которые могли насиловать других и, все распространяясь, продолжалось до нашего времени, и в наше время дошло до безумия, до идеала, выраженного князем Блохиным и разделяемого Ренаном и всем образованным миром: будут работать машины, а люди будут наслаждающиеся комки нервов. Отступления от закона женщин почти не было. Оно выражалось только в проституции и в частных преступлениях убивания пола. Женщины круга людей богатых исполняли свой закон, тогда как мужчины не исполняли своего закона, и потому женщины стали сильнее и продолжают властвовать

---

1) Настоящая статья впервые увидела свет лишь через 22 года после ее составления. Посланная сначала в „Северный Вестник", в котором, после закрытия „Отечеств. Записок", участвовали некоторые сотрудники последних, она была принята этим журналом и набрана, но из опасения духовной цензуры не была напечатана и возвращена мне обратно. Только в 1905 г. она была помещена в сборнике „На Сибирские темы", вышедшем в Петербурге, под редакцией проф. М. Н. Соболева.

над людьми, отступившими от закона и потому потерявшими разум“.

По поводу этой статьи Н. К. Михайловский в своих „Критических опытах“ заметил: „Удивительная статья графа „Женщинам“ (я не знаю, успею ли сказать, чем именно она удивительна) начинается ссылкою на библию, по которой мужчине дан закон труда, а женщине—закон рождения. Ссылка эта совсем чужая графу Толстому, который строит свое здание на новом, а не на ветхом завете, на евангелии, а не на библии. *Эта ссылка, равно как и непосредственно примыкающие к ней размышления о неизменности обоих законов, принадлежит некоему минусинскому крестьянину, с логическим стройным учением которого* читатели могли познакомиться из одной статьи Глеба Успенского в „Русской Мысли“. Но гр. Толстой умалчивает об этом и с христианским чувством предоставляет минусинскому крестьянину счастие неизвестности, как богоугодному старику сказки“.

Статья Г. И. Успенского, на которую ссылается Н. К. Михайловский, называется: „Трудами рук своих“ и помещена в серии очерков талантливого писателя, озаглавленных: „Скучающая публика“. В ней автор пишет, между прочим, следующее:

„Я обещал познакомить читателя, томящегося решением вопроса: „как жить свято?“—с одной рукописью, написанною крестьянином, в которой как бы „брезжит“ нечто, отвечающее на этот многосложный и многотрудный вопрос“.

Опасаясь, что рукопись не произведет на читателя такого впечатления, какое желал бы автор, что он, читатель, „истомленный действительностью“, повидимому, неопровержимо доказывающей ему каждую секунду и долгие-долгие годы подряд, что „свято жить нельзя, а надо жить не свято“, набросится на эту рукопись „с жадностью и алчностью утомленного, чрезмерно уставшего человека, и как всякий уставший и проголодавшийся человек, которому кажется, что он с‘ест быка, не с‘ест с должным аппетитом и того маленького кусочка, который ему предлагают“,—опасаясь этого, автор предпосылает рукописи „предварительные соображения“.

Мы не будем излагать этих „соображений“, так как желающие могут прочесть их в названной статье Г. И. Успенского, не будем излагать и содержания рукописи, потому что это будет сделано ниже, а приведем только конец „Трудами рук своих“, чтобы познакомиться со взглядом автора „на рукопись, написанную крестьянином“.

„Я знаю,—говорит Г. И. Успенский,—что даже, несмотря на мое предостережение, сделанное читателю относительно того, чтобы он не очень жадно набрасывался на литературное

произведение крестьянина,—произведение это, с которым читатель успел уже ознакомиться, не удовлетворит его; оно кажется бледным, не громким, не трещит, не открывает каких-нибудь новых, неведомых чудес, а напротив—толкует о вещах, всем известных и даже непривлекательных для большинства читающей и скучающей публики. Извольте-ка, в самом деле, идти пахать своими руками, „работать хлеб“,—совет, неисполнимый для миллионов людей. Да мы и не думаем, чтобы скучающая публика, двадцать лет изнемогающая (под звуки: „который был моим папашей, который был моим мамашей“) в тоске бездействия и бездумья, стала отказываться от семейно-музыкально-танцовальных форм жизни и бежать к сохе, чтобы начать новую жизнь „по-божецки“. Конечно, на Руси было бы много лучше жить, если бы „соха“ поприбирала под свой целительный покров дурно направленные массы „нерабочего народа“. Да и вообще положение независимое на лоскуте земли,—положение, выражающееся словами „сам хозяин, сам и работник“,—не оскорбительно ни для какого хорошего, образованного и честного человека. И ничего бы не было более желательно, если бы этот „тип“ распространялся на Руси, входил бы в моду среди образованных людей подрастающего поколения, по крайней мере, в тех же размерах, как вошел, напр., тип адвоката, т. е. человека, хотя и „умнейшего и ученейшего“, а все-таки вполне зависящего, с позволения сказать, от всякой кляузы. Но я даже и таких советов не намерен давать; если отрывки из рукописи могут иметь какое-нибудь значение,—так только для людей, не боящихся просто и смело *думать,* и думать, конечно, во-первых, о том, „как жить свято?“ вообще и, во-вторых, о будущем русских народных масс. А для таких людей документ должен иметь некоторое значение. Нельзя, будучи справедливым, не признать за вполне справедливую формулу прогресса—*постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между (их) органами и возможно меньшему разделению труда между людьми (то-есть самими неделимыми),*—вот что такое прогресс. И далее: нельзя на основании этой формулы не признать безусловно, что *нравственно, справедливо и разумно и полезно только то, что уменьшает разнородность общества, усиливая тем самым разнородность его отдельных членов.* Нельзя затем не признать, что та же научная формула, выраженная словами: *сам удовлетворяет всем своим потребностям,* характеризующими форму жизни огромной массы русского земледельческого населения, говорит нам, что у русского народа есть полная возможность развиваться широко, самостоятельно, „справедливо, нравственно, разумно“. И вот этот-то справед-

ливый, разумный и нравственный идеал человеческого существования не только *сознательно* подтверждается словом человека, принадлежащего к *народной* земледельческой *среде*, не только совпадает с научным определением прогресса, но еще и говорит, что идеал этот прочно таится в самой народной душе, что она именно и живет во имя этого самого идеала, живет, вполне сознавая его „нравственность, справедливость и разумность“. Из отрывка рукописи—говорит, наконец, Г. И. Успенский,—„нельзя не убедиться, что, во имя веры в их справедливость, он *может* совершенно ясно видеть и сознавать все, что этим стремлениям не соответствует, мешает, не подходит. Автор рукописи строго ведет свою линию, исходная точка которой—„жить трудами рук своих“, самому удовлетворять всем своим потребностям, как духовным—сознанием, такая жизнь справедлива, нравственна, разумна,—так и физическим: муж и жена должны жить так, а не иначе, потому, между прочим, что они физически обязаны жить известным образом; мужу физически нельзя оставлять в бездействии такой сложный организм, который дан ему, как мужчине, точно также и женщине невозможно избежать тех свойств организма, которые ей даны. Так вот мне и кажется, что если читатель, даже и скучающий, усвоит себе хотя бы мало-мальски ясные очертания „справедливого, разумного и нравственного“ типа существования, проверит им себя и подумает о *будущем* русского народа, применяясь к его нравственным свойствам и идеалам, то, если он не оживет и не воспрянет, все-таки, хоть думать начнет светлее, увереннее, у него будет хоть „что-нибудь“впереди, но это „что-нибудь“—наверное светлое, справедливое, „божецкое“.

Что же это за „минусинский крестьянин“, о котором писали корифеи нашей литературы? [1]). Это—*Тимофей Михайлович Бондарев,*недавняя, сравнительно, смерть которого побуждает меня сообщить свои воспоминания об этой интересной личности.

---

[1]) Были о нем статьи и других авторов, как напр.: „Деревенская философия“. А. Ш. („Сиб. Газ.“ № 27, 1884 г.), „Обо всем“. „Созерцатель“ („Русск. Бог“. № 12, 1884 г.) Затем в № 17 газ. „Русский Труд“ напечатана была чуть ли не целиком рукопись Бондарева, изданная отдельно „Посредником“.

Впоследствии литература о Т. М. Бондареве сильно увеличилась. Отметим из нее большую статью Л. Н. Толстого в V т. „Критико-биографического словаря русских ученых и писателей“ СПБ. 1897 г. С. А. Венгерова. Отдельную брошюру К. С. Шохор-Троцкого „Сютяев и Бондарев“ СПБ. 1914 г. В этой брошюре приведены все библиографические материалы о Бондареве.

Познакомился я с ним таким образом.

В минусинский музей, кажется, в 1883 году прислана была не то посылка, не то бандероль, озаглавленная: *„В Минусинскую городскую музею, в дом Белова, где собраны со всего света редкости“.*

В посылке оказалась рукопись весьма оригинального содержания, и из адреса на рукописи временно проживавшая в Минусинске интеллигенция узнала, что автор рукописи— крестьянин Тимофей Михайлович Бондарев, проживающий в деревне *Юдиной,* Минусинского же округа.

Нужно ли говорить, что многие из нас пожелали познакомиться с автором нижеизлагаемого сочинения, а в числе этих многих был и я [1]).

Посетить названную деревню мне удалось в 1884 году.

Прежде чем говорить о знакомстве моем с Бондаревым, считаю небезынтересным привести выдержку из одной моей статьи [2]), в которой говорится об истории деревни Юдиной.

В конце первой или в начале второй половины царствования Николая Павловича в Сибирь—„за веру“—сослано было не мало субботников и молокан; часть их, преимущественно помещичьи крестьяне Воронежской, Саратовской и Самарской губерний, попали в Енисейскую губернию и были поселены в Красноярском округе, в с. Заледеевском, в 27 вер. от г. Красноярска, по пути в Томск.

Прожили они здесь не долго, и субботники первые начали хлопотать о дозволении им переселиться в другое место. Просьба их была уважена, и иудействующие отправили от себя ходоков для разыскания удобных земель.

Ходоки, после долгих странствований по дебрям Минусинского округа, облюбовали, наконец, место по речке Сосы, притоке Абакана; здесь они основали деревню и, как поклонники ветхого завета, назвали ее *„Обетованною“*, каковое название соответствовало отчасти географическим условиям местности: на севере от нового поселения тянулась громадная пустынная степь; на юге—непроходимая горная тайга; кругом—земли диких инородцев; нетронутая же плугом земля, достаточное количество воды и близость леса давали возможность думать о хорошем существовании для земледельца, а

---

1) Благодаря этой временной минусинской интеллигенции, рукопись Бондарева была переписана в нескольких экземплярах и послана выдающимся литературным силам, а также в некоторые органы печати. Этим и об‘ясняется, почему с сочинением Бондарева познакомились гр. Толстой, Успенский и пр.

2) См. газ. „Сибирь“ за 1885 г.: „Пребывание в Сибири основателя секты „Общих“.

отдаленность от бюрократических центров [1]) и глушь, служа защитой от разных наездов [2]), гарантировали, таким образом, духовную сторону сектантов.

В последнем субботники были разочарованы уже на первых порах: енисейский губернатор „не потерпел“ названия „*Обетованною*“, деревни, населенной „жидовствующими“ [3]), „а посему“... в честь Иуды предателя, от которого, по мнению просвещенного правителя, происходили „иудействующие“, повелел переименовать „*Обетованную*“ в „*Иудино*“. С тех пор деревня носит официальное название „*Иудино*“, а неофициально: „Молоканы“, „Сосы“, „Субботино“ и Юдино.

Вскоре после основания нового поселения сюда прибыли все заледеевские субботники и молокане в количестве около 1.000 человек, из которых почти ²/₃ приходилось на долю иудействующих, а остальные были воскресники.

То обстоятельство, что субботникам и молоканам был воспрещен переход из раз избранного места на другое и что облюбованная ими для деревни местность была окружена землями татар, послужило сначала причиной основания в *Юдиной* общинного землевладения, а впоследствии повлекло за собою оскудение сектантов.

Дело в том, что новым переселенцам из татарских земель было нарезано в надел всего по 8 десятин разных качеств земли на ревизскую душу, что для этой части Минусинского округа, где почва не удобряется и родит хорошо только при условии чуть не ежегодной перемены старой земли на совершенно новую, было весьма недостаточно и заставило сектантов, несмотря на бывшие в первое время религиозные распри, владеть землею на общинных [4]), не известных почти в Сибири, началах.

Общинность эта, в связи с необыкновенным трудолюбием жителей и абсолютною в первое время трезвостью их, сразу подняла д. Юдино на высокую ступень земледельческой культуры, так что тогда уже нужно было думать о приобретении рынка для сбыта большого количества хлеба и овощей.

---

[1]) От Минусинска до д. Юдиной, если ехать степью, „татарами“,— 130 верст; если ехать деревнями, через русские поселения—187 верст; от прежней волости (в с. Шуше)—125 верст. Теперь Юдино причислено к вновь образованной Бейской волости, в с. Бейском, от которого до Юдиной 33 версты.

[2]) А это было очень важно в дореформенной Сибири не только для сектантов, но и для всех вообще.

[3]) Благодаря пребыванию субботников, в Минусинском округе запрещено селить евреев.

[4]) Автор имеет в виду общинно-уравнительную форму (переделы), которая по отношению к пахотным землям получила пока распространение только в одной из сибирских губерний—Тобольской.

С одной стороны—сбыть было не легко, с другой—не трудно: выезд субботникам и молоканам из Юдиной, как мы уже сказали, строго воспрещался и, чтобы отлучиться, например, на самое незначительное расстояние, приходилось брать всякий раз особый вид, что, конечно, совершенно убивало торговлю; вместе с тем сектанты не имели почти конкурентов: культура сибиряков стояла тогда на невысокой ступени; в старинной, например, д. Арбатах, в 35 вер. за Юдиной в то время и долго после не было вовсе телег, не было никуда колесной дороги, о культуре земледельческой не могло быть и речи. С трудом пополам субботники и молокане добивались все-таки разрешения кой-когда сплавить хлеб по р. Енисею, на север губернии, но этого было мало: ежегодный запас хлеба и овощей, масса скота далеко превышали местное потребление. К счастию, открывшиеся по близости в округе золотые прииски создали громадный спрос на продукты юдинских жителей; с этого времени экономическое положение деревни начало улучшаться весьма быстро.

Прошло лет 8—10; Юдино разрослось в большую деревню и вытянулось в одну длинную трехверстную улицу, которая разделяется речкою на две „стороны": „субботническую" и „молоканскую", хотя постройки идут беспрерывно; сектанты жили припеваючи и служили примером для сибиряков, которые и теперь хвалят „молокан": „что и говорить—народ трезвый, работящий, стра-асть работящий!",—услышите вы на всем пути в Юдино [1]).

Устраиваясь в материальном отношении, сектанты не забывали и духовной стороны: субботники и молокане строго соблюдали каждый свое учение; между разнородными сектами прекратились споры, каждый твердо держался своего; словом, в Юдиной жили два общества с выработанными и ясными для них взглядами на жизнь.

В такой-то деревне жил Тимофей Михайлович Бондарев.

О нем и его рукописи я, на основании оставшихся заметок, могу сообщить следующее.

При жизни, полной горя и печали, тьмы и бедности, народная масса не может изобиловать интеллигентными суб'ектами, и только изредка в среде ее появляются люди, силою каких-то трудно об'яснимых причин, не подавленные окончательно „властью земли".

Если не сладка жизнь интеллигенции культурных классов, то что же приходится испытать интеллигенции народной! Без всякой поддержки, без сочувствия, без возможности про-

---

[1]) Юдино—одна из многих деревень в Сибири, где крестьяне с успехом делали опыты искусственного орошения.

верить верность своих взглядов, живут представители этой интеллигенции в царстве тьмы, испытывая муки Тантала; от природы впечатлительные, нервозные, чуткие ко всем проявлениям жизни, они не в силах остановить работу мысли, а мысль эта наталкивает их на различные „проклятые вопросы", решение которых или не под силу одному человеку, необладающему никаким запасом знаний и долженствующему до всего доходить „своим умом", или, если и под силу, то разрешив их, он не может все-таки внести нечто новое в старую жизнь и, видя полную ее несостоятельность, должен мириться с тем, с чем мирятся все, или сделаться отщепенцем. Но что такое отщепенец народный? Как он, в качестве отщепенца, добудет себе необходимый кусок насущного хлеба? Что делать ему в таком случае с детьми, с женою, с самим собою, раз он выходит из своей среды? Задача весьма трудно разрешимая... Остается—жить и мучиться, мучиться и жить так, как живут все.

Такого несчастного мученика мысли нам пришлось встретить в лице Тимофея Михайловича Бондарева.

Крестьянин Земли Войска Донского, он, будучи уже 37 лет от роду, оторванный от семьи, был отдан помещиком в солдаты и, прослужив некоторое время на Кавказе, сослан, за переход в секту иудействующих, в Сибирь, в д. Юдино, Минусинского Округа, Енисейской губ., где мы с ним и познакомились.

До чего Бондарев был впечатлителен, примером тому может служить необыкновенно характерный факт перехода Бондарева в секту иудействующих: однажды, в бытность свою на Кавказе, в субботу, Тимофей Михайлович зашел в еврейскую лавочку, чтобы купить ситцу; еврей отмерил ему требуемое количество, но отрезать не согласился, предлагая последнее сделать ему, Бондареву; на вопрос о причине нежелания отрезать ситец, еврей ответил: „нельзя, сегодня суббота". Вот и только. Трудно представить себе более обыденное явление, а между тем оно было для Бондарева настолько важным, что „с тех пор", по его словам, запала „мысль в голову", которая не давала ему покоя; вскоре после этого он „нарочно" знакомится с жидовствующими и переходит в их секту.

По некоторым обстоятельствам, о которых будем говорить дальше, Бондарев не мог передать всего хода процесса мышления перед изменением религиозного взгляда, но a priori можно заключить, что „мысль" действительно „не давала ему покоя", ибо человеку малограмотному, родившемуся в православии, не подвергавшемуся никаким влияниям почти до сорокалетнего возраста, не легко изменить свой взгляд, изменить

притом так радикально: между иудаизмом и православием весьма мало общего.

В 1877 или 1878 году, в самый разгар „страды“, Бондарев, проработав до пота с зари, вечером, разбитый и истомленный, возвращался в деревню; не доходя до Юдиной, он увидел тройку и развалившегося в тарантасе чиновника; Бондарев остановился и снял шапку; чиновник внимания не обратил, не кивнул даже головою. „Сердце мое разорвалось на части“,—прибавляет после этого рассказа Бондарев,—„как я, трудящийся, что твой вол, с утра до ночи, добывающий тяжелым трудом своим хлеб, которым питаются все, я, усталый, поклонился, был вежлив, а он, чиновник, не кивнул мне даже головою!“.

На кого из народной массы подобное незначительное событие могло бы произвести хотя какое-нибудь впечатление? Кто из крестьян вообще, а из юдинцев в частности, не пригляделся к этим явлениям? С Бондаревым произошло иное: чиновник был для него искрою, брошенною в заряженную порохом мыслей голову; все, носившееся отрывочно, бессвязно в этой голове, начало приводиться в порядок, обобщаться и выразилось, в конце концов, в оригинальном, обратившем на себя, как мы видели, внимание прессы „учении“.

Свое „учение“ Бондарев писал пять лет; как человек трудящийся, он не мог „засесть“ за свой труд, всецело предаться ему, не мог также и осилить его сразу.

Система писания „Торжества земледельца“ весьма оригинальна: с момента встречи с чиновником до окончания труда Бондарев не выходил из дому без клочка бумаги и кусочка карандаша для того, чтобы записывать каждую мысль, возникавшую в голове по поводу главного сюжета, с которым мы ознакомимся при изложении „учения“; боронил ли он, пахал ли, ехал ли в лес или просто шел куда, он вечно думал и, раз приходила какая-либо достойная внимания мысль, Бондарев останавливался и заносил ее на бумажку, чтобы внести в „учение“.

Собственно говоря, „учение“ Бондарева коротко и просто, но весьма понятная неумелость изложения сделала из него об‘емистый труд, создала „250 вопросов“, большинство которых составляет повторение одного и того же; поэтому совершенно излишне приводить его все, мы бы даже ограничились изложением только *сути*, если бы в некоторых „вопросах“ не высказывались необыкновенно оригинальные, чрезвычайно дельные и нередко весьма остроумные мысли, характеризующие личность автора.

Учение носит название: „Трудолюбие или торжество земледельца“ с эпиграфом, в котором, как мы увидим, заключается вся суть „учения“:

„В поте лица твоего снеси хлеб твой, дондеже возвратишися в землю, от нее же взят“ (Бытия Ш, 19).

„Учению“ предпосылаются два предисловия: в первом автор прежде всего сообщает свою краткую биографию, из которой читатель узнает, что Бондарев был прежде крепостным помещика Земли Войска Донского, Чернозубова; что помещик этот отдал Тимофея Михайловича, „от жены и пятерых детей“, в солдаты, и что жена и дети остались у помещика „под тяжким игом“; далее Бондарев сообщает, что живет он в Сибири уже 14 лет и за это время, *благодаря исключительно земледельческому труду,* труду упорному, он приобрел себе домик и обзавелся всем необходимым в сельской жизни. Считая труд земледельческий самым главным и выдающимся из трудов вообще, ставя себе в заслугу труды по добыванию хлеба, Бондарев замечает, что он „выше заслуженных генералов“, которые должны пред ним стоять, так как он, Бондарев, „кормит“ генералов, а не генералы его; на этом же основании он считает себя вправе писать и проповедывать. Вслед за этим Бондарев требует, чтобы евреи первые ответили ему на вопрос: почему, они, евреи, ленятся и тунеядствуют? Такое требование он мотивирует тем обстоятельством, что евреи—„взысканный богом народ“. Желая заставить евреев отвечать, Бондарев прибавляет, что он не только не враг их, но единоверец, так что пристрастия к ним у него быть не может, и, если не ответят,—это будет только доказательством их отлынивания от труда. Бондарев, в случае молчания со стороны его единоверцев, просит правительство „насильно заставить евреев заняться земледелием“ [1]). Дальше Бондарев обращается к читателям, прося снисходительно относиться к изложению учения на том основании, что он принадлежит „к низшему сословию“, которое должно вечно трудиться, а потому изощряться в писательстве не имеет ни времени, ни возможности: „даже высший класс“,—прибавляет он в свое оправдание,—„пишет иногда нескладно“. За этою просьбою о снисходительности следует другая, чрезвычайно оригинальная: Бондарев просит, что, если учение его будет опубликовано, ни под каким видом не открывать настоящего автора, а издать от имени какого-нибудь важного и заслуженного лица, потому что люди вообще охотнее слушают *кто говорит,* а не *что говорит,* „как говорит Иисус, сын Сирахов“, дополняет автор: *„Богатый нелепая возглагола и все умолкла, бедный же провеща разум—не даша ему места—реша—кто сый“* (Сир. 13, 26). Потом автор спрашивает, по-

---

[1]) То же самое он повторяет потом в 174 и 175 вопросах своего „учения“.

чему не все люди исполняют *„первородную заповедь"*, „основной", по его мнению, „закон", на котором держится все учение Бондарева, т. е. *почему не все люди добывают сами для себя, своими руками хлеб, что должно быть для всех без исключения обязательно, и почему ни в гражданских, ни в других каких бы то ни было законах нет постановлений об обязательности этого, а, наоборот, земледельческий труд унижен?* Заканчивает он первое предисловие такою оригинальною просьбою:

„В заключение всего прошу читателя прежде двое суток хлеба не есть, да тогда делать оценку этим вопросам".

Второе предисловие очень коротенькое; начинается оно философским рассуждением такого рода:

„На два круга разделяю я мир весь: один из них возвышенный и почтенный, а другой униженный и отверженный; первый—богато одетый и за сластьми наполненным столом, в почтенном месте величественно сидевший—это богатые, а второй—в рубище, изнуренный сухоядением и тяжкими работами, с унижением и плачевным видом перед ним у порога стоящий—это бедные замледельцы. Истину слова моего подтверждает евангельская критика" (Лук. 16, 20).

Оканчивается второе предисловие следующим обращением к земледельцам:

„Теперь обращаю я слово мое к своим товарищам—земледельцам, у порога стоящим: что мы стоим все века и вечности перед ними с молчанием, как четвероногие? Конечно, должно молчать перед человеком высшим нас достоинствами, но нужно же знать, почему, когда и сколько молчать, а не унижаться перед ними до подлого ласкательства и не притворяться истуканами; поэтому от имени всех последних и говорю я один ко всем первым, и вы дадите мне ответ на следующие вопросы".

„Вопросов" этих, как мы уже сказали, 250; они следуют тотчас за предисловиями.

Первый вопрос гласит о преступлении Адама, которое, по мнению Бондарева, состояло не в том, что первый человек с'ел яблоко, а в каком-либо более тяжелом беззаконии: яблоко—это аллегория. Второй и третий вопросы, будучи продолжением первого, трактуют о том же предмете: во втором говорится, что за преступление Адама милосердный бог сказал только: „в поте лица твоего снеси хлеб твой" и т. д., а в третьем автор выражает предположение, что Адам, радуясь такому мягкому приговору, облил вероятно землю слезами.

Вопросы 4, 5, 6 и 7 посвящены раз'яснению гипотезы Бондарева, что Адам, по совету змея („Будете, аки боги, видящие доброе и лукавое"), хотел сделаться „белоручкою",

„помещиком“ и начал скрываться от бога, за что бог и заставил его добывать хлеб собственными трудами.

В 8-м вопросе говорится, что Адам выполнил возложенный на него труд, т. е. всю жизнь добывал хлеб своими руками, и поэтому-то получил первобытное блаженство.

На основании всего вышесказанного, в 9 и 10-м вопросах автор делает вывод, что спасены будут только земледельцы, а высшие классы, говорится в 11 вопросе, должны погибнуть.

В пяти по порядку следующих вопросах доказывается *необходимость и обязательность земледельческого труда для всех,* в подтверждение чего автор в 17 вопросе спрашивает: „почему же, в противном случае, бог не назначил Адаму других наказаний, как-то: пост, молитву и т. п.? Значит отсюда,—бог считает земледелие первым делом“.

В 18 вопросе автор негодует на Адама за то, что, благодаря ему, только один крестьянский люд закабален на вечную страду: „Адам, говорится в этом вопросе, был крестьянин, „наш человек“, безграмотный, почему бог по его, Адама, разуму и назначил такое наказание, как обработка земли, а теперь бог хотя и предписывает, через Св. Писание, „совесть“ образованным людям, но эти последние „такие отрицания“ представляют, на которые и сам бог ответить не может; „а Адам сам влопался, да и нас, низший класс, в ту же бездну увлек; не даром говорит пословица: „один глупый в море камень кинет, а его и десять умных не вынут“. Из этого же вопроса можно заключить, что Бондарев под ветхозаветным „змием“ подразумевает „образованного человека“, с которым бог ничего не мог делать, а с Адамом, как с неучем-крестьянином, справился легко.

Начиная с 19-го вопроса, Бондарев приступает к защите двух *„перворóдных законов“* или *„эпитимий“* и доказывает необходимость их исполнения. *„Эпитимии“* эти: 1) *В поте лица твоего снеси хлеб твой, дондеже возвратишися в землю, от нея же взят* и 2) *Умножая умножу печали твоя, в болезнях родишь чада твоя:* первая *для всех без исключения* мужчин, вторая—*для всех без исключения* женщин [1]). В вопросах 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30 автор возмущается следующею несправедливостью: почему вторая *„эпитимия“*, второй *„перворóдный закон“* для женщин: „в болезнях родишь чада“—исполняется всеми женщинами„без изворотов“,—„в бо-

---

[1]) Бондарев (162, 163, 164, 167) отрицает, что первая заповедь должна быть: „люби ближнего, как самого себя“, потому что любят ближних, обыкновенно, из выгоды для самих себя; он ставит эту заповедь так: „чего себе не желаешь, того и другому не делай: если ты не желаешь, чтобы твоих трудов хлеб ели, то на что же ты их (т. е. крестьнский труд) поедаешь даром?“

лезнях родят детей *все* женщины", а первая „*эпитимия*" для мужчин: „в поте лица твоего снеси хлеб твой" и т. д. не исполняется мужчинами?

Это неисполнение мужчинами „первородного закона", первой „эпитимии", Бондарев—в 28 вопросе—сравнивает с уничтожением плода женщинами и выражает сильное негодование—в 29 вопросе—на мужчин, которые, не добывая собственными трудами хлеба, не обрабатывая земли „*спокойно* едят чужой хлеб", между тем как женщины, уничтожающие зародыш, *мучатся* и *страдают.*

Бондарев думает, что причина такого явления, такой несправедливости лежит в неопубликовании „всему миру" этих двух „первородных законов", поэтому в 31 вопросе спрашивает—почему же „законы" эти не опубликованы? И отвечает в 32 вопросе: „потому, во-первых, что образованный высший класс не знает даже, откуда что берется, потому, во-вторых, что пред „заповедью" этою должны все преклониться, и потому, что всякий, кто пожелает опубликовать этот „закон", должен сам на себе показать первый пример [1]); а между тем,—говорит автор в следующих пяти, по порядку, вопросах,—от опубликования этого „закона" была бы польза чудовищная: не только повсеместные урожаи, но вообще довольство, уничтожение всех зол. Бондарев отрицает какие бы то ни было наказания и требует, для исправления всего рода человеческого, только *всеобщего труда,* который должен последовать „за опубликованием первородного закона", и, наоборот: неизвестность закона влечет за собою, кроме всех существующих зол, еще и то, что „низший класс", видя работающими далеко не всех, „сам ленится" (38 вопрос); о том же трактует и вопрос 39, добавлением о необходимости не только опубликования, но и „раз'яснения закона".

Словно опасаясь, чтобы его не заподозрили в несогласии слова с делом, Бондарев в 40 вопросе заявляет о том, о чем говорил уже в первом предисловии, т. е., что проповедует он то, что сам делает, и в двух следующих вопросах укоряет „высший класс" в безделии, говоря (43 вопрос), что „все продается и покупается, а хлеб берете вы у земледельца даром", так как,—поясняет он уже в 65 вопросе,—„покупать и продавать хлеб нельзя, потому что он бесценен; в крайних и уважительных случаях его нужно давать даром: действующим войскам, плавающим по морям, в государственную пользу, на

---

[1]) В 144, 145, 146, 147 вопросах „учения" выставляется еще одна причина: боязнь „высшего класса", что земледельцы начнут „волноваться", бунтовать. Бондарев, конечно, отрицает это и доказывает, что волнений не будет, а наоборот—все начнут трудиться охотнее, чем теперь.

больницы, на сиротские и воспитательные дома, в тюрьмы, погоревшим, вдовам, сиротам, калекам, дряхлым и безродным старикам“.

От 47 до 55 вопроса включительно Бондарев повторяется на счет того, что от „хлебного труда“ весь мир изменится, а в 46 вопросе возводит „хлебный труд“ до „священной обязанности“ каждого человека; говоря в 44 вопросе, что „не работать“ даже—„грех“, он прибегает (56, 57, 58, 59, 60 вопросы) к весьма курьезному доказательству: „не забороненная полоса“, говорит Бондарев, „называется „огрех“: нужно писать: „о! грех!“

В 45 вопросе он предлагает *всем без исключения* заниматься земледелием *хотя 30 дней в году* [1]), *а остальное время всякий может делать, что ему угодно*, и, дабы никто от работы не отлынивал, Бондарев в 66 вопросе предлагает не лишенный остроумия способ: *не продавать хлеба, а давать даром: неловко будет всякому ходить и просить хлеба,* и всякий, конечно, постарается добыть хлеб своим трудом.

От 67 до 81 вопроса включительно Бондарев, для придания большего веса и значения „учению“ своему, изобретает себе противника, который опровергает „Трудолюбие или Торжество Земледельца“, но, в конце концов, Бондарев, конечно, разбивает противника, при чем в диспутах с предполагаемым оппонентом крепко достается „белоручкам“ и восхваляются земледельцы.

Вопросы: 104, 116, 117, 122, 128, 129, 130, 131, 143, 149, 150, 151, 155, 168, 170, 171, 212, 215, 216, 223 посвящены тунеядству и рассуждению о богатых и бедных.

Бондарев никак не может согласиться, чтобы работали только *одни* крестьяне; по его вычислениям, „найдется около 30 миллионов, не считая евреев и цыган“, которые едят чужой хлеб, т. е. крестьянский, и спрашивает—разве мы (т. е. крестьяне) в силах всех накормить? Отыскивая первоначальную причину тунеядства в манне небесной, которою бог питал евреев в пустыне и тем некоторое время дозволил избранному народу есть, ничего не делая, Бондарев тунеядство последних времен приписывает крестьянину, который, работая на всех, тем самым поощряет тунеядство и тунеядцев, причем к последним, кроме богатых, так называемого им „высшего класса“,

---

[1]) В 180 и 181 вопросах Бондарев рисует идиллию, как приятно есть *свой* кусок хлеба, даже не зная „первородного закона“, как будет хорошо когда *все* будут работать; поэтому—в 182 вопросе—он умоляет „высший класс“ „не предавать „дела“ этого уничтожению“, а если в нем есть что-либо противозаконное, то он просит дело это положить в архив для будущих времен, когда можно будет осуществить, и он лично не прочь погибнуть за это дело,

причисляет и духовенство, особенно монахов: „ревнители по боге“,—пишет он в 131 вопросе,—„для достижения благ, бегут в горы, на острова морские и разнообразную скитальческую жизнь на себя принимают—спрашивается: чего они там ищут, голову закону божьему размозживши, т. е. чужих трудов хлеб евши? Да неужели нельзя быть добродетельным при этих (подразумевается „хлебный труд“), богом благословенных трудах?“

Выразивши такой взгляд на духовенство, а следовательно и на вопросы религии, Бондарев спешит оговориться: „спросит меня читатель“,—пишет он в 132 вопросе,—„если ты полагаешь земное и небесное, временное и вечное блаженство в труде, то на что же ты оставил христианскую веру, а принял еврейскую? Я на это отвечу так: этому времени 25 годов назад; я тогда, хотя и много разов прочитывал это место Св. Писания (подразумевается Бытие III, 19: „в поте лица твоего снеси хлеб твой“ и т. д.), но что же? пробежал глазами, пролепетал языком и никакого понятия не получил, как птица пролетела—следу нет; а научить было некому, в церкви об этом и помину не было, как и теперь нет“, т. е., другими словами,—в чем мы убедимся, когда познакомимся ниже с личностью автора, Бондарев—*теперь* индиферентен к делам религии и все видит, находит единственное для всех спасение—в „хлебном труде“.

Выразив в помянутых вопросах полнейшее негодование богачам, кулакам мироедам, всем, кого он считает тунеядцами, обозвав их „трутнями“, Бондарев 14 вопросов (188-201) посвящает крепостному праву и личности покойного государя, Александра II-го.

„Бывший помещицкий крестьянин“,—пишет Бондарев в 188 вопросе,—„как он страдал! Ах—увы!.. Беда и горе при одном только воспоминании о страданиях их! холодная дрожь пробегает по всем жилам моим!. Да лучше бы тем людям на свете не родиться! да если бы я не один, а много языков имел и говорить бы схотел—и тогда бы не можно было поведать нужду их, и тогда бы нельзя было подробно раз‘яснить болезнь бедных тех мучеников,—изнемогут всякие уста человеческие представить в сущности страдания их!“...

Изобразив в ярких чертах печальную жизнь крестьянина в крепостное время, Бондарев—в 193 вопросе—спрашивает: „За что работали помещику или великие оброки вносили? Это есть важнее всех вопросов вопрос—скажите мне что-нибудь законнее?“ „Недаром (вопрос 195) Адам за одно пожелание быть господином, т. е. помещиком, подвергся вот какому осуждению! Говорят, можно и господином быть угодным богу. Конечно, можно, если будет на себя работать“.

Само собою разумеется, что личность покойного государя, как освободителя крестьян, превозносится Бондаревым в высшей степени:

„Не говоря о человеческом разуме“,—говорит он в 197 вопросе,— „и ангельскому уму непостижимо есть, откуда и как начать, где и как кончить—отдавать богу хвалу и благодарность за царя в бозе почившего, Александра Николаевича. Выражаем желание (198 вопрос) причислить государя к лику святых и сделать 19 февраля праздником больше пасхи: царь Александр Николаевич освободил из ада 24 миллиона, а христос неизвестно сколько; христово освобождение мы видим только на бумаге,—очевидцев не было и нет,—а что царь освободил, то мы глазами видим, ушами слышим, руками осязаем и сердцем ощущаем. В день смерти государя (вопрос 199)—праздник и пост: он истинно „смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав“.

В 200 вопросе Бондарев говорит, что „эти два приговора“ он готов подписать своею кровью, а в 201, выразив надежду, что покойный государь не забудет государство свое и в загробной жизни, советует собирать деньги на сооружение памятника. К этому же вопросу относится и следующее „примечание“: „теперь русские не имеют права обвинять евреев за смерть христа, сами убивши государя: 1) Евреи все сделали публично, а здесь нет, 2) евреи, по их мнению, находили вину за христом, а здесь нет, 3) смерть христа была заранее назначена богом, кем и где должна совершиться. Виноваты (т. е. в смерти государя) не только казненные, но вся Россия: ведь многих не нашли. Спрашиваю: ваш класс или наш, низкий, убил царя? И еще—за что? За то убили его, чтобы работать хлеб, или за то, чтобы избавиться от этого гнусного труда?“

Задав эти два вопроса, Бандарев утвердительно отвечает на второй.

В момент переписки Бондаревым на бело своего „учения“ до деревни Юдиной дошла весть о введении в Сибири „Положения 19 февраля“. Бондарев и это заносит в учение, приписывает, так сказать: „О! услыши небо и внуши земля следующие слова уст моих: Пошли все желаемое государственному совету за то, что вручил права крестьянам—злодеев судить! Я в твердой и твердой уверенности, что с сего времени все злодеяния прекратятся, с этого времени (т. е. с 1884 года) все криводушие и лихоимство прекратится, так трактует между собою всякое общество: „до полусмерти задерем всякого злодея“, говорят они, „а тем более вора и взяточника, и если за начальником заметим, что будет брать

взятки, тотчас же донесение начальнику губернии с тою просьбою, чтобы удалили его от должности“.

В конце „вопросов“ Бондарев устраняет следующее недоразумение, которое могло, по его мнению, возникнуть из его „учения“: правительство вообще, государя в частности, Бондарев причисляет „к своим“, к низшему сословию“: „почему так? спросит читатель с сердцем“, возбуждает вопрос Бондарев: „не ты ли хвалился, что поедешь прямой дорогой, а теперь струсил? С дороги истины своротил? Не ест ли и верховный правитель чужих трудов хлеба? Он голова и должен пример показывать... Докажи нам, почему ты его устраняешь!“

На все эти, могущие возникнуть, вопросы Бондарев говорит: „Кто должен быть в нашем улье маткой, без которой рой погибнет? Так вот правитель должен смотреть за порядком, притом матка должна быть одна, а не две и не три“.

Этим, собственно говоря, и заканчивается „учение“, которое мы, по мере сил и возможности, старались привести в систему; но для полного ознакомления с воззрениями автора необходимо еще ознакомиться с приложениями к „учению“: a) *Мое решение*, b) *Требование*, c) *Прошение*, d) *Защитники*, e) *Заключение и* f) *Прошение* одному высокопоставленному лицу.

В „*Моем решении*“ Бондарев ставит себя на место начальства и так рассуждает по поводу своего „учения“:

1) „Уничтожить (т. е. „учение“) нельзя: совесть замучит. Обнародовать? Мой класс упрекнет, что послушал мужика“...

2) „Обнародовать? Я должен и весь мой род работать... Лучше скрою... Не я первый, не я последний это делаю... Если обнародую, сниму тяжелый труд с земледельцев, будет для них вместо ночи светлый день, минет их убожество и процветет вся вселенная и сольется она в одну веру в бога... А я? Должен буду стать наравне с мужиком, т. е. принизиться, да и весь наш класс будет плакаться на меня?... Пусть же 60 миллионов земледельцев мучатся—мне что? Лишь бы я и подобные мне именитые люди блаженствовали в сей жизни (что делается в загробной неизвестно)... Наш цвет заключается в сухости низшего класса,—так пусть же они сохнут и исчезают, а не мы... они таковские и к тому сродные... Богатый охотой не станет работать и будет мучиться—причиной буду я... Я должен подражать наклонностям высшего класса, потому что они—ближние мои, а я—их; а земледельцы это—отдельная и неприкосновенная к нам часть людей... А что это писатель уверяет, что тогда прекратятся все злодеяния—это верно, потому что всяк будет своими трудами жить, но для нас это нездорово: мы тогда с голоду должны погибнуть

за тем, что не кого и не за что будет судить; да еще и то, что, где больше злодеяний, там сподручнее громадные взятки брать, и без того ее не возьмешь... По всему сказанному—предаю эти все статьи к уничтожению—и предал".

„Это—иносказание", заканчивает „Мое решение" Бондарев: „я бы так не сделал".

В „*Требовании*" Бондарев требует, чтобы „заграничные люди" явились благодарить Россию за то, что из России за границу „идет много хлеба" [1]), причем считает со стороны европейцев возможным такого рода вопрос: „а чего же не благодарят вас те из ваших, которых вы (т. е. крестьяне) хлебом кормите!"? А они (европейцы) ответят: „но ведь вы им за это жалованье платите, а хлебом даром кормите, какая же за это благодарность?"

Мы: „никакой".

Заграничные: „ну, так пусть ваши благодарят первые, а потом мы".

В „*Прошении*" автор требует уравнения прав [2]) субботникам и молоканам с православными. Особенно настаивает на праве выезда из Юдиной.

В прибавлении—„*Защитники*" Бондарев задается вопросом—кто будет защищать учение его? Крестьяне? Но у них нет хорошей одежи, ловкости, хитрости, что необходимо при сношениях с образованным классом, поэтому автор думает, что защитниками учения могут быть только: 1) эпитимии, 2) хлеб, 3) царь и 4) бог.

Наконец, в „*Заключении*" Бондарев советует правительству сделать следующее: 1) написать „эпитимии" золотыми буквами; 2) выписать красиво особые вопросы из всего учения; 3) поставить на столе икону бога Саваофа направо, а „эпитимии" налево; ниже положить ржаной хлеб; 4) по просьбе земледельцев сядет царь, а ниже его—человека 3 земледельцев—это с одной стороны, а с другой—знатные, которых изберут; собрание должно решить „дело" в немногих словах и известить о результатах его, Бондарева, причем последний, „за открытие этого закона", требует себе награды, какая дается путешественникам, открывшим новые страны, но в конце концов соглашается, чтобы за его труд „переписали хорошо сочинение („с красноречием"), а черновую положили бы в архив, где хранятся государственные бумаги".

Теперь нам остается только изложить прошение Бондарева одному высокопоставленному лицу, в котором автор из-

---

[1]) В 135, 136 вопросах Бондарев советует, для оплодотворения полей, искусственное орошение, удобрение и т. д., а не жалобы на бога за неурожаи.

[2]) Об этом же он говорит в вопросе 226.

лагает существенную часть учения и выражает свои взгляды на открытый им „первородный закон“.

Вот это весьма интересное „прошение“:

„Крестьянина Енисейской губернии, Минусинского
округа, Шушенской волости,
Тимофея Михайлова Бондарева.

Прошение.

Подавал я на имя вашего сиятельства в 1883 году, от 18 июня, за № 4933 [1]) прошение [2]), к которому приложил одну узаконенную марку в 60 копеек, а другую такого же достоинства вложил в тот же пакет для обратного ответа, о котором и по сие время не получил никакого известия, куда оно делось или где затерялось—ничего не знаю, потому вынужденным нахожусь подавать вот и второе, к которому приложил тоже в 60 копеек марку. Содержание прежде поданного мною прошения—вот оно:

Неусыпно день и ночь беспокоится правительство об улучшении быта низшего класса людей и разного рода меры розыскивает для исправления их состояния, а они все в одном и том же низком положении остаются, неизлечимая язва нищеты и убожества—при них же; да и никто от живущих на земле помочь им не в силах, кроме бога. Я же, бывший помещицкий крестьянин, просто рабочий, а эти люди, в каких тисках были—это всем известно; нужда же—самый лучший учитель есть изобретательности, в учении которой, т. е. в этих тисках, со всего правительства никто не был; потому-то я изобрел и написал до 250 вопросов, под названием „Торжество Земледельца“; это настолько сильное и полезное для них врачевство, что если довести его до сведения всякого человека, то не более как через четыре года, без понесения трудов и без напряжения сил, избавятся все они от тяжкой нищеты и от нестерпимого убожества; тогда глупый сделается умным, лентяй—трудолюбивым, пьяница—трезвым, бедный—богатым, бездомник—прочным хозяином, злодей—честным человеком, и будет как на них, так и на столе их велик-день, и без всякого противления или закоснелости сольется вся вселенная в одну веру в бога! Бог свидетель между мною и вами, ваше сиятельство, что я истину это говорю, ни одного слова лжи или нерассудительности не выходит из уст моих. Послушают ли люди моего совета и убеждений? Как алчущий к хлебу и жаждущий к воде, неудержимо устремятся на выполнение его. Если бы я успел это написать года за два до смерти Але-

[1]) Выставлен № почтовой росписки.

[2]) Приводимое здесь прошение писано и отослано министру в 1884 г.

ксандра Николаевича, тогда бы он жил на свете до определенного богом срока, потому что убийцы, услыхавши все это, сделались бы самыми честнейшими людьми, и пришли бы они к царю с раскаянием своего намерения: изобретенный и по возможности моей развитой закон настолько силен, что самого закаменелого злодея ухватит за косму его злодеяния и невольно повлечет на путь добродетели. Конечно, довольно трудно для вас таким моим от века неслыханным и, как человека незначительного, словам поверить, но еще труднее или совсем невозможно допустить и то, чтобы я без всякой пользы рискнул врать, ложно писать правительству, тут же и государя своего обманывать. Именем бога праведного умоляю ваше сиятельство удалить всякое сомнение из головы своей! Там, в изобретенном мною законе [1]) тяжутся труд с праздностью, а хлеб с тунеядством.

При разбирательстве же правительством этой тяжбы, если хлеб и труд возьмут верх, тогда неотменно выполнится над людьми все вышесказанное, а когда, избави бог, праздность и тунеядство восторжествуют над первыми, тогда последует все противное тому, да и мне, писателю, не избежать страданий, а уверяет меня какое-то предчувствие, что последние на суде процветут и возвысятся, а первые увянут и понизятся.

Да и было бы вам известно, что я все это извлек не из своей тесно ограниченной догадки или вольнодумства, а из главнейшего и коренного закона, о котором не одно русское государство, а вся вселенная или не могла, или, вернее сказать, не хотела по сие время знать; потому у меня есть великое желание знать, чем она будет оправдываться в таких тесных обстоятельствах, которые с жадностью ждут ее слабых ответов.

Если я есть изобретатель преполезнейшего и от начала века на свете не бывалого закона, что можно видеть из предыдущего, затем-то желаю и должен быть при первом его вступлении в свет; потому прошу ваше сиятельство—требуйте от меня это дело и вместе с ним—и меня к себе, а иначе и дела не дам, и потому как страдали люди, так и будут страдать; потому требуйте меня, что там будет великое прение между трудом и тунеядством; я же хотя по роду и незначительный и говорить красно не умею, а в этом случае, со стороны труда и хлеба, защитник буду не последний, а может статься—бог пошлет на мою сторону и многих, а иногда всех,—вот тогда-то, как на крыльях, взлетит вселенная вся на несказанное блаженство и тогда-то возвратится к нам на землю первобытный, до преступления Адама, рай!“

---

[1]) Самое учение не было послано.

Поговорим теперь о личности автора „Трудолюбия“.

Сообщественники Бондарева, жители д. Юдиной, не понимали Бондарева и относились к нему, как к человеку, по меньшей мере странному. Причин этому не мало и о каждой из них мы упомянем, а теперь заметим, что в Юдиной живут люди умные—молокане и субботники исключительно, стоящие не в пример выше обыкновенной крестьянской среды; и однако между ними нет не только ни одного поклонника Бондарева, но даже отношение всех к нему было вполне индиферентное.

Дело в том, что Бондарев, действительно, странный человек, чтобы не сказать более: во-первых, его „учение“ сделалось его idée fixe и он ни о чем больше говорить решительно не мог, а если молчал, когда его опровергали или что-либо доказывали, то это еще не значит, что он вас слушал: как только вы переставали говорить, он, не принимая во внимание сказанного вами, начинал говорить „свое“, т. е. излагать „учение“; далее из слов его можно было понять только, что все должны заниматься *исключительно* земледелием, при чем в разговоре он напирал более всего на то обстоятельство, что *высшие классы, не обрабатывая земли, виновны, главным образом, в лености крестьянина, т. е. что крестьянин, глядя на господ, трудится не как следует.*

Само собою разумеется, что юдинцы, весьма усердно обрабатывающие землю, никак понять не могли, чего требует Бондарев: „да мы и так работаем, только с землею да хлебом и возишься“; еще более развитые из молокан и субботников, разговаривая с Бондаревым по поводу „учения“ его, спрашивали нередко,—какую роль должны играть другие занятия, как-то: ремесла, торговля и т. д.? Но Бондарев твердил одно, т. е. что *все должны заниматься „хлебным трудом“*, не выясняя роли других занятий, словом, Бондарев-писатель и Бондарев-оратор не сходятся: когда он говорит, выходит больше несообразностей, чем когда он пишет.

Из этого, однако, вовсе не следует, чтобы он писал ясно и понятно—далеко нет! Но, читая „учение“, можно уловить главную мысль, проследить ее развитие, хотя и для этого нужно ознакомиться с массою никуда негодного баласта, с бесчисленными повторениями, с выдержками из всех книг, которые когда-либо читал автор [1]), так что читатель-крестья-

[1]) Бондарев был страстный поклонник чтения; не говоря о св. писании, которое он не только перечитал, но знал наизусть и свободно цитировал, Бондарев читал все, что только попадалось под руки, и читал внимательно, с наслаждением, запоминая все выдающееся. Из „учения“ и из разговоров с ним мы могли узнать, что, кроме св. писания, писания св. отцев и т. д., он читал: Крылова, Пушкина и Мильтона; произведения первых двух он смешивал.

нин не вынес бы ничего, прочитав от доски до доски все 250 вопросов.

Ко всему этому надо прибавить странное, с точки зрения крестьян, „поведение“ Бондарева: вечно задумчивый он, как известно, ходил с бумажкой и карандашем и, останавливаясь, записывал свои мысли и т. д.

Трудно было крестьянину понять Бондарева, и крестьянин сначала удивлялся, а потом махнул рукою: „пусть, мол, чудит“—и неудивительно: оригиналы, выдающиеся личности нередко порицаются даже интеллигенциею. Этот индиферентизм, это полунасмешливое отношение юдинцев к Бондареву, непонимание его мыслей измучили Тимофея Михайловича; он чувствовал себя одиноким не только среди односельцев, но и в семье: родной сын его, сельский писарь, и тот, не понимая отца, относился к нему с насмешкою. Бондарев, благодаря вышеприведенным обстоятельствам, сделался угрюмым, сосредоточенным, углубился в самого себя, из „учения“ сделал idée fixe и жил только надеждою, что его скоро повезут в Петербург, что скоро „учение“ его сделается известным всему миру и тогда „вся вселенная взлетит на несказанное блаженство“.

Когда мы, приехав в Юдино, разыскали его и заявили, что интересуемся его учением, Бондарев очень обрадовался. Через несколько минут он был уже в нашей квартире и проговорил до глубокой полночи, а на другой день явился на заре и ждал, покуда мы встанем. Тяжело было смотреть на этого библейского старца [1]), с воспаленными (большими черными), вечно поднятыми вверх глазами, с руками, поднятыми кверху, когда он говорит; плавно и необыкновенно медленно излагая нам свое учение, он весь погружался в мысли свои, не чувствовал, кажется, присутствовавших и витал в ином мире.

Только перед от‘ездом нашим, Бондарев, опомнившись, спросил—кто мы и почему интересуемся его учением. Мы прямо заявили, что пишем в газетах и журналах. Это произвело на него необыкновенно приятное впечатление, и он дал нам набело переписанное „учение“ свое, на что сначала не соглашался, отдавая нам лишь черновое; вручая свое сочинение, Бондарев просил напечатать его, чтобы оно стало всем известно, и выслать ему ту книгу, где будет напечатано, при этом прибавил: „только долго не держите, а то, если правительство меня потребует, как же я поеду без учения?“

---

[1]) Ему было тогда более 70 лет, что не мешало Бондареву быть еще здоровым человеком. Черты лица Бондарева напоминали библейский еврейский тип.

Уезжая, мы от души пожалели эту выдающуюся личность, волею судеб поставленную в такие условия, что не может быть тем, чем быть бы мог,—а сколько сил таких гибнет, сколько пропадает недюжинных жизней под бременем нужды, тьмы и печали!..

Из писем, полученных впоследствии от Бондарева, мы еще более убедились, как глубоко страдал этот непонятый в своей среде человек.

Письмо гр. Толстого к Т. М. Бондареву в 1885 г. [1]).

„Тимофей Михайлович! Я получил в прошлом году ваше письмо, на которое не успел ответить, а вчера получил письмо от вас же, и теперь отвечаю на то и другое; вашу проповедь я списал для многих друзей, но напечатать ее еще не отдавал. С нынешней почтой пошлю в Петербург, в журнал „Русское Богатство“ и приложу все старание, чтобы она была напечатана так, как вы хотите, без всякого приложения и отнятия. Если она будет напечатана, то вам вышлется экземпляр этой книги. Из вашей статьи я почерпнул много полезного для людей, и в той книге, которую я пишу об этом предмете, упомянул о том, что я почерпнул это не от ученых и мудрых мира сего, но от крестьянина, Тимофея Михайловича Бондарева. Свое писание об этом я очень желал бы прислать вам, но, вот, уже лет пять, все, что я пишу об этом предмете, о том, что все мы живем не по закону бога, все это правительством запрещается, и книжки мои запрещают и сжигают. Поэтому-то самому я и писал вам, что напрасно вы трудитесь подавать прошение министру внутренних дел и государю. И государь, и министры все запрещают даже и говорить про это. От этого самого я и боюсь, что и вашу проповедь не позволят напечатать всю вполне, а только с сокращениями. Большое сочинение ваше я бы желал прочесть, но если это так затруднительно, то что же делать. Я думаю так, что если человек понял истину божию и высказал или написал ее, то она не пропадает. Моисею не удалось увидать обетованной земли, а он-то и привел в нее народ. Также и всем слугам божиим. Плохой тот пахарь, который оглядывается назад: много ли он пропахал? Скажу вам про себя: пока я писал книжки о пустяках,—по шерсти гладил,—все мои книжки

---

[1]) Это письмо с некоторыми пропусками было помещено автором настоящих мемуаров в газете *„Русские Ведомости“* (№ 292 ч. за 1907 г.). На уважаемый орган за письмо был наложен арест, а против редактора—В. М. Соболевского—возбуждено преследование по 128 ст. Уг. Улож. и по 281[1] ст. Улож. о наказ. В настоящем письме все пропуски заполнены.

хвалили и печатали, и царь читал и хвалил; но как только я захотел служить богу и показать людям, что они живут не по закону божию, так все на меня опрокинулись, книжки мои не пропускают и жгут, и правительство меня считает врагом своим. Но скажу вам, что это не только не огорчает меня, но радует, потому что знаю, что они ненавидят мое писание не за меня, а за то, что оно обличает их; за то, что я говорю о божием законе, а они его ниспровергли. И я знаю, что закон божий скрыть нельзя, он в огне не сгорит и в море не потонет. А от гонения он только яснее виден людям тем, которые стремятся к богу. Так-то и вы. Не тужите, что прошения вашего не принимают и ответа на него не дают. Вы сами говорите, что на кого жалуетесь, тому и прошение подаете. Не тужите и о том, что ваши ближние вас не понимают и не ценят. Что вам за дело? Ведь вы не для славы человеческой трудились и трудитесь. А если вы трудитесь для бога, то бог, видящий в тайне, воздаст явно. Только бы знать, что служишь сыну божию, а ваше дело—божье. Оно принесло плоды и принесет, только не придется нам видеть их и вкусит от них. Я знаю по себе, что ваше писание много помогло людям и будет помогать. А чтобы сразу это все так сделалось,—этого нельзя и ждать не надо. Заставить всех силком трудиться никак нельзя, потому что сила-то вся в руках тех, которые не хотят трудиться. Надо, чтобы люди сами поняли, что жизнь трудовая по закону бога блаженнее, чем тунеядство. И есть люди, которые понимают это и сами бросают тунеядство и с охотой берутся за земельный труд. Заблудшие же люди еще не понимают этого и отстаивают всеми силами свое тунеядство и не скоро поймут свое заблуждение. А пока они сами не поймут, с ними ничего не поделаешь. И, вот, чтобы они поняли это, нужно им раз'яснить закон бога. Вы это сами делаете, служите этим богу и потому знаете, что вы победите, а не они; а скоро ли это будет? Это—дело божие. Так я сужу. Прощайте, уважаемый друг и брат, Тимофей Михайлович. Помогай вам бог. Рукопись вашу, если ее не напечатают, пришлю вам“.

Еще рельефнее выясняется отношение великого писателя к Бондареву в письме его к г. Лебедеву, работавшему в Минусинском музее:

„Мое мнение то,—писал ему Л. Н. Толстой,—что вся русская мысль с тех пор, как она выражается, не произвела со своими университетами, академиями, книгами и журналами ничего подобного по значительности, силе и ясности тому, что высказали два мужика—Сютяев и Бондарев“. А А. С. Пругавину Толстой в 80-х годах говорил: „Знаете, что я вам скажу. Двум русским мужикам, простым, чуть грамотным мужикам,

я обязан более, чем всем ученым и писателям всего мира". На вопрос, кто эти мужики, он назвал Сютяева и Бондарева.

Закончим наши воспоминания сообщением, что, благодаря политическим ссыльным, Бондарева в гор. Минусинске снимали, и фотографические карточки его были разосланы писателям, а в том числе и Л. Н. Толстому, который, в свою очередь, выслал автору „Трудолюбие, или торжество земледельца“ свою фотографию.

Тимофей Михайлович умер в Юдиной 78 лет от роду в октябре 1898 г. Вот как описывает его могилу Г. К. Гор-енко в письме, приводимым К. С. Шохор-Троцким в его брошюре: „Сютяев и Бондарев“: „В 1902 году мне пришлось проезжать мимо села Юдинского и по дороге около кладбища посетить могилу Бондарева, обнесенную широкою оградою, с тремя большими надгробными плитами, на которых мелкими буквами было написано (выбито) последнее слово многострадального старца. В ограде могилы росли шесть тополей, которые Бондарев привез за десять верст и посадил их здесь. Состояние могилы, с такой заботливостью приготовленной Бондаревым, последнее время, как говорят, даже ночевавшим у могилы, само могло бы свидетельствовать о горькой жизненной доле покойника: одна или две плиты были разбиты на несколько кусков; надписи на них кое-где замазаны грязью; небольшой деревянный стол с выдвинутым ящиком, в котором находились рукописи Бондарева, лежал в стороне без ножки, ящика и рукописей; все это, по словам одного крестьянина, сделали недоброжелатели Бондарева... Надписи на плитах большею частью представляют собою выдержки из сочинений Бондарева“.

ЧЕМ РУКОВОДСТВОВАЛИСЬ АРЕСТОВАВШИЕ И СОСЛАВШИЕ МЕНЯ.

Закончу первую часть своих мемуаров мотивами, в силу которых я был арестован, сослан в Восточную Сибирь, а затем, по возвращении в Россию, ограничен в выборе места жительства, отдан под гласный надзор полиции и т. д. и т. п. Мотивы эти более чем интересны, так как чрезвычайно выпукло характеризуют тот полицейско-бюрократический режим, который царил в России в описываемое мною время. Я узнал о них спустя лишь 27—28 лет после моего ареста из „Свода показаний, данных некоторыми из арестованных по делам о государственных преступлениях", опубликованного в „Былом" в начале текущего столетия. Оказалось, что меня оговорили два мало известных мне лица: семинарист, Арсений Богославский, и студент Харьковского ветеринарного института, Федор Курицын. Первый, юноша, к слову сказать, мало развитой, под названием „Бурлак", „терся", как говорится, и в „желтом интернационале", и среди украинофилов, и среди радикальной молодежи. Никаких дел с ним я не имел и даже не беседовал на злободневные темы. Что касается Курицына, то он, под именем „Федора", один или два раза останавливался в учительской квартире в Городищенском заводе, когда вместе с другими ходил в Чигиринский уезд. Встречался ли я с ним еще где-либо—совершенно не помню. Во всяком случае, я так мало знал его, что у меня не запечатлелся даже его образ, и я, при встрече, не узнал бы его. На основании показаний Богославского, в вышеназванном „Своде" обо мне говорится следующее: „Дубов, Забора, Фен, Крикливый, прозывавшийся „Монахом", Апостолов, прозывавшийся „Свинкой", и Залесский известны были в киевской революционной среде под названием „черноморцы". Все они жили вместе в доме Домбровского, по Жилянской улице, где происходили и собрания „коша" в 1877 г. На одном из этих собраний присутствовал, по словам Богославского, Белоконский,—содержащийся в настоящее время в Киеве, где производилось дознание по

обвинению его в хранении у себя запрещенных сочинений, и предназначаемый к высылке административным порядком. О Белоконском будет указано ниже, при изложении данных, о черниговском преступном сообществе. На означенном собрании Белоконский, по словам Богославского, также присутствовавшего там, в числе других, рассказывал об успехах его в пропаганде, равно о бедственном положении той школы, в которой Белоконский был учителем; кроме того, развивал мнение свое о конокрадах, которые представлялись им самыми лучшими людьми, потому что они протестовали против современной жизни, когда как других нельзя вызвать ни на какой протест".

Если бы даже все, что болтал, выражаясь словами А. А. Русова,—„добродушный, очень молодой, и не особенно далекий семинарист" была правда, то и в таком случае решительно ничего „революционного" найти в приведенных моих словах невозможно. Но в показаниях Богославского сплошная глупость и юмористика, пригодная лишь для сатирических журналов, а никак—для обвинительных актов. Однако, жандармы до такой степени энергично „создавали" дела, до такой степени стремились, карьеры ради, „упечь" возможно более народу, что даже не проверяли показаний и, как блины, пекли „государственные преступления".

Так, если бы они, добиваясь истины, проверили сведения, сообщенные им Богославским, то дело кончилось бы, вероятно, гомерическим смехом. Начать с того, что перечисленные семинаристом лица назывались „черноморцами" не как члены какой-то „революционной организации", а потому, что большинство из этих студентов были украинцы, родом из той части Кубанской области, которая прилегала непосредственно к Черному морю и впоследствии переименована была в Черноморскую губернию. Поэтому, название „черноморцы" было для них так же естественно, как для уроженцев, положим, Рязанской губ.—„рязанцы", Тамбовской—„тамбовцы" и т. д. и известны они были под названием „черноморцы" не в „революционной среде", а решительно всем, кто их знал, и, между прочим,—всему университету. Точно также и слово „кош" не имеет ничего общего с революцией. По-татарски оно обозначает сборный пункт. Запорожцы взяли его у татар для обозначения того же предмета, а „черноморцы", подражая запорожцам, назвали свою квартиру „кошем", и ни от кого этого не скрывали. „Черноморцев" я знал по университету и нередко бывал у них, как у товарищей. Нет ничего удивительного, что, беседуя с ними, я говорил о деревне, школе и, возможно,—о конокрадах. Но прежде чем сказать об этих беседах, не могу не остановить внимания на двух фактах, показывающих жан-

дармскую неряшливость и невежество. В „Своде“ говорится, что я содержусь в Киеве, в то время, как я содержался в Черниговской тюрьме, что проверить было совсем легко. Затем говорится, что в Киеве относительно меня „производилось дознание по обвинению в хранении запрещенных сочинений“. Но, как я говорил, ни одного „запрещенного“ сочинения у меня при обыске не найдено, забраны лишь памятные книжки, тетради с выписками из „незапрещенных“ сочинений, как-то: Пыпина, Фохта, Милля, Гельмгольца, Добролюбова и друг. вышеперечисленных. Я фактически доказал, что сочинения этих писателей разрешены, имеются во всех библиотеках и беспрепятственно выдаются для чтения, но так как жандармы ни одного из этих писателей не только не читали, но, по невежеству своему, и не слыхали, то, не взирая на мои показания, сами причислили их к „запрещенным“, а меня обвинили в хранении запрещенного и заранее предназначили к административной высылке. Перейдем теперь к беседам с „черноморцами“ вообще и о „конокрадах“ в особенности. Богославский показал, что я говорил об „успехах пропаганды“ и тут же сообщил, что я восхвалял „конокрадов, протестующих против современной жизни“, так как „других нельзя вызвать ни на какой протест“. Такое противоречие об'ясняется недалекостью оговорщика. Раз я ни кого не мог вызвать ни на какой протест, то какие же это „успехи в пропаганде“? В действительности, как я говорил, в такой, абсолютно невежественной, совершенно неграмотной среде пропаганда не могла дать никаких положительных результатов, и я был совершенно недоволен этой деятельностью. Но, в то же время, никоим образом конокрадов „лучшими людьми“ называть я не мог, как и говорить, будто они протестуют „против современной жизни“, потому что хорошо знал об этих ворах, обездоливающих население. Однако, возможно, что, выведенный из терпения пассивностью населения, рабским терпением, расплывчатостью, дезорганизованностью, я, быть может, высказал мысль, что у конокрадов, для достижения их гнусных целей, имеется хотя организация, отвага, смелость, а у рядового населения ничего этого нет и ни к чему оно не стремится. Но пусть прав Богославский, пусть, я „восхвалял конокрадов“, — разве последние государственные преступники, что „восхваление“ их ведет к зачислению в революционеры? „Все это было бы смешно, если бы не было так грустно“. Ведь жандармы, на основании подобного рода данных, губили тысячи лиц, преимущественно молодежи, томя их в тюрьмах, выселяя в Сибирь и т. п.

Но, быть может, вески показания Курицына? Обратимся к ним. В „Своде“ данные Курицына приведены в таком виде:

„Белоконский, Иван, бывший студент Киевского университета. О свойстве преступной деятельности его по Киеву уже указано было выше, при изложении преступной деятельности различных революционных фракций в Киевской губернии. Что же касается участия его в деятельности революционного сообщества в Черниговской губернии, то, хотя произведенным дознанием и не обнаружено данных, на основании которых представлялось бы возможным формулировать принадлежность его кэтому сообществу, тем не менее он был задержан. В то же время выяснилась близость отношений его с сыном коммерции советника, Львом Симиренко, бывшим студентом Киевского университета, известного по своей преданности революционному делу, которое он поддерживал материальными средствами. Так как до задержания Белоконского последний находился на сахарном заводе Яхненко-Симиренко в Городищенском уезде, Киевской губернии, в качестве народного учителя, распространяя между заводским населением и местным крестьянством преступную пропаганду, то, независимо от обыска, произведенного у Белоконского, сделан был также обыск и в имуществе Яхненко-Симиренко, при чем найдены как запрещенные книги и компрометирующая переписка, принадлежавшая Белоконскому, так и записные листки самого Симиренко, указывавшие на преступность образа мыслей и направление последнего. Из показаний политического преступника Курицына видно, что Лев Симиренко был известен в революционной среде за деятельного социалиста и находился в близких отношениях с казненными Лизогубом, Осинским, Стефановичем, Дебогорием-Мокриевичем и вообще со всеми выдающимися революционерами. Он занимался с другом своим, Белоконским, распространением книг революционного содержания как между заводскою интеллигенциею, так равно между рабочими и крестьянами. Что касается Белоконского, то, по словам Курицына, он слыл в революционной среде за старого и преданного социалиста, часто ездившего в Петербург, откуда он привозил для распространения на юге целые тюки революционной газеты „Земля и Воля“. В виду столь преступного направления Симиренко выслан в текущем году административным порядком в Восточную Сибирь, каковую меру предположено принять и в отношении Белоконского. Кроме сего, Курицын указывает, что в прошлом году Белоконский ездил за границу по поручению, между прочим, богатой помещицы Таврической губернии, Нестроевой, жены уездного предводителя дворянства, которая находится под надзором полиции по особому высочайшему повелению“.

Тут истины не более чем в показаниях Богославского, а жандармская неряшливость, пожалуй, еще заметнее.

Начнем с центрального, вероятно, пункта обвинения, а именно с показания Курицына, что я „слыл в революционной среде за старого и преданного социалиста“. Когда этот ветеринар впервые познакомился со мною, мне было не более 19—20 лет. Затем окончательно деятельность моя была прекращена в 1879 году, когда я был арестован. В это время мне исполнилось только 21 года. Каким же образом я мог слыть за „старого“ социалиста? Жандармам более чем легко было навести справки о моих летах, но они этого не сделали,—для обвинения, конечно, было много важнее представить меня, как „старого“ социалиста. Вторым по важности преступлением моим была в глазах жандармов, вероятно, указанная Курицыным поездка „за границу, по поручению, между прочим, богатой помещицы Таврической губернии Нестроевой“.

Европа тогда считалась у нас вообще очагом всяческой крамолы, и уже самый факт поездки, хотя бы даже с разрешения властей и узаконенным, какой был у меня, заграничным паспортом, считался крайне подозрительным и весьма неблагонадежным. Если же к этому добавить „поручение“ „богатой помещицы“,—будь оно даже неизвестно какое,—то тут уже являлось более чем широкое поле для жандармской изобретательности. Между тем, как я говорил, „поручение“ это заключалось... в доставке детей Нестроевых, данное мне прежде всего г. Нестроевым, а жену последнего я видел всего, кажется, один раз пред самым от‘ездом в Европу. Мне при допросе в Чернигове совершенно не упоминали о Нестроеве. Нужно думать, что одесские жандармы, допрашивавшие Курицына, не осведомили об этом жандармов черниговских, чтобы я как-нибудь не оправдался. Неряшливость, являющаяся результатом полного презрения к личности, не имевшей никаких гарантий, ясна и в других мотивах обвинительного акта. Что сказал бы европеец, прочитав такую фразу: „хотя произведенным дознанием и не обнаружено данных, на основании которых представилось бы возможным формулировать принадлежность его к (Черниговскому революционному) сообществу, тем не менее он (т. е.—я) был задержан.“ Разве это не шедевр полицейско-бюрократического строя? „Данных не обнаружено“, но „тем не менее. . . . . арестован“! А затем начинают искать „преступлений“! Между прочим, говорится, будто бы „в имуществе Яхненко-Симиренко“, были найдены мои „запрещенные книги и компрометирующая переписка.“ Но ни то, ни другое мне не было пред‘явлено, и я думаю, что ничего подобного найдено не было. Укажем, наконец, на такие неточности. В „Своде“ сахарный завод Яхненко-Симиренко помещен в „Городищенском уезде,“ вовсе не существующем: завод расположен был в Черкасском уезде. Далее—Стефанович и Дебогорий-

Мокриевич считаются „казненными", хотя ни тот, ни другой смертной казни подвергнуты не были. Если таковы были показания Курицына и относительно всех осужденных по одесскому процессу 28-ми, или „Лизогубовскому", то можно себе представить, насколько прочно было обвинение, повлекшее за собою и виселицы, и каторжные работы для многих лиц. Мне лично известен один обвиняемый, пострадавший, на мой взгляд, совершенно невинно. Я говорю о Василии Христофоровиче Кравцове, о котором ранее упоминал. Это был милейший, остроумный, веселый и весьма талантливый человек, с великолепнейшей громадной рыжей бородой, которая и погубила его. За эту бороду еще в Городищенском сахарном заводе он получил кличку „дядька". И она пошла за ним в Киев, а за тем и в Одессу, где В. Х. Кравцов состоял, как говорилось, одно время секретарем редакции „Одесского Вестника". При каких условиях его арестовали (я был в то время за границей) не знаю, но отлично знаю, что ранее никогда он не был активным революционным деятелем. Меня допрашивали о нем черниговские жандармы, и не мало бумаги исписал я, чтобы выгородить Василия Христофоровича. Я полагал, что мои показания пойдут в Одессу. Но, увы, как потом я узнал, процес 28-ми в Одессе рассмотрен был ранее моего допроса, причем Кравцов был приговорен к.... бессрочной каторге за то,— как говорили впоследствии,—что Курицын сообщил жандармам кличку Василия Христофоровича—„дядька", каковую жандармы, при помощи того же Курицына, об'яснили революционною солидностью Кравцова и громадною ролью, какую он играл в революции! Впрочем, если бы моя характеристика В. Х. сделана была и раньше, жандармы не послали бы ее в Одессу, потому что и не доверяли, конечно, мне, а главное,— не в их интересах было оправдывать даже совершенно невинных.

Впоследствии, когда все минусинцы возвратились уже в Россию, талантливый доктор С. В. Мартынов [1]), для характеристики ссыльных, написал яркую статью „По закону", которую я считаю нужным привести здесь целиком. Вот она:

По „закону".

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.

Тогда не было ни государственной думы, ни конституции и люди, которые об этом думали, назывались „стремящимися

[1]) Скончался в Крыму в Кизильташе, в 1919 году.

в более или менее отдаленном будущем ниспровергнуть существующий в Российской империи порядок", и отправлялись в места, также более или менее отдаленные.

В одном из таких мест, в Минусинске, слывшем за город Сибирской Италии, был и я.

Теперь, вместе с „конституцией", воцарилось и уважение к писанному праву, и законность,—когда это требуется начальству,—и попавшие в разные Минусински находятся под неослабным и непрерывным действием созданной для таких лиц конституции, именуемой „Положением о полицейском надзоре, учреждаемом по распоряжению административных властей". Лет 28-29 тому назад, в Минусинске тоже была эта конституция, но она исполнялась не так, как теперь, не по западно-европейскому шаблону точности, аккуратности и постоянства, а по старинной русской склонности к произволу и вдохновению: иногда—со строгостью, даже зверской, ненужной жестокостью, а иногда и совсем не исполнялась. Все зависело от того, каков был исправник. Обыкновенно с воцарением нового начальника округа вспоминался древний обычай действия новой метлы. Являлся новый исправник, и начинались репрессии. Но русский человек того времени не был приучен к системе. Преследования с неизбежными для него неприятностями и столкновениями скоро надоедали, и снова воцарялся старинный русский дух, а вместе с ним—и свобода. Относительная, конечно, свобода: можно было погулять за городом, переехать на лодке на другую сторону Енисея и набрать черной смородины, можно было менять квартиры без спроса начальства, обучать ребятишек грамоте и даже оказывать медицинскую помощь больным и страждущим.

Насколько всемогущ был в наше время исправник может показать дело административно-ссыльного С. А. Андржейковича.

В царствование исправника В. И. Шишко С. А. Андржейкович жил вместе с своим приятелем Компанцем, тоже административно-ссыльным. Вдруг исправник получил от губернатора запрос: когда скрылся из Минусинска административно-ссыльный Компанец? Исправник доселе не подозревая, что Компанец исчез из-под его надзора, и полагая, что он арестован в Красноярске или где-нибудь по пути к нему, вызвал к себе С. А. Андржейковича и попросил, на официальном допросе, дать показание, что его сожитель скрылся не более, как два или три дня тому назад:

— Вам это ничего не стоит, для меня, знаете сами, какие могут выйти неприятности!

Исправник Шишко притеснений никому никогда не делал, и необходимое показание было дано.

Все успокоились и забыли про случай. Но вдруг неожиданно для самого исправника приходит чрез губернатора министерское распоряжение — выслать С. А. Андржейковича в Туруханск: оказалось, Компанец, скрывшийся, будто бы, на-днях из Минусинска, был арестван в Москве два-три месяца тому назад!

С. А. Андржейкович легко мог бы отделаться от ссылки, сделав заявление, что ложное показание он дал по просьбе исправника, но он, конечно, предпочел этому приему Туруханск.

Не хотелось ему ехать в дальний край, не хотел этого и исправник. Он посоветовал Андржейковичу об'явить себя больным. Соответствующее заявление было сделано. В те времена можно было не спешить. Исправник продержал бумагу месяца три четыре и отправил губернатору. В канцелярии губернатора у В. И. Шишко были приятели, которым ничего не стоило оказать ему маленькую услугу: прежде, чем дать бумаге ход, задержать ее еще на несколько месяцев.

В свое время от губернатора получился в Минусинске запрос: выздоровел ли Андржейкович и может ли следовать по назначению? После соответствующих проволочек, через несколько месяцев был отправлен по начальству ответ: все еще болен, и следовать не может. Получилось распоряжение произвести в присутствии полиции медицинское освидетельствование больного. Конечно, опять с замедлениями, освидетельствование было произведено. Но... городовой врач—ведь тоже приятель исправника, и, разумеется, нужного здоровья у Андржейковича не оказалось...

По истечении опять достаточного времени приходит новое распоряжение переосвидетельствовать: не выздоровел ли? Результат тот же...

Вероятно, губернатору, Педашенко, показалась подозрительной столь затяжная болезнь Андржейковича, и он прислал из Красноярска самого врачебного инспектора. Но... ведь и врачебный инспектор—знакомый исправника: в те времена в Сибири все чиновники были между собою большие приятели. Не удивительно, что С. А. Андржейкович не мог поправиться.

Так тянулось дело года два с половиной, и, может быть, удалось бы довести его до благополучного конца, т. е. до конца трехлетнего срока ссылки Андржейковича, как Шишко был переведен полицеймейстером в Красноярск.

Новый исправник К. И. Знаменский был человек серьезный. Он сейчас же арестовал Андржейковича и отправил его по этапу в Туруханск.

Но на пути—Красноярск. Как только Андржейкович прибыл в этот город, полицеймейстер выпустил его из тюрьмы,

и он все время жил на свободе. Наконец, когда до окончания срока ссылки оставалось 2—3 месяца, В. И. Шишко вручил Андржейковичу его препроводительные бумаги, посадил на пароход и сказал:

—Ну, теперь с богом!

* *
*

Я жил в Минусинске спокойно при старом исправнике. Как я, так и другие ссыльные, не испытывали особых стеснений.

Но вот, вскоре после приезда К. И. Знаменского, в одном из улусов инородцев медведь задрал одного богатого кочевника. За мной приехали с просьбой о помощи. Отлучки из города с такой целью случались и раньше, не вызывая никаких об'яснений с полицией или неприятных осложнений.

Я поехал с тем большой охотой, что присланные за мной лошади были превосходны, и всюду были заготовлены подставы. Мы летели, как вихрь, и к вечеру я был уже дома.

Приблизительно, через полторы недели, я получил повестку от исправника: „Прошу явиться в полицейское управление по касающемуся до вас делу“.

Знаменский заявил мне, что, на основании 7-ой ст. „Положения о полицейском надзоре“, губернатор распорядился посадить меня под арест на одни сутки за самовольную отлучку из города.

Новая метла начала действовать. Кроме меня, по ходатайству исправника, были наложены кары и на других административно-ссыльных: врач В. С. Лебедев посажен под арест на трое суток за медицинскую практику без разрешения министра внутренних дел; Ольга Рубанчик—на сутки за несообщение о перемене квартиры; Даманский—на двое суток за обучение грамоте сына одного из обывателей и А. И. Иванчин-Писарев переведен на жительство из города Минусинска в Абаканскую волость за посещение „Общественного Собрания“.

Я хотел было подчиниться распоряжению губернатора и зашел к А. И. Иванчин-Писареву проститься с ним. Когда я сказал ему, что намерен отправиться под арест, он набросился на меня:

— Что вы?! Кому другому, а вам обязательно протестовать!.. Во-первых, по отношению к вам, губернатор не имел права руководствоваться 7-ой статьей „Положения о полицейском надзоре“; во-вторых, министр внутренних дел, разрешая вам медицинскую практику, не ограничил ее пределами одного города, и, в-третьих, как врач, вы не могли нарушить закон, обязывающий вас являться к больному... Все это—серьезные основания для протеста, и мой совет—послать прошение гу-

бернатору... У меня меньше резонов возражать против переселения в Абаканскую волость, но я уже написал кляузу и отправлю ее эстафетой...

— А вы чем оправдываетесь?—спросил я.

— Тем, что „Положение о полицейском надзоре“ запрещает административно-ссыльным быть членами „Общественного Собрания“, но не упоминает о том, что мы не можем заходить в клуб днем просмотреть газеты и с‘есть что-нибудь в буфете...

— И вы думаете, что губернатор отменит свое решение?

— Надеюсь.

Мы стали рассматривать „Положение о надзоре“.

7 статья гласит: „Поднадзорный обязан жить в определенном ему для того месте и не имеет права отлучаться из оного без разрешения надлежащей власти“. Статья 8-я: „временные отлучки могут быть разрешаемы по особо уважительным причинам: 1) в пределах уезда—местным начальником полиции; 2) в пределах губернии—местным губернатором; 3) в другие губернии—министром внутренних дел“.

Примечание к статье 32-й: „За самовольную отлучку поднадзорных из места, назначенного для жительства, они подвергаются суду и наказанию, определенному в статье 63 „Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями“.

— Вот видите!—сказал Александр Иванович,- не мог подвергнуть вас административному взысканию. Он должен был предать вас суду.

Я согласился защищать свои права... Мы составили заявление на имя губернатора, и я отнес его исправнику.

— Это меня не касается,—сказал Знаменский.—Я обязан исполнить предписание его превосходительства... Потом можете жаловаться... Через три дня я вас арестую.

На помощь опять явился А. И. Иванчин-Писарев.

— Исправник, действительно, обязан исполнить распоряжение,—сказал он,—но вы можете захворать, и арест будет отстрочен... Тем временем наша эстафета получится губернатором.

Я писал:

„Его превосходительству г. начальнику Енисейской губернии.

Мне об‘явлено распоряжение вашего превосходительства о наложении на меня ареста за самовольную отлучку с целью оказать помощь больному. Между тем, на основании примечания к ст. 32 высочайше утвержденного „Положения о полицейском надзоре“, виновные в этом проступке не подвергаются взысканиям в административном порядке, но предаются суду.

А потому покорнейше прошу ваше превосходительство отменить ваше распоряжение, как незаконное, и предать меня суду“.

Прошло три дня. На четвертый день по предписанию Знаменского, за мной явился помощник исправника. Надо заметить, что начальник округа был человек громадного роста, крутого нрава, с громовым голосом и весьма невоздержанный на язык. Его сослуживцы-чиновники и обыватели,—все сразу не взлюбили его.

Помощник исправника также не был на стороне своего начальника. Он донес Знаменскому, что я болен, и вторично был командирован ко мне с городовым врачем, А. В. Малининым, моим приятелем: оба признали, что я нездоров.

Хворал я три недели, пока не пришел ответ от губернатора. Тогда я явился к исправнику, и он пред‘явил мне для прочтения и подписи новое распоряжение его превосходительства: „отменить административное взыскание и предать доктора Мартынова суду“.

В те времена в Сибири действовал дореформенный суд. Тот же исправник стал моим следователем.

— По распоряжению г. начальника губернии,—сказал он,—вы предаетесь суду. Не угодно ли ответить по пунктам, выставленным в этой бумаге.

Меня тут же в канцелярии посадили за отдельный стол, и я начал писать.

Ответив на формальные вопросы об имени, отчестве, фамилии, сословии, занятиях, средствах к жизни и проч., я вынул из кармана принесенный с собой лист бумаги и начал списывать остальные вопросные пункты. Но не успел я дойти и до половины их, как исправник заметил это и отобрал у меня написанное.

— Этого нельзя-с делать! Вы должны отвечать на вопросы здесь же, в моем присутствии. Об этом я должен составить протокол.

— Прошу вас указать закон, воспрещающий мне снять копию с вопросов.

— Вы можете потом просить о выдаче вам копии с вашего показания.

Протокол был составлен. Подписывая его, я сделал оговорку: „не усматриваю ничего преступного в совершенном мною, так как г. исправник не мог указать мне закон, воспрещающий это“.

Я снова сел за свой стол и, выучив наизусть все вопросные пункты, сказал исправнику:

— Прошу отложить допрос. Я чувствую себя нездоровым.

Снова был составлен протокол, и я уехал домой.

На все обвинительные пункты ответ мой был таков:

„Давая об'яснение по всем предложенным мне вопросам, считаю прежде всего упомянуть необходимым об условиях, вызвавших „мое преступление".

8-го сентября, рано утром, ко мне явился инородец из улуса, отстоящего приблизительно на 100 верст от Минусинска, умоляя как можно скорее ехать с ним, чтобы спасти его отца, на которого напал медведь и успел тяжело поранить его, прежде чем был убит. Поранения, по словам приехавшего, были настолько сильны, что он сомневается, застанет ли отца живым. Полное отсутствие какой-либо врачебной помощи и страх за жизнь отца заставили его с крайней поспешностью отправиться в город. К другим врачам он уже обращался, и они направили его ко мне.

В городе Минусинске имеются два врача. Но оба не обладают достаточной хирургической подготовкой, чтобы оказать необходимую помощь, особенно при тяжелых поранениях. Они направили инородца ко мне, руководствуясь, очевидно, чувством совести и долга и сознанием своей нравственной ответственности.

Я поехал к пострадавшему и, сделав, что было необходимо, в тот же день к вечеру вернулся домой.

Если бы у меня мелькнула мысль о разрешении полиции для выезда из города, то это невозможно было бы сделать не только потому, что день был неприсутственный, но и оттого, что было 4 часа утра.

Такова фактическая обстановка дела. Что касается нарушения ст. 7 „Положения о полицейском надзоре", изданной в административном порядке и якобы воспрещающей мне помочь умирающему, я должен указать на то, что по ст. 27 того же „Положения" для занятия врачебной практикой требуется особое разршение министра внутренних дел. Такое разрешение у меня имеется. Степень и пределы оказания нуждающимся врачебной помощи ни в разрешении министра, ни в „Положении о надзоре" не указаны. Но такие пределы указаны в Общем Своде Законов Российской Империи, который гласит: „Первый долг всякого врача есть: быть человеколюбивым и во всяком случае готовым к оказанию деятельной помощи всякого звания людям, болезнями одержимым. Качества сии несравненно еще нужнее для оператора, поелику без помощи его иногда никакие средства не в состоянии не только исцелить, но и облегчить болезни. Посему каждый, не оставивший практики врач, оператор и т. п. обязан по приглашению больных являться для подаяния им помощи (ст. 114 „Врач. уст.". изд. 1857 г.)".

Эта прекрасная мысль законодателя, хотя и облеченная в старинную канцелярскую форму, все же остается трогательной и прекрасной и напоминает врачу о благороднейшей стороне его призвания. Она совершенно ясно и определенно указывала мне, как обязан был я поступить.

Я полагаю, что только сухая черствость, бездушный формализм и отсутствие душевной чуткости могли бы побудить преследовать, как тяжкого уголовного преступника человека, только исполнившего свой долг.

Если, по ст. 7 „Положения о надзоре“, врач не должен оказывать помощи, несмотря на имеющееся на это разрешение министра, а по ст. 114 Общего Свода законов он обязан это делать, то, очевидно, оба эти закона противоречат один другому. Полагал бы, что местная администрация прежде, чем ставить себя в несоответствующее достоинству власти положение, должна была обратиться в Правительствующий Сенат за раз'яснением, как должно отнестись к врачу, оказавшемуся в моем положении“.

С этим готовым ответом я поехал опять к исправнику. В этот раз в канцелярии его случайно присутствовал „стряпчий“.

Сев по прежнему за отдельный стол, я просмотрел еще раз данные мною раньше ответы, затем против всех остальных пунктов поперек бумаги, размашистым почерком написал: „на все нижеизложенные вопросы честь имею представить особое об'яснение, которое при сем прилагаю“, и подал исправнику.

— Как?!. Вы уже кончили?

— Да.. Мне нечего писать. Вот мои показания.

— Готовые ответы?! Нет-с... Этого нельзя... Разве можно так делать?—обратился он к стряпчему.

— Я привлекался и не по таким пустякам, а по обвинениям в государственных преступлениях, и никогда никто мне не воспрещал писать у себя то, что считал я необходимым.

Стряпчий, очевидно, не знал, можно или нет, и молчал.

— Вчера г. Мартынов сидел и списывал мои вопросы, а когда я заметил и отобрал, он выучил их наизусть и притворился больным.

— Я вовсе не притворялся.

— Послушайте,—загремел исправник таким голосом, что стекла задрожали, и писцы в соседней комнате испуганно подняли головы,—послушайте, так честные люди не поступают! Вы говорите ложь!

— Г. стряпчий,—сказал я совершенно спокойным и сдержанным тоном,—прошу вас быть свидетелем, что г. исправ-

ник кричал на меня в присутственном месте и назвал меня бесчестным человеком и лжецом.

Мои слова подействовали. Через некоторое время я заявил:

— Прошу покорнейше выдать мне копию с дела.

— Хорошо-с. Представьте гербовые марки.

Гербовый сбор был немедленно уплочен.

Конечно, составлена была новая жалоба и отправлена губернатору через того же исправника.

„Его превосходительству г. Енисейскому губернатору. По распоряжению вашего превосходительства, я нахожусь в настоящее время под судом за самовольное оказание помощи человеку, тяжко пострадавшему от медведя. Следствие ведется Минусинским окружным исправником К. И. Знаменским. На первом же допросе г. Знаменский воспретил мне снять копию с предложенных вопросных пунктов, не указав на закон, который это воспрещает. На следующем допросе он не только отказывался принять заранее написанное мною показание, но и позволил себе в полицейском управлении, грубо повысив голос, назвать меня бесчестным человеком и лжецом. Наконец, при выдаче копии с дела, он потребовал с меня гербовые марки, тогда как в уголовных делах закон освобождает подсудимых от уплаты гербового сбора. Усматривая во всем этом пристрастное отношение ко мне г. минусинского исправника, покорнейше прошу ваше превосходительство отстранить его от ведения моего дела и поручить его кому-либо из находящихся в вашем распоряжении чиновников“.

Губернатор поступил мудро. В интересах престижа власти и правосудия, он распорядился: исправника от следствия не отстранять, но вести дело в присутствии стряпчего.

Больше меня не допрашивали. Следствие было кончено, и дело перешло в окружный суд, исполнявший функции мирового судьи.—Как оно там рассматривалось, я не знаю: в дореформенном суде обвиняемые для об‘яснений не приглашались. Дело тянулось довольно долго. Наконец, мне было об‘явлено решение суда. За самовольную отлучку я был приговорен к недельному аресту. Я остался недоволен этим решением и подал апелляционную жалобу в губернский суд. Здесь вмешательство губернатора повело к тому, что состоялось постановление: за самовольную отлучку сделать мне *выговор*.

Так как в ст. 32 положения о полицейском надзоре в числе кар, налагаемых на административно-ссыльных, не упомянуто о *выговоре*, то я подал на губернатора жалобу в Сенат, обвиняя его в превышении власти.

Как решил дело Сенат, до сих пор не знаю...

* * *

Минусинский окружный исправник стал моим врагом. Мне приходилось остерегаться, чтобы не сделать какого-либо промаха, не нарушить какую-нибудь из 40 статей „Положения о надзоре“ и „не уклоняться от занятий по лености, дурному поведению и привычке к праздности“ (ст. 37.).

О бесчисленных мелких полицейских придирках и о неизбежно следовавших за каждой моих жалобах губернатору не стану говорить. Передам только один случай.

Для удобства надзора за административно высланными существовали в Минусинске два надзирателя. Одного звали „Люстрин“, а другого „Гусар“, потому что в отставке он носил гусарскую форму. Каждый день они посещали наши квартиры, с целью узнать, все ли ссыльные на лицо. Приходили они под различными предлогами, и чаще всего осведомлялись от имени исправника о нашем здоровье.

Однажды, когда я был у своего заболевшего товарища, В. И. Перова, к окну его комнаты подошел „Гусар“.

— Исправник приказал спросить, как ваше здоровье?

— Скажи исправнику,—ответил Перов,—что у меня плеврит.

Через некоторое время „Гусар“ явился снова.

— Исправник просит, чтобы г. Плевритов пожаловали к нему в канцелярию.

— Скажите ему,—шепнул я Перову из другой комнаты,— что Плеврит у доктора Мартынова.

Вскоре „Гусар“ навестил и меня.

— Исправник приказал, чтобы г. Плевритов, что приехал к г. Перову, сейчас же пришел в канцелярию.

— Какой Плевритов? Никакого Плевритова у меня нет... Был когда-то Плеврит, да его дворник Аким увез в Шишовку. Так и передай исправнику.

На другой день я получил повестку явиться в полицию.

Не знаю, случайно ли или из предположения, что разыграется важное дело,—в Полицейском Управлении на этот раз с исправником за одним столом заседали жандармский ротмистр Иванов, стряпчий и помощник исправника.

Допрос открыл исправник в торжественном тоне:

— Г. Мартынов, не угодно ли вам ответить, где находится приехавший в г. Минусинск Плевритов, бывший у Перова и отправившийся от него к вам?

— „Плеврит“, а не „Плевритов“,—ответил я,—у меня, действительно, был. Но это было давно. Где он теперь, я не знаю: я приказал тогда бывшему у нас дворнику Акиму...

не помню теперь его фамилии... отвезти его куда-нибудь подальше.

— Эй!—загремел исправник, кто там!..—Доставить сюда Акима Шешулина!

Отворилась дверь, и, под конвоем двух сибирских казаков, явился наш бывший дворник, испуганный, дрожавший, чуть не в слезах.

— Ты отвозил от доктора Мартынова Плеврита?.. Куда ты его отвез?.. Говори правду, не то...

— Да что вы, Сергей Васильевич,—взмолился несчастный Аким,—за что вы на меня напраслину взводите?... Никакого Плеврита не видал я никогда...

— Как не видал? Да ведь я тебе же сказал, отвези его куда-нибудь или утопи.

— Ах, это Лавитку!.. Как же! Он и сейчас у нас по деревне бегает!.. Хорошая вышла собака!

У меня собака по прозвищу „Плеврит“, Аким же перекрестил ее в „Лавитку“. Отсюда и вышло все недоразумение...

* * *

Не только рассказанный случай с собакой, но и вся история с преданием меня суду за спасение человека от смерти могла бы показаться просто сочиненным анекдотом, если бы не были живы до сих пор многие из тех, на чьих глазах анекдот этот происходил, и если бы следы его не были запечатлены на память и поучение будущим поколениям в официальных документах архива Минусинского суда.

Конечно, можно удивляться или можно негодовать на невежество и узость полицейских чиновников, можно и возмущаться, что участь людей зависит от произвола таких лиц, но где же было взять других в те отдаленные времена?..

И в наше время, говорят, лучших исправников и надзирателей трудно найти...

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

(Цифры обозначают страницы).

УКАЗАТЕЛЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ.

(Цифры у снимков и рисунков обозначают страницы).

Сочинения того же автора:

ЗЕМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. Второе издание, исправленное, значительно дополненное и иллюстрированное 260 портретами земских и общественных деятелей Москва, 397 стр. ОГЛАВЛЕНИЕ: XIX век. ГЛАВА I. Шестидесятые и семидесятые годы.

ГЛАВА II. Восьмидесятые годы.—ГЛАВА III. Первая половина девяностых годов. ГЛАВА IV. Вторая половина девяностых годов. — XX век ГЛАВА V. 1900—1901 годы и начало 1902 г. ГЛАВА VI. С апреля до конца 1902 г.—ГЛАВА VII. 1903 г. – ГЛАВА VIII. Первая половина 1904 г.—ГЛАВА IX. Вторая половина 1904 г. ГЛАВА X. 1905 г.

РАССКАЗЫ ТОМ I. **Деревенские впечатления.** (Из записок земского статистика). Издание второе. Петроград. 411 стр. ОГЛАВЛЕНИЕ. На подворной переписи.—Сутки в степной деревне. „Мужицкие господа". — Неурядица — Деревня печальная.—Волостная статистика.—„Отец Симиён".—Деревенская интеллигенция н народ.—Баташевы.—На развалинах.—Сибирский помещик.— Край „долбни" и „картошки". В родном гнезде И. С. Тургенева. — Проклятый немец.—Барин.—Настоящий мужик.

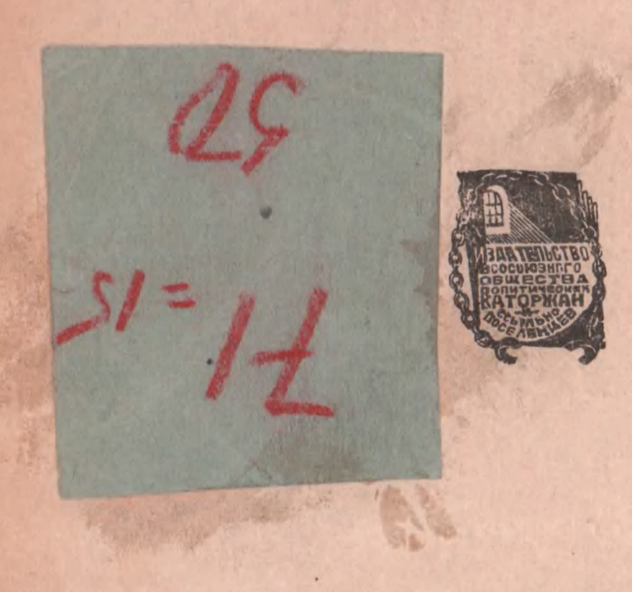
ТОМ II. **Деревенские впечатления.** (Из записок земского статистика) Петроград 191 стр. ОГЛАВЛЕНИЕ Реформатор. — „Недры" —Ночлег с богомольцами.—Из-за процентов.—В 20 верстах от цивилизации.—Николаевский солдат.—Переселенцы.—Накрыл —Плода греховного вкусившие.— Ее превосходительство и его превосходительство.—„Деревня идет".—Подслушанный разговор.

РАССКАЗЫ. Том III. Издание третье. Москва 235 стр. ОГЛАВЛЕНИЕ. Деревенская конспирация.—„На втором пути".— Фейга.—„И вдруг все тихо стало". — „На высоте своего призвания".—Маша.—Следствие, причине не соответствующее.—Под защитою.—Беглец —Страховка.—Эволюция.— Где же двадцатый век?—Страшное место—Рассказ, недозволенный... издателем.

РАССКАЗЫ. Том IV. 237 стр. ОГЛАВЛЕНИЕ. Случайно не расстрелянный —„По рубрикам".—Первая „бомба!" — „Вытравили душу, иссушили мозги".—Тайна Кузьмы Платоновича.— За что и почему?—„Конь".—„Подлый, хитрый народ".—За три месяца. — Отдохнул. — Властители.—Новый мир.— Накануне свободы.—„Ну, и времячко".— „Заяц".

НА ВЫСОТАХ КАВКАЗА. Путевые заметки и наблюдения. Второе издание. Москва, 120 стр. (Иллюстрирована 28 снимками). ОГЛАВЛЕНИЕ. Нальчик.—Балкария.—К подножию Эльбруса.—Пешком из Осетии в Грузию.

Цена 3 р. 20 к.



СКЛАД ИЗДАНИЯ:

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТКАТОРЖАН

1) Правление и склад—Москва-34, Лопухинский пер., д. 5; тел. 3-64-73;
2) Магазин „Маяк“—Москва-центр, Петровка, д. 7; тел. 3-63-20 и 4-18-12